

Трагическая  
жизнь  
Тулуз-Потрека

МУШЕН РУЖ

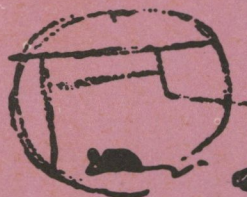
Пьер Ла Мур

Пьер Ла Мур

МУШЕН РУЖ



Трагическая  
жизнь  
Тулуз-Потрека











*Περὶ Λα. Μυρ*

**ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΡΥΖ**



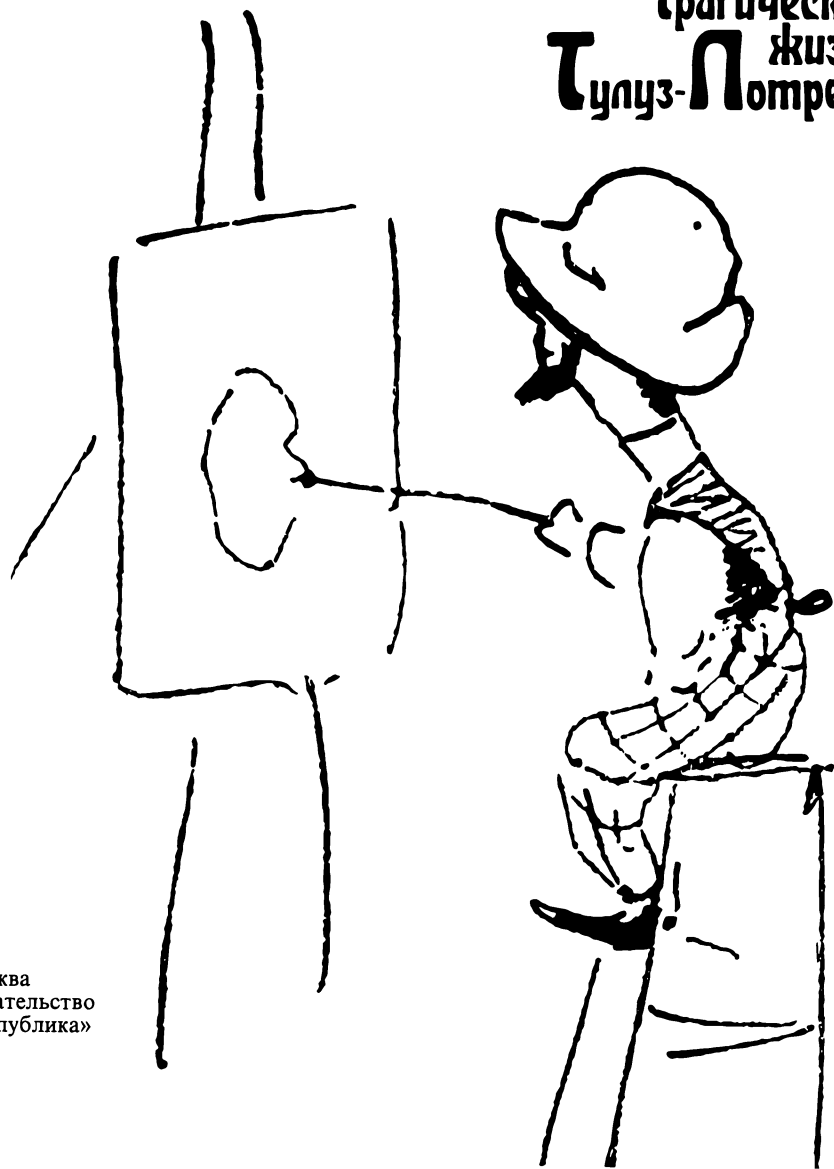




Пьер Ла Мур

# МУЩЕН РУЖ

Трагическая  
жизнь  
Тулуз-Потрека

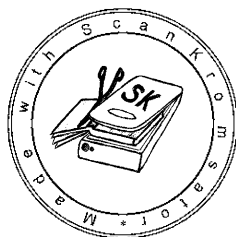


Москва  
Издательство  
«Республика»  
1994



Pierre La Mure  
MOULEN ROUGE

Signet, 1950  
New-York



Перевод с английского  
*Н. Кролик и Г. Герасимова*

Оформление художника  
*В. Харламова*

На фронтиспise — репродукция с картины  
«Ла Гулю, входящая в «Мулен Руж» с двумя женщинами».  
1892

- Л12 **Ла Мур Пьер**  
Мулен Руж: Трагическая жизнь Тулуз-Лотрека / Пер. с англ.  
Н. Кролик, Г. Герасимова.— М.: Республика, 1994.— 383 с.: ил.  
ISBN 5—250—02390—8

Роман современного американского писателя Пьера Ла Мура «Мулен Руж» посвящен недолгой трагической жизни прославленного французского художника Анри Тулуз-Лотрека (1864—1901).

Единственный наследник главы древнего аристократического рода, Лотрек еще в детстве стал инвалидом, но его воля, страстная любовь к жизни, рано проявившийся талант художника сотворили чудо. Его многочисленные картины, рисунки, афиши, литографии покорили Париж. Знаток «тайн» парижских женщин — от титулованных дам светских салонов до проституток, — он с присущей ему оригинальностью отразил их жизнь в своем творчестве. Слава пришла к нему при жизни, но судьба лишила его простой человеческой любви, столь страстно им желаемой.

На русский язык роман переведен впервые. Книга иллюстрирована репродукциями с картин и рисунков Тулуз-Лотрека, а также редкими фотографиями. Рассчитана на широкие круги читателей.

М 4703010000—008  
079(02)—94

ББК 84.7США

ISBN 5—250—02390—8

© Издательство «Республика», 1994



# Занавес поднимается

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Мама, не шевелись! Я хочу нарисовать тебя.

— Снова? Но, Анри, ты же только вчера рисовал мой портрет! — Адель, графиня Тулуз-Лотрек, опустила на колени свое вышивание и улыбнулась мальчугану, лежавшему перед ней на траве. — Разве я изменилась со вчерашнего дня? У меня тот же нос, рот, тот же подбородок...

Ее взгляд медленно гладил взъерошенные черные кудри, молящие карие глаза, слишком огромные для маленького худого личика с острым подбородком, мятый матросский костюмчик, готовый к делу карандаш, заложенный в альбом. Рири, милый Рири! Он был для нее единственной радостью и одновременно — причиной всех разочарований, сожалений и гнетущего чувства одиночества.

— Почему бы тебе не сделать этюд с Дана? — предложила она.

— Я уже рисовал его. Дважды. — Мальчик взглянул на сеттера, уткнувшего морду в лапы и дремавшего под столом. — И кроме того, сейчас он спит, а когда он спит, у него нет никакого выражения лица. Нет, лучше я нарисую тебя, ты красивее.

Она с улыбкой приняла бесхитростный комплимент.

— Ну ладно. Только быстро, пять минут и ни секундой больше. — Грациозным жестом она сняла соломенную шляпу с большими полями, открыв гладкие каштановые волосы, рассеченные ровным пробором и словно двумя крылами спадающие на виски и уши. — Нам пора ехать кататься. Жозеф явится с минуты на минуту. Так куда мы сегодня отправимся?

Мальчик не ответил. Его карандаш уже летал по белому листу.

Они были одни, изолированные от всего на свете тишиной этого сентябрьского дня 1872 года. Их окружал такой знакомый и привычный мир: заросшая травой лужайка, сквозь желтеющую кленовую листву виднелись зубцы башен средневекового замка, бойницы, узкие стрельчатые окна. Солнце стояло высоко в небе. В кронах кленов, у своих гнезд, щебетали и порхали птицы, то и дело уносясь куда-то и возвращаясь. И мать с сыном были счастливы наедине друг с другом.

Несколько минут назад старый Тома, толстый и торжественный в своей голубой ливрее, с неприступной надменностью, приличествующей дворцовому старинного и роскошного дома, сопровождаемый Доменико — «мальчишкой»-лакеем, которому было всего-то около шестидесяти и служил он в замке едва двенадцать лет, — унес отсюда чайный поднос и вазочки с лакомствами. После их ухода тетя Армандина, правда, никому здесь не приходившаяся тетей, — она была дальней родственницей, лет семь назад приехавшей в замок «погостить на недельку», да так и прижившейся



здесь, — начала мирно похрапывать, уткнувшись в раскрытую газету. Вскоре и она, извинившись, уплелась в замок. «Необходимо написать несколько писем», что означало: следует малость вздремнуть перед ужином.

Скоро Жозеф, их кучер с пышными бакенбардами, доложит: «Госпожа графиня, экипаж подан!» А когда они вернутся, их уже будет ждать скромный, но изысканный ужин, сервированный лакеями в полутемной, холодной и слишком большой зале, стены которой увешаны гобеленами и потемневшими портретами хмурых предков в париках и рыцарских доспехах.

После десерта молодой граф вскарабкается по мраморной лестнице в свою спальню. А вскоре к нему придет мама. Присядет на краешек кровати и расскажет ему об Иисусе, о том, каким он был добрым и послушным мальчиком, или о Жанне д'Арк, или о 1-м Крестовом походе и о его пращуре Раймоне, графе Тулузском, что вел на Иерусалим христианских рыцарей, чтобы освободить от злых сарацинов гроб Господень... Последняя ласка, поцелуй в лоб в ответ на сонное: «Спокойной ночи, мамочка». Простыня расправлена, одеяло натянуто до подбородка и аккуратно подоткнуто... Бросив прощальный взгляд на ребенка, Адель пойдет в свою комнату, смежную со спальней сына. В окнах замка один за другим погаснут огни. И, как из века в век, раскинет ночь свой черный полог над родовым гнездом графов Тулузских...

— Так куда же мы отправимся сегодня? — снова спросила графиня. — На старый черепичный завод? А может, в храм Святой Анны?

Сын неопределенно кивнул, давая понять, что ему безразлично, куда ехать. Безмятежный покой материнского лица вдруг на мгновение исказило выражение боли. Бедный Рири, он и не подозревает, что это будет их последняя прогулка! Он еще не знает, что жизнь — это цепочка бесконечных расставаний, что «завтра» не похоже на «сегодня», что ему больше не доведется взбираться на сиденье двуколки, прижиматься к матери, когда она отнимет поводья у Жозефа, что больше не придется им болтать о разных разностях, пока экипаж пылит по сельским дорогам, поддразни-



*Анри Тулуз-Лотрек.  
Около 1877*

вать Жозефа, с безмятежным видом восседающего на козлах, сложив на груди руки, задавать тысячи вопросов, поглядывая вокруг сияющими жадными глазами. Жизнь жестока. Скоро оборвется одна из нитей, что накрепко связывают их друг с другом, за ней последуют остальные, и ее сын, как сыновья других матерей, уйдет от нее...

Адель вздохнула.

— Не шевелись,— буркнул он.— Я же рисую рот, а это самое трудное.

Ее глаза вновь остановились на фигурке малыша, склонившегося над белым листом. Тонкие брови нахмурены, от усердия прикушена нижняя губа. От кого унаследовал он эту неодолимую страсть к рисованию? Этого не знала даже она, проникавшая в самые затаенные мысли сына. Откуда приступы упрямства, бесконечная потребность в любви и одобрении, сердечный голод, заставляющий его вдруг прерывать любимое занятие и бросаться к ней с ласками? И это у него проявляется все чаще с тех пор, как усилилась склонность Анри к рисованию. Ну ничего, пройдет, так же как уже забылась последняя мечта — стать морским капитаном...

— Я когда-нибудь рассказывала тебе о том случае с монсеньором каноником, когда ты собирался нарисовать ему быка?

— Это тот жирный старик, который каждый раз приходит к нам на обед?

— Во-первых, не на обед, а обедать,— тон матери стал строгим,— а во-вторых, ты не должен называть господина каноника «жирным стариком».

— Но разве он не толстый и не старик? — Сын поднял на мать округлившиеся, непонимающие глаза.— Почти такой же толстенный, как старый Тома!

— Да, но он — служитель господа Бога и очень уважаемый человек. Поэтому мы обращаемся у нему «монсеньор» и при встрече целуем кольцо на его руке.

— Но...

— Никаких «но»,— перебила мать, чтобы избежать спора.— А про быка... Это случилось во время крещения твоего брата Ришара...

— Брата? Я и не знал, что у меня есть брат. А где же он?

— Он... в раю. С нами он был всего несколько месяцев.

— А...— разочарование Анри было недолгим.— А зачем же тогда его крестили?

— Потому что все должны креститься, чтобы попасть в рай.

— И меня крестили?

— Конечно.

Решительный ответ, кажется, на время удовлетворил его любопытство, и он возвратился к рисованию, но вновь поднял глаза на мать.

— Значит, я тоже попаду в рай, когда умру.— В его голосе не слышалось никакого торжества по поводу этой перспективы, только уверенность.

— Возможно... Если будешь послушным мальчиком, если будешь больше всего на свете любить Господа.

— Нет, так я не могу! — решительно замотал он головой.— Не могу же я больше всех на свете любить Бога, потому что больше всех я люблю тебя.

— Ты не должен говорить такое, Анри!



— Но это правда! — с обезоруживающим детским вызовом уставился он на мать. — Тебя я люблю больше.

Она, подавляя улыбку, смотрела на него. Вот ведь упрямец! Но можно ли от такого малыша требовать любви к Богу, который никогда не целовал его, не баловал, не подтыкал на ночь одеяло?

— Ладно, ладно... Я тоже люблю тебя, Анри, — смягчилась она, чувствуя, что он ждет от нее этого заверения. — А теперь, пожалуйста, не перебивай, а то я никогда не кончу рассказывать тебе про того быка. Случилось это четыре года назад. Ты был еще совсем маленьким. Еще трех лет не исполнилось...

Строгость тона сменилась нежностью. И она тихо поведала сыну о брате Ришаре, которого он совсем не помнил. После церемонии каноник повел своих знатных прихожан в ризницу, чтобы они в приходской книге скрепили своими подписями факт крещения ребенка. Именно тут Анри, ведший себя до того тише воды ниже травы, вдруг потребовал, чтобы ему тоже дали «расписаться в большой книге». «Но как сможешь ты, дитя мое, расписаться, — возразил каноник, — если ты еще не знаешь букв?» — «В таком случае, — с достоинством ответил Анри, — я нарисую тебе быка».

Сын отнесся к воспоминаниям матери довольно равнодушно, делая заключительные штрихи своего рисунка <sup>1</sup>.

— Все! — И он с триумфальной улыбкой протянул ей открытый альбом. — Видишь, даже пяти минут не потратил!

Адель принялась шумно восторгаться портретом:

— Красиво! Ах, как красиво! Ты у меня настоящий художник. — И она положила альбом рядом, на садовую скамью. — Иди-ка сюда, посиди со мной, Рири!

Мальчик сразу насторожился. Никто, кроме матери, не обращался к нему «Рири», да и она называла его так в редких случаях. Сокращенное имя было как бы их тайным паролем, знаком одобрения и нежности, звучавшим лишь тогда, когда он, к примеру, был послушен и хорошо вел себя в церкви, или предостережения, что сейчас ему сообщат какую-то важную неприятную новость.

— Тебе уже семь лет, — начала мать, когда он, свернувшись калачиком, примостился возле нее. — Ты уже большой мальчик, собираешься стать капитаном морского корабля. Правда? Хочешь плавать по всему миру, рисовать львов, тигров и дикарей...

Он неохотно кивнул. Она прижала его к себе, словно желая смягчить удар.

— Тогда тебе пора идти в школу.

— В школу? — как эхо, повторил он, слегка встревоженный. — Но я не хочу в школу!

— Знаю, малыш, но ты должен. Все мальчики ходят в школу. — Она взъерошила его черные кудри. — В Париже, на улице Гавр, есть большая школа, она называется лицей «Фонтан». Все хорошие мальчики учатся там. Они вместе играют, и им весело. Очень весело!

— Но я не хочу в школу!

---

<sup>1</sup> Часть поразительных детских рисунков Тулуз-Лотрека находится сейчас в музее Альби (городка неподалеку от родового замка графов Тулузских — Боск).



*Графиня Адель де Тулуз-Лотрек (мать художника)  
в салоне замка Мальроме. 1887*



На его глаза навернулись слезы. Анри еще не до конца понимал, о чем толкует мать, но смутно почувствовал, что рушится его привычный мир: прогулки по окрестностям, занятия с маменькой или с тетушкой Армандиной, катание на пони Томбуре рядом с Жозефом, ведущим его за узду, посещение конюшен, рисование портретов конюхов, игра в прятки с Анеттой в коридорах замка...

— Ш-ш-ш! — приложила палец к его губам мать. — Хорошие мальчики никогда не говорят «я не хочу». И ты не имеешь права плакать. Тулуз-Лотреки никогда не плачут.

Она вытерла платком его слезы, заставила высморкаться, объясняя, что графы Тулузские никогда не разрешали себе хныкать, они всегда храбро улыбались, как их предок граф Раймон, одним из первых рыцарей ворвавшийся в Иерусалим во главе крестоносцев.

— Кроме того, — привела она еще один довод, — с нами поедут Жозеф и Анетта.

— Правда?

Это немного успокоило Анри.

Анетта — маленькая старушка с добрыми голубыми глазами на морщинистом лице — нянчила еще саму Адель. Она давно потеряла все зубы, рот ввалился, казалось даже, что у нее вообще его не было. С утра до ночи сновала она по замку, седые волосы облачком вздымались над головой. А когда Анетта усаживалась за прялку в своей комнатке, Анри разрешалось, прикорнув на скамеечке у ее ног, слушать, как она своим высоким дискантом напевает старинные прованские баллады. И то, что Жозеф поедет с ними, тоже приободрило Анри. Он тоже был частью замка, как старый Тома, как платаны в саду или портреты предков в столовой. Хотя Жозеф редко улыбался, он был преданным другом, а кроме того, в своей шляпе с кокардой, белых бриджах и голубом кучерском кафтане он был прекрасной, терпеливой моделью для его рисунков.

— И это еще не все, — продолжала Адель. — В Париже ты встретишь... Угадай, кого? — Она сделала интригующую паузу, прищурившись поглядывая на сына. — Ты увидишь... папу!

— Папу?!

Ну, это совсем другое дело! Увидеть отца — это же великолепно! В редкие его приезды к семье все летело кувырком: занятия отменялись, часы еды и сна никто не соблюдал, казалось, сам старый замок пробуждался от спячки, его залы и коридоры дрожали от грохота отцовских сапог для верховой езды и грома властного голоса... Тогда начинались дальние и долгие прогулки-путешествия, он щелкал хлыстом, увлекательно рассказывал захватывающие истории про войну, про лошадей и охоту...

Глаза мальчика загорелись от восторга.

— И мы будем жить вместе с ним в его замке?

— В Париже не живут в замках. Там живут в пансионах, отелях или в прекрасных квартирах с балконами, с которых видно каждого, кто идет или проезжает по улице.

— Но мы будем жить с ним? — настаивал Анри.

— Да. По крайней мере, некоторое время. Папа будет возить тебя в Булонский лес — огромный парк с озером, где зимой парижане катаются на коньках, потому что тогда в Париже бывает снег. И еще папа поедет с тобой в цирк. А там — настоящие клоуны, львы и слоны! О, в Париже много интересного: карусели, кукольные представления...

Мальчик слушал, не спуская с матери восторженных глаз, раскрыв рот; слезы, только что дрожавшие на ресницах, высохли.

И начались дни, когда все в замке встало вверх дном: по лестницам и коридорам, как встревоженные куры, носились туда-сюда слуги. Вместо того чтобы заниматься сыном, Адель вела тихие и долгие беседы со старым Томом, с Огюстом — стариком-садовником, со старшим конюхом Симоном. Все комнаты были набиты открытыми сундуками, чемоданами, саквояжами. Прекратились и уроки вольтижировки на Томбуре с помощью верного Жозефа.

Через неделю — отъезд и все связанные с ним переживания: прощальные поцелуи на вокзале Альби, паровозы, пускающие клубы пара, как боевые кони перед битвой. Потом они вошли в купе с пружинными, обитыми бархатом сиденьями, багажными сетками, удивительными окнами, которые можно было опускать и поднимать. Три удара колокола, пронзительный свисток паровоза, скрежет колес по чугунным рельсам и за окном — уплывающий назад перрон, группа провожающих.

Вскоре замелькали окрестности Альби, которых до сего времени ему еще не доводилось видеть: купы деревьев, речушки, фермы под черепичными крышами.

— Смотри, мама, смотри!

Но постепенно то, что поначалу казалось таким захватывающе интересным, стало скучным и утомительным. Он задремал на убаюкивающем диване.

Когда Анри проснулся, они уже подъезжали к пригородам Парижа. И он снова прилип к окну.

— Смотри, мама, дождь!

Высокие, словно составленные из кубиков, дома с закопченными черепичными крышами, из окон и с балконов протянуты через улочки веревки, на них полощется белье. Дымят заводские трубы. Сломанные изгороди, заросшие буйными сорняками крошечные садики меж домами, груды исковерканного железа, ржавеющего под дождем. Через лужи и бегущие по улицам потоки, как муравьи, снуют мужчины и женщины — сгорбленные, закутанные в плащи и накидки. Вместо голубого неба Альби — пелена серых облаков... Отвратительное место — этот Париж!

Наконец со вздохом облегчения и лязгом буферов их состав останавливается. Рослые парни в голубой униформе ворвались в их купе, быстро похватили, словно собственные, их чемоданы и саквояжи и вывалились с поклажей наружу. Мать натянула перчатки и поправила шляпу.

На перроне море людей.

На голову возвышаясь над толпой, улыбается в усы красавец-мужчина: на голове блестящий цилиндр, под мышкой зажата трость с золотым набалдашником, в петлице пальто — белая гвоздика. Папа!





*Портрет графа Альфонса де Тулуз-Лотрека (отца художника). 1899*

Когда граф Альфонс Тулуз-Лотрек-Монфа не отсиживался в своем охотничьем домике, не гостил в замке титулованного приятеля, не отправлялся в Англию на псовую охоту, не посещал бегов на ипподроме в Лоншане или скачек в Дерби, не стрелял куропаток с каким-нибудь приятелем-герцогом, не преследовал оленя в Орлеанском лесу, не потягивал херес в фешенебельном кафе, не любезничал с балетной дивой Гранд-Опера, не целовал ручек очередной даме сердца,— он отдыхал от забот своей утомительной праздности в отвечающем его титулу семейном пансионе-отеле «Перей», расположенном в одном из старинных уголков Парижа, неподалеку от площади Мадлен. Здесь, в аристократических апартаментах, среди охотничьих трофеев, ружей, слуг и любимых ловчих соколов, которых держали в специально оборудованной для этой цели затемненной комнате, граф вел холостяцкий образ жизни.

Появление жены и сына нарушило привычный ритм. Но, к чести Его сиятельства, страдавшего от необходимости жертвовать своими привычками и терпеть иные неудобства, он стоически переносил лишения. Сводил сына в Зимний цирк, катал по Булонскому лесу. Посетил с ним Большие бульвары, сад Тюильри, даже провел целый день в Зоологическом парке, разглядывая обезьян, тигров и зевающих львов...

Он и сегодня намеревался продолжить выполнение своих родительских обязанностей. Облачившись в малиновый шлафрок и вытянув поближе к огню в камине свои длинные ноги, граф решил посвятить вечер воспитанию в наследнике фамильной гордости, внушить ему, что означает родиться Тулуз-Лотреком.

— Запоминай, мой мальчик. Его Королевское Величество и твой двоюродный прадед Понс трусили рысцей как-то после охоты по Фонтенбло, предаваясь воспоминаниям о тех счастливых временах, когда оба они были еще молоды и Мария-Антуанетта, которой тогда было всего пятнадцать лет, выходила в парк, чтобы поиграть с ними. Было это, конечно, еще до той проклятой революции, до того, как власть захватили эти каналы...— Он протянул руку за бокалом бренди, что стоял на столике рядом с его креслом.— И вдруг,— он сделал маленький глоток, провел пальцем по полоске усов,— кобыла твоего двоюродного прадеда взбрыкнула, и он очутился на земле...

— О Боже! — вырвался у Анри возглас сочувствия. Он сидел на краешке обитого красной кожей кресла, напряженно вытянувшись — весь внимание.— И он... он умер?

— Нет, отнюдь.

— Очень сильно ушибся?

— Да нет же, и не ушибся. Норовистая лошадь может сбросить самого лихого наездника... И неоднократно. И ничего позорного тут нет. Со мной самим не раз случалось подобное. Это нормально, мой мальчик. Но знаешь ли ты, что сделал Понс, поднявшись на ноги?

— Вскочил в седло?

Граф укоризненно покачал головой:

— Нет. Он расстегнул ширинку и опорожнил свой мочевого пузырь.



— Ты хочешь сказать, папа, что он... что он сделал пи-пи прямо на глазах у Его Величества? — в ужасе проговорил Анри.

— Клянусь бородой святого Иосифа, именно это он и сотворил! А почему? Потому что Понс был прекрасно воспитанным джентльменом и твердо знал, как следует поступать в том или ином случае. Придворный этикет был его коньком, а там есть старинное правило, которое гласит: если ты упал с лошади в присутствии короля, то должен тотчас же помочиться! Как будто для этого и покинул седло. Запомни это, Анри. Так что, если придет время и Его Величество вернется на трон предков, а ты будешь скакать рядом с ним и твоя лошадь вдруг сбросит тебя, надеюсь, граф Тулуз-Лотрек не растеряется, словно какой-то мужлан-простолудин, и совершит то, что следует.— Граф Альфонс обнажил в улыбке великолепные белые зубы, попыхивая гаванской сигарой, выпустил клубы дыма и остался доволен, увидев обожание в глазах сына. Симпатичный ребенок, этот Анри! Правда, несколько наивен и робок. Бабское воспитание. Пичкают мальчишку катехизисом и иным подобным вздором. Впрочем, чего можно ожидать от матери, которая каждое воскресенье отправляется к мессе?! У нее в спальне даже молитвенная скамеечка. Ничего, через пару лет приберу мальчугана к рукам, сделаю из него истинного джентльмена...

— Да, Анри, этим-то и отличается аристократ от какого-нибудь буржуа. Аристократ всегда знает, как ему следует себя вести. А буржуа...

Анри не спускает с отца преданных глаз — какой же он замечательный, его отец! У кого еще есть такой умный, такой красивый?! Когда он шествует по улице, прохожие даже останавливаются. Господи, как же интересно жить с ним рядом, в одном доме, узнавать разные необходимые вещи, такие, к примеру, что следует делать, когда катаешься на лошадях с Его Величеством. Как замечательно сидеть с ним вот так после ужина, словно ты уже взрослый, вместо того чтобы отправляться в спальню, пусть даже тебе придется бороться со сном!

А его кабинет! Нигде в мире нет второго такого кабинета! Оленьи рога, кабаньи и волчьи морды, прикрепленные к деревянным щитам, развешены по стенам, на каминной полке — серебряные кубки, в застекленных шкафах — разнообразные охотничьи ружья, рисунки лошадей в рамках. И пахнет здесь табаком, кожей и приключениями... Когда он, Анри, вырастет, у него будет такой же кабинет. И он тоже будет играть тростью с золотым набалдашником, курить сигару и прихлебывать из бокала, как папа, хотя пока Анри еще не знаком вкус этого напитка...

— Итак, совершив то, что предписывает этикет, твой двоюродный прадедушка вновь взобрался в седло и продолжил беседу с королем о юных днях. О том времени, когда король еще не был королем, а только наследником престола, носившим титул графа д'Артуа. Знаешь, почему его так звали? — Он сделал паузу, улыбаясь и поглаживая короткую черную бородку.— Да и откуда тебе знать? Так уж и быть, расскажу, а ты слушай внимательно.— Он вновь потянулся к бокалу и пригубил его.— В старые времена вся Франция состояла из суверенных провинций. Они назывались: Артуа, Шампань, Бургундия, Аквитания и так далее. В каждой провинции был свой государь — граф или герцог, поэтому провинции назывались графствами или герцогствами. Некоторые из суверенов носили и тот и дру-

1ой титул. Мы, например, были не только графами Тулузскими, но и герцогами Аквитанскими. Запомни это! — Он снова умолк, чтобы мальчик сумел лучше и навсегда уложить в свою голову столь важные сведения.

— Всегда помни свою родословную. Мы — графы Тулузские и герцоги Аквитанские! — Роль наставника была графу в новинку, и он наслаждался ею. — Может, уже хочешь спать?

— Нет-нет, папа! Нет!

— Так запоминай: мы не только графы Тулузские и суверены Аквитании, нашему роду принадлежат титулы графов Кверси, Лорка, Альби, а также мы — маркизы Нарбон и Готье, виконты де Лотрек, но... — он вперил горящий взгляд в глаза сына, в его тоне слышались торжественные ноты, — но прежде всего, мой мальчик, мы всегда были и будем графы Тулуз-Лотреки. — Необычная нежность зазвучала в его голосе. — Сегодня я — глава рода. Когда-нибудь настанет твой черед, а там титулы перейдут к твоему старшему сыну, к сыну его сына... И так — до скончания веков, до тех пор, пока будет существовать Франция... — Но тут он заметил, что глаза Анри подернулись сонной дымкой. — Ладно, на сегодня достаточно. Ты совсем спишь. В постель, мой мальчик! И не забывай того, о чем нынче узнал.

Анри сполз с кресла. Когда он подошел к отцу, чтобы поцеловать его на ночь, тот поставил мальчика меж колен и взял за плечи.

— Хочешь быть сильным, сын? Прекрасно! Жозеф говорит, что ты отлично держишься в седле. Молодец! Клянусь бородой святого Иосифа, если мы, Тулуз-Лотреки, умеем что-нибудь хорошо делать, то это — скакать на лошадях! На будущее лето отправимся с тобой в Лорку, на охоту. Пора тебе уже познакомиться с такими вещами. Нет лучшей школы верховой езды, чем охота на оленя.

Всю следующую неделю молодого графа посвящали в тонкости его древней генеалогии и геральдики.

— Граф графу рознь, — поучал отец. — Так же как существуют разные вина, разные лошади и, как ты поймешь через несколько лет, разные женщины... Есть мелкое дворянство, владевшее клочками земли и жалкими замками каких-нибудь один-два века. Некоторым короли жаловали графские титулы за службу в судах, магистратах... Разные провинциальные сановники... Кичатся графскими и баронскими титулами иные выскочки, получившие их от папы римского, а то и от узурпатора Бонапарта! Смех да и только! Что о них сказать? Кого могут прельстить они своими титулами? Разве что толстосумов из Чикаго!

— А что такое Чикаго?

— Есть такой городишко в Америке, где всякие пройдохи владеют бойнями, торгуют говядиной и свининой, но стремятся пристроить своих дочерей за сомнительных дворян с громкими титулами. Впрочем, мне этих девиц даже жалко, они, как правило, прехорошенькие... Короче, все эти новотитулованные графы и бароны и в подметки не годятся подлинным представителям старинных родов, таким, как графы Тулуз-Лотреки... Они, как говорил твой покойный дед, не того поля ягоды. Мы всегда были суверенами, рыцарями, правили в своих провинциях, на своих землях, вершили суд, издавали законы, обменивались послами с другими



независимыми владетелями, объявляли войны и заключали мир... Воевали даже с папой римским! Как-то, чтобы показать римскому владыке, что с нами шутить опасно, Тулузские графы повесили его легата. В те времена мы были самыми влиятельными, богатыми, могучими суверенами во Франции.

— Важнее монсиньора архиепископа?

— Архиепископа? — кабинет огласился раскатами громового хохота. — Любой Тулуз-Лотрек стоит дюжины архиепископов и двух-трех кардиналов в придачу! Бред, клянусь бородой святого Иосифа! И кто только мог внушить тебе, что архиепископ — важная персона?

— Никто, — поспешно ответил Анри, чтобы не выдать матери.

Когда граф Альфонс не разглагольствовал о своем роде, он знакомил сына с коллекцией ружей, даже разрешал трогать их полированные жога, вороненные стволы, прижимать к плечу, целить в стенку, чтобы тот смог почувствовать их прикладистость и легкость, рассуждал о страстно любимой им соколиной охоте, знатоком которой не без оснований себя считал.

Иногда граф внезапно как бы забывал о средневековье и охоте с ловчими птицами и превращался в современного франтового парижанина, этакого денди. Являлся домой в белоснежном костюме и, попыхивая сигарой, шествовал через устланные коврами холлы и анфилады аристократического семейного отеля «Перей», горничные и слуги кланялись и приседали в глубоких реверансах, восторженно приветствуя господина графа. Молоденьких и хорошеньких он успевал на ходу потрепать по щечке, перед теми же, кто постарше, небрежно приподнимал шляпу... Однако некоторые неудобства, вызванные присутствием жены и сына, начали вскоре сказываться на поведении графа Альфонса. Он стал раздражаться, покрикивать на прислугу. За семейным столом хмуро молчал. Прекратились и вечерние воспитательные беседы с сыном.

— У твоего отца множество серьезных дел, — постаралась внушить мальчику графиня Адель. — Боюсь, мы ему мешаем.

Вскоре они поехали на бульвар Малерб. Входная дверь впустила их в вестибюль, выложенный мозаикой. Наверх вела мраморная лестница, устланная ковровой дорожкой. На каждом пролете — кадки с пальмами.

Лысый привратник в ливрее проводил их в бельэтаж, распахнул двери и отступил в сторону, пропуская новых жильцов. Перед Анри лежал длинный коридор, разделявший апартаменты. Конечно, не такой длинный и чудесный, как переходы замка Альби, где можно было прятаться целыми днями, но достаточно просторный, чтобы и здесь играть. В пустой еще гостиной с потолка свисала огромная хрустальная люстра.

— Неужели те, кто жил здесь прежде, забыли ее? — удивился мальчик.

После того как они с матерью обошли множество пустых комнат, графиня сказала:

— Теперь это будет наш новый дом, Анри. Нравится тебе тут?

Он заявил, что нравится. Даже очень.

Через несколько дней привезли мебель. Кое-что доставили и из старого замка. Анри с удовольствием встречался со знакомыми вещами: маминым

креслом, стоящим в гостиной на коврах из Савойи, тех самых, на которых он делал свои первые шаги, в будуар графини вернулся секретер розового дерева, на стенах появились привычные постели XVIII века, на каминной полке — маленькие часы с гипсовыми фигурками, с которыми он был знаком всю жизнь.

Временами казалось, что он вообще никуда не уезжал из Альби.

\* \* \*

Первый день в лицее «Фонтан» был наполнен неожиданностями и открытиями.

Отец Мантуа — наставник подготовительного класса — начал урок с того, что вознес молитву Святому Духу, потом произнес краткую речь, поздравив лицеистов с поступлением в «Фонтан», где они будут приобщаться к христианским ценностям, войдут в чудесный мир знаний. Затем, спустившись с кафедры и прогуливаясь меж партами, принялся диктовать:

— Небо — голубое. Снег — белый. Кровь — красная. Потому наш флаг — сине-бело-красный.— Подошел к Анри, склонился над его плечом.— Очень хорошо, сын мой,— тихонько поощрил он малыша.— Очень хорошо.— И, улыбаясь, зашагал дальше по проходу, сцепив руки за спиной и толкая коленями полы длинной рясы.— Море — синее. Деревья — зеленые...

На перемене Анри оказался в одиночестве. Как и говорила мама, вокруг было множество мальчиков, они бегали, кричали, веселились вовсю. Вероятно, они давно были знакомы друг с другом и не собирались принимать его в свои игры. И он скучал, стоя в сторонке и наблюдая за соревнованиями по прыжкам в длину. Но тут к нему подошел бледный веснушчатый блондинчик в бриджах и с итонским<sup>1</sup> галстуком на белой рубашке.

— Ты новичок? — поинтересовался он, остановившись в двух шагах от Анри.

— Да.

— Я тоже.

С минуту они молча присматривались друг к другу.

— А кем ты собираешься быть, когда вырастешь?

— Морским капитаном.

— А я хочу стать пиратом! — Белокурый незнакомец придвинулся на шаг.— Может, тоже пойдешь в пираты, как я?

— Не знаю. А что они делают, пираты?

— О! Они с abordажными саблями в зубах захватывают всякие корабли и сбрасывают их команду в море.— Он помолчал и, вспомнив, вероятно, некоторые подробности пиратских историй, добавил: — А когда покончат с этим делом, поворачивают свой корабль назад и плывут на необитаемый остров, где прячут в пещерах и ямах добытые сокровища, танцуют и пьют ром...

Пиратская жизнь чрезвычайно заинтересовала Анри.

— Может, нам удастся поплавать вместе? На одном корабле? Тебя как зовут?

---

<sup>1</sup> Итон — привилегированная частная школа в Англии.



Страницы  
из школьных  
тетрадей

Лошадь.  
Из детских  
набросков

— Морис... Морис Жуаян. А тебя?

— Анри-Мари-Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа.

— Какое длинное имя!

Они еще на шагок приблизились друг к другу. Встали почти вплотную.

— А сколько тебе лет? — спросил Морис.

— Скоро восемь.

— А мне уже почти восемь с половиной! — Победная пауза.—

А откуда ты?

— Из Альби.

— Это где?

— Далеко. Очень далеко. Нужно почти целый день ехать поездом.

— А снег у вас там бывает?

Удрученный Анри отрицательно замотал головой:

— Нет... Только иногда, высоко в горах.

— А вот откуда я, там зимой обязательно идет снег! — Полный триумф



Жуаяна, но он все-таки оставался приветливым, и голубые глаза на веснушчатом личике светились добротой.— Может, поиграем? Хочешь?

— Хочу. Давай посмотрим, кто быстрее бежит...

Вернувшись вечером домой, Анри бросился к матери и, захлебываясь словами, принялся рассказывать о своем новом друге и о том, что они обязательно станут пиратами.

— Мы будем захватывать на abordаж чужие корабли и убивать всех на борту! Потом — танцевать, петь, играть, зарывать сокровища в песок и пить ром!..

Посещение лица оборачивалось очень приятным делом. К их с Морисом компании примкнули еще несколько новичков, пожелавших стать пиратами. Единомыслие создавало прочную базу для дружбы. Теперь они играли вместе. Перемены были уже слишком коротки. Анри носился по коридорам, кричал, скакал, пока пот не заливал лба. Даже занятия казались достаточно сносными. Отец Мантуа был им доволен.

— Ты только посмотри, мама!

В этот день классный наставник вызвал Анри к кафедре и перед всеми учениками прикрепил к его матроске Почетный крест — прекрасную медную копию ордена Почетного легиона, покрытую эмалью.

Адель ахнула, пощупала крестик и заявила, что это самая красивая вещица из всех, какие она когда-либо видела.

— Я горжусь тобой, Рири! — Мать обняла его и долго не выпускала из своих объятий.— Очень горжусь!

Постепенно замок, их путешествия по окрестностям в двуколке, даже прогулки верхом на Томбуре отошли в прошлое. Жизнь Анри превращалась в серьезное, строго регламентируемое занятие, каждое утро начинавшееся стуком Жозефа в двери детской:

— Месье Анри! Семь часов. Пора вставать.

Он вскакивает, быстренько принимает ванну, потом кидается в столовую, где его уже ждет улыбающаяся Анетта в белой наколке. Чашка горячего шоколада. Последний кусочек хрустящего рогалика. Прощальный поцелуй матери. С вешалки сорван берет с помпоном и пелеринка. Без четверти восемь он уже сбегает по лестнице, покрытой ковровой дорожкой, и спешит в лицей в сопровождении Жозефа, который на почтительном расстоянии следует за ним, накинув на ливрею пальто.

Тут они уже неразлучны с Морисом. Во время уроков пересылают друг другу записочки, на переменах всегда вместе. В воскресенье отправляются в парк Монко, катают там обручи или играют в пиратов возле пруда, вокруг колонн маленького греческого храма.

Если шел дождь, в парк не ходили. «Пиратствовали» в просторном коридоре квартиры: «брали в плен» Жозефа и тащили на свой «корабль», требуя, чтобы он изображал несчастную побежденную команду. «Закалывали» горничных, запрягали кухарку, палили во все стороны из своих деревянных пистолетов, врывались в комнату к Анетте...

Однажды, когда друзья «лежали в засаде» на ковре гостиной, наводя на окружающих ужас своими черными лицами, перемазанными женой пробой, Морису неожиданно пришла в голову новая идея:

— А не стать ли нам трапперами — канадскими охотниками? Что скажешь?

— Охотниками? — протянул Анри, застигнутый врасплох неожиданной переменной жизненных планов. Ему нравилось быть пиратом: поднимать черный флаг, прыгать на палубы мирных английских кораблей с саблей в зубах. — А чем эти охотники занимаются?

— Ого! Они скачут на мустангах по непроходимым лесам, охотятся на огромных кодыакских медведей, сражаются с дикими индейцами. Представляешь? Мы с тобой будем жить в хижине возле огромного озера...

Предложение выглядело заманчиво. Надо обдумать. Особенно радовала Анри перспектива жить вместе с Морисом. Однако, чтобы показать свою независимость, он выдвинул было несколько возражений. Но Морис решительно их отклонил.

Вскоре Анри сдался.

— Хорошо, будем канадскими охотниками. Но только условие: жить всегда вместе и никому не позволять разлучать нас. Мы никогда не должны расставаться!

— Никогда! — подхватил Морис Жуаян.

— Я бы хотел быть твердо уверен в этом. — Последовала долгая пауза.

— Есть лишь один способ, — нарушил тягостное молчание Морис. — Мы должны побрататься. Стать кровными побратимами! Кровь свяжет нас на жизнь и на смерть. — Эту фразу Жуаян вычитал в очередной приключенческой книге из жизни канадских трапперов, и она ему страшно понравилась. — Что ты на это скажешь? Согласен стать моим кровным побратимом?

Анри с энтузиазмом закивал.

— А ты — моим?

— Конечно, я тоже. Но запомни: это на всю жизнь. Отказаться уже будет невозможно. У человека бывает только один кровный побратим. Это значит, что если один из нас окажется в беде, то другой обязан кинуться на помощь, не раздумывая и не щадя жизни!

В этот день, когда мартовский дождь хлестал по стеклам окон, каждый из друзей уколол себе булавкой безымянный палец, и они смешали выступившие капельки крови. Потом торжественно пожали друг другу руку.

— Теперь надо произнести нерушимую клятву, — продолжал придумывать ритуал Морис. — На жизнь и на смерть!

— На жизнь и на смерть! — повторил Анри, сердце которого, казалось, готово выпорхнуть из груди. — Давай сплунем в огонь, чтобы наша клятва стала совсем священной.

Они поплевали в горящий камин.

— Теперь мы связаны нерасторжимо и на всю жизнь, до самой смерти, — со счастливой улыбкой проговорил Анри. — Это все равно, как если бы мы были настоящими братьями, родными братьями!

Так прошла первая парижская зима. Каштаны бульвара Малерб покрылись пушистыми комочками почек. И однажды возвратившегося из лица Анри встретила заваленная чемоданами и баулами квартира. Ковры свернуты, картины задрапированы, на стульях, креслах, диванах — чехлы...

Незаметно пролетел учебный год.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Кончались первые каникулы. Скоро придется возвращаться в Париж, в лицей. Как приятно было вновь побывать в Альби, всласть наиграться в прятки в таинственных закоулках и коридорах замка, навестить любимых лошадей в конюшне, кататься по утрам на верном Томбуре, рисовать все новые и новые портреты конюхов и горничных и, конечно, сочинять и отправлять кровному побратиму длинные путанные письма, наполненные планами их грядущей «канадской» охотничьей жизни. Короче говоря, очень приятное было лето.

В самом начале сентября Анри с матерью в сопровождении Анетты и Жозефа поехали в Селейран — родовое поместье графини Адели. Дом, стоявший в конце аллеи могучих тополей, построенный лет двести назад, не был замком, хотя и назывался Шато де Селейран, — ни крепостных стен, ни башен — большой квадратный дом с зелеными ставнями на окнах.

С крыльца, едва только в глубине тополиной аллеи появилась их карета, бросился к ним навстречу, размахивая носовым платком, дедушка Леонсий. Широкая улыбка между пушистыми бакенбардами, золотая часовая цепочка мотается на кругленьком животе. Радостные восклицания. Подбежавший слуга хватается под уздцы взмыленных лошадей; Жозеф, соскочив с козел, спешит откинуть ступеньку кареты. Суматоха, поцелуй. Рука деда треплет щечку внука.

На рассвете следующего дня дед на цыпочках входит в его спальню.

— Молодой человек! Просыпайтесь! Птицы уже давно проснулись! — И дедушка усаживается на край постели. — Ну-ка, дай хорошенько рассмотреть тебя. Хм... Нормально. Правда, несколько бледноват... Не болел ли зимой?

— Нет, дедушка.

Старик с некоторой тревогой всматривается во внука.

— Ты ведь обязательно будешь здоровым и сильным, правда, Анри? И таким же высоченным, как твой отец?

Станный вопрос. Конечно, он вырастет большим и сильным! С годами все вырастают. Ну, может, и не станет таким огромным, как папа, но уж во всяком случае не меньше дедушки, маленького толстяка.

После завтрака они вместе отправились на давилюю. Селейран — большое поместье, полторы тысячи гектаров, много виноградников. Время от времени Леонсий де Селейран сдерживал коня, чтобы перекинуться парой фраз со своими фермерами-арендаторами, а то и просто с батраками, собирающими с бесчисленных лоз налитые соком гроздья.

— Мой внук, — горделиво кивал он, представляя им Анри. — Не правда ли, рослый негодник?

У огромных давильных чанов толпился народ. Босоногие мужчины и женщины, взобравшись на них, исполняли на горах винограда нечто похожее на боевые танцы индейцев. Анри тут же принялся рисовать их.

На следующий день они с дедушкой посетили зернохранилище, затем поехали на птичник, заглянули на молочную ферму, в конюшни. Неисчерпаемые сюжеты для набросков и этюдов: старенький ослик, тянущий ящик



с навозом<sup>1</sup>, петухи, важно вышагивающие, как на ходулях, на своих длинных ногах, гуси, утки, овцы, коровы...

По вечерам в большом доме звучали музыка и смех. Хозяин закатывал грандиозные банкеты для своих гостей. Восседая во главе стола в элегантном сюртуке и парчовом жилете, он сам потчевал родственников и соседей, подкладывая в их тарелки лучшие кусочки, побуждая запивать мясо вином, его собственным превосходным селейранским вином; за десертом, раскрасневшийся, слегка захмелевший, шутил, провозглашал тосты за здоровье каждого присутствующего...

Лежа в постели, улыбаясь и перебирая в памяти увиденное и услышанное за таким ужином, Анри слышал шаги матери.

Графиня вошла к нему в спальню с листком бумаги в руках.

— Отец хочет, чтобы ты приехал к нему в Лаури, где он сейчас охотится,— тихо и печально сказала она.

— А ты поедешь?

Она ответила не сразу. В потухших глазах уже не горели веселые огоньки, только что сиявшие за отцовским столом.

— Поедешь?

Мать склонилась к нему, провела пальцами по лбу и щеке.

— Нет, малыш. Тебя будет сопровождать Жозеф, он...

— Тогда и я не поеду! Не поеду! Не поеду! Не хочу ехать без тебя! Ну почему ты не едешь? Почему?

Она прикрыла ладонью губы сына.

— Тише! Тише! Послушные дети никогда не говорят «не хочу», «не поеду». Папа хочет, чтобы ты стал, как он сам, отличным наездником, спортсменом. У тебя будет красивый охотничий костюм, шляпа и розовый плащ. Помни, ты никогда не должен называть плащ красным, только розовым. Розовым, понимаешь? Папа возьмет тебя на охоту, познакомит с хорошими людьми. Тебе будет очень весело. Когда тебя будут представлять какому-нибудь господину, не забудь поклониться и сказать: «Для меня большая честь, месье, познакомиться с вами!» И если кто-то при знакомстве захочет тебя поцеловать, не смей отворачиваться, как ты это обычно делаешь. И еще... не забывай причисываться, чистить зубы, читать молитвы, как я тебя учила...

Ее мягкий, ласковый тон погасил его агрессивный протест. Постепенно в голове зародились радужные картины встречи с отцом, скачки по полям и лесам в развевающемся красном — нет, розовом! — плаще...

В эту ночь ему снилось, что он ведет в поход войско крестоносцев вместе с великим пращуром Раймоном Тулузским и множеством рыцарей в розовых плащах; они скачут по холмам и долинам Палестины, охотясь на благородных оленей.

\* \* \*

— А вот и ты, мой милый! Ну-ка, дай посмотреть на тебя! — Уже минут десять Анри в своем миниатюрном охотничьем наряде незамеченный топтался у дверей большого, отделанного дубовыми панелями зала,

---

<sup>1</sup> Эта акварель, а также другие зарисовки, сделанные в Селейране, хранятся сейчас в городском музее Альби.

где гудела толпа господ в ботфортах и розовых плащах и красивых дам в шляпках с вуалями и длинных юбках-амазонках. Все эти люди переговаривались, смеялись, пили вино из серебряных кубков и не обращали на него ни малейшего внимания. И вот он наконец предстал перед отцом, высоченным, в неотразимом охотничьем наряде, улыбающимся, похлопывающим стеком по голенищу своего высокого сапога.

— Повернись! А ведь неплохо! Отлично сидит костюм. Хорошо, что графиня не забыла прислать его вместе с тобой. Вот только волосы у тебя слишком длинные: когда вернешься в Париж, скажи маме, чтобы подстригла, а то похож в этих локонах на девочку, не правда ли?

Продолжая улыбаться, граф Альфонс положил руку ему на плечо и повел к группе людей, толпившихся возле камина.

— Дамы и господа! Разрешите представить вам моего сына и наследника Анри-Мари-Раймона де Тулуз-Лотрек-Монфа, — с веселой торжественностью возгласил он. — Я решил, что ему пора посетить охоту, посмотреть, как это делается. Ведь учиться этому никогда не рано, а?

Кланясь очередному гостю, отец церемонно произносил, представляя его Анри:

— Виконтесса Тур-Жакелэн — Анри Тулуз-Лотрек... Баронесса де Вобан — Анри Лотрек... Господин граф де Сент-Ив — Лотрек... Анри, позволь представить тебе моего старого друга герцога де Дудовилль. Это его лошадь в прошлом году взяла Гран-при. Герцог — президент Жокей-клуба, так что будь с ним полюбезнее, а то не примет тебя туда!

Анри лихорадочно пытался вспомнить мамины наказания, но все они вдруг улетучились из головы. Кровь прилила к лицу, он неуклюже кланялся и мямлил что-то невразумительное, уставясь в пол.

— Несколько робко, — улыбнулся ему герцог и подбодрил: — С возрастом, держу пари, это пройдет. С кем из мальчиков не случилось подобного?

Представление продолжалось:

— Мой сын — герцогиня де Роан... маркиз де Вилланёв... граф де...

Имена, имена, имена!.. Длинные, незнакомые... Разве запомнишь?! Улыбки, поклоны, рукопожатия... Кто-то тянется потрепать по щеке, кто-то — похлопать по плечу. Мужчины в основном вели себя нормально: несколько приветливых слов — и возвращались к своим серебряным кубкам. Но зато женщины! Обступили, гладили, ерошили волосы, присев на корточки и приподнимая вуали, старались поцеловать... Какой прелестный ребенок! Маленький охотник! Как идет тебе твой розовый плащ! Сколько тебе лет, малыш? Очаровательно! А какие локоны! Непременно навести нас, когда вернешься в Париж!.. Они ворковали, кудахтали... А он в ответ мог лишь выдавить: «Да, мадам... Нет, мадам... Восемь с половиной, мадам, почти девять...» И, памятуя указания матери, не отворачивал лица, когда они обнимали и касались щеки влажными накрашенными губами...

Всю эту неделю в Лаури Анри был очень занят. Едва удавалось ускользнуть от общества взрослых, он убегал в конюшни, угощал лошадей кусочками сахара, уговаривал конюхов попозировать ему для портретов,

рисовал псов, лошадей, амазонок, восседавших в дамских седлах, их развевающиеся на ветру вуали...<sup>1</sup>

И конечно, участвовал в охоте! Наблюдал, как тянули псарей своры заливающих лаем гончих, как конюхи едва удерживали под уздцы горячих, бьющих копытами коней, в то время как господа помогали дамам взобраться в седла. Приобрел начальные знания об охоте на оленей, усвоил азы строгих правил этого аристократического вида спорта. Под неусыпной опекой Жозефа следовал за кавалькадой, учился брать препятствия — перескакивал через кусты, невысокие изгороди, форсировал вброд ручьи и мелкие речушки, прислушивался к звукам рога, с помощью которого загонщики оповещали охотников о том, где находится олень, с вождением следил, как выводили животное «на номера». Он уже знал, когда следует заставить своего пони замереть на месте, а когда, опустив поводья, свистом хлыста посылать его в погону... Наконец, когда олень был загнан, Анри услышал траурное завывание рога и увидел последний ритуал — закалывание добычи. Но когда животное, задыхаясь, упало на колени и из его глаз покатились слезы, мальчик отвернулся и в глубине души решил, что охота ему не нравится.

Он был рад, когда пришла пора прощаться и ехать в Париж.

\* \* \*

Новый наставник отец Жаме был куда строже отца Мантуа из подготовительного. Без всякой снисходительности относился он к любым проделкам своих подопечных: никаких подсказок, обмена записочками, никому не удавалось списать что-либо у соседа. Он поглядывал на учеников поверх очков, и его стального цвета глаза на полном, гладко выбритом лице были пронизательны и всевидящи.

Восстановился строгий распорядок дня: утром в двери спальни стучал Жозеф: «Месье Анри! Семь часов. Пора вставать». Наскоро бултыхаешься в ванну, проглатываешь чашку горячего шоколада, хватаешь берет и пелерину, сбегаешь вниз по лестнице...

А по вечерам, при свете настольной лампы — уроки на завтра. Мать, сидя в своем кресле у камина, читает или вышивает, время от времени помогая сыну в решении трудной задачки. Когда часы на камине бьют девять раз, она говорит: «На сегодня хватит, малыш. Пора спать». Объятие, нежный поцелуй... И уже засыпающий, с головой, переполненной цифрами и латинскими глаголами, Анри отправляется в постель.

Конечно, жизнь состояла не только из учебы. На переменах — прежние игры в пятнашки, соревнования по прыжкам, вольная борьба. По воскресеньям — игры в индейцев в парке Монко. Вместе с Морисом и другими одноклассниками Анри раскуривает Трубку мира в кустах у подножия мраморной скульптуры «Покинутая», возле возведенного их же собственными руками «вигвама», скачет через воображаемые костры. Безмятежные мона-

---

<sup>1</sup> Большинство этих рисунков тоже находятся в музее Альби и стали известны благодаря многочисленным репродукциям.





Страницы  
из школьных  
тетрадей

хини-бернардинки и пожилые господа, читающие газеты на скамейках парковых аллей, вздрагивали при виде танцующих, гикающих, гримасничающих ирокезов в коротких штанишках и итонских галстучках.

Так миновала вторая парижская зима, счастливая и переполненная, как и первая, познанием мира.

Анри исполнилось девять. Он стал настоящим парижским школяром, привычным к гаму бульваров, позвякиванию колокольчиков конок, нескончаемому потоку экипажей, к постоянным спорам кучеров с полицейскими. Иногда он навещал отца в его фешенебельных покоях отеля «Перей».

— Почему мы не живем вместе в папой? — спросил он однажды у матери.

— Потому что граф Альфонс очень занятой человек, — ответила она. — Расскажи-ка лучше, что сегодня было в школе...

Постепенно квартира на бульваре Малерб стала для него родным домом. Роскошная церковь Ла Мадлен в их квартале, с привратником,

облаченным в средневековый костюм и шляпу с плюмажем, с коллекцией замечательных позолоченных подносов, с которыми обходили молящихся, заменила древний и привычный собор в Альби в качестве места, куда по воскресеньям следовало являться для общения с Богом. Графиня познакомилась с несколькими жившими по соседству дамами, и теперь, возвращаясь из лица, Анри заставлял в гостинной посетительниц. Часто навещала их дом мадам Пруст, жена известного врача. Нередко она приходила с сыновьями — Марселем и Робертом. Иногда гостиную графини Адели посещал и сам доктор Пруст. Анри считал его исключительно мудрым человеком: тот никогда не забывал сделать восхищенный комплимент его Почетному кресту.

В эту зиму Анри впервые должен был пойти к причастию. Во время подготовки к сему торжественному акту его подвергли интенсивному инструктажу. Перед сном он был обязан повторять десять заповедей, вспоминать деяния Сына Божия, его заветы Веры, Надежды, Любви, Милосердия, Покаяния. У него установились близкие отношения со Святым Духом, Девой Марией, со Святой Троицей, ангелами и архангелами, с апостолами, а также со всем сонмом святых, мучеников, девственников, отшельников, людей святой жизни, которые после земного бытия, преисполненного страстями и страданиями, пребывают ныне на небесах, где вкушают блаженство.

Что касается Вседержителя, то Анри в глубочайшей даже для самого себя тайне сомневался в его могуществе. Пусть катехизис и Библия были наполнены откровениями о Его великих свершениях, все эти деяния, если внимательно присмотреться, значительно уступали Его посулам. Сколько раз Анри молил о нескольких самых простеньких чудесах, но Господь почему-то не внимал ему или был слишком занят, чтобы совершить их.

Наконец причащающийся пришел к выводу, что Господь щедр и могуществен, но необычайно скуп на дары и иные проявления своей власти. Он был вроде отцовского брата, дяди Одона, которого все считали сказочно богатым, но он никогда никому из близких ничего, кроме рождественских открыток, не посылал.

\* \* \*

И снова пришла весна. Почки каштанов на бульваре Малерб раскрылись, как жадные детские ладошки. Граф выразил желание отправиться с сыном на Конкур-иппик — ежегодные и популярнейшие среди парижского бомонда бега. В следующее же воскресенье, после мессы, мать повезла сына в «Перей», по дороге внушая ему правила хорошего тона: не лезть со всякими вопросами, не заговаривать, пока к нему не обратятся, не забывать о благородных манерах...

— Короче говоря, води себя достойно. Не забывай о том, что ты Тулуз-Лотрек,— закончила она свои наставления, расправляя складки на его белом матросском костюмчике.

Карета остановилась возле подъезда отеля. Поправив бескозырку на голове сына и имитацию ордена Почетного легиона на груди, мать распахнула дверцу. Он быстро поцеловал ей руку и выскочил из экипажа. У дверей отеля обернулся, чтобы послать матери воздушный поцелуй

и взмахом руки попрощаться с Жозефом. Затем нырнул в знакомый вестибюль.

Когда Анри влетел в кабинет отца, тот повязывал перед трюмо галстук.

— Чудесный день, не так ли? — улыбнулся он отражению сына в зеркале. — Вижу, мама наконец постригла тебя? Вот и отлично!

Он вставил в петлицу белую гвоздику, прихватил трость, принял из рук лакея сверкающий цилиндр, осторожно надел его и направился к выходу.

— На будущий год мы поедем в Булонский лес верхом, вместо того чтобы трястись в карете, как немощные старухи, — заявил отец, когда они мягко катили в экипаже по Елисейским полям. — Место дворянина на спине лошади, а не позади ее хвоста!

Анри жадно вглядывался в происходящее рядом: по обеим сторонам от них нескончаемой рекой текли кареты, шарабаны, ландо, фешенебельные извозчики и фиакры. Лошадиные подковы стучали по булыжной мостовой, словно затяжной ливень, на апрельском солнышке сверкали бляхи упряжи, яркими пятнами выделялись зонтики дам, их украшенные цветами шляпы, ливреи лакеев.

— А у тебя Почетный крест? За успехи в учебе? Молодец! Отлично! Мама говорила, что ты — первый ученик. — Отец снисходительно улыбнулся. — Но, надеюсь, Тулуз-Лотрек не превратится в книжного червя? Книжки хороши на своем месте. Как и живопись, музыка — все это предназначено для женщин. В жизни мужчин есть более важные вещи.

Время от времени отец прерывал свою речь, приподнимая цилиндр, приветствуя какого-нибудь знакомого. В его мимике, улыбке, жестах чувствовалось воспитанное поколениями знание правил хорошего тона, светских манер: супружеской паре — герцогу Роану с женой — осколкам прошлого режима — чопорный поклон равного, дочери банкира, недавно выскочившей замуж за аристократа, — небрежный, снисходительный кивок, актрисочке Софи Круазет, демонстрирующей свою новую коляску, — многозначительная улыбка и понимающий взлет бровей...

— Кстати, начал ли ты брать уроки фехтования? — вновь обращается он к сыну. — Поверь, владение шпагой куда важнее всяких геометрий или речей Цицерона: оно дает право говорить каждому то, что ты о нем думаешь. А как у тебя с танцами? Ими тоже следует заниматься всерьез. Великие карьеры строились или рушились в зависимости от умения вальсировать.

Когда их карета подъезжала к Триумфальной арке, он наклонился и через переднее окошечко постучал набалдашником трости по спине кучера:

— К «Ротонде», Франсуа! — И карета свернула направо.

Граф Альфонс, откинувшись на спинку сиденья, еще шире улыбнулся сыну, демонстрируя свои белые зубы.

— Уверен, что здесь ты еще не бывал. Твоя матушка, вероятно, не одобрила бы этого. Я полагаю, на ее вкус тут несколько фривольно.

Когда Анри с отцом появились на веранде ресторана, там под полосатыми зонтами сидели за белыми столиками созвездия дам в ярких весенних туалетах и мужчин в цилиндрах и с бакенбардами. Они потягивали аперитивы в ожидании заказанных блюд.



— Один шерри,— бросил подскокившему официанту Тулуз-Лотрек.— А молодому человеку — розовый гренадин.

Анри настороженно осматривался. Со стороны невысокого помоста, декорированного по краям пальмами в кадках, доносились томные звуки медленного вальса. Солнечный свет вливался сюда сквозь большие сводчатые окна бледными, как бы туманными потоками. В его лучах поблескивали золотые оправы очков, вспыхивали разноцветными искрами драгоценности на дамах. Несмотря на большие размеры помещения, в «Ротонде» сохранялась интимная атмосфера аристократического салона. Новые посетители издали приветствовали приятелей взмахом руки или подходили к столику с кратким визитом. Дамы протягивали ручки для поцелуев, кокетливо смеялись, кивали знакомым.

— Видишь того господина с густой седой бородой? Вон, возле окна? — шепнул граф, склоняясь к Анри через столик.— Это Виктор Гюго. Сенатор. Разумеется, республиканец. Сегодня все — республиканцы. Между прочим, он, кажется, что-то пишет. Политика и литература. Бедная Франция, они доведут ее до гибели!

Вдруг он встал и прошел к соседнему столику. Анри видел, как он поклонился, галантно поцеловал протянутую дамой ручку, обменялся несколькими шутивными фразами с ее эскортом и так же внезапно вернулся.

— А вон тот господин с квадратной бородкой и моноклем, видишь? — как ни в чем не бывало продолжил он разговор с сыном, пригубив бокал уже принесенного шерри-бренди.— Тот, что беседует с прехорошенькой дамой? Это бельгийский король Леопольд.

— Король? — изумился Анри, уставясь на пожилого бородатого господина.

— Не смотри в упор! Это невежливо. А кроме того, он здесь инкогнито.— И граф Альфонс обернулся, почувствовав на своем плече чью-то руку.

— О, милейший Дудовилль! Привет! Помнишь моего отпрыска? Я представлял вас друг другу в Лаури. Хочу, чтобы сын вдохнул аромат парижской жизни, прежде чем отправиться на Конкур-иппик.

Анри вскочил со стула и отвесил глубокий поклон. Герцог улыбнулся ему, потрепал по щеке, обменялся с графом несколькими приятными словами и с независимым видом удалился.

Через минуту возле их столика вырос другой приятель. Быстрее вскочить, поклониться...

— Для меня большая честь, месье...— Уроки матушки.

Опять наступила очередь отца. Он снова встал и на этот раз навестил нескольких человек в дальнем конце веранды. Вскоре вернулся.

— Посмотри на эту даму в длинных белых перчатках. Не узнаешь? Это Сара Бернар, мой мальчик. Великая актриса. Она со своим последним... Гм-м... Со своим кузеном...

Очевидно, так было тут заведено. Вы потягивали свое шерри, к вам подходили друзья, вы отправлялись к какому-нибудь столику, целовали руку какой-нибудь даме, выдавали ей несколько комплиментов и возвращались к себе. Снова делали глоток из бокала, снова похлопывали вас по плечу друзья... Ритуал.

— Теперь поедem в клуб. Пообедаем,— объявил граф, глянув на часы.— Должно быть, ты уже проголодался.

В столовой Жокей-клуба слабо пахло воском, старым деревом и гаванскими сигарами. Пожилые официанты, сгорбленные многолетними поклонами и говорящие шепотом, бродили меж столов как одетые в ливреи призраки. После десерта граф велел подать свой обычный коньяк — «Наполеон».

— Ну вот, сын мой,— удовлетворенно объявил он Анри, осушив огромный бокал в форме тюльпана,— у нас еще осталось время, чтобы мне переодеться, и мы отправимся на конские ристалища.

\* \* \*

Дворец Промышленности, громадная и безвкусная реликвия Всемирной выставки 1855 года, находился на Елисейских полях. Чтобы оправдать существование этого монстра — конгломерата статуй, гипсовых карнизов, колоннад, его использовали в самых различных целях. Здесь располагался знаменитый Салон живописи и скульптуры французских художников, или просто Салон, как называли его и творцы, и зеваки,— ежегодное событие в светской жизни парижан, мечта тысяч и тысяч художников. И здесь же проходились выставки... крупного рогатого скота, проходили благотворительные базары. Отсюда начинались патриотические марши, и тут же устраивался весенний очень фешенебельный Конкур-иппик...

— Внимательно наблюдай за рысками и наездниками,— инструктировал граф сына, когда они вошли в огромный зал со стеклянным куполом, на этот раз преображенный в арену для конных состязаний.

Они отправились в секцию, специально зарезервированную для членов Жокей-клуба.

— Рыском надо родиться, а вот наездником — стать. Смотри, как припадают жокеи к спинам лошадей, когда берут препятствия. Учись.

Усевшись в ложе, граф вытащил и отрегулировал бинокль.

— В посадке всадника — весь секрет. Нужно помочь лошади, как бы поднять ее в прыжок. Однажды я поспорил, что на своей кобыле Джуну перескочу через фиакр и, клянусь бородой святого Иосифа, выиграл пари! — И вдруг умолк. Стекла его бинокля остановились на даме, сидевшей в ложе на противоположной стороне арены.

— Никуда не уходи! — приказал он, поднимаясь.— Я навещу одну приятельницу...— И громко обратился к сидевшему в первом ряду их ложи молодому уже полному человеку:— Эй, месье Пренсто! Пожалуйста...— Тот не обернулся.— Бесплезно,— передернул граф плечами.— Глух как тетерев. Пойди-ка сядь рядом с ним. Но разговаривать и не пытайся. Абсолютно глухой. Если хочешь, посмотри, как он рисует. Замечательно изображает лошадей. Поэтому мы и пускаем его в свою ложу. Сиди и жди меня. Приду, когда все закончится.

Господин Пренсто приветствовал подсевшего к нему Анри улыбкой человека, привыкшего, что его общества не ищут. Перелистал свой альбом и показал мальчику карандашные наброски. Действительно великолепные! Вскоре они подружились и начали разговор — Пренсто понимал

собеседника по губам, а сам говорил неестественно глухо, не слыша себя. Беседе помогали улыбки, жесты, кивки головы.

Этот день стал памятным для Анри. Оркестр играл бравурные военные марши, прекрасные лошади бегали иноходью, брали барьеры, вертелись на месте, перепрыгивали через рвы с водой, отступали задом — короче, демонстрировали всяческие чудеса вольтижировки. Присутствующие громом аплодисментов приветствовали всадников, когда им вручались призы — ленты и серебряные кубки. Художник продолжал рисовать, не обращая внимания на шум и гам зала.

Через какое-то время он достал из кармана блокнотик, чиркнул что-то в нем и сунул мальчику. «Любишь рисовать?» — написано было на листке. Анри прочел и энергично закивал в ответ. Тогда Пренсто с улыбкой протянул ему свой альбом и карандаш. Под пристальным взглядом глухого художника младший Лотрек принялся набрасывать пару танцующих лошадей. Снисходительный интерес, с каким Пренсто поначалу следил за его штрихами, перешел вскоре в удивление, а потом и в изумление. Несколько минут художник смотрел на мальчика, не веря своим глазам.

Дрожащей от волнения рукой он снова вытащил свой блокнотик и быстро нацарапал там: «Ты замечательно рисуешь!», причем слово «замечательно» жирно подчеркнул.

Это было первое, что Анри поведал матери, когда вечером влетел в гостиную, задыхаясь от бешеного бега и всех треволнений сегодняшнего дня. Широко открытые глаза сияли.

— Мама, мама! — выдохнул он, забыв даже поцеловать графиню. — Я встретил одного господина — настоящего художника, и он сказал, что я замечательно рисую. То есть не сказал, потому что плохо говорит, не может говорить и не слышит... Но он написал эти слова в своем блокнотике! «Замечательно!»

— Господи, какой тараторка! — смеясь, обняла его мать. Она нежно пригласила взлохмаченные волосы, прислушалась, как трепещет сердечко мальчика под белым полотном матроски.

— Отдышись, малыш. И поцелуй маму. Наверно, бежал по лестнице, прыгая через ступени... Ну вот. А теперь расскажи мне об этом не умеющем говорить человеку. И вообще подробно расскажи обо всем, что происходило с тобой с самого начала, с той минуты, как я утром оставила тебя возле пансиона «Перей», у отеля отца.

Он помолчал, успокоился и принялся рассказывать матери обо всех удивительных событиях минувшего дня.

— ... А потом мы с папой поехали в «Ротонду», а там был инкогнито с дамой бельгийский король Леопольд,— понижая голос, значительно проговорил Анри.

— А ты знаешь, что такое инкогнито?

Мама всегда задавала ставящие в тупик вопросы. Он отрицательно мотнул головой.

— Это означает, что кто-то не объявляет своего имени и титула, потому что стыдится своих дел или той компании, с которой общается,— объяснила она.

— Но ведь с ним была очень хорошенькая дама!

— Это неважно,— оборвала она опасный разговор.— А что еще вы делали?

Тогда он принял подробно рассказывать об обеде в Жокей-клубе, о захватывающем зрелище на Конкур-иппике и снова о глухом художнике.

— Понимаешь, он вынул из кармана маленький блокнотик и написал там: «Ты замечательно рисуешь!» — И поскольку, по его мнению, эти слова не произвели на мать должного впечатления, повторил: — «Замечательно»! Это правда, мама, правда! Так и написал. И даже подчеркнул слово «замечательно».

— Как мило с его стороны,— спокойно согласилась графиня.— И что же вы с отцом делали дальше?

— Ну, когда все кончилось, мы поехали в кафе к Рампельмайеру, я съел целых две больших ромовых бабы и один шоколадный эклер. Затем вернулись в «Перей», и папа в третий раз переоделся. Уже в вечерний костюм. Он выглядел таким красавцем! Обедали мы у Ларуэ. Папа заказал фазана и бутылку шато-лафита. Он говорит, что мне пора разбираться в винах. И еще папа сказал, что мне необходимо учиться фехтованию и танцам, это куда важнее речей Цицерона! А чтение книжек — женское занятие, вот!..

Очень похоже на Альфонса — внушать ребенку подобные идеи. И почему только некоторые люди прилагают такие усилия, чтобы высмеивать знания, превозносить невежество, считая учение слишком трудным занятием? Но вслух она этого сыну не сказала.

— Да-да. Конечно, фехтование и танцы — дело очень важное. Но настоящий аристократ, настоящий джентльмен должен уметь и знать несколько больше, чем дрыганье ногами и владение шпагой. Он запоминает речи Цицерона, изучает грамматику, арифметику, становится образованным человеком. Понимаешь? А теперь поцелуй меня и отправляйся спать.

На мгновение она привлекла его к себе, потерлась щекой о его щечку. Ее мальчик, ее Рири!.. Никому не позволит она испортить его, превратить в пустого фата, завсегдатая кафе и клубов. Никому. Даже его собственному отцу!

— Спокойной ночи. И марш в постель! — улыбнулась Адель, похлопав сына по спине.— У тебя сегодня слишком много впечатлений. Не забудь помолиться на ночь.

\* \* \*

Однако следующей осенью нашлось время и для танцев, и для фехтования.

Каждое воскресенье Анри возили теперь в гимназию мэтра Буцикота, где он переодевался в черные шелковые штаны, облегающий пластрон и усердно учился одному из обязательных занятий настоящего французского дворянина.

Несмотря на цвет своих щек, напоминавших куски сырого мяса, мэтр Буцикот был человеком воздержанным, скромным и добрым во всем, что не касалось его усищ, которыми он чрезвычайно гордился. И не без оснований. Сей атрибут мужественности длиной в тринадцать дюймов кривым турецким ятаганом изгибался на его ничем более не примечательном лице. Усы придавали ему могучий, грозный вид. Стоило кому-нибудь подумать о Буцикоте, он ничего не мог припомнить, кроме этих усов. Усы были отличительным признаком, его гербом. Когда мэтр, став в позицию,



воздев вверх кончик рапиры, набрав в легкие воздух, гремел: «Ан гар-р-р-р-д! К бою!» — это впечатляло.

Второму необходимому искусству его обучала мадемуазель Алуэтт — директриса Академии танца для благородных юношей и барышень. Была эта старая дева хрупка и грациозна. Господь обделил ее красотой, создал невзрачной, а тут еще оспа довершила остальное. Но голосок мадемуазель звучал мелодично, и она умела улыбаться, не показывая плохих зубов. Посему и почиталась образцом утонченного вкуса и изыска.

Дважды в неделю Анри в сопровождении матери приезжал в академию. Неуклюже он выделял балетные па, кланялся, с деревянной улыбкой общался с девочками в бантах и накрахмаленных платяцах. В дальнем углу танцзала тренькало пианино, и мадемуазель Алуэтт, облаченная в розово-лиловый атлас, прихлопывая ладонями ритм, показывала нужные движения и позы.

К Рождеству ученики с грехом пополам уже могли пройти в мазурке, станцевать лансье и польку. Графиня решила, что новогодние праздники — самое время для того, чтобы, исполняя светские обязанности, устроить у себя небольшой детский бал. Списки приглашенных неоднократно корректировались: кого-то вычеркивали, кого-то вписывали. Удивительно, как много знакомых оказалось у них в Париже! Всем были разосланы красивые пригласительные билеты, напечатанные в типографии. Графиня Тулуз-Лотрек пригласила квартет. Детский бал обещал посетить сам граф Альфонс, а пока для помощи в его организации прислал на бульвар Малерб двух своих лакеев и повара.

К трем часам пополудни гостиная, откуда была убрана лишняя мебель, стала наполняться приглашенными. В четыре гости еще продолжали прибывать, раскланивались, знакомились, проходили в столовую, где была оборудована буфетная стойка: фрукты, конфеты, пирожные, сельтерская вода, соки...

Мадам Пруст явилась с сыновьями в состоянии крайней взволнованности, многословно извинялась, удрученная отсутствием мужа. Ах эти мужчины! Они так необязательны! Особенно врачи — вечно у них какие-то срочные вызовы в самое неподходящее время!

Анри встречал одноклассников, когда они в сопровождении родителей и других членов семьи — сестер и младших братишек — входили в просторную прихожую их квартиры. Раздевшись, они направлялись в гостиную. Застенчиво поглядывая друг на друга, дети произносили несколько заученных вежливых фраз, неловко чувствуя себя в нарядных выходных костюмчиках и платьях.

Наконец квартет грянул мазурку. Смущенные обилием взрослых зрителей, опасаясь совершить какую-нибудь оплошность, мальчики, неловко натягивая белые перчатки, с серьезными окаменевшими лицами направлялись к своим заранее «ангажированным» дамам и принимались демонстрировать плоды своего обучения у мадемуазель Алуэтт. Несколько освоившись, они уже побойчее протопали лансье и польку. Вежливые аплодисменты означали, что их мучениям пришел конец, и они стайкой выпорхнули в столовую, где их ожидало мороженое, птифуры, даже легкий гранатовый ликер.

К пяти часам в коридоре и передней разразилась канадско-индейская битва. Девочки, забытые своими кавалерами, жались по стенам, с завистью наблюдая, как их братья и кузены яростно скальпируют друг друга... К половине седьмого уже начался разъезд гостей...

— Ну как тебе твой праздник, Анри? — спросила мать, когда последние из них распрощались. — Понравилось?

— Ой, мама! Это было чудесно! Давай устраивать такие балы каждое Рождество!

— Прекрасная идея, — улыбнулась графиня Адель. — Обязательно. На следующее утро Анри не мог подняться с постели.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Головка болит? Ах, какое безобразие! Противная головная боль! Ну ничего, сейчас что-нибудь придумаем... Фьють! — и нету ее... Вот так... — приговаривал доктор, недоуменно пощипывая свою квадратную бородку. Он добросовестно, под взглядом графини-матери, осмотрел больного, проделал обычные манипуляции, демонстрируя свой умелый подход к маленькому знатному пациенту. Продолжая произносить ничего не значащие фразы, он посчитал пульс, с помощью ложки и зеркала осмотрел горло, постучал по рукам и ногам, приложился холодным ухом к груди ребенка.

«Как великий Роланд, припадает ухом к земле, чтобы уловить дальний цокот копыт», — подумалось полусонному Анри.

Наконец врач отошел от его постели, захлопнул замочки своего черного саквояжа и повернулся к графине. Ничего серьезного. Однако его смущают некоторые симптомы. Не будет ли мадам возражать, если он пригласит для консультации коллегу?

— Не бойтесь, госпожа графиня, нет никаких оснований для беспокойства, но... будем осторожны! Не правда ли? Организм ребенка такой хрупкий и сложный...

У его коллеги тоже была седая квадратная бородка. И он тоже пошучивал, прощупывая и простукивая Анри, заглядывая в горло, рассматривая язык, прикладываясь ухом к хилой грудке. К концу обследования у него тоже был озадаченный вид. Немного посоветовавшись по-латыни (графиня прекрасно знала этот древний язык!), они обратились к матери:

— Ваш ребенок, мадам, несколько анемичен. А анемия, особенно в сочетании с быстрым ростом, может вызвать необъяснимые явления. Однако, поверьте, ничего страшного! Воды курорта Амели-ле-Бен незаменимы в случае анемии.

Получив гонорар, медицинские светила раскланялись и удалились, потоптавшись у дверей с возгласами: «После вас, мэтр!»

— Откровенно говоря, я тоже не могу понять, в чем дело, — признался и доктор Пруст, навестивший их в тот же вечер. — И пусть меня повесят, если кто-нибудь сможет понять!..

Он сидел на краешке постели Анри, тоже пощипывал бородку и хмурил брови. Он только что узнал от жены о болезни соседа и заглянул с дружеским визитом, извинившись, что не успел сделать этого вчера. Будучи знаменитым врачом, он мог на правах друга позволить себе роскошь говорить правду.

— Не нравится мне эта лихорадка,— бормотал он про себя,— не могу понять ее природу. Простудного характера? Нет и нет...— Он осторожно прикрыл одеялом руку Анри.— Постарайся заснуть, малыш. Сон всегда лучшее лекарство.

С улыбкой, больше похожей на печальную гримасу, доктор Пруст встал и обратился к графине:

— Ну что ж, съездите в Амели-ле-Бен.— Он пожал плечами.— Обязательно съездите. Возможно, коллеги правы, возможно, это анемия. Воды действительно помогают. Во всяком случае, не повредят.

В начале следующей недели в их доме появились дородные мужчины в синих комбинезонах. Свернули ковры, накрыли чехлами мебель, сняли гардины и драпри, завесили картины. В комнатах стояли открытые чемоданы. Явился граф Альфонс. С традиционной белой гвоздикой в петлице и большой жемчужиной в булавке галстука.

— Поскорее выздоравливай, мой друг. Не забудь, что осенью мы должны быть в Лаури.— Он достал из кармана пальто тонкую английскую книжицу в кожаном переплете.— Я принес тебе «Соколиную охоту в древности и в наши дни». Надеюсь, книга тебя заинтересует. Да и в английском усовершенствуешься. Читай и выздоравливай!

Навестил их и классный наставник отец Желиз, подарил больному освященную облатку и от имени всего лица пожелал ему скорейшего выздоровления.

И конечно, зашел Морис, кровный побратим. В сопровождении своей матушки мадам Жуаян.

— Ты не забудешь про Канаду, Анри? Правда, не забудешь? — горячо зашептал он, как только они остались вдвоем.

Анри, не поднимаясь с подушек, отрицательно покачал головой. Морис схватил и сжал его слабую руку, и они, смахивая слезы, повторили свою священную клятву: «На жизнь и на смерть!» Анри с помощью друга приподнялся на локтях, и оба сплонули на пол — так будет крепче! Морис обещал писать ему каждую неделю. Когда в спальню за ним зашла мадам Жуаян, Морис разразился безудержными рыданиями и вцепился в спинку кровати Анри. Пришлось чуть ли не силой отрывать его и волочить прочь.

\* \* \*

Когда они прибыли в Гранд-отель курорта Амели-ле-Бен, там было почти пусто. Со своей постели Анри мог видеть покрытые снегом вершины Пиренеев, застывшие в вечном покое. Невыразимая печаль висела над известным курортом, словно все его бывшие пациенты оставили здесь частицу своих страданий и боли. Однажды Анри почувствовал себя достаточно прилично, чтобы спуститься с матерью в ресторан отеля и пообедать вместе с ней. В зале ресторана, отделанном золотом и плюшем, обедали человек десять, храбро пытавшиеся смеяться. После десерта кое-кто отважился

даже потанцевать. Но все они были больными, очень больными людьми, иначе что заставило бы их торчать здесь в разгар мертвого сезона? Вскоре они отказались от своих попыток, но оркестр упорно продолжал играть танцевальную музыку. Для призраков?

Все новые и новые медики осматривали Анри. Как и их парижские коллеги, местные доктора подбадривающе шутили, трепали его по щеке, мерили температуру и тоже выглядели озадаченно. Оставив его одного в спальне, вели за закрытой дверью длительные беседы с матерью, после которых она входила к сыну с побелевшими губами, осунувшаяся.

Но вдруг все боли исчезли. Все пришло в норму. Лихорадка пропала. Шум в ушах прекратился. Он здоров! Абсолютно здоров! Таинственное выздоровление, такое же необъяснимое и беспричинное, как и сама болезнь. Появившиеся врачи недоумевали, но широко улыбались. Конечно, они не сомневаются: его излечили воды Амели-ле-Бен! Потрясающе, мадам! Просто потрясающе!

Графиня решила, что теплое солнце Ривьеры поможет закрепить чудо выздоровления. Даже договорилась с сыном, что после Пасхи они вернутся в Париж.

— Я догоню класс, буду работать за двоих и догоню! — уверял ее Анри. Написал длинное, подробное письмо Морису.

Переехали в Ниццу сразу после карнавала. Тротуары на Рю-де-ла-Гар еще усеяны конфетти, в ветвях платанов запутались цветные нити серпантина. Зимний сезон в разгаре. Не слишком афишируя свое пребывание в Ницце, полуинкогнито, жили здесь два-три русских великих князя, несколько чопорных английских пэров и миллионеров из Америки. В саду Гранд-отеля уже цвела мимоза, и ее аромат проникал в комнату Анри.

Как приятно было вновь ощущать себя здоровым, просыпаться бодрым, босиком бежать к матери, в примыкавшие к его спальне покои, забираться к ней в постель и докладывать, как хорошо он себя чувствует, как он голоден и как мечтает поскорее отправиться на прогулку. Завтрак, который им сервировали в лоджии их номера-люкс, тоже был восхитителен. Графиня в своем белом пеньюаре опять выглядела молодой и счастливой. Солнечные пятна на полу, выложенном узорным паркетом, птицы, заливающиеся на ветвях деревьев под их балконом, сверканье вдали, меж кронами пальм, залива Ангела, словно россыпь бриллиантов на голубом бархате...

В десять появлялся учитель. Молодой, добрый и... всегда голодный. Однажды он обедал с ними, так чуть не проглотил свою тарелку!

Днем они отправлялись на прогулку. Различные экипажи — ландо, тильбюри, фиакры — катились рядом или обгоняли их. Зачастую ими правили элегантные девицы, посвистывали бичами, цокали, подергивали вожжи, в то время как сзади, сложив на груди руки, на высоких запятках, как идолы, торчали совершенно безучастные кучера в ливреях и цилиндрах.

Возвращаясь в отель, Анри с матерью придумывали темы для акварелей.



И вдруг лихорадка вернулась вновь. И шум в ушах тоже. Без всякой причины, без предупреждения... Кончились утренние визиты к матери, завтраки в лоджии, прогулки.

Пришел очередной врач. Этот не шутил, но выглядел еще озабоченнее прежних. Он тоже попросил разрешения привлечь для консультации коллег. Медики долго раздумывали, перешептывались, важно кивали друг другу, поглаживая бороды... Объявили диагноз: ярко выраженная недоразвитость организма. Крайняя анемия с рецидивами лихорадки. Конечно, ничего серьезного, но необходимо постоянное наблюдение. И посоветовали вновь ехать на воды. На этот раз — в Барез.

Они отправились в Барез. Здесь повторилась та же история. Вскоре после приезда состояние Анри улучшилось. Он мог гулять в саду отеля, посещать с матерью городской парк, где каждое утро играл духовой оркестр. Затем опять, как снег на голову, навалились боли. Симптомы те же. Опять постельный режим. И уже никаких надежд вернуться в лицей, нагнать одноклассников...

— Воды Пломбьера, мадам, творят чудеса,— сказали врачи.— Безусловно, только в Пломбьер.

Кинулись в Пломбьер. Оттуда — в Эвиан. Через некоторое время — в Гийян. Затем назад — в Ниццу. И вновь — в Амели-ле-Бен. Посоветовали повторить курс. Вторично — в Гийян, в Барез и в третий раз на воды Амели-ле-Бен... По мере того как надежды таяли, графиня Адель металась по всем курортам. Они посещали и популярные и еще малоизвестные, находящиеся в глубинке водолечебницы, все еще надеясь на чудо. Странная болезнь Анри везде протекала одинаково: короткие ремиссии и длительные рецидивы.

Анри оказался надолго прикованным к постели. Жизнь превратилась в бесцельные, безнадежные скитания в поисках здоровья, очередных врачей-лечителей. Менялись лишь номера в отелях.

Месяцы растянулись в целый год. За ним еще год. Лицей «Фонтан» исчез в прошлом, как уходящий за горизонт корабль. Квартира на бульваре Малерб, их мраморная, устланная красной ковровой дорожкой лестница, парк Монко, детские игры, рождественский детский бал — все становилось туманным воспоминанием. Единственной реальностью оставалась постель, лихорадка, термометры, врачи, прикроватная тумбочка, уставленная аптечными пузырьками, непрекращающийся шум в ушах... Да, конечно, и мама! Мама с ее бледным лицом, но всегда улыбающаяся, не спускающая с него запавших молящих глаз.

Более года от Мориса еженедельно приходили письма. Кровавый побратим страстно верил в осуществление их «канадского проекта» и подписывался: «Твой побратим-охотник и брат по крови в жизни и смерти». Постепенно письма стали приходить все реже и реже. Наконец они совсем прекратились. Да и о чем было писать?

И вот наступил день, когда не осталось уже ни одного курорта, ни одной чудодейственной лечебницы, воды которой не пробовал бы Анри, ни одного врача, который не консультировал бы, не обследовал его.

Спустя два года после отъезда из Парижа они вернулись домой, в свой старый замок.

Стены с зубцами, башни с трехскатными крышами, запах сырости и плесени, огромные, украшенные каменными резными карнизами камин, стены библиотеки с угрюмыми Тулуз-Лотреками в латах и рыцарских плащах, со звездами высших орденов многих монархов Европы, хмуро взирающими из золотых рам на сегодняшних обитателей замка,— все было, как прежде. Все, как прежде, кроме тетушки Армандины, которая приобрела новый русский парик и выглядела теперь на десяток лет моложе. По саду порхали бабочки. Сумрачные коридоры, лестницы, переходы манили к ползубатым детским играм. В конюшне, в своем стойле, все еще ждал верный Томбур.

Правда, сегодняшний Анри уже не годился ни для прятков, ни для ловли бабочек, ни для вольтижировки на старом пони. Даже рисование стало непосильным занятием: казалось, карандаш весит тонну. Чтобы выйти из своей комнаты на террасу, приходилось прибегать к помощи матери и Жозефа, которые поддерживали его под руки.

Однако к июню ему стало лучше, и графиня решила съехать с ним в Селейран. В карете он болтал с Анеттой, требовал, чтобы она, как когда-то, пела ему старинные прованские баллады. Жозеф на козлах весело щелкал хлыстом. Начиналось лето. За стеклами кареты проплывали луга, такие зеленые, будто их только что покрыли свежей краской.

Как обычно, дедушка Леонсий поджидал их на крыльце. И едва экипаж въехал в аллею, замахал платком и, сбежав со ступеней, поспешил навстречу. Но как он изменился, бедный дедушка! Постарел, похудел, щеки запали, расшитый жилет с золотой цепью от часов висел на нем как на вешалке. Он старался всюду улыбаться внуку, но когда заговорил, губы задрожали, голос сорвался, некоторое время казалось — не выдержит, разрыдается.

На другое утро, как было заведено прежде, он появился в спальне внука, присел на краешек постели.

— Ну как ты себя чувствуешь, малыш? — бодрясь, проскрипел он. — Хорошо спалось? Отдохнул с дороги? Ничего не болит?

Дежурные вопросы, которые Анри вынужден был уже давно выслушивать каждое утро.

— Прекрасно себя чувствую, дедушка. А не съездить ли нам сегодня на птичник или на молочную ферму? А то, может, в конюшни?

— Конечно! Поедем куда пожелаешь! Только не забудь прихватить альбом! — На мгновение в его голосе слышались прежние веселые нотки, несколько минут он продолжает бодро болтать о пустяках. Но вдруг наклоняется к внуку, хватая его за руку. — Ты ведь поправишься, мой мальчик? Ты ведь выздоровеешь? Правда?

Вопросы давались ему с трудом, крупные слезы набухали на глазах и скатывались к крыльям носа.

— Я очень тебя прошу, малыш, выздоравливай! Пожалуйста! — И голос сорвался, последнее «пожалуйста» прозвучало, как рыдание.

Он в отчаянии прижал ладонь к губам и умолк, сквозь слезы глядя на внука, все тело старика сотрясало от душевного отчаяния.

Нет, никогда Анри не поправится! Никогда! Стоит только посмотреть на эти заострившиеся черты прежде по-детски пухлого личика, на тоненькие прутики рук, на огромные, лихорадочно горящие глаза...

Не следовало появляться на белый свет этому прелестному ребенку, наследнику древнего аристократического рода, жертве кровосмешения... Семейный врач был предельно откровенен, предупреждая: «Умоляю вас, Леонсий, не разрешайте Адели выходить за графа Альфонса! Ведь они — кузены!» Но гордыня подталкивала: у него будет внук, имеющий право добавить, подобно коронованным особам, порядковый номер к своему имени! Соблазн был слишком велик...

— Пожалуйста, не плачь, дедушка! Я отлично себя чувствую. Честное слово!

Слабый голосок вернул старика к действительности.

— Конечно, конечно,— Леонсий де Селейран заставил себя улыбнуться,— ты скоро поправишься. Опять сядешь на своего пони и будешь скакать по окрестным полям.— Он поцеловал внука и вышел.

Визит в Селейран не затянулся. Анри не стало лучше... По дороге домой, в замок Альби, мальчик свернулся калачиком на сиденье кареты у колен матери и всю дорогу дремал. Лишь время от времени приоткрывая глаза, он слабо улыбался ей и шептал:

— Посмотри, как они цветут!

Дорога бежала меж вишневых садов. Анетта спала на заднем сиденье, ее голова в седых кудельках моталась из стороны в сторону в такт движению кареты.

К концу дня небо приняло зловещий зеленоватый оттенок, но вдали уже маячили похожие на спящих слонов темно-серые горы Альби.

Спустя три дня разразилась катастрофа.

Библиотека. Мать выбирает в шкафах очередную книгу для чтения и на минутку оставляет без надзора Анри, сидящего в кресле на колесиках. Мальчик встает, делает к ней несколько нетвердых шажков и, поскользнувшись на натертом паркете, падает... Сухой треск сломанной веточки... К своему удивлению, встать он уже не может...

Вскоре прибыл врач.

— Мадам,— объявил он, осмотрев пациента,— у мальчика перелом шейки бедра.— И, накладывая гипс, успокоил:— Через месяц нога будет как новая!

Прошел месяц. Перелом не срастался.

— Видите ли, графиня, это один из самых сложных переломов. Необходимо вмешательство опытного хирурга. В Бареже есть отличные специалисты. И там же — горячие серные ванны, весьма эффективные. Ванны стимулируют сопротивляемость организма, а именно это и необходимо нашему больному. Он слаб, очень слаб. Потому кости и не срастаются.

Опять отправились в Бареж. Предсказания доктора оправдались. Перелом сросся. После двух месяцев лечения Анри смог подниматься с постели, передвигаться по комнате на костылях, а вскоре выходить и на короткие прогулки.

Затем...

Воскресный день. Городской парк с клумбами цветущих бегоний. Оркестр на эстраде играет старинный вальс. В толпе гуляющих — мальчик на костылях. Их резиновые гофрированные наконечники оставляют четкие следы на хорошо утоптанном песке аккуратно расчищенных аллей... Камешек, маленький камешек, не больше горошины! Костыли становятся вдруг неуправляемыми, разъезжаются в стороны...

— Мама!

На этот раз — другая шейка бедра, с правой стороны. Теперь боль ни на мгновение не отпускает страдальца. Днем и ночью пульсирует она в немощем теле, бьется, то вздымаясь, то опадая, временами доводя страдания до апогея, искажая судорогой лицо, в глазах темнеет. Он называет эти кризисы атаками. Продолжаются они не более минуты, начинаясь с непроизвольного дрожания рук и лихорадочного постукивания зубов. Постепенно усиливаясь, боль рвет сухожилия ног и бедер, поднимается к позвоночнику, проникает в мозг, пока не начинает казаться, что голова вот-вот разорвется на куски. Постепенно она достигает кульминации, из горла вырываются сдавленные крики, переходящие в булькающее хрипение, глаза вылезают из орбит. На несколько секунд Анри теряет сознание, лежит неподвижно, с закушенными губами, впившись ногтями в руку матери. Затем боль отступает, медленно сотрясая тело, словно его быют электрические разряды. В глаза возвращается жизнь, в легкие врывается воздух, ослабевает судорожное напряжение рук. Он словно сквозь туман улыбается матери, когда она, склонившись над ним, вытирает выступившую на губах пену. Атака кончилась. Нестерпимая боль отступила, превращаясь в тупую пульсацию, которая теперь, по контрасту, кажется почти незаметной. Во время «отдыха» он видит полные отчаяния глаза матери, иногда обменивается с ней несколькими словами. Она целует его, поглаживая прохладными пальцами брови и мокрый от пота лоб.

А дрожь подступала вновь, зубы стучали, ускорялось прерывистое дыхание...

Медики возобновили свои визиты. Теперь они уже не улыбались, не пытались успокаивать графиню бодрыми прогнозами. От них пахло хлороформом, в руках поблескивали хромом скальпели. Врачи тоже причиняли ему боль. От криков несчастного дыбом вставали волосы, стыла кровь у гуляющих по саду отеля постояльцев. В конце концов сил на крик не оставалось, и Анри впадал в милосердную кому. Только губы продолжали шевелиться в беззвучной мольбе: «Мама!.. Мама!.. Мама!..»

После четырех операций специалисты заявили, что дефицит кальция и других минеральных компонентов в его костях делает бессмысленными все их усилия.

— Нужно укрепить костную ткань... Воды Руайана, мадам, в таких случаях очень помогают воды Руайана...

И новый цикл горестных скитаний: Руайан, Шатле, Гийон, Мон Доре... Снова Пломбьер, снова Барез, снова Эвиан...

Теперь мальчик целиком закован в гипс. Путешествия стали для него тяжелой процедурой — серией перемещений с носилок на носилки. Начинались они с того, что с постели его перекладывали на носилки и спускали по служебной лестнице в уже ожидавшую карету скорой

помощи, везли на вокзал, вносили в купе, потом, по прошествии нескольких часов, на каком-нибудь похожем вокзальчике вновь укладывали на носилки, переносили в другую санитарную карету, везли в другой отель, в другую комнату, перекладывали на другую кровать — только для того, чтобы там встретила его прежняя боль.

Медицинские светила советовали то одно, то другое. Один известнейший хирург заявил, что все предыдущие операции были неправильными, и настоял на том, чтобы сломать уже сросшиеся кости. Он провел еще одну операцию, обрекая Анри на новые страдания. Операция оказалась бесполезной. В течение трех месяцев очередное «светило» применяло к нему новомодное чудодейственное лечение, носившее название «электротерапия». Другой, не менее знаменитый врач гарантировал излечение массажем. Анри погружали в горячую серную ванну, ноги и бедра растирали профессиональные массажисты. При всей их закалке — чего только не перевидали они на своем веку — эти люди, растирая хилое тельце, отворачивались, чтобы не видеть полных страдания глаз мальчика... Все было перепробовано, и все было напрасно.

Постепенно медики все реже и реже навещали графиню де Тулуз-Лотрек и ее сына. А заглядывая с визитами, роняли какие-то солидные латинские фразы, означающие лишь одно: они признают свое поражение, свое бессилие.

Со временем болезнь как бы утомилась, устала от собственных эксцессов, превратилась в тупую, привычную боль, ставшую для Анри частью его существования. Он привык к ее постоянному присутствию, к ее соседству, как человек, живущий у моря, привыкает к непрекращающемуся шуму прибоя — сегодня слабому, завтра более сильному, бурному, то сердитому, то нежному, но никогда не стихающему, постоянно присутствующему.

Иногда снова накатывались «атаки», но с течением месяцев они случались все реже и реже.

Миновал еще год.

Наконец мать и Анри осознали тщетность всех своих ожиданий. Все время их сопровождала укутанная в черное покрывало фигура безнадёжности, она как бы поселилась в их доме, они постоянно ощущали ее присутствие. Черная тень витала над ложем мальчика, и они избегали смотреть друг другу в глаза, чтобы невзначай не прочесть там горьких мыслей. Анри говорил себе, что уже никогда не поднимется с постели, никогда не сможет передвигаться без посторонней помощи. Теперь костыли, которыми он пользовался в Барже, казались ему волшебным символом пьянящей, недостижимой свободы. Отныне он навсегда обречен оставаться в гипсе, обречен на жизнь в постели, мысленно рисуя на потолке картины, создаваемые воображением, приучаясь узнавать время по то темнеющей, то светлеющей полоске неба, видимой в окно его спальни. Когда изредка он вспоминал о лице «Фонтан», о первых днях, проведенных там, о Морисе, их пиратских планах, играх в охотников и индейцев, они казались ему призрачными, нереальными, сотканными из снов. Весь мир, кроме этой комнаты, исчез. Осталась только мама. Мама!.. Ее лицо было последним из того, что он видел, засыпая, первым, с чем встречались его глаза утром. Одинокое, отчаявшееся, застывшее в безмолвной молитве...



А ему уже исполнилось четырнадцать. Перенесенные страдания наложили на его лицо восковую бледность, заострили и отполировали маленький нос, но кожа осталась светлой и бархатистой. Рост прекратился. Уже пять лет назад, когда они покинули Париж, Анри отставал в росте от многих сверстников и сейчас продолжал выглядеть младшеклассником. Мать иногда с ужасом смотрела на впалую грудь, тонкие запястья и худые руки сына и боялась, что он так и останется ребенком, карликом.

\* \* \*

И вдруг в Ницце, куда они поехали весной, произошло очередное чудо. Остановились в том же отеле, где жили в период первого выздоровления Анри. Он вновь дышал ароматом цветущей мимозы, долетавшим сквозь открытые окна из сада.

— Мама, мама! Сегодня ночью у меня не было никаких болей,— проснувшись, объявил он однажды утром графине, вошедшей к нему.— И сейчас ноги не болят. И...— он умолк, задыхаясь от забытого ощущения покоя,— и нет у меня никакой лихорадки, никакой температуры!

— Нет температуры?! — Мать знала, что сын за годы болезни стал специалистом по собственному состоянию, великолепно, без термометра, определяет температуру, но не смела надеяться.— Откуда ты знаешь? Ты ведь не врач...

— Давай измерим, сама увидишь,— улыбнулся Анри.

Графиня, стараясь скрыть волнение, сбила палочку термометра и подала ему. Анри оказался прав: нормальная! Первое утро без лихорадки, без болей почти за два года. Мать старалась сдержать бешеный стук собственного сердца.

— Подождем до вечера,— сказала она со всем спокойствием, на которое была способна.— Что ты хочешь на завтрак, малыш?

К вечеру температура не поднялась. И на следующее утро его глаза оставались ясными, лоб прохладным. Он улыбнулся, когда она вошла.

Через пару дней лечащий врач, в очередной раз навестивший Тулуз-Лотреков, протирая платочком свое золотое пенсне, чтобы скрыть замешательство, осторожно констатировал:

— Заметное улучшение.

Всю следующую неделю хорошее самочувствие прогрессировало. Впервые показалось, что переломы срастаются, уже срослись. К концу месяца врач даже стал поговаривать, не пора ли, мол, снять гипс.

Но мать с сыном еще боялась высказывать вслух свои надежды. Они только переглядывались, улыбаясь, храня в своих сердцах общую тайну.

Наступил день, когда гипс сняли. Врач объявил о полном выздоровлении. Конечно, опаснейшие переломы не позволят мальчику окрепнуть настолько, чтобы он вновь мог бегать и прыгать, но ходить — будет. Будет! Поначалу на костылях, а затем... кто знает? Глядишь, все придет в норму и он сможет передвигаться, как все люди. В крайнем случае, придется пользоваться тростью.

— Да, мадам, все это воистину чудесное исцеление,— приговаривал врач, складывая в саквояж свои инструменты и собираясь уходить.— А пока мальчику надлежит хорошо есть, спать и позволить таинственному

волшебству юности довести до конца начатое ею излечение, принести силы и здоровье измученному организму. Я не удивлюсь, если Анри вновь начнет расти.

После его ухода мать и сын, обнявшись, разрыдались, бормоча нежные слова, лаская друг друга и прислушиваясь к слитному стуку своих сердец.

Дни быстро полетели один за другим. Мать вслух читала ему, они играли в шашки, поставив доску на постель, хмурясь и переживая из-за каждого неудачного хода. Мать повыше устроила сына в подушках — теперь он уже не лежал пластом, — принесла рисовальные принадлежности и превратилась в модель для бесчисленных портретов. Уговаривала его съесть еще немного, ну вот эту нежную цыплячью ножку, вот этот ломтик поджаренного хлебца, ложечку компота, виноградинку...

Иногда, чтобы скоротать время, мать вспоминала о своих юных годах, проведенных в пансионе при женском монастыре Нарбонна. Рассказывала и о сердечной дружбе с соученицей Анжеликой.

— Мы были неразлучны, как сестры, но после выхода из пансиона она вышла замуж за морского офицера, и мы потеряли друг друга. Я ничего не слышала о ней уже много лет...

Что касается Анри, то он просто не верил своему счастью. Гипс больше не сдавливал ног, они ожили. Он получил возможность самостоятельно менять позу, мог рисовать. Скоро он будет ходить. Невозможно передать словами, какое это счастье сгибать колени, шевелить пальцами ног, чувствовать в них теплый ток крови! Как жеребенок, катающийся весной по траве, он вертелся в своей постели с боку на бок только ради наслаждения движением. Но самым главным чудом было видеть маму — улыбающуюся, веселую. Иногда она даже отводила от него полные радостных слез глаза, будто никто не имел права видеть, как она счастлива.

\* \* \*

Как и предсказывал врач, он вновь стал расти. Увы, рост ограничился лишь верхней половиной тела — грудная клетка, плечи расширились, а вот ноги оставались прежними — слабыми, неразвитыми, иссеченными бесчисленными шрамами от операций. Как маска, снятая невидимой рукой, с его лица исчезло детское выражение. Голос утратил мальчишескую звонкость, тонкий точеный носик разросся в уродливую, бесформенную картофелину с огромными ноздрями. Ярко-алые губы казались распухшими и напоминали слизистые ткани рта. Зрение настолько ухудшилось, что ему теперь требовались сильные линзы. Пенсне на шелковом шнуре стало с этих пор как бы частью его самого. Оно было последним, что он снимал перед сном, и первым, к чему утром тянулись его пальцы. Густые черные волосы покрыли грудь, щеки, руки. Еще год назад он выглядел ребенком, теперь — мужчиной. Природа в спешке перепрыгнула период отрочества.

Мать с ужасом наблюдала за превращением ее прежде такого красивого и ладного мальчика в немощного полумужчину-полуребенка. На ее отчаянные мольбы объяснить ей, что происходит, врачи отвечали, что этот несбалансированный, односторонний рост вызван, вероятно, болезнью желез внутренней секреции. В конце концов, удрученно покачивая головами, медицинские светила заявили, что тут их наука бессильна.

Впервые мужество покинуло графиню Адель. Впервые охватила паника. Она готова была посвятить свою жизнь прикованному к постели ребенку, инвалиду, калеке, но не этому близорукому, нелепому и жалкому карлику.

Ночью, когда Анри засыпал, она склонялась над ним, закусив губы, чтобы сдержать слезы, и всматривалась в незнакомое, заросшее щетиной, уродливое лицо, стремясь отыскать в нем черты своего ребенка. Неужели это ее сын, ее Рири, с которым она играла на лужайке перед замком, который бросался к ней с объятиями, возвращаясь из лица, тот мальчик, что с гордостью показывал ей заслуженный там Почетный крест?

Она написала графу, и Альфонс сразу приехал. Когда он вошел в комнату Анри, его лицо стало пепельно-серым. Он застыл на пороге, не в силах выдать ни слова.

— Папа! — закричал Анри, приподнимаясь с подушек. — Я буду ходить! Доктор утверждает, что я буду ходить! Смотри, гипса уже нет! — И он откинул одеяло.

Граф будто не слышал его. Кто этот незнакомец? Этот заросший щетиной, отталкивающий карлик в пенсне, улыбающийся ему толстыми отвислыми губами? Его сын? Этого не может быть! Его единственный сын и наследник? Продолжатель тысячелетнего рода?

— У меня теперь ничего не болит. И доктор говорит...

Все еще не веря глазам, граф сделал несколько шагов к постели, поднял на уродо широко раскрытые от ужаса глаза.

— Бедное мое дитя! — простонал он наконец.

Затем повернулся на каблуках и выскочил из комнаты.

Через несколько секунд хлопнула входная дверь.

— Почему папа убежал? — спросил Анри мать, устремившуюся к нему.

— Ты же знаешь, он вечно куда-то спешит, — ответила она, отвернув лицо и как бы поправляя подушки. — Не беспокойся, он скоро вернется.

Анри понял, что мама его обманывает, и, когда через несколько дней она невзначай упомянула в разговоре, что графа неожиданно вызвали в Париж, он сказал только, повторив ее всегдашние утверждения:

— Папа — очень занятой человек. Не так ли?

Однажды утром он спросил ее напрямик:

— Как ты думаешь, мои ноги скоро начнут расти?

— Твои ноги?.. Конечно, начнут... Со временем. Они так долго были закованы в гипс, что мышцам потребуется несколько месяцев, чтобы восстановиться. А может, год или даже два...

Он заметил ее замешательство и воздержался от дальнейших расспросов.

Вскоре ему разрешили вставать и самостоятельно перебираться с постели в лоджию. Вдали сквозь кроны пальм, как и шесть лет назад, поблескивал залив Ангела.

Анри снова слушал пение птиц и стрекот цикад. Внизу, в саду отеля, царило большое оживление. Еще бы! Английская королева Виктория оказала Гранд-отелю огромную честь, поселившись здесь. Иногда он видел ее приземистую фигуру, закутанную в траурную накидку, когда она садилась в карету, выезжая на ежедневную прогулку.

— Доктор говорит, что через две-три недели ты достаточно окрепнешь, чтобы выходить. Мы сможем ездить кататься,— однажды сказала графиня.— Тебе нужен новый костюм.

Она вызвала к нему портного, заранее подготовив его. Появившись в спальне Анри, тот ничем не выказал своего удивления, только брови поползли вверх. Расплываясь в улыбке, он занялся своим делом — обмерил клиента, как будто его ежедневно приглашали обшивать бородатых подростков с атлетическим торсом и короткими детскими ножками.

Вскоре Анри с матерью стали выезжать. Посетили окрестности Ниццы, бродили по залитым солнцем тропинкам, взбегающим на пологие холмы.

Анри словно заново родился. Под стеклами пенсне блестели от возбуждения его большие прекрасные глаза — единственное, что осталось от прежнего ребенка.

— Смотри, мама! Смотри! — восклицал он при виде каждого нового пейзажа, открывающегося перед ними.

Иногда счастье настолько переполняло его душу, что в глазах закипали слезы. Он хватал руку матери, сильно сжимал ее или утыкался лицом в ее ладонь.

Однажды они добрались до Ментоны. Сквозь дымку вдали возник купол собора Сан-Ремо, уже на берегу итальянской Ривьеры.

— Давай когда-нибудь съездим туда,— предложил Анри.— В Италию.

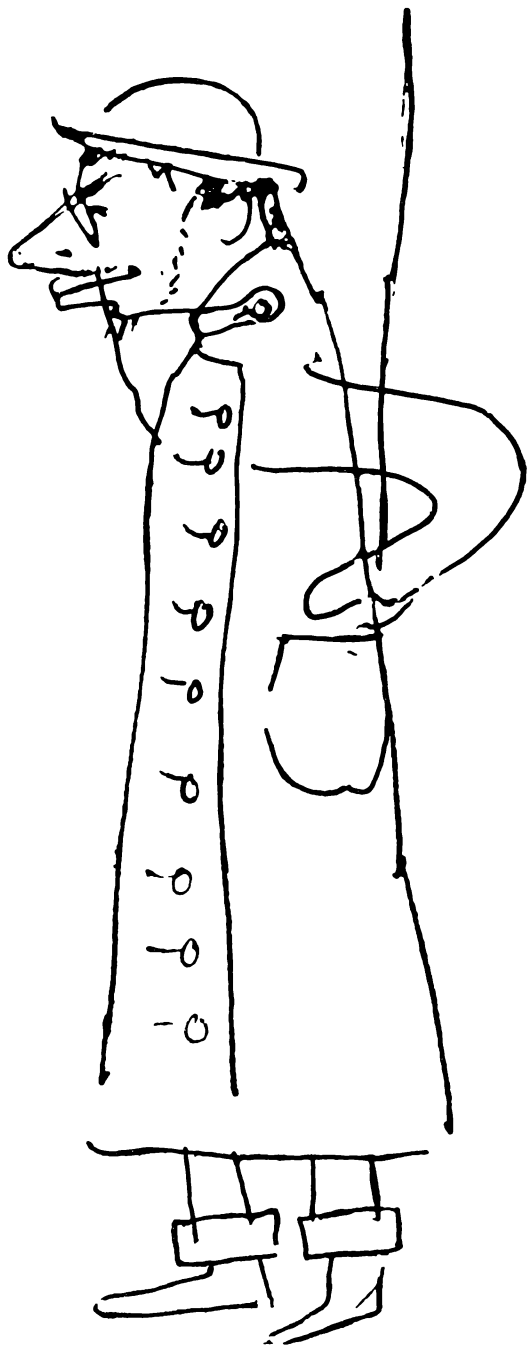
В сумеречном уже свете над опаловым морем темнели кипарисы, словно молящиеся, нахлобучившие капюшоны.

Мать с сыном начали поговаривать об отъезде из Ниццы. Но ни он, ни она не стремились вернуться в Альби: там их ожидало слишком много тяжелых воспоминаний.

Как-то утром графиня вошла в комнату сына и присела на край его кровати. Несколько минут она молча смотрела на Анри, сложив руки на коленях. Он подумал, что никогда, даже в самые страшные дни приступов, не видел ее такой измученной, такой бледной и несчастной. Ее пышные блестящие тициановские волосы свисали на щеки тусклыми каштановыми прядями, под глазами — тени от бессонницы, в углах рта — скорбные морщинки.

— Рери,— начала она наконец,— врачи считают, что ты практически здоров. Они сделали все, что могли. Если хочешь, мы можем возвратиться в Париж.

Голос ее сорвался. Как сломанный цветок, упала она на постель и зарылась лицом в покрывало. Он видел лишь белую полоску ее затылка и плечи, сотрясавшиеся от сдерживаемых рыданий.



Часть **1**  
Голодное  
сердце





## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Я горжусь тобой, Анри!

— Правда? Ты действительно гордишься мной, мама?

— Да, Рири, горжусь.— Ее глаза ласкали лицо сына. Нет, он не изменился, он всегда будет жаждать ее одобрения — маленький тщеславный мальчишка, который прибегал к ней из лица и хвастал своими успехами, своим Почетным крестом.— Честно говоря, я не верила, что тебе удастся наверстать потерянные годы.

Он улыбнулся.

— А я знал, что сумею. Потому-то и занимался так много. Ты, конечно, понимаешь, я добывал этот диплом ради тебя. Лично мне степень бакалавра совершенно не нужна. Мне было безразлично, получу я ее или нет.

Вскоре после того, как они вернулись в Париж, Анри решил на отчаянную авантюру, посвятив ей шестнадцать месяцев жизни. Был нанят учитель, молодой рыжеволосый эрудит, набитый дипломами Сорбонны. Стол в гостиной завалили книгами, к креслу-коляске была пристроена полка на шарнирах, чтобы класть на нее громоздкий латинский словарь. В течение этих месяцев сам воздух квартиры на бульваре Малерб, казалось, был насыщен гексаметрами, историческими датами, алгебраическими уравнениями. Теперь все это осталось позади — Анри сдал экзамены, получил степень бакалавра.

— Иди ко мне, присядь рядышком,— улыбнулась мать, указывая ему на низенькую, обитую бархатом скамеечку.— Ты любил сидеть здесь маленьким мальчиком.

Тень страдания пробежала по ее лицу, когда она смотрела на его усилия перебраться поближе к ней: с трудом поднялся он со своей коляски, опираясь на короткую трость с резиновой насадкой, проковылял несколько нетвердых шагов и опустил возле ее ног.

— Твой репетитор уверяет меня, что тебе вполне по силам получить степень магистра,— проговорила графиня Адель, положив руку ему на плечо.— Не хочешь ли попытаться? Знания, книги — великое утешение, может быть, самое большое в жизни.

Да, книги, дающие знания, стали для него утешением и радостью, помогли забыть одиночество, простить обиду «кровному побратиму» Морису Жуаяну, уехавшему с семьей из Парижа и не подававшему никаких вестей о себе, помогли смириться с ошибкой врачей, уверявших, что восстановятся нормальные функции его несчастных ног. Да, конечно, он мог обходиться и без кресла-коляски, мог встать с него и с помощью трости даже сделать несколько шагов. Но это — все. Он понимал: лучше уже никогда не будет, знал, что никогда не вырастут его короткие и слабые

детские ноги, никогда не наберутся сил, чтобы дать ему возможность уверенно передвигаться по земле... и боли, боли тоже никогда окончательно не оставят его. Он не говорил об этом никому, даже матери. Но она знала. И он знал, что она все-все понимает, что она читает по его глазам. Книги помогали ему забывать о недуге, может, они помогут жить дальше?

— Поверь,— убеждала мать,— книги — верные друзья. Они — источник прочного счастья.— И она стала делиться с ним планами, которые вынашивала долгими месяцами: они должны стать затворниками в благо-родном обществе великих книг... И умолкла, увидев, как сын отрицательно покачивает несоразмерно большой головой.

— Нет, мама,— сказал он,— я не хочу бороться за степень магистра. Книги, конечно, дело хорошее, но я помру со скуки, если всю жизнь посвящу только им.

— Может, попробуешь сам что-то писать?

— О чем? Прежде чем писать о жизни, надо пожить самому.— Анри прочел разочарование на лице матери.— Извини,— тоскливо пробормотал он.

— Что же, в таком случае, ты собираешься делать дальше? — спросила она после паузы.— Как будешь проводить время?

— Не знаю.— Он отвернулся и уставился в огонь камина.— Мне надо подумать.

Мать продолжала машинально поглаживать его буйную шевелюру. Как жадно любил он жизнь, как жаждал любви! И не подозревал еще, как эта жизнь жестоко обойдется с ним.

— Ты еще молишься, Анри? — с надеждой спросила графиня.

Черты его лица посуровели. Взгляд стал жестким.

— Нет, мама.— Он ждал упреков, но она молчала.— Я не могу молиться с того дня в Ницце, помнишь? Ты рыдала тогда в ногах моей кровати. И я решил: лучше считать, что Бога нет, чем искать объяснений и оправданий его действиям. Почему он карает тех, кто его любит, и не наказывает грешников? Почему позволяет невиновным платить за виноватых? Почему заставляет тебя так горько рыдать?

Он медленно поднял голову и взглянул в глаза матери.

— Пожалуйста, постарайся понять меня, мама. Я больше не желал молиться ему — Господу, которого не мог ни понять, ни простить, ни любить, ни уважать...

Мать с неизбывной грустью встретила его взгляд. Бедный, бедный Рири! Обезображенный калека, страдающий от постоянных болей... Лишенный всех человеческих радостей, друзей, игр, учебы, он потерял возможность утешать себя даже молитвой! А ведь лишь она одна могла бы помочь ему примириться со своим горьким жребием... Вероятно, существует грань, за которой юность уже не может прощать...

— Я не понимаю тебя,— тихо произнесла она.— Иногда трудно верить в Божье милосердие, но еще труднее — жить без Бога.

\* \* \*

В тот год лето они провели в замке Мальроме, который графиня Адель недавно купила. Тягостное великолепие средневекового Альби всегда угнетало ее, а с тех пор, как там заболел Анри, она уже совсем не могла

выносить это старое гнездо Тулузских графов. Очаровательный Мальроме — замок, окруженный пятьюдесятью гектарами полей и зеленью лесистого холма,— не был связан ни с какими воспоминаниями. Это был особняк семнадцатого века, с легкими стенами и башенками, окруженный парком, где росли старые могучие деревья. Стоял замок в Жиронде, неподалеку от Бордо, в краю виноградников, напоминавших графине ее родной Селейран.

Анри сразу полюбил Мальроме — его парк, чугунные замковые ворота, посыпанные гравием дорожки, клумбы с цветами. Тут он тоже мог ходить в конюшню, угощать лошадей морковью, беседовать с конюхом. Мог подолгу сидеть на берегу пруда под холмом, наблюдая за рыбами, скользящими в изумрудной воде, после обеда мог дремать в тенечке, устроившись в шезлонге. На маленькой террасе, где они обычно обедали, Анри поддразнивал тетю Армандину, приехавшую сюда на недельку из Альби навестить родственников, да так и оставшуюся с ними до осени. Он спорил с доктором Муре — местным эскулапом, иногда приходившим к ним отобедать, ездил в соседнюю деревню сыграть партию-другую в шахматы с настоятелем тамошней церкви Сент Андре кюре Сулаком. Ему по душе пришелся этот сельский священник. Вместе с матерью Анри разъезжал по мирным и пыльным местным дорогам в голубом экипаже с Жозефом на козлах, облаченным в свою прежнюю кучерскую ливрею...

Как-то вечером, уже готовясь к возвращению в Париж, они с матерью, сидя на террасе, слушали монотонный треск цикад и наслаждались прохладным бризом, доносившимся сюда с океана.

И вдруг Анри, обращаясь к графине, робко произнес:

— Знаешь, мама, я хотел бы стать художником.

— Художником?! — удивилась она.

Это слово ассоциировалось у нее с чем-то предосудительным, даже неприличным. За исключением нескольких «бессмертных» — членов Французской академии — художники представлялись ей взъерошенной аморальной богемой, людьми, влачившими нищенскую и развратную жизнь в мансардах Монмартра. Они пили абсент и рисовали голых натурщиц, тяготели к низам общества, как актеры, писатели, оркестранты... Какой-нибудь сын бакалейщика, считала она, мог бы стать художником, но не молодой человек из аристократического круга, из богатой знатной семьи. И уж конечно, не Тулуз-Лотрек!

— Художником?! — повторила она. — Но, Анри...

— Я знаю, что ты хочешь сказать,— перебил ее сын, догадываясь о возможных возражениях.— Но у меня нет иного выбора. Что еще могу я делать, мама? Что еще? С другой стороны, меня всегда увлекало рисование. Разве ты не помнишь моих портретов, сделанных еще в детстве в Альби, в Ницце, забыла о том быке, которого я хотел нарисовать вместо подписи в церковной книге? Конечно,— с поспешностью, чтобы не дать ей возразить, продолжал он,— первое, в чем я должен удостовериться, это понять о себе — есть ли у меня талант. Вот я и подумал: не взять ли мне несколько уроков у того глухонемого художника, месье Пренсто, который когда-то на Конкур-иппик счел мои рисунки замечательными? Может, он согласился бы поучить меня?

Мать печально смотрела в сгущавшиеся сумерки осеннего вечера. Несколько уроков не повредят. Глядишь, заставят его забыть о своем одиночестве, заполнят на какое-то время жизнь. А ведь это так важно — занять сына чем-нибудь!

\* \* \*

С самого начала между глухонемым художником и семнадцатилетним калекой установилась глубокая и нежная дружба. Они прекрасно понимали друг друга: кивок, улыбка, поднятие бровей. В крайнем случае, под рукой всегда были блокнотик и карандаш.

Хотя сам Пренсто большим художником не был, но сразу сумел распознать феноменальную одаренность ученика, искренне увлекся ею. Действительно, в пальцах Анри, в самой душе его жило непосредственное впечатление, он интуитивно воспринимал цвет и движение бытия, точно и самобытно воспроизводил их. Но в этом был и его минус: зрители еще не привыкли, еще не любили яркой и оригинальной живописи, им подавай приглаженные, выписанные до мелочей картинки. Такие Пренсто и сам делал. Вот и юноше, для его же блага, следует обуздать вдохновенный полет кисти. Пусть сначала научится рисовать «правильно», делать то, что приносит успех. И прежде всего пусть пока откажется от цветowych пятен. Только черное и белое, черное и белое. Рисунок. Движение. Образ...

Однажды Лотрек увидел на столике у своего мольберта гипсовую лошадку — вздыбленного в прыжке рысака. Рядом лежал набор остро заточенных угольных стержней и стопка белых листов. Художник молча улыбнулся Анри. Что ж, начнем. Он сел, кнопками укрепил на доске один из листов ватмана и принялся за рысака. Пренсто одобрительно кивнул. Едва эскиз был окончен и протянут учителю, тот повернул гипсовую модель на несколько градусов и жестом велел приступить к новому наброску. Анри



*Кавалерист.  
1876—1885*



укрепил на доске новый лист... К концу дня весь пол вокруг него был устлан изображениями вздыбленного жеребца, схваченного угольным карандашом в разных ракурсах. А молодой Лотрек, пыхтящий, с горящими глазами, трудился уже над двадцать восьмым рисунком.

С тех пор каждое утро он находил на своем столике перед мольбертом новую гипсовую лошадь, стопку чистой бумаги и угольные карандаши.

— Месье Пренсто,— протестовал иногда Анри, показывая жестами свое отчаяние,— когда вы, наконец, позволите мне заняться живописью?

Пренсто лишь отрицательно покачивал головой, и юноша возвращался к своей рисовальной доске, отрываясь от нее лишь изредка, чтобы бросить на учителя преувеличенно яростный, протестующий взгляд. Но Пренсто делал вид, что не замечает его.

— Лошади, лошади, лошади! — жаловался Анри за ужином матери.— Знаешь, сколько раз заставил он меня срисовать одну и ту же гипсовую клячу? Тридцать семь! Пожалуй, теперь я мог бы нарисовать ее с закрытыми глазами... Это я-то, мечтавший о портрете!

Графиня Адель сочувствовала, втайне надеясь, что сыну в конце концов все это надоест и он откажется от своего намерения стать художником.

Но Анри был упрям и ежедневно возвращался в студию Пренсто. И однажды нашел на своем мольберте белый холст, натянутый на подрамник. А рядом, на столике,— коробку с красками, кисти и палитру, на которой лежал листок из блокнота: «Моему любимому и талантливому ученику от Рене Пренсто».

— О, благодарю вас, мэтр! — Его восторг вылился в преданный взгляд и поклон, который мог бы служить эталоном элегантности, когда бы не нелепая фигура Анри.— Я просто не нахожу слов, чтобы выразить вам свою признательность,— четко произнес он, глядя в глаза учителя, и тут же принялся выжимать из тюбиков на палитру жирно поблескивающие краски.

Но что это? Ученик нахмурился и, опираясь на трость, склонился к коробке, разглядывая этикетки на тюбиках. Странно! В наборе почему-то нет ни лазури, ни индиго, ни зеленой... И красной нет... И синей! С каждым открытием его возмущение нарастало, он все громче и громче выкрикивал названия отсутствующих красок и теперь уже гневно уставился на учителя, которого минуту назад боготворил.

— Что это, месье Пренсто? Что это значит?! Послушайте, табачно-коричневая, орехово-коричневая, умбра, темно-землистая, красное дерево, белила цинковые, свинцовые и, конечно, чернь угольная, виноградная, жженная кость, голландская сажа — столько черноты, что ее хватило бы размазывать паровоз! — С пафосом адвоката, взывающего к присяжным, он воздел руки: — Что же можно нарисовать только темно-коричневой и черной? Ну, месье Пренсто, неужели вы не понимаете этого?

Художник протянул ему листок из блокнота: «Яркие цвета опасны. Ими следует пользоваться очень осторожно. Рембрандт заставлял светиться самые тусклые тона. Учитесь делать то же».

— Но я не Рембрандт! — взорвался Анри, пробежав глазами записку.— И я не хочу писать, как он! Рембрандт давно устарел...

Пренсто уже вернулся к своему мольберту, не обращая больше внимания на ученика. Анри умолк. Со вздохом выдавил еще немного краски и принялся грунтовать холст.

Так продолжалось несколько недель. В теплой и тихой студии, хотя в стекла окон хлестал зимний дождь, время летело быстро. Конечно, голландская сажа и умбра — не самые потрясающие краски на свете, но и их сочетанием можно что-то изобразить, получить свою толику радости. Так, играя на басовом регистре пианино, можно извлечь мелодию, и это куда лучше, чем не играть вообще...

Время от времени Анри ковылял к мольберту Пренсто и умоляюще выпрашивал у мэтра хоть капельку ультрамарина или пурпура.

— Ну пожалуйста, месье, ну дайте немножечко охры! Она необходима мне, взгляните сами!

Художник нехотя подходил к его холсту, внимательно изучал его, возвращался к своим краскам, выбирал нужный тюбик и осторожно выжимал микроскопическую дозу ярко-желтого или голубого на мрачную палитру ученика. И снова протягивал ему листок из блокнота: «Желтый — самый опасный из всех цветов. Его можно употреблять лишь в самом крайнем случае — как цимбалы в музыке».

На полном гладковыбритом лице Пренсто расплывалась ласковая улыбка, пока Анри читал его наставления. На одну-две секунды в уголках глаз появлялись лукавые морщинки. Потом, укоризненно покачивая головой, он удалялся в свой угол.

Вскоре после рождественских праздников художник тяжело заболел. Лежа в постели, он написал графине, что собирается покинуть Париж. Что же касается Анри, то, по его мнению, он уже вполне подготовлен, чтобы начать профессиональную академическую учебу в классе какого-нибудь мастера, скажем, профессора Леона Бонна, известного портретиста. Пренсто обещал рекомендовать Лотрека этому модному живописцу.

— А не лучше ли тебе брать уроки дома? — предложила сыну графиня Адель, прочитав принесенное сыном письмо. — Можно было бы переоборудовать под студию одну из наших комнат.

— Нет, мама! — горячо запротестовал он. — Учиться в одиночку или вместе с другими студентами совсем не одно и то же. Ты только подумай о преимуществах совместной учебы у такого мастера, как месье Бонна — одного из крупнейших сегодняшних портретистов!

— Это так. Но подумал ли ты, Рири, что можешь оказаться не на своем месте? Тем более если явишься в мастерскую Бонна в середине семестра?

— Но как я смогу стать художником, если не начну работать с натурой? Нельзя же всю жизнь писать гипсовые слепки! И потом... — Анри помолчал и тихо закончил: — Может быть, мне удалось бы встретить там друзей.

Тоскливая нотка, прозвучавшая в его голосе, заставила мать вздрогнуть, на глаза навернулись слезы, однако она не сдавалась.

— Может, и так, но... в этом есть огромный риск: молодые, как правило, держатся своего круга, отвергая чужаков. Кроме того, ты слишком робок с незнакомыми, а многие принимают деликатность и робость за снобизм... И еще одно: твоим возможным соученикам, вероятно, уже за двадцать, а тебе всего семнадцать. Ты не сможешь понять их, а они,

возможно, даже и не захотят понять тебя.— Голос матери сорвался, она горестно вздохнула.

— Я знаю, о чем ты думаешь,— огромные глаза сына с глубоким сочувствием остановились на материнском лице.— И тоже боюсь этого. Но ведь не могу же я всю жизнь торчать дома и прятаться от людей!

\* \* \*

Заложив руки за спину, профессор Леон Бонна совершал еженедельный смотр успехов своих подопечных, шествуя мимо их мольбертов и время от времени останавливаясь у какого-нибудь привлекшего его внимание холста.

— Портрет — не только высшее воплощение искусства,— разглагольствовал он, обращаясь ко всем сразу,— он также и наиболее выгодный жанр с финансовой точки зрения! Чтобы стать преуспевающим портретистом, следует усвоить три основных правила. Если ваш клиент человек действия — генерал, предприниматель, государственный чиновник,— его следует писать в полный рост. Лицо сосредоточенное, брови нахмурены, пальцы сунуты в жилетные кармашки или руки скрещены на груди, как на портрете Наполеона работы Виньо. Если же он философ, ученый или, скажем, известный литератор, церковный деятель — смело пишите его сидящим, задумчивым, подпирающим рукой подбородок, как, например, кардинал Лавижери на моем портрете.

Анри, замирая от страха, скорчился на своем складном стульчике у мольберта, изредка поглядывая на нагую натурщицу, сидевшую в свободной позе на специальном помосте — подиуме,— и пытался с помощью выставленного большого пальца измерить масштаб и перенести его на холст неуверенными мазками. Как сегодня отнесется профессор к его работе? Как оценит его старания? Вдруг, как в прошлые разы, снова выставит на всеобщее посмеище?

— Однако,— продолжал классик, переходя от студента к студенту,— техника письма всегда остается одной и той же. Сначала вы ограничиваете пространство, куда собираетесь поместить свою модель, создаете тщательный предварительный набросок, накладываете первоначальные тени сырой умброй. Сырая умбра! Понятно? — повторяет он с неожиданной яростью.— Умбра, и больше ничего! Пусть импрессионисты и эти мазилы из Независимых позволяют себе закладывать в первичные тени индиго или кармин — мы должны пользоваться только сырой умброй!

Наконец он подходит к Анри и прерывает свою лекцию. Косится на его холст, время от времени пощипывая козлиную бородку. В мастерской воцаряется мертвая тишина. Сейчас начнется еженедельное развлечение. Ожидаемый спектакль.

— И вы, месье, считаете это живописью?! — начинает мэтр с вкрадчивой иронией.— В таком случае, я должен сказать вам, что вы глубоко заблуждаетесь! — И вдруг, в порыве гнева, переходит на визгливый крик: — Знаете, как я называю такое? Свинством!

Он бросает эту грубость прямо в лицо Анри, вызывая бурный восторг студентов.

— За каким чертом вы продолжаете таскаться сюда? — снова возбуждает себя Бонна, когда гогот несколько стихает.— Действительно рассчитываете когда-нибудь стать художником? Сколько раз я должен объяснять вам,

что все ваши потуги не имеют под собой никаких оснований. Ваши художнические инстинкты ложны, они не содержат ни грана таланта. У вас напрочь отсутствует вкус, понимание красоты, вам доступно лишь изображение уродства! Поймите, молодой человек, что вы никогда не сможете писать маслом. И, ей-Богу, обяжете всех нас, если останетесь сидеть дома и избавите меня от тяжелой необходимости рецензировать ваше творчество, вашу невыносимую пачкотню!

И, продолжая пощипывать бороду, словно намереваясь выдрать ее по волоску, он отходил, подергивая плечом. На этом спектакль кончался. Спустя минуту мэтр стаскивал с вешалки пальто, нахлобучивал котелок и удалялся.

— Занятия окончены! — объявляет староста, хлопнув в ладоши. Натурщица накидывает засаленный халат, достает газету и начинает ее просматривать, одновременно ковыряя спичкой в зубах. Студенты оставляют свои мольберты, коробки с красками, сбиваются в кучки.

Анри же упрямо продолжает тыкать кистью в холст, сдерживая слезы. Ну какой смысл ходить сюда? Чтобы каждую неделю подвергаться публичной порке? Превращаться в посмешище для этих дюжих парней? Злых и глупых. Предупреждала же мама, что они не захотят принять и понять его, и оказалась, как всегда, права. Они отвергали все его робкие попытки как-то сблизиться, отвечали на них откровенной жестокостью, показывая, что он им абсолютно не интересен, не нужен. Почему они так ненавидят его? Потому что он — калека? Нет, дело не в этом. Они не приемлют его юношеской наивности, его приличной и чистой одежды, того, что по утрам он подъезжает к студии в экипаже, сопровождаемый ливрейным лакеем. Кто он для них? Дилетант, богатенький маменькин сынок, балующийся от безделья кистями и красками, воображающий себя художником. Если бы они только знали!.. Увы, не хотят они ничего знать. И продолжать таскаться сюда — бесполезно. Придется сдаться. Возможно, он и получит степень магистра, как хотела мать.

— Не позволяй старому ослу сломать себя! — басит за спиной чей-то голос. Анри поворачивает голову. Громадный парень в потертом фраке и клетчатых брюках. На шее галстук-бабочка. Незнакомец с ободряющей улыбкой склонился над ним. Правда, Анри и раньше обращал на него внимание, выделял в толпе однокурсников из-за роста, гортанного южного говора и волнистой бородищи, подобно черной пене, обрамляющей скулы и подбородок.

— Пусть себе ревет, пусть брызжет слюной, — продолжал гигант. — У тебя же заплачено вперед за весь год, не так ли? Вот и наплюй на него. Выгнать тебя он не имеет права. Не обращай внимания. Между прочим, мы с тобой тезки, я тоже Анри, Анри Рашу. Кстати, у нас есть и общие знакомые — месье Ферроль, ювелир из Альби, дружит с моим старшим братом. — И Рашу протянул Анри огромную крепкую ладонь. — Вот мы и знакомы. Как ты насчет того, чтобы смотаться к Агостине и вместе пообедать? А потом, если захочешь, я покажу тебе свою студию. Ничего особенного, но оттуда очаровательный вид на кладбище Монмартра. Был когда-нибудь там?

В ресторанчике «Тамбурин» стоял непрерывный гул. Рашу и Лотрек прошли в уголок залы, к маленькому, на две персоны, столику. Косматые художники с Монмартра в черных вельветовых блузонах и широкополых фетровых шляпах нависали над своими столами, спорили, стараясь перекричать друг друга, размахивали мятыми салфетками и непрерывно дымили. В воздухе висел запах крепкого табака и чеснока. Между столиками циркулировала миловидная, правда, уже не первой молодости брюнетка с голубыми глазами. За ней неотрывно следовали две преданные овчарки. Не обращая внимания на окружающий бедлам, брюнетка разносила по столам блюда и бутылки с вином, покрикивала на особенно расшумевшихся посетителей, острила, советовала, что кому поесть. То в одном, то в другом конце залы слышался ее молодой смех.

— Это и есть Агостина,— шепнул Рашу, указывая мундштуком трубки в ее сторону.— Хозяйка. А раньше была натурщицей.

В свои тридцать девять Агостина Сегаттори уже давно стала легендой Монмартра. Шестнадцатилетняя потрясающе красивая сицилийская девочка пришла в Париж босиком, без единого сантима в кармане. Через полгода она стала самой популярной натурщицей французской столицы. Почтенные художники-академисты сражались между собой, добиваясь ее услуг и благосклонности. Скульпторы восхищались совершенством ее талии и бедер, с новым рвением заработали их резцы и зубила, и два десятилетия подряд ее роскошная грудь и классический профиль неизменно появлялись на ежегодных вернисажах Салона, а ее грациозная фигура украшала бесчисленные площади Парижа в образе Дианы, Демократии или Марсельезы. Благодаря романтической натуре, она смогла оставить в тех студиях, где позировала, немалую толику души, утешавшей легионы творцов своей нежностью в горестные часы жизни. Когда года три назад она закончила свою карьеру и открыла ресторан, толпы благодарных художников предложили ей свою бескорыстную помощь в память об их коротких романах. Поскольку она не смогла принять дань признательности от всех, дать всем работу, то попросила каждого расписать один из тамбуринов, украшавших стены ее заведения, присвоив им имена художников. Число этих даров свидетельствовало о щедрости души красавицы Агостины.

Анри видел, как заботливо склонилась она над одним из завсегдатаев, русобородым скульптором, и громким шепотом уговаривала его:

— Умоляю тебя, Роберто, не бери ризотто<sup>1</sup>, я слишком начесночила его, а у тебя от чеснока случаются ночные кошмары, лучше возьми пиперони<sup>2</sup>, перец разогревает кровь, и ты сумеешь нынче вечером порадовать свою женушку, сделаешь ее счастливой. Хорошо?

Свои увещевания она сопровождала ласковым поглаживанием плеча клиента и, получив его согласие, обернулась к двум студентам — великану и карлику:

— И вы, мальчики, проголодались? — Для нее все студенты, независимо от возраста, были мальчиками — «бамбино». — Зверский аппетит?

<sup>1</sup> Ризотто — итальянское национальное блюдо.

<sup>2</sup> Пиперони — тоже итальянское блюдо.



Так я подам вам и пиперони, и ризотто. Такого ризотто вы в жизни не ели! Оно — как музыка. Ласкает желудок.

Посетители ресторана привыкли к ее поэтическому языку. Он был так же естествен для Агостины, как волна густых иссиня-черных волос.

— А потом я угощу вас...

— Всем-всем, чем пожелаешь,— согласился Рашу, который действительно очень любил вкусно поесть.— Ты же всегда подаешь то, что считаешь нужным.

За едой Рашу почти не разговаривал, отправляя в рот огромные порции пиши. Анри же был слишком возбужден, чтобы хоть что-то съесть. Какое чудное местечко! Он еще никогда не бывал в таком замечательном заведении! Его волновали и непривычные запахи, и шум, и все эти лохматые художники, спорящие, размахивающие руками и перекрикивающиеся через всю залу.

Некоторое время Лотрек не спускал глаз с коренастого старца, раскуривавшего трубку от раскаленного уголька и беседующего с довольно молодым человеком, у которого были тонкие черты лица и русая бородка.

— Седобородый — это Писсаро,— информировал его Рашу, проглотив очередной кусок.— Он импрессионист. А его напарник — Тео Ван Гог — владеец художественного магазинчика на бульваре Монмартр.— Заметив, что тарелка Анри стоит нетронутая, Рашу сердито пробасил: — Черт поberi! Лопай свое ризотто, а то, глядишь, Агостина на тебя рассердится...

Пообедав, они отправились на соседнюю улицу, где была студия Рашу.

— Полюбуйся, какой отсюда вид! — воскликнул хозяин, распахивая окно и обводя рукой панораму могильных плит, мавзолеев, статуй рыдающих ангелов.— Здесь, как в скульптурных залах Лувра, не правда ли? Ты не поверишь, какой эффект производит весь этот антураж на девиц! Особенно, ну прямо до смерти, пугает их крематорий... И возбуждает в них страсть.— Он ткнул пальцем за спину, указывая на стоящую в углу студии кушетку, задрапированную покрывалом, вытканым в псевдовосточном стиле.— Я эту кушетку потому и поставил здесь, что с нее они могут любоваться крематорием.

Протянув длинную ручищу, он снял со стены мандолину и, подыгрывая себе, затянул популярную на Монмартре балладу «Ах, что ты творишь, любовь!».

\* \* \*

Постепенно у Анри вошло в привычку обедать с Рашу и проводить вечера после занятий в его студии на улице Ганнерон. Там он рисовал, подпевал хозяину, часто наблюдал за похоронными процессиями, тянувшимися на кладбище в любое время суток. Познакомился он и с возницами катафалков, и с могильщиками, и со служителями крематория, забегавшими в свободные минуты к Рашу опрокинуть стаканчик вина, а то и попозировать молодым художникам, обменяться новыми анекдотами.

— Знаешь,— как-то заговорил Рашу с Лотреком,— ты отличный парень. С тобой все о'кей! Конечно, практически ты еще ребенок,— протянул он снисходительно, разглядывая товарища с высоты своего почти двухметрового роста и двадцатидвухлетнего возраста,— но далеко не дурак. Вовсе

не глуп! И рисовать ты можешь будь здоров! Пусть этот недоносок Бонна говорит, что ему угодно. Можешь!

Для Анри такие комплименты были целебным бальзамом, и благодарность к этому великану-раблезианцу переполняла его душу.

— О, Рашу, если бы я только мог сказать тебе все...

— Заткнись, малыш!

Этим грубоватым окриком Рашу давал понять Анри, что в их студенческой среде никакое проявление сентиментальности не поощряется. Дружбе достаточно скупого, а то и перченого словца.

— Беда в том,— продолжал тетка,— что ты слишком робок, вежлив, деликатен. К тому же — чистюля! Взгляни только на свои ноготки. Немножко грязи под ними никому еще не повредили. И еще одно: не бойся иногда выдать в разговоре «черт побери» или «чихать я на него хотел» — ну, как все остальные говорят. Тогда тебя будут держать за своего.

В течение следующих недель Рашу упорно учил Лотрека манерам и обычаям местной богемы, своеобразному жаргону Монмартра.

— Допустим, заспорили мы с тобой о Рубенсе,— заявил он как-то туманным мартовским деньком.— Я утверждаю: Рубенс — гений, великий мастер, выше всех из когда-либо живших на свете художников. Ну? И что ты ответишь?

— Я? Ну, скажем, я так не считаю... Извини, но мне кажется, что его манера устарела... Вот...

Рашу просто ошарашила такая неопределенность ответа. Несколько мгновений он огорченно всматривался в приятеля, покачивая головой.

— Нет, нет и нет! — взорвался он наконец и, как бы стремясь объяснить существо дела непонятливому ребенку, принялся втолковывать: — В ответ ты должен хмыкнуть и отбрить меня так: Рубенс? Да чихать я хотел на твоего Рубенса, черт его побери! Дырявый он мочевого пузырь, а полотна его годятся только на подтирку! Ясно? Вот так нужно спорить. А то — «не считаю... извините-простите»... Фи!

Глаза Рашу, маленькие пороссячьи глазки, лучились тихой приязнью и нежностью, когда он озираал сверху своего «ученика».

Анри подозревал, что таким способом наставник готовит его к дебюту, который должен был состояться в студийном мирке. И не ошибся.

В один из вечеров Рашу предложил:

— А не прошвырнуться ли нам в «Нувель»? Это рядышком.

«Нувелем» оказалось кафе «Нувель д'Афин» — «Новые Афины» — прокопченное табачищем местечко богемных пирушек на Пляс Пигаль. Здесь они наткнулись на трех сотоварищей по занятиям в мастерской Бонна: Луи Анкетена, Рене Гренье и Франсуа Гози. Они, как и Рашу, жили здесь, на Монмартре.

Может, «случайная встреча» была спланирована Рашу заранее? Уговорил приятелей встретиться с «богатеньким дилетантом», ну, они и согласились доставить ему удовольствие: Рашу пользовался в их кругу авторитетом.

Парни приветствовали Анри сдержанно, с прохладцей. Небрежно кивнули и, казалось, тут же забыли о нем: вступили в жаркий спор между собой. Анри, храня молчание, посасывал свое пиво.

Как ни странно, именно эта его сдержанность разрушила в конце концов преубежденность, с которой к нему привыкли относиться в мастерской. Заядлые спорщики, эти молодые люди нуждались в аудитории. В Анри они нашли благодарного слушателя рассказов о своих любовных приключениях и постоянных трудностях финансового характера.

Примерно через месяц после той памятной встречи в «Нуфель» Гози первым решил воспользоваться услугами Лотрека. Во время перерыва, когда они вместе торчали в мастерской Бонна, он подошел к Анри и начал:

— Знаешь, что со мной случилось прошлой ночью? Голову на отрез — не догадаешься! — Весь его вид говорил о том, что вчера Франсуа столкнулся с каким-то необычайным приключением.

Станным парнем был этот Франсуа Гози. К своим художественным способностям, даже несомненному таланту, он относился весьма сдержанно, даже скептически, а вот к внешности — весьма заурядной — очень ревностно. Считал себя неотразимым! Тщедушный, с заостренными чертами лица, впавшими щеками, невысокого росточка, он был самонадеян и тщеславен. Любил франтить — покупал, тратя на это почти все свои деньги, яркие жилеты и твердо верил, что ни одна женщина не может устоять перед его «гипнотическим взглядом» и надушенной бородкой. По этой причине часто тренировал этот свой взгляд перед зеркалом и орошал жидкую бороденку сиреневой туалетной водой.

— Иду, понимаешь, домой,— продолжал он, ободренный вниманием Анри,— забежал в маленькое бistro, на углу, и только вообрази, что я там увидел! В жизни не отгадаешь! Сидит девица, молоденькая, красоты неопишущей, вся в слезах. О чем плачете, мадемуазель, спрашиваю. Она — в три ручья. Наконец призналась — хозяйка выставила ее из комнаты за неуплату...

Далее он поведал приятелю, что, конечно, отнесся к несчастной с предельным вниманием и сочувствием. Гипнотические взоры, которыми он жег ее, а также благоухание бороды, касавшейся ее щечек, создали меж ними взаимное притяжение. Вследствие этого они покинули бistro вместе и каким-то образом оказались в комнате Гози, где их только что зародившаяся приязнь мгновенно превратилась в испепеляющую страсть. В эту незабываемую ночь любви Бабетта — так зовут девушку — открылась ему как совершеннейшая женщина, обладающая безграничным пониманием желаний своего партнера, натурой любвеобильной и утонченно порочной.

Все это было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство: Бабетта воровала в его жизнь в крайне неподходящий момент.

— Видишь ли, пару дней назад я приобрел этот жилет,— Франсуа распахнул полы своего полуфрака и продемонстрировал превосходный лимонно-желтый жилет,— и потому нынче — на мели...

Анри тут же вошел в его положение. Он молча протянул Франсуа империал — золотую двадцатифранковую монету, которую тот принял как бы с неохотой, но достаточно благосклонно.

Спустя неделю подошла очередь Анкетена.

— Я потерял ее,— горестно простонал Луи.— А какая чудесная была девушка...— В отличие от Гози, любившего поносить бывших возлюбленных, Анкетен после разрыва начинал их идеализировать.— Не следовало мне таскать ее в Лувр!..

Луи Анкетен — красивый, рослый блондин. Местные белошвейки обычно оглядывались на этого молодого человека с русой бородкой. Из-под мягкого цилиндра на его плечи падали спутанные пряди волос. Он увлеченно разглагольствовал, яростно жестикулируя. И, однако, частенько терпел неудачи, очень уж высокие требования предъявляя простушкам и питая на их счет пустые иллюзии. Невежество и тупость гризеток возмущали его. Он вечно стремился повысить их «интеллектуальный уровень», привить им определенные принципы морали. И конечно, постоянно терпел поражение. Слишком много внимания уделял словам, вместо того чтобы не трепать языком, а действовать, и действовать стремительно. Он водил их в Лувр, посвящал в тайны высокого искусства, когда они с гораздо большим удовольствием согласились бы постигать куда более простые секреты в домашней обстановке.

— Да-да! Она порвала со мной в зале фламандских примитивистов,— причитал Анкетен.— Никогда больше ноги моей там не будет!

Правда, к концу исповеди покинутый любовник почувствовал себя гораздо лучше... Не прошло и недели, а он уже наставлял на путь истинный следующую жертву — молоденькую прачку, с которой познакомился на танцах.

Рене Гренье последним из троицы новых друзей преодолел свое предубеждение против «маменькиного сынка». Его сдержанность постепенно превратилась в сердечность, а затем перешла в долгую искреннюю дружбу.

Гренье пригласил Лотрека в свою двухкомнатную квартиру.

— Видишь вон то окно на втором этаже? — не без гордости указал он на дом по ту сторону двора.— Это студия Дега! Иногда я даже вижу его, когда он там курит или читает газету.

Анри понял, что его «приняли». У него появились друзья. И он был счастлив.

Как-то, уже в июле, профессор Бонна появился в мастерской, широко улыбаясь. Неотложные дела, объявил он своим ученикам, заставляют его оставить класс.



*Портрет  
Эмиля Бернара.  
1885*



*Лотрек  
с друзьями  
(в их числе —  
супруги Гренье)*

— Однако не тревожьтесь,— заверил он растерявшихся студентов.— Я уговорил своего знаменитого друга и коллегу по Академии профессора Фернана Кормона зарезервировать для вас места в его мастерской. Так что в будущем октябре те из вас, кто пожелает, может заниматься у него.

Не успел Бонна спуститься на улицу, как в зале началось бурное ликование. Все просто посходили с ума от радости. Ученики художника высыпали на улицу и устроили маленький кавардак: Франсуа Гози взобрался на фонарный столб, что стоял на углу площади Клиши, и рассыпал воздушные поцелуи всем проходящим мимо женщинам, а Рашу — и того хлеще: заложив руки за голову, он под дикую «восточную» музыку, исполняемую на гармонии Анкетеном, принялся отплясывать танец живота. Гренье, дабы отметить «печальное событие», пустил шапку по кругу... Двое подошедших полицейских прервали ликование студийцев на том основании, что оно непристойно и оскорбительно для общественных нравов.

— Кроме того, господа мешают уличному движению и вообще нарушают...— заявил один из правоохранителей, покручивая ус.— Клянусь Богом, начнется черт знает что, если каждый вздумает исполнять танец живота посреди улицы!

Но инцидент, готовый вспыхнуть, кончился, к взаимному удовольствию, миром. После бурных дебатов начались рукопожатия, и ученики Бонна пригласили блюстителей порядка выпить вместе по стаканчику вина.

После шумного обеда у Агостины приятели отправились в «Новые Афины», правда, кафе в этот ранний час было еще полупустым. Раскрасневшиеся, охрипшие от восторженных криков, возбужденные приемом изрядной порции кьянти, они кинулись целовать Терезу, косоглазую кассиршу «Нувель», которую, вероятно, никто не целовал с тех пор, как она была маленькой девочкой. Потом всей гурьбой устремились на свое привычное место — к столику в дальнем углу. Уселись и затихли, размышляя, что делать дальше.

Тогда-то Рашу и предложил навестить в бордель.

— Клянусь Господом, мы должны хорошенько отпраздновать этот день! — возопил он, грохнув кулаком по мраморной столешнице.— Я знаю неподалеку одно местечко, где полно прехорошеньких девиц. Красивы до невозможности и... без ничего! Почему бы нам не прошвырнуться туда? Спать с ними не обязательно, Боже сохрани,— благочестиво закончил он,— а так... Потанцевать, выпить...

— Блистательная идея! — Анри икнул.— Вперед!

— Согласен,— поддержал Гренье,— но сколько это будет стоить?

— Действительно, хватит ли у нас франков? — усомнились и другие.

Хотя все эти парни постоянно хвастались своими победами, но, если говорить честно, испытывали смутную неприязнь к женщинам из борделей и к салонам, обитым красным плюшем, где любовь продавалась за деньги.

— Кто смеет говорить в такой день о презренном металле? Плачу за все! — объявил Рашу, который всегда был чем пьянее, тем щедрее.

На этом спор прекратился. Компания выкатилась на улицу, и Рашу, поймав свободный фиакр, приказал кучеру:

— В «Зеленый попугай», на улицу Стайн Керк!

В октябре Анри Лотрек записался к Кормону и начал заниматься в его мастерской уже в качестве студента второго курса.

Каждое утро, покидая квартиру на бульваре Малерб, он отправлялся на Монмартр, где находилась мастерская Фернана Кормона. Но не доезжал до самых дверей, останавливался за углом, осторожно выбирался из экипажа, чтобы однокашники, не дай Бог, не увидели ни ландо с гербом на дверце, ни Жозефа в голубой ливрее и с кокардой на шляпе. Помогая себе короткой тростью с резиновым наконечником, он ковылял к стайке студентов, слонявшихся, покурявая трубки и продолжая извечные споры, возле входа в мастерскую. Обменивался с Рашу или другим приятелем несколькими фразами и, когда часы били девять, карабкался на четыре лестничных пролета вверх. Тяжело дыша, добирался до большой залы, набитой мольбертами, где уже стояло живое тепло от раскаленной железной печурки, вешал на крючок, специально прибитый пониже, свой котелок, крылатку, пробирался среди чужих мольбертов к своему складному стульчику с полотняным сиденьем, стоявшему рядом с помостом для натурщицы. Уложив рядом с собой трость, доставал палитру, краски, приглядываясь к начатой на мольберте очередной Диане, Венере или Леде — теме недельного урока.

Вскоре шум стихал. Староста класса — экс-сержант с моржовыми усами — делал знак натурщице, чтобы она приняла нужную позу, и следующие три часа Анри, как и все остальные тридцать его сотоварищей, занимался тем, что неустанно поглядывал на живую модель, соотносил размеры, пощипывая бородку, смешивал на палитре краски и постукивал кистью по холсту. Короче говоря, совершал все необходимые для человека, занимающегося живописью, действия.

Раз в неделю в мастерской появлялся мэтр и шеф ее — профессор Фернан Кормон, член Академии изящных искусств, член жюри Салона, член Совещательного совета национальных музеев Франции, почетный член многочисленных иностранных Академий художеств, офицер ордена Почетного легиона, художник-монументалист, которому поручались росписи стен банков и муниципальных зданий, знаменитый живописец, портретировавший многих знатных людей, светских львиц, автор множества пользующихся огромным успехом будуарных, не выставляемых для публичного обозрения полотен определенного толка.

Он входил в зал, грациозным жестом снимал шляпу и у дверей вручал ее вместе с желтыми перчатками и тростью с серебряным набалдашником старосте, который помогал ему освободиться и от роскошного, подбитого дорогим мехом пальто, после чего его фигура резко теряла свою внушительность. Перед студентами возникал худой как скелет, сутулый, небольшого росточка мужчина средних лет. Кожа да кости. Известно было, что у него больная печень. Одевался он элегантно: модная визитка, белые гетры, галстук-бабочка.

Выступая осторожными шагами аиста, Кормон прокладывал себе дорогу между частоколом мольбертов и начинал говорить негромким, но хорошо поставленным голосом, сопровождая свои фразы жестами бесплотных рук с наманикюренными ногтями. Время от времени он останавливался



возле чьей-нибудь еще не оконченной работы, чтобы добавить несколько мастерских мазков или дать технические указания снисходительным, а порой и слегка ироничным, но всегда доброжелательным тоном.

Еженедельно слушая его лекции, Анри постиг главный постулат Кормона, утверждавшего, что основой искусства художника является красота и миссия творца — создавать красивые картины. Он узнал, что краски следует накладывать очень осторожно, «слизывая» излишки кистью, что фон полотна непременно следует делать черным или темно-коричневым, а композицию картины — всегда треугольной. Но крепче всего усваивал он уроки маэстро, как должно рисовать женщину.

— Женский портрет! — восклицал Кормон, взмахивая своими паучьими лапками. — Ах, друзья мои, какого такта, какого мастерства, какой интуиции требует он от художника!..

Поскольку заказывать портреты могли позволить себе лишь зрелые состоятельные матроны, исполнение заказа предполагало наличие у мастера изрядной доли рыцарства, а зачастую — и просто милосердия. Большинство дам сохраняли иллюзии в отношении собственной внешности. Будучи скрупулезно объективными в оценке наружности и возраста своих лучших подруг, замечая в них все признаки приближения старости, они искренне верили, что с помощью некоего волшебства сами они выглядят на десять — пятнадцать лет моложе, чем на самом деле.

— Поэтому, — с усмешкой продолжал свои размышления Кормон, — все, что от вас требуется, это постичь иллюзии вашей заказчицы, понять, какой считает она свою внешность, и запечатлеть ее на холсте. Ради этого смело уменьшайте нос, придавайте губам форму бутона, увеличивайте глаза, освежайте цвет лица, удлиняйте шею, округляйте плечи, утончайте руки, делайте грудь пышнее и приподнимайте ее, а главное — совершенно игнорируйте все морщины, бородавки, родимые и всякие иные пятна на коже. Обращайте самое пристальное внимание на кольца, броши, бриллиантовые браслеты, диадемы, корсажи, насыщайте свое произведение приметами особой утонченности модели, ее элегантности, богатства. И ваша клиентка заявит, что она в восторге от удивительного сходства, которое вам удалось достигнуть. Так придут к вам не только творческие, но и финансовые успехи. Никогда не бойтесь чересчур польстить женщине! — заключал он свою речь.

При всем кажущемся добродушии Фернана Кормона, при всех взмахах ручками и обращениях типа «дорогие мои» профессор был подвержен неожиданному всплеску гнева. Малейшая попытка ученика проявить какую-то самостоятельность, создать нечто оригинальное, нарушающее каноны Академии, приводила этого немощного человечка в ярость. Брызгая слюной, он кричал высоким пронзительным голосом:

— Должно быть, вы забыли, что я член Салона! Мой голос в выставочной комиссии, уверяю вас, имеет достаточный вес, и я сумею напомнить вам об этом! Прослежу, чтобы вашу мазню и близко не подпустили к выставке! Это научит вас уважению к искусству и требованиям учителей!

Обычно провинившийся студент бывал вынужден тут же покинуть мастерскую, а поскольку двери Салона теперь наглухо перед ним захлопывались, то заканчивалась и карьера художника.

Анри, твердо усвоивший еще из прошлогодних издевательств мэтра Бонна, что его «художнические инстинкты неверны», бдительно следил за собой, чтобы не допустить оплошности. Он послушно накладывал сырую умбру в первичные тени, «слизывал» каждый смелый мазок. Прилежание Лотрека было столь очевидным, что даже профессор замечал его и выражал свое одобрение, дружелюбно похлопывая по плечу.

— Терпение, Лотрек! — говорил Кормон. — Пусть нет у вас природного таланта, но ваши намерения похвальны. Вы прилежно исполняете мои указания и много работаете. Терпение! Со временем и вы научитесь писать довольно сносно. И, кто знает, может, когда-нибудь выставитесь в Салоне...

Сделав подобное заявление, он переходил к очередному ученику, оставляя Лотрека, застывшего на своем стульчике, почти задыхающимся от счастья.

\* \* \*

После занятий Анри обычно обедал с друзьями у Агостины. Болтовня, шум, громкие дискуссии и между ними, и за соседними столиками. Неслись проклятия, призываемые на головы дельцов от искусства, критиков и традиционалистов из Академии. Громче всех горланили члены недавно созданного Общества Независимых художников.

У Агостины Лотрек увидел Жоржа Сера, того, кто первым придумал писать картины разноцветными точками, юношу с бакенбардами на лице херувима, но сложением — гренадера. Сера задумчиво покуривал свою трубку, сидя над чашкой остывающего кофе; здесь Лотреку показали Ренуара — человека аскетического вида, рисовавшего пышнотелых ню, Клода Моне — с квадратным лицом и мощными ручищами, похожего на преуспевающего нормандского крестьянина. Однажды мельком довелось увидеть самого Сезанна, забравшего к Агостине позавтракать в полном одиночестве, подозрительно поглядывавшего по сторонам. И здесь в один незабываемый день белый как лунь Камиль Писсарро пригласил Анри и его друзей выпить кофе вместе с ним и Дега, с которым обедал в тот день.

— Значит, учитеесь марать холсты? — прокудахтал великий певец балерин. — Уверен, что вы станете прекрасными художниками и осчастливите мир плодами своего гения!

Анри был слишком взволнован, чтобы заметить нотки иронии в словах Дега. Недавно он познакомился с работами прославленного маэстро и испытывал к нему восхищение, смешанное с идолопоклонством. С обожанием смотрел он через стол на бледное седобородое лицо, иссеченное горестными морщинами. Дега! Он пьет кофе рядом с Дега! А старик, глядя на них и разминая пальцами сигарету, резким голосом выпалил:

— Неужели вы не видите, что у вас нет никаких шансов? Чем вознаградит вас искусство? Славой? Во всей его тысячелетней истории наберется, может, десятков шесть великих имен, а так как наш век уже произвел Жерико, Домье, Мане, Энгра, Делакруа, ваш шанс на бессмертие практически равен нулю. Деньгами? И тут искусство — самое жестокое...

— Пожалуйста, Эдгар, — перебил друга Писсарро, — не говори так, не расхолаживай энтузиазм молодых творцов!

— Если бы я мог внушить им это, они были бы благодарны мне по гроб жизни,— ответил Дега и снова обратился к ученикам Академии изящных искусств: — Да-да! Занятие искусством — самое жестокое из всех профессий. Я могу назвать вам имена полусотни художников, которые зарабатывают столько же, сколько преуспевающие ветеринары. А все другие,— он повел вокруг узловатым пальцем,— голодают. Они тоже когда-то подавали надежды. Все маляры Парижа когда-то подавали надежды...

Дега собирался продолжить, но его перебила подошедшая Агостина.

— Сеньор Дега,— обратилась она к нему, наградив старика одной из своих самых обворожительных улыбок.

— Что тебе? — рявкнул он, резко обернувшись к ней.

— Не нужна ли вам новая натурщица? Только что из Палермо приехала моя кузина. До чего же красива, чертовка!..

— Плевать мне, красива или нет. Лучше скажи, она часом не протестантка?

— Протестантка? — возмутилась Агостина.— Матерь Божья! У нас в Палермо о таких и не слыхивали.

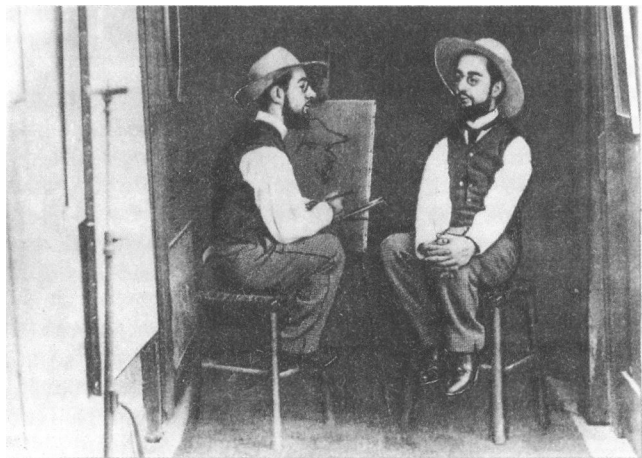
— Тогда другое дело. А какой зад у твоей кузины? Грушевидный или пара яблок?

— Зад? — озадачилась хозяйка ресторана, обескураженная этим вопросом.— Зад как зад. У моей кузины хороший зад. Как у всех.

— Ошибаешься! Зад у каждой особый. Если у твоей родственницы сзади пара апортов, я ее и видеть не хочу, а вот если груша — пришли ее завтра с утра ко мне в студию. А теперь оставь нас в покое. Я хочу поговорить с этими молодыми людьми.

Он вновь повернулся к Анри и его спутникам.

— Вы тоже будете голодать,— ухмыльнулся Дега.— Будете бродить по парижским улицам в сапогах с протертыми до дыр подошвами, мерзнуть зимой в своих продуваемых всеми ветрами студиях, дрожать при появлении хозяина квартиры. А ведь можете стать счастливыми, respectableными банковскими клерками, полицейскими или, на худой конец, почтальонами...



*Господин Тулуз пишет  
портрет господина  
Лотрека-Монфа  
(фотомонтаж Л. Гиберы)*

— Пожалуйста, Эдгар,— взмолился Писсарро,— не разрушай их веры в жизнь и свое призвание!

— Ничего с ними не случится,— отмахнулся Дега.— Ты только посмотри на эти сытые физиономии, на их агрессивную самоуверенность. Каждый из них считает себя Микеланджело. Где уж мне разрушить эту веру! Жизнь разрушит.— Он поднялся, подошел к вешалке, снял с нее котелок.— Желаю вам приятного дня,— любезно поклонился он молодым людям и ушел.

Писсарро двинулся было за ним, но немного задержался, помахал рукой и, как бы извиняясь за друга, сказал:

— Не обращайтесь внимания. У него скверное пищеварение. Всегда такой злой после обеда.— И поспешил следом.

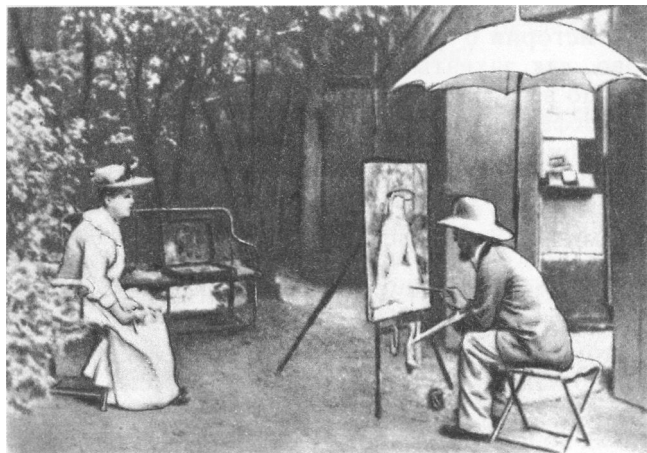
— Веселенький старый черт, правда? — прокомментировал первым пришедший в себя Рашу.

Его слова как бы суммировали реакцию всей пятерки друзей. Со смешанным чувством возмущения и смятения они поднялись и выкатились из «Тамбурина».

\* \* \*

Как и прошлой весной, Анри проводил вторую половину дня в студии Рашу. Рисовал, распевал с ним песенки, вырабатывал собственную манеру, свой стиль письма, положенный подлинному студийцу с Монматра. К вечеру вместе с Рашу они отправлялись в «Нувель», где присоединялись к друзьям. Теперь Анри стал почти равноправным членом их компании. Парни доверяли ему свои секреты, а он, по мере необходимости, ссужал их деньгами и расплачивался за бесчисленные попойки. Играя с ними в карты, принимал робкое участие в их спорах об искусстве, курил свои первые сигареты, разглагольствовал, оснащая свою речь лихими «черт побери», «клянусь дьяволом», «плевал я на них», прислушивался к постоянным разговорам о любви и женщинах — особенно о женщинах.

Последнему в их трепотне отводилось главное место. Стоило задеть женскую тему, как безудержный поток анекдотов, историй, личных впечат-



*А. Тулуз-Лотрек  
за мольбертом*

лений обрушивался на слушателя. Поначалу юный Лотрек ожидал, что приятели иссякнут, устанут от разговоров о девушках, теперь понял, что это невозможно. Очевидно, тема была неисчерпаема.

Все варилось в этом котле: женщины, которых они покоряли, и те, что цепляли на крючок их самих, мужские желания и требования к подружкам, доверительные сообщения о том, чему они научились от женщин и чему сами их научили, откровенные рассказы о женской физиологии, практические советы, как вести себя в постели, как подавить сопротивление, вызвать скрытое женское желание, как обращаться с невинными девушками, как заставить любую из них отринуть девичью стеснительность и без стыда нырять в любовный экстаз. И о том, сколько это стоит. И об опасностях, которые в отношениях с ними таятся... Но больше всего — как овладеть женщиной.

«Неужели никогда не насытятся они этими разговорами?» — думал Анри. Он же был знаком с некоторыми из их любовниц и не мог понять, что особенного находили в них его приятели. Худые, с поросычьими глазками, бледные прачки, подцепленные на танцах, натурщицы, переспавшие с хозяевами всех студий Монмартра, белошвейки, которых от профессионального занятия проституцией отделял последний шажок. Большинство из них даже хорошенькими невозможно было назвать — неопрятные грязнухи в простеньких самодельных туалетах, в облезших горжетках из кролика. Эти девицы хлебали за столиками быстро свой суп и пользовались дешевым крепким одеколоном, чтобы отбить запах пота и чеснока. Однако, если верить приятелям, все они были удивительны. В каждой содержалось скрытое очарование и бездна неожиданного сладострастия. Эти утверждения казались Лотреку по меньшей мере странными. Лично он в их девицах не видел ничего особенного, как, впрочем, и в других, им подобных.

Но он держал свои сомнения при себе, наслаждаясь атмосферой кафе, звоном бокалов, голосами официантов в белых передниках... Подумать только, каких-то три года назад он не мог подняться с постели, был закован в гипс, приговорен к вечной неподвижности! А теперь? Вы только посмотрите на него! Нет еще девятнадцати, а он студент второго курса, учится живописи, посасывает пиво, спорит о Микеланджело и итальянских примитивистах, слушает скабрзные истории о женщинах!

Все это было так здорово, так захватывающе интересно, что юному Лотреку до ужаса не хотелось по вечерам прощаться с товарищами и торопиться домой, в гнетущую атмосферу добропорядочной материнской гостиной. Графиня требовала, чтобы он возвращался не позже шести вечера. Как убедить ее, что ему необходимо снять студию на Монмартре и жить там?..

— Извини, что я опять опоздал, — сказал он в один из вечеров, приковыляв в столовую. — Сорок минут добирался с Монмартра. На улицах ужасное движение.

— Уехал бы пораньше и был бы к обеду вовремя. Занятия ведь заканчиваются в полдень?

Появление лакея с подносом избавило Анри от необходимости дальнейших объяснений. Он покорно налил себе в тарелку супа, поболтал в нем ложкой...

— В наемных фиакрах такая холодина, — продолжил он разговор, когда

они вновь остались вдвоем.— Вот увидишь, обязательно схвачу воспаление легких!

Мать пристально наблюдала за ним, сидя на противоположной стороне стола. Ну конечно, воспаление легких! О бездумная жестокость юности! Как легко пользуется сын любимым бесчеловечным оружием, чтобы добиться своего! Хочет перебраться на Монмартр. Уже давно стремится к этому. Графиня сопротивлялась, насколько хватало сил. Но молодое тянется к молодому. Ему необходимо постоянно быть с друзьями, таскаться туда, куда и они, чувствовать себя свободным, взрослым, самостоятельным. Какой юноша не жалеет того же в его возрасте? Нет, он не черств и не эгоистичен, он просто молод.

— Хочешь жить на Монмартре? Да? — спокойно спросила мать.

Ее прямота обескуражила сына. Он-то готовился к длительному сражению за свои права, накапливал аргументы, а тут все так просто, в открытую.

— На Монмартре? — повторил он с притворным удивлением.— Я еще не задумывался над этим, но раз ты сама подняла эту тему, не могу не согласиться. Конечно, мне было бы куда удобнее жить там. И для учебы, ты же понимаешь, полезнее: снял бы студию неподалеку от академической мастерской...

— И мог бы больше времени проводить в кафе со своими друзьями? — подсказала мать с грустной улыбкой. Слава Богу, ее Рири так и не научился лгать.— И гулять с ними по вечерам...

Обмануть маму невозможно. Бесполезное занятие. Она видит его насквозь.

— Да, конечно, я хотел бы жить на Монмартре,— признался он, отказываясь от притворства и дипломатничания.

— Что же... Не возражаю. Но не хочу, чтобы ты жил там один. Ты ведь можешь упасть, повредить ногу, и некого будет даже позвать на помощь.

Эти возражения он предвидел.

— Между прочим, у Рене Гренье прекрасная двухкомнатная квартирка. Я же рассказывал тебе о нем, помнишь? Ему уже двадцать три, человек он серьезный, в армии служил. И только на днях спрашивал меня, не порекомендую ли кого в сожители, чтобы разделить квартирную плату.

— Говоришь, спрашивал тебя?

Уши Анри запунцовели.

— Ну, не совсем так... Я сам спросил его...

Мать вновь грустно улыбнулась.

— Никогда не пытайся лгать. Ты этого не умеешь. И можешь сказать своему другу, что я не возражаю.

Легкость одержанной победы окрылила Анри. А не выпросить ли у матери денег на собственную студию? Нет, на такое она не пойдет. Не хочет, чтобы он жил один. Придется годок потерпеть, пока он не возьмется за картину, предназначенную для Салона. Тогда матери придется капитулировать.

— Значит, ты согласна, чтобы у меня была своя комната на Монмартре? — переспросил он, все еще не веря в удачу.

— Да, можешь поселиться там,— кивнула она.

— Спасибо, мама! — импульсивно воскликнул он, вылез из-за стола, подошел к ней, поцеловал. — Огромное спасибо! Я верил, что ты поймешь меня. Представляешь себе, одно из окон квартиры Рене выходит во двор, прямо на окна студии Дега. Подумай, я смогу часто видеть самого Дега!

— А кто он такой, этот месье Дега? — Восторг сына не произвел на нее никакого впечатления.

— Дега?! Это же один из величайших ныне живущих художников! Видела бы ты только его балерин, его ню, его прачек... На прошлой неделе мы с Рашу посетили его выставку. Потрясающе!

Мать словно бы не слышала его. Рвались последние нити. Жизнь забирала у нее Рири. Сын уходил, отправлялся в самостоятельное плавание, исполненный иллюзий и веры в свои силы. Ее мечты удержать его возле себя потерпели фиаско. Как же одиноко и холодно будет теперь ей без него в этой огромной квартире...

Ночью, когда Анри уже спал, она на цыпочках вошла в его комнату. Подняв высоко над головой лампу, Адель разглядывала лицо сына. Вызывающее жалость лицо. Ее глаза медленно скользили по очертанию словно бы обрубленного тела, прикрытого одеялом. Какой маленький, какой коротышка... Почти таких же размеров, как десятилетний лицеист, избежавший одним махом по лестнице и кидавшийся к ней с объятиями. И как спокойно спит... Даже гримаса боли, время от времени пробегающая по его лицу, не нарушает безмятежного сна. Нет, буря еще не разразилась, грязь Монмартра еще не выпачкала, не измазала его своими ресторанными разговорами, видом нагих натурщиц... Но время бежит так быстро! Скоро его сердце проснется, плоть предъявит свои требования. И его потянет к женщине, ему захочется любви. И тогда страшная правда откроется ему... Как быть? Что делать ему с собой? О Господи! Что ему тогда делать?!

\* \* \*

— Проснись, Гренье! Пора вставать!

Из соседней комнаты донеслось сонное ворчанье:

— Ну чего орешь, черт тебя побери! Который час?

— Вставай, вставай! Почти восемь. — Анри, пофыркивая, плещет себе на лицо воду из тазика. — Вставай, говорю, опоздаем к Кормону. Поднимайся, лежебока!

— Иди к чертям! И хватит тебе притворяться моржом — смотри не утони в тазу! И зачем только пустил я тебя к себе?..

Эта перепалка вспыхивала каждое утро. И она тоже была частицей очарования Монмартра, ежедневного счастья просыпаться в собственной комнатухе на узенькой железной кровати. У стены — гардероб из светлого ясеня, колченогий умывальник... Проснешься и чувствуешь себя свободным, взрослым, избавленным от опеки Анетты, бдительного присмотра Жозефа, всепонимающих материнских глаз...

Как Рашу и другие студенты, он тоже жил теперь на Монмартре в облупленном, покосившемся домике, он не был уже маменькиным сынком, дилетантом, любителем живописи, по собственному капризу пускающим деньги на ветер. Нет! Теперь он — полноправный студент, он завтракает вместе с Гренье в бистро и торопится в мастерскую на занятия. Ему не требовалось



больше крадучись выбираться из дорогого экипажа за углом, он не опасался теперь насмешек товарищей по классу, ему не приходится больше прерывать на самом интересном месте дискуссию за столиком кафе и торопиться на бульвар Малерб, в холодную тишину барской квартиры. Жизнь стала прекрасной! Сиди с друзьями хоть до утра! Таскайся куда захочешь, посещай любые, даже самые значные местечки, забегаловки, кафешантаны. Или, к примеру, цирк Фернандо, где весь пол между рядами засыпан апельсиновыми корками. Сиди и сколько душе угодно паясь на акробатов, летающих на трапеции под самым куполом, на жонглеров, на замечательных наездниц и их красавиц-лошадей, на дрессированных собачек и клоунов. Или отправляйся в «Ле Мирлитон» — сырой подвальчик с едким запахом смеси табачного дыма и прокисшего пива, где дозволено орать как угодно, подпевая куплетам Аристиды Брюана...

Но чаще всего Анри ходил теперь в «Элизе-Монмартр», или просто «Элизе», как именовали завсегдатаи это заведение с танцплощадкой. Старенький, полуразвалившийся, дешевый танцкласс, но шумный и веселый. Подобно тому как возле фонтана на Пляс Пигаль собирались натурщицы, возле «Элизе» толпились старые, уже не работающие, но еще не потерявшие своих неподвижных крыльев ветряные мельницы. Они испокон века стояли тут — реликвии прошлого, когда Монмартр еще был дальней деревенской за окраиной столицы, пристанищем парижских клошаров, головорезов, хулиганов, вышедших в тираж проституток и сутенеров, всего того люда, который умел ценить его удаленность от властей и отсутствие полиции.

Более ста лет «Элизе» служило только окрестным жителям, зависело только от расположения местного начальства и было совершенно неизвестно во внешнем мире. Не одно поколение здешних гризеток собиралось тут повеселиться, потанцевать, выпить пунша — горячего подслащенного вина, которое официанты в рубашках с засученными рукавами подавали в простых глиняных кружках с отбитыми краями. Смех и визг девушек, шорох их пышных юбок с кринолинами, казалось, все еще витали слабым эхом под потемневшими потолочными балками. Врезанные в дубовые доски столешниц вензеля и пронзенные стрелами сердца тоже потемнели и сгладились от времени и тысяч локтей, их попиравших, но продолжали повествовать о стародавних любовных историях. Заведение это было полно призраков, но то были добрые привидения, умеющие помнить и прощать. Для молодых прачек, белошвеек, натурщиц, горничных, и ныне заполнявших его по вечерам, «Элизе» было больше чем увеселительное заведение: оно символизировало мир музыки и романтики, где за пару су можно было забыть о серой жизни, выразить в танце смутные томления сердца. Девушки Монмартра чувствовали себя тут как дома, не без оснований полагая, что могут позволять себе здесь любые вольности. Ибо все, что происходило в «Элизе», происходило как бы в кругу семьи. Обязанность охранять в «Элизе» нравственные устои возлагалась на комиссара полиции нравов Кутла дю Роше, или, как называли его здесь, папашу Пюдо, папашу Целомудрие, пугливого старикана с розовой лысиной. Вот он и «охранял», хотя и не очень строго, некое подобие благопристойности.

Анри тоже пил здесь пунш, тайком делал наброски присутствующих, наблюдал за тем, как его друзья увлеченно скачут по настилу танцплощадки. Каждый раз, встречаясь с ними взглядом, Лотрек помахивал им рукой,

как бы давая знать, что ему тоже весело, что он отлично проводит время. Иногда папаша Пюдо подсаживался к его столику и, посасывая пунш, сетовал на свои трудности:

— У девиц с Монмартра мораль мартовских кошек. Это наследственное. И мамыши, и бабушки их бегали сюда заниматься любовью прямо под столами. Они думают, что «Элизе» принадлежит им и поэтому они могут творить здесь все, что угодно. А ведь от того, чем занимаются они по углам и в туалетах, волосы встают дыбом! А теперь, с той поры, как эта свинья Луи Дюфур, — папаша Пюдо сердито кивает в сторону дирижера оркестра, — придумал этот чертов канкан, они совсем сбесились. Девчонки теряют голову, едва слышат эту музыку. Их мозги просто улетучиваются: фьють — и пусто! Знаете, что выдумали? Кидаются в туалет, стаскивают панталоны и — обратно на веранду... И тут, когда задирают ножки выше головы — а они это умеют! — все прелести наружу. Ужас! Поверьте, и целый полк ангелов с пылающими мечами не сможет навести здесь порядок...

В «Элизе» Анри впервые увидел Ла Гулю, с которой частенько танцевал его друг Рашу. Ла Гулю — Обжорой — прозвали восемнадцатилетнюю эльзаску Луизу Вебер. Приземистая, широкоскулая, светлые волосы собраны большим кукишем на макушке. Когда она не танцевала, то мало чем отличалась от других посетительниц «Элизе»: хохот, непристойные жесты, вульгарные реплики, произносимые громким гортанным голосом на шикарном монмартрском жаргоне. Но как исполнительница канкана она не имела себе равных. У Ла Гулю было уникальное чувство ритма, врожденная свобода движений, чем она отличалась от всех других местных танцорок. Анри она казалась обворожительной — королевой здешних прачек, которые после многочасового, изматывающего труда у своих корыт тратили в «Элизе» нелегко заработанные гроши, чтобы повеселиться, подурачиться и закончить вечер канканом — самым быстрым, самым фривольным танцем из всех, которые когда-либо были изобретены человечеством.

Когда оркестранты отдыхали, друзья Анри возвращались к своему столику. Усаживались, утирая пот, набивали трубки, залпом допивали свой пунш, заказывали новую порцию. Болтали, флиртовали с девицами, приставали к ним, а те, хихикая, притворно сопротивлялись их нежностям. Колени соприкасались, руки шарили под столом, то и дело слышалось: «Не надо, дорогой... не здесь...» А стоило зазвучать аккордам следующего танца — все срывались и устремлялись на свободное пространство танцплощадки, чтобы скорее затеряться в вихре толпы.

Вновь оставаясь в одиночестве, Анри убивал время, приглядываясь ко всем, кто появлялся рядом. В дрожащем свете газовых фонарей танцевальный зал наполнялся желтоватой сумеречной дымкой, из которой вдруг появлялись вальсирующие фигуры, проносились мимо и снова таяли в ней, словно призраки, возникающие во сне. В здешних танцах соблюдался особый стиль: кавалеры — по большей части молодое хулиганье, мелкие жулики, начинающие сутенеры — держались, как того требовала мода, очень прямо, с бесстрастным выражением лица и обязательной сигаретой, прилипшей к нижней губе. Чувствовалось, что они гордятся своими вязаными блузонами, каскетками, щегольски сбитыми набекрень, напوماженными прическами. Девушки же прижимались к ним, обнимали, чуть ли не

повисая на плечах партнеров, и, зажмурившись, с приоткрытыми ртами, восторженно отдавались танцу.

Среди танцоров безусловно первенствовал некто Ренодин — довольно состоятельный местный холостяк, уже не первой молодости, добродушный отшельник с тихим голосом и впечатляющей внешностью: высоченный, чуть ли не двухметровый, и настолько худой и узкий в плечах, что был похож на натурального мертвеца. На Монмартре он получил прозвище Валентин Бескостный. Танцы были его страстью. Обычно он появлялся в «Элизе» около полуночи, пробираясь сюда по темным, безлюдным уже улочкам, танцевал канкан с Ла Гулю и, так как канкан, по обыкновению, завершал вечер, вскоре исчезал.

Время, проводимое Анри в подобных заведениях, текло быстро. Он не скучал, все здесь устраивало его: возможность порисовать, выпить пунша, поглазеть на танцоров, посмеяться шуткам друзей. Ближе к полуночи, по заведенному ритуалу, раздавался грохот литавр, сопровождаемый барабанной дробью, и танцплощадку окружали зрители, покидавшие свои столы и всякие интимные уголки «Элизе». Канкан! На помосте парами, лицом друг к другу, становились и, затаив дыхание, замирали канканеры. Дамы прихватывали края юбок, кавалеры вздымали вверх руки для прихлопа. И вот — безумный галоп. Танцоры, как заводные игрушки, пускались в пляс. Девы скакали, задирая ногами пену юбок, а мужчины метались вокруг, хлопая в такт музыки, били себя ладонями по ляжкам, приседали, вскакивали, вертели бедрами, подзадоривали партнерш одобрительными выкриками.

Растрепанная, с сияющими глазами, Ла Гулю казалась живым вихрем. Нижние юбки взлетали выше головы, ноги в чулках черными молниями сверкали в пене кружев, тело извивалось так, что, казалось, вот-вот выскользнет из своих одежд. На стройных ногах напрягались мускулы. На эстраде, задрапированной тяжелым шелком, дергался в конвульсиях Дюфур, побуждая музыкантов играть еще громче, еще быстрее.

Какой-то массовый психоз овладел всем залом — и танцующими, и зрителями, и оркестром. Вот-вот, казалось, не выдержит старый настил, провалится. Самый воздух взрывался от треска барабанов, стука каблучков, хлопанья, выкриков, оглушающих всхлипов меди.

Прыжки, батманы и пируэты танцоров превращали их в калейдоскоп цвета, звука, в своеобразный символ движения. Мужчины выкидывали невообразимые коленца, взлетая в воздух, били ногой об ногу, словно прищипывая сами себя, ударяли локтями по бокам, а девы, обезумевшие и растрепанные, с перекошенными, тяжело дышащими ртами, кое-кто зажмурившись, а иные, наоборот, выпучив глаза, подпрыгивали на одной ноге, ухватив другую руками за лодыжку и задирая ее почти вертикально, демонстрируя самые интимные подробности своего туалета. Наконец под финальный гром литавр они распластывались в шпагате на помосте, словно их разрубили пополам, уронив головы, безжизненно расслабленные, как сломанные куклы.

\* \* \*

В мастерской Анри усердно «слизывал» мазки, держал под контролем свои «неверные художнические инстинкты» и вежливо смеялся сальностям Кормона. Посещая бульвар Малерб, он хвастался матери своими успехами



*Портрет Ван Гога. 1887*

в живописи и говорил о том, как профессор во время недавней «инспекции» перед всеми хвалил его за хорошее владение цветовой гаммой в «Лежащей Венере», рассказывал, как при посещении одной из выставок они с Рашу встретили там Тео Ван Гога, рыжебородого тридцатитрехлетнего голландца, владельца галереи на бульваре Монмартр. Он пытался внушить матери и свое восторженное отношение к Дега, и растущую любовь к Монмартру, описывал очарование его узких извилистых аллей, избежавших на холм, оживление, начинающееся ранним утром на улице Фонтене, куда они с Гренье отправлялись в бистро завтракать, престель старых покосившихся домишек, прачек у их дверей с руками по локоты в мыльной пене, уличных разносчиков, акробатов в розовых трико, расстилавших свои коврики прямо на тротуарах... Ему не хватало слов: Монмартр был образом жизни, отражением умонастроения его аборигенов. Мать не понимала этого. Они теперь существовали в разных мирах, пусть и расположенных всего в полчаса езды друг от друга. Там, на Монмартре, Лотрек привык выслушивать исповеди своих друзей и, стараясь не оскорбить их достоинства, в случае необходимости помогать им. Гози, к примеру, обрел новую «совершенную женщину», которая через три недели оставила его, приколол к подушке их общего ложа прощальную записку. Целый месяц после этого Франсуа яростно проклинал любовь, обвиняя в вероломстве женский пол и кляня на чем свет стоит всех его представительниц. И Анкетен потерял очередную любовницу, и опять случилось это в Лувре, в зале итальянских примитивистов... У Гренье завязался бурный роман с гризеткой, жившей по соседству. Несмотря на страстные стоны и скрип кровати, доносившиеся из соседней комнаты, Анри преспокойно спал...

Рашу завлекал в свою студию наивных белошвеек, одерживая непрерывные победы. В поисках амурных приключений он выработал индивидуальную стратегию ведения военных действий: его оружием стало ошеломление будущей жертвы, наживкой на удочке — сочувствие, полем боя — любая улица. Со шляпой в руке и добродушной улыбкой на бородатом лице он начинал свою охоту. «Извините, мадемуазель, как правило, я не заговариваю на улице с незнакомками, но в данном случае я просто не мог удержать себя» — так начиналась атака. «Видите ли, я художник и как раз сейчас собираюсь писать полотно для Салона. Моя тема — Мадонна. И едва увидел я ваш тонкий профиль, полный непреодолимого очарования, рассмотрел неподражаемый овал лица...» В девяти случаях из десяти это срабатывало. Девушка соглашалась позировать для гипотетической Богоматери и следовала за ним в студию, где ее ожидала волнующая панорама кладбища и клубы черного дыма из трубы крематория, сладкозвучная мандолина и бутылка кальвадоса, извлекаемая из-под кушетки...

Эти эфемерные романы удовлетворяли физиологические потребности Рашу, и поэтому он всегда находился в отличном настроении.

Уже после середины семестра в мастерской Кормона появился новый ученик, вскоре прибывший к компании друзей Анри, Поль Люка, удивительно красивый юноша, ленивый и достаточно уравновешенный. Правда, на его характер и поведение влияли всякие неожиданные побуждения: повинувшись одному из таких импульсов, он решил поехать в Париж и стать художником. Сбежал из родного дома в Нормандии, повергнув в отчаяние

своих хорошо обеспеченных родителей. Желание заниматься живописью угасло уже в вагоне поезда, катившего Поля в столицу. Но чтобы оправдать перед отцом свое пребывание на Монмартре, он записался в студенты к Кормону. И благочестивый папаша — провинциальный банкир — ежемесячно посылал ему денежное пособие вместе с проклятиями.

В отношении женщин он тоже вел себя весьма импульсивно, но они, к его огорчению, немедленно сдавались без борьбы. За короткое время мрачная комнатка, которую Люка снимал на улице Аббатов, пропиталась запахами посещавших его гризеток — швей, молоденьких прачек, продавщиц. Легкость побед наполняла красавца унынием, ибо его интерес к слабому полу был чисто спортивным и весьма умозрительным. И связи длились ровно столько, сколько требовалось для преодоления недолгого сопротивления. Он бывал счастлив, когда предмет его увлечения оставался недостижимым. Победы же наводили скуку. Его импульс пропадал одновременно с получением лавров триумфатора.

Зима близилась к концу. Ледяные февральские ветры сменились мартовским бризом, ручьями, бегущими с холма в Сену и превращающими ее в мутный поток. На улицах и в затененных местах таяли последние снежные заплатки и, как ленивые змейки, медленно сползали к водостокам... Пришел апрель, принесший новое дыхание улицам, зеленые шишки — каштанам, обрамлявшим бульвар Клиши, стада кучевых облаков и затяжные ливни, заставлявшие молодых людей искать укрытия под навесами кафе или на лавках погребков.

Потом наступила весна. Сквозь булыжники мостовых Монмартра пробивалась молодая травка. Прачки, высыпавшие из клетушек наружу, распевали куплеты, склоняясь над своими корытами, блюстители порядка, сунув большие пальцы под ремни портупей, благодушно улыбаясь, расхаживали по улицам, подкручивая нафабранные усы. Монмартр никогда еще не казался Анри таким прекрасным, как этой весной. Он чувствовал себя счастливым и был полон энергии. Работая в студии, он нередко подходил к окну и смотрел, не покажется ли Дега.



*Deux à Deux*



Темнело поздно, и наступающие вечера Лотрек проводил на террасе «Нувель», потягивая пиво и рассуждая об искусстве. Теперь он уже научился потрясать кулаками, вставлять всякие «клянусь Богом» и «черт побери», короче, вел себя как заправский студент.

Так, в восторженной атмосфере, заканчивался его второй год учебы в мастерских Академии.

После шумного Монмартра замок Мальроме казался очень уединенным и тихим. Конечно, Анри получал удовольствие от того, что мать рядом, что опять можно поддразнивать тетюшку Армандину, прогуливаться в голубом ландо по окрестностям, играть в шахматы с соседом-кюре. Но все это не шло ни в какое сравнение с обедами у Агостины, спорами в «Нувель» и кружками пунша в «Элизе».

Как-то сентябрьским вечером он заявил матери:

— К весне я заканчиваю курс у Кормона. Необходимо готовить большое оригинальное полотно для выставки в Салоне. Так что мне нужна собственная студия.

Графиня не протестовала. Не отрывая глаз от своего всегдашнего вязания, она согласилась:

— Вернемся в Париж — можешь подыскивать себе студию.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Строение № 21 по улице Коленкур отличалось от обычных домов Монмартра. Над ним как бы витал дух некоего благородного эксперимента, который не только не состоялся, но, вероятно, не должен был бы и начинаться. Четыре этажа, зеленые жалюзи на окнах, изящные железные балкончики... Построили этот дом вскоре после Франко-прусской войны. Хозяин — некий меье Левалье, парижский негоциант, — решил возвести его с добрыми намерениями: дом должен был стать первой ласточкой крупного жилищного проекта, целью которого Левалье считал привлечение на Монмартр семей хорошо обеспеченных и респектабельных граждан, желающих уехать из шумного центра, поэтому квартиры строились со всеми удобствами. Первые жильцы были в восторге от по-деревенски чистого воздуха Монмартра, от газовых светильников на каждом лестничном пролете, от туалета на каждом этаже — одном на две квартиры. Но самое главное — в каждой квартире своя ванная комната! Съемщиков радовала и изысканная вежливость консьержки — мадам Мишлен Любе.

Вскоре, однако, они столкнулись с не слишком высокоморальной атмосферой Монмартра. По вечерам им приходилось пробираться домой сквозь строй уличных проституток, нагло хватавших мужчин за руки, суливших неслыханные и безумные наслаждения, которые и не снились им в общении с благопристойными женами. Некоторые из этих господ клевали, начинали запаздывать под семейный кров. Начались ссоры. Вытирая глаза краешком фартука, мадам Любе наблюдала, как порядочные люди один за другим съезжали с квартир.

Некоторое время дом пустовал. Наследники меье Левалье — он, к счастью для себя, успел умереть раньше полного краха своей затеи —



разрешили консьержке понизить моральные требования к новым жильцам. Можешь платить за наем — живи. Поэтому, когда через несколько дней после того, как дом совсем опустел, здесь появилась местная проститутка в чулках сеточкой и боа из перьев и, вызывая покаяние бедрами, осведомилась, свободна ли квартира на втором этаже, мадам Любе не оставалось ничего другого, как взять ее грязные деньги.

После нее на четвертый этаж въехал огромный рыжеволосый художник. И сразу взялся за дело: прежде всего сломал перегородку между двумя смежными комнатами, превратив их в один большой зал. Строительный мусор выбросил на лестничную клетку. Затем пробил в стене здоровенное окно, куски кирпича и штукатурки сыпались на прохожих, а когда они ругались и грозили самодеятельному реставратору кулаками, просто плевал на них сверху. Пришлось вмешаться мадам Любе. Она постучала в двери его квартиры. Когда они наконец открылись, перед ней предстал обливающийся потом, совершенно голый гигант с зубилом и молотком в руках. В рыжей бороде — крошки гипса. «Потрясно, не правда ли? — без всякого смущения пробасил он вместо приветствия. — Теперь я смогу рисовать. Теперь у меня шикарная студия». И преспокойно принялся вырубать под дверью отверстие для улучшения вентиляции помещения. Это безобразие удалось прекратить, лишь призвав на помощь двух полицейских, которые повели его в участок.

С тех пор дом Левалье оккупировали обитатели Монмартра с весьма сомнительной репутацией. Краска на стенах пооблупилась, с потолков падали куски штукатурки, по всему дому бегали тараканы. Мадам Любе со вздохом рассталась со своим дорогим платьем из альпака, отделанным кружевами, и корсетом из китового уса, научилась на все закрывать глаза и принимать жильцов такими, какие они есть, ожидая худшего. Ее ожидания частенько оправдывались. Теперь она в основном проводила время в своей каморке, почитывая газеты, ухаживая за геранью, горшки с которой выставляла на подоконник при первых признаках весны, и беседуя с Мими — желтой персидской кошкой, своим единственным другом и доверенным лицом. Мадам растолстела и обрюзгла, безгрешно и одиноко существовала среди здешних пороков.

В октябрьское утро 1885 года она стояла у окна кухоньки, прихлебывая свой кофе с молоком и наблюдая за тем, как еще один унылый дождливый день рождается из чрева уходящей ночи. И таким он был серым и наводящим тоску, что, будь ее воля, она бы без сожаления отправила его туда, откуда он появился.

«Ну что за гиблое место этот Монмартр! — вздохнула она, покачивая двойным подбородком. — Что за гадостное место!»

Некоторое время она продолжала стоять неподвижно, забыв о чашке с кофе, меланхолично глядя на струйки дождя, бегущие по стеклу. Плотная, небольшого росточка стареющая женщина с добрым лунообразным лицом, седеющими волосами, собранными в шиньон на макушке, и печальными глазами крестьянки, вынужденной жить в большом городе.

Дождь монотонно стучал по крышам мансард, стекал грязными потоками по стенам обветшалых домов, одинокими слезами падал с карнизов,

журчал по водостокам, растекался по отмытым до блеска булыжникам мостовой, тут и там собираясь в лужи.

Здешний дождь наводил на мадам Любе особую тоску, более острую, чем в центре Парижа, словно бы подчеркивая ее отчаяние и одиночество.

Она поднесла чашку ко рту, допивая остатки кофе, и побрела к своему креслу у окна, где проводила большую часть дня и откуда могла видеть, что происходит на улице. Вздыхая, опустилась в кресло, подоткнула юбку вокруг колен, поправила подушку за спиной и, взяв со столика очки в стальной оправе, развернула газету. Как все парижские консьержки, она была любительницей новостей и опытным читателем. Небрежно пробежала сообщение о землетрясении в Японии, заметку о резне в Индии, о революции в Перу, об очередной Балканской войне и перешла к более занимательной информации. В 1889 году, через четыре года, в Париже должна была состояться Всемирная выставка. К ее открытию собирались построить прямо в центре Парижа железную башню.

Это же надо — железную башню! Недоуменно передернув плечами, Мишлен Любе покончила с первой страницей и, развернув газету, углубилась в светскую хронику. Обычно, читая ее, она рисовала себе роскошные залы дворцов, зимний сад с пальмами, где лощеные аристократы во фраках и смокингах и их дамы в платьях с треном и длинных перчатках медленно вальсируют или просто прогуливаются, предаваясь изысканному безделью.

Но в сегодняшней газете не содержалось никаких пикантных сообщений. Мадам Любе, сложив газету, опустила ее на колени и достала из кармана передника четки. В то время как губы ее механически повторяли «Аве Мария», мысли витали где-то далеко, а вскоре и вовсе иссякли. Голова склонилась на грудь, подбородок утонул в темной шерстяной шали. Она задремала.

Когда проснулась, дождь уже прекратился. Правда, с карнизов еще капало, но в небе появились большие голубые проталины. Она собралась было продолжать свои молитвы, но тут услышала погромыхивание подъезжающего экипажа. Откинув занавеску, выглянула на улицу и увидела чернобородого господина в пальто и котелке, который выбирался из фиакра у парадного подъезда, помогая себе короткой тростью с резиновым наконечником.

— Глянь-ка, Мими, какой лилипут! — воскликнула она, присматриваясь к приближающемуся визитеру. Поднялась, открыла двери привратничкой. — Прощу вас, месье. Что вам угодно? — осторожно спросила мадам Любе.

Незнакомец, сняв котелок, вежливо поклонился. Она заметила, что он коротко пострижен и аккуратно причесан.

— Не соблаговолите ли показать мне студию, о сдаче которой внаем висит на улице объявление? — спросил незнакомец.

— Пожалуйста, месье. — Он стоял перед ней, ростом не более четырех футов, и улыбался, поглядывая сквозь пенсне. — Студия на четвертом этаже, — добавила консьержка, сочувственно кинув взгляд на короткие ножки посетителя. — А лестница у нас довольно крутая.

— Кажется, действительно крутовата, — сказал он, посмотрев на ступени. — И все-таки, вы разрешите мне посмотреть?

Она бросила на него недоверчивый взгляд, подобрала юбки и начала взбираться вверх. Он последовал за ней, одной рукой хватаясь за перила, а другой, помогая себе тростью, упорно заставляя ноги поднимать свое укороченное тело.

Когда они добрались до площадки четвертого этажа, посетитель тяжело дышал, на лбу выступили капли пота.

— Вы были правы! — перевел он дыхание, стараясь улыбнуться. — Тут действительно круто.

Любе обратила внимание на его отличные белые зубы, удивительно большие мальчишески карие глаза и поняла, что он еще очень молод, несмотря на бороду.

— Месье художник? — с некоторым сомнением спросила она.

— Нет. Еще нет. Пока — студент... — Его толстые красные губы все еще улыбались. — Начал свой третий год в мастерской профессора Кормона и собираюсь работать над картиной для выставки. Для Салона. Поэтому мне и понадобилась студия.

Мадам Любе заколебалась: «Господи, еще один художник в доме... Но может быть, не такой, как его предшественник? На первый взгляд молодой, но какой воспитанный!.. И вежливый. И глаза красивые. Сдается, особых неприятностей от него не будет».

Она повернула ключ и распахнула дверь.

— О-ох! — у незнакомца вырвался невольный вздох восхищения. — Настоящая мастерская!

Несколько минут, открыв рот, он стоял на пороге, любуясь огромной пустой комнатой с бледно-серыми стенами, круглой голландкой в центре и большущим, до самого потолка, окном. Проковылял к нему через всю комнату и залюбовался панорамой зубчатых черепичных крыш и дымовых труб.

— Какой вид! — восхищенно бросил он через плечо. — В ясную погоду отсюда, вероятно, виден Нотр-Дам... А можно подняться на антресоли? — И он начал карабкаться по ступенькам в глубине комнаты.

— Спальня слева, — сказала она вслед ему, наблюдая за тем, как он остановился перед двумя дверями.

Заглянув в указанную дверь, он увидел маленькую, оклеенную обоями комнатку, и мадам Любе услышала его голос: «Хорошо, очень уютно!» Открыл вторую дверь и вскрикнул от удивления: «Господи, ванна!»

— Да, месье. Этот дом строился для приличных людей. Не для отбросов с улицы. Но должна предупредить вас — туалет пока не работает. Художник, снимавший студию до вас, забил его обломками гипса. Представляете себе?! Но на лестничной площадке, в конце коридора есть исправный туалет, и вы сможете пользоваться им, пока не починят этот. Ванна тоже не работает, но если месье любит принимать ванну... — по ее тону можно было понять, что она не одобряет людей, любящих принимать ванну, — то ее тоже можно починить.

— Спасибо. Пока не стоит, — беспечно взмахнул он рукой, спускаясь вниз. — Я же не буду здесь жить. Только работать. У меня на улице Фонтене есть квартира, которую мы снимаем вместе с другом.

Она насторожилась. Надо же, две квартиры! Никто не снимает двух квартир...

Спускались они молча. Это тоже далось ему с трудом. Мадам Любе сочувственно наблюдала, как он преодолевает каждую ступеньку. Наверняка может споткнуться и сломать шею...

— Я беру эту студию,— сказал он, когда они наконец очутились в привратничкой.

— Вы убеждены, что она вас устроит? — спросила консьержка, не в силах скрыть свою неуверенность.— Такая крутая лестница...

— Ничего! — Он снова взмахнул рукой.— Я привык. Наша мастерская тоже на четвертом этаже, и ступени там почти такие же крутые. А это — хорошая зарядка! Так сколько стоит студия?

— Годовая плата?

— Естественно.

— Четыреста двадцать франков,— осторожно ответила мадам Любе, готовясь поторговаться.

— Когда я могу переехать?

Шок от внезапного согласия клиента был так велик, что она согнала Мими с кресла и жестом пригласила его присесть.

— Когда вам будет угодно. Но пока я должна записать вас.— И она принялась искать свою регистрационную книгу. Нашла, села к столу, надела очки и подняла на клиента глаза.

— Ваше имя, фамилия,— привычно произнесла мадам Любе, уже занеся перо над распахнутой книгой.— Это для полиции. Они хотят все знать. Понимаете?

— Понимаю. Тулуз. Анри де Тулуз.

— Из Тулузы? Но я не спрашиваю, где вы родились. Я просто хочу знать вашу фамилию.

— Конечно. Де Тулуз — это и есть фамилия.

Она положила перо.

— Это не фамилия, а город, месье,— терпеливо, но не без раздражения произнесла она.— Люди не именуют себя Парижем или Марселем, не так ли? Я просто спрашиваю вашу фамилию.— Она снова взяла перо в ожидании ответа.

— Я же сказал — Тулуз,— запротестовал он.

— Вижу, месье любит пошутить,— поджав губы, ответила она.— Я не удивлюсь, если вы сейчас назовете себя Наполеоном Бонапартом или Жанной д'Арк. Но полиции это не понравится.— Пальцы мадам Любе сжали перо.— Пожалуйста, назовите свое имя, место и год рождения.

И он медленно начал диктовать:

— Анри-Мария-Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа. Родился в Альби 24 ноября 1864 года...

\* \* \*

Мишлен Любе, как обычно, приготовила и в одиночестве съела свой обед, побеседовала с Мими, подмела холл и лестницу, подавила ногой тараканов... К концу дня она зажгла керосиновую лампу и уселась в свое кресло с газетой. Именно тогда, второй раз за этот день, она услышала звук приближающегося экипажа. Раздвинула занавески и выглянула на улицу, уже погружавшуюся в вечерние сумерки. Глаза ее округлились

от удивления: у входа остановился не обычный фиакр! Кучера фиакров не носят ливрей, белых гетр и шляп с кокардой. Это же частное ландо... Кто бы это мог быть?

Взволнованно наблюдала она за тем, как кучер слез с козел, чтобы открыть дверцу и откинуть ступеньку.

Стройная седоволосая женщина вышла из него, сказала что-то кучеру, внимательно, изучающе осмотрела фасад дома и вошла в подъезд.

— Слушаю вас, мадам,— любезно встретила ее в холле консьержка, которая сразу угадала в незнакомке аристократку.— К вашим услугам.

Под сеткой черной вуали мадам Любе разглядела бледное, полное чувства собственного достоинства лицо. Простое черное платье, короткая соболья пелеринка, муфта, тоже из соболей. Любе жестом пригласила даму в привратническую, предложила кресло, положив под спину подушечку. Села сама и застыла в ожидании, сложив руки на коленях.

— Сын сказал, что утром снял здесь квартиру...

— Ваш сын?! — Мадам Любе не могла сдержать удивления.— Вы хотите сказать, что тот карлик...— Слово непроизвольно сорвалось с губ, прежде чем она успела зажать рот руками.— Простите, мадам,— пробормотала она.— Я не хотела...

Губы незнакомки побелели. На мгновение ее лицо исказила горестная гримаса.

— Да,— ответила она не сразу.— Это мой сын. Сломал ноги, когда был еще ребенком...

В тишине комнаты, при слабом свете керосиновой лампы, она начала рассказывать об Анри. Загадочная болезнь, ужасные переломы, бесполезные операции, приступы... Время от времени мадам Любе сочувственно вздыхала. Социальные барьеры, разделявшие их, как бы растворились, исчезли.

— Потому-то я и пришла к вам,— заключила свой рассказ посетительница.— Пожалуйста, присмотрите за ним. Если что-нибудь случится, если Анри вдруг снова повредит ногу... дайте мне немедленно знать.

— Не волнуйтесь, мадам! — Любе уже в открытую плакала, вытирая слезы и сморкаясь в огромный носовой платок.— Я буду смотреть за ним как за родным сыном, буду следить, чтобы в студии к его приходу всегда было тепло, чтобы пальто надевал, когда холодно. И я не скажу ему, что вы приходили. Я же знаю, какие они, молодые.

Провожая мать Анри, мадам Любе спросила:

— Прежде чем вы уйдете, скажите мне настоящую фамилию вашего сына. Он тут шутил, говорил «Тулуз», я-то понимаю, что такой не бывает. Мы даже поспорили с ним.

— Он действительно Тулуз. Его отец — граф Альфонс де Тулуз-Лотрек.

— Граф? И ваш Анри тоже граф?

— Да,— печально и устало проговорила графиня Адель,— но он не желает пользоваться титулом. И вообще, все это так мало для него значит.

Мгновение они постояли рядом у двери.

— Спасибо вам, мадам Любе.— Графиня протянула женщине руку и вышла.

Любе смотрела вслед, пока ландо не скрылось за поворотом. На Мон-мартр опустилась ночь. Только тут и там в туманной дымке светились

желтые квадратики окон. Издалека, словно рев загнанного зверя, донесся паровозный гудок с Северного вокзала. Над Парижем, как извечная спутница больших городов, нависла тоска.

\* \* \*

Спустя несколько дней жители улицы Коленкур были поражены видом необычной похоронной процессии. Катафалк, влекомый старой задыхающейся клячей, был доверху набит плетеной мебелью, тремя мольбертами, столом, высокой раскладной лесенкой и еще кучей разных вещей, в том числе гипсовой копией Венеры Милосской в полный рост, торчавшей из-под балдахина, как покойник, пытающийся возвратиться к жизни. На месте возницы восседал молодой гигант с курчавой бородой, пощелкивал бичом и орал студенческую песенку, время от времени замолкая, чтобы вставить в рот дымящуюся трубку и обменяться соленой шуткой с встречными или выглядывающими из окон публичных домов девицами.

За катафалком тянулась четверка спорящих и жестикулирующих молодых людей в потрепанных фраках и вывязанных бантами галстуках, в которых мадам Любе, наблюдавшей за шествием из окна, легко было признать студентов-художников. Она разглядела также и своего нового жильца, изо всех сил старающегося не отстать от парней. Катафалк остановился у подъезда, они окружили его и стали развязывать веревки, крепившие груз. Анри между тем заглянул в привратничью.

— Здравствуйте, мадам Любе,— поклонился он консьержке, переводя дух и снимая котелок.— Мне не удалось подрядить профессиональных грузчиков, и друзья согласились помочь. Не беспокойтесь, мы будем вести себя тихо и пристойно.

Через пару минут дом заходил ходуном от топота сапог, громкого гогота и богохульств. Молодые люди гуськом взбирались по лестнице, груженные мебелью, царапая стены и наталкиваясь на перила. Они перекрикивались друг с другом, создавая невообразимый кавардак.

А наверху, в огромной, пустой еще студии, засучив рукава и обливаясь потом, хромая, бродил Анри, лихорадочно пытаясь руководить товарищами и навязывая им свою бесполезную помощь.

— Эй, Лотрек! — орал Люка, переступая порог и волоча под мышками рулоны холстов.— Куда свалить этот хлам?

— Куда хочешь. Может, в тот угол? Осторожно! Один из них еще не высох.

Люка освободился от ноши и осмотрел помещение.

— Ого! Вот это студия! Ах, если бы мой папаша-скряга позволил и мне завести такую!

— Хочешь, можешь приходить сюда работать. Места хватит.

Но у Люка вызвала отвращение сама мысль о работе, и он поспешил удрать прочь, пропустив в двери Рашу, тащившего стол.

— Черт тебя побери! — выругался он, спуская на пол свой груз и выпрямляя согбенную спину.— И зачем тебе понадобилось снимать квартиру на четвертом этаже? Ты бы еще устроился на верхушке Вандомской колонны! Тебе что, просто нравится карабкаться по этим ступенькам?

Все еще отдуваясь, он повалился на кушетку, уже стоявшую возле окна, и оттуда несколько минут внимательно оглядывал комнату.

— Отличное местечко! — одобрительно хмыкнул Рашу. — И света много, и все такое...

— Тебе правда понравилось? — подошел и сел рядом Анри. Он хотел было взять друга за руку, но спохватился, потому что в их среде проявление чувств было не принято. — Спасибо тебе за катафалк!

В ответ Рашу лишь пожал плечами и, постанывая, поднялся с кушетки.

— Пойду-ка вниз. Таскать еще не перетаскать.

Он не успел покинуть комнату, как сквозь распахнутые двери с лестницы донесли спорящие голоса.

— Пожалуйста, не орите так! — крикнул он вниз, свесив голову над перилами.

— Этот ублюдок Гоzi оскорбил женщину, которую я хорошо знал, — послышался со второго этажа громкий голос Анкетена. — Заявил, что она — старая кошелка!

— Я только сказал, — выкрикнул Гоzi, высовывая голову из-за мольберта, который нес перед собой, — что все консьержки — старые кошелки. Откуда я знал, что его знакомая тоже была консьержкой?

— Да, была, — не мог успокоиться Анкетен, — но она была такой красавицей! Я заглядывал к ней в привратническую, когда ее муженек отправлялся за углем для топки...

Он втащил на площадку трехстворчатую ширму и тоже наклонился над перилами.

— Иди-ка сюда! Поднимайся скорее! — кричал он приятелю. — Я тебе покажу, какой старой кошелкой была Эмили! Тебе никогда не спать с такой женщиной! Видел бы ты ее грудь! Как мраморная!

Гоzi презрительно фыркнул. Лишь неделю назад нашел он у себя еще одну прощальную записку. На этот раз очередная подружка приколола ее к его выстиранной и выглаженной рубашке, и он пребывал в самом мрачном женоненавистническом настроении.

— Твоя Эмили — как все остальные! Старая карга с морщинистым животом и сиськами до пупа!

— До колен! — поддержал его снизу Шарль Люка.

— Она на них сидела! — предположил из-под плетеного кресла, которое он нес на голове, Рене Гренье.

Теперь вся лестница тряслась от хохота, ее переполнял искрящийся галльский юмор. Двери, выходившие на площадки и в коридор, отворялись, из них высовывались головы жильцов, не желавших упустить такое развлечение.

— Да заткнитесь вы, ради Бога! — взмолился Анри с верхней площадки. — Вас может услышать мадам Любе.

Она и на самом деле все слышала, и ее женское сердце наполнялось нежностью к этому коротышке. Да, друзья у него действительно были шумные и неотесанные, но он... он не такой.

Гоzi и Анкетен, войдя в студию, продолжали браниться.

— Уверю тебя, Эмили на самом деле была красивой бабой, — пытаюсь закончить спор, заключил Луи. — И какой страстной... Ты даже представить



себе не можешь, что она заставляла меня выделывать.— Он прислонил ширму к стене, вытер рукавом пот со лба.— Она, например...

— Знаю, знаю,— перебил его Гоzi, усмехаясь,— извивалась и крутила задом, вонзала тебе в спину свои коготки, кусала в шею и вопила, что ты ее убиваешь. Рассказывай, старина, рассказывай! Ясное дело, все бабы фригидны, холодны, как лед. И ничего с ними не поделаешь. Они же физически устроены, как рыбы...

Так или иначе, но переезд подходил к концу. Молодые люди один за другим вваливались в студию, сгружали вещи, растягивались прямо на полу или валились на кушетку, отдуваясь и вперив взгляд в потолок.

— Ну вот и заключительный аккорд! — сообщил Рашу, появившийся в обнимку с гипсовой Венерой.— Эта женщина весит не меньше тонны, но какой экстерьер, друзья мои! Какие бедра! Мышцы живота... Пока нес, успел как следует изучить ее и смею доложить вам...

— Я хочу поблагодарить всех вас за помощь,— перебил его Анри.

— А я хочу выпить! — заявил Гренье.

— Катафалк вниз,— предложил Рашу.— Могу подбросить в «Нувель» по дороге на кладбище.

Предложение было принято с восторгом.

— Езжайте,— проводил их Анри.— Я немного задержусь.

Стук их сапог и крики снова зазвучали на лестнице. Затем хлопнула дверь, и голоса умолкли. В комнате все было вверх дном, но стало тихо. Анри с усталой улыбкой присел на краешек кушетки, оглядел криво висящие на стенах полотна, нагроможденные стулья, мольберты, раздвижную лесенку, Венеру Милосскую в углу.

Его студия! Наконец-то у него своя студия! Здесь он будет счастлив. Он твердо верил в это. Отсюда начнется его восхождение к вершинам искусства. Даже когда он станет известным портретистом, то не забудет этой громадной комнаты с балконом, антресолями, спальenkой и ванной...

Все еще улыбаясь, он поднялся с кушетки, оделся, окинул последним счастливым взглядом свою студию и, осторожно прикрыв за собой двери, вышел на лестницу.

На каждой площадке были зажжены газовые светильники. Какая же славная женщина эта мадам Любе! Как это мило с ее стороны — зажечь свет, чтобы он не сломал себе шею на этой крутизне... Да, он обязательно будет здесь счастлив.

«Нувель» был полон людей и густого табачного дыма. Анри направился к всегдашнему их столику, зная, что друзья именно там. Его появление не прекратило перебранки между Гоzi и Анкетеном: эти петухи все еще переругивались, уставившись друг на друга, пуская прямо в лицо противнику клубы дыма из своих трубок, не забывая при этом прихлебывать пиво.

Анри пристроился на обитой кожей banquetке рядом с потеснившимся Рашу, протер стекла пенсне, заказал пива и оглядел зал.

В «Новых Афинах» был час аперитива — священный для художнической братии. Официанты в белых передниках, балансируя круглыми подносами, сновали между столиками. В кафе всякий раз, как открывались двери, влетал, словно сердитый прибой, шум уличного движения на Пляс Пигаль,

заглушая на мгновение разноголосицу и постукивание блюдец по мраморным столикам. Тут и там ученики художественных студий вели вечные споры об искусстве и женщинах, теребя свои буйные шевелюры, в то же время кто-то перекидывался в картишки, прижимая их веером к груди, в надежде выиграть на вечернюю выпивку. Богемные художники постарше, в перемазанных красками брюках и черных беретах, отдыхали от дневных трудов, почитывая газетки за стаканом абсента, или, сбившись в группки, сетовали на жестокость дельцов от искусства и бесконечную глупость публики, которая отказывалась приобретать их «шедевры».

К шести часам вечера друзья Анри, многократно ссорясь и мирясь, успели высказать друг другу свои взгляды на Веронезе, Гойю и Делакруа, преподать науку превращения женщин в своих рабынь и обсудить их самые гнусные качества. За это время они вылакали по несколько кружек пива и выкурили огромное количество крепкого дешевого табака, в результате чего, конечно, несколько утомились.

Тут Люка объявил, что у него назначено randevu с некоей Жюли — она работает в шляпном магазине Флери, где шляпа стоит пятьдесят франков. Модисточка с накладными локонами, прехорошенькая, но никак не желает капитулировать.

— Я попытался поцеловать ее, — жаловался Люка, — так знаете, что она выкинула? Дала мне пощечину! — Его спортивный азарт разгорелся вовсю, глаза поблескивали в предвкушении возможного поражения. — Меня прямо тянет к этой девице, — заключил он, поднимаясь из-за стола.

— Бедная девушка, — вздохнул Гренье. — Если ты поступишь с ней, как с другими, ей лучше сразу же броситься в Сену.

Люка заплатил официанту свою долю и сунул сдачу в карман.

— Ну чего тебе от меня нужно? Чтобы я в нее влюбился? Мужчину лишь тогда получает удовольствие от женщины, когда не влюблен в нее. Иначе — пиши пропало! Они превращаются в претовратных особ, начинают искать кого-нибудь, кто бы их обесчестил. Такова их природа. Им нравится разочаровываться в любви. Если случится такой пережить несчастную любовь, она помнит и говорит о ней затем всю жизнь. А когда ты добр с ними, о тебе забывают через неделю. — Помахав им на прощание рукой, красавец небрежно кинул: — Адье! Завтра встретимся у Кормона.

Оставшиеся помолчали.

— Прямо зло берет, как бабы на него вешаются, — не без зависти заметил Франсуа Гози.

Кто-то предложил смотаться к Агостине, а потом в «Элизе». Предложение всесторонне обсудили, но отвергли.

— Не сегодня, — подытожил Рашу. — Я устал. Эта чертова Венера весила целую тонну.

Гренье ушел молча. За ним потянулись Гози с Анкетеном. Рашу с Анри остались вдвоем.

Помолчав, Рашу вдруг предложил:

— А не пойти ли нам куда-нибудь перекусить? Я что-то голоден. — И выбил трубку о край стола.

Явились они в «Тамбурин» уже изрядно после обеденного часа. У Агостины было пусто. Сидели лишь двое — какой-то господин с козлиной

бородкой, кусавший яблоко и читавший газету, прислоненную к бутылке кьянти, да блондинистая проститутка с остреньким подбородком дохлебывала свой суп. Приятное тепло смешивалось с запахами кухни. Из-за портьеры доносился приглушенный перестук моющейся посуды и женский голос, мурлыкавший итальянский ритурнель.

Едва только двое студентов заняли свои места, как мелодия оборвалась и к ним подбежала Агостина.

— Мадонна миа! Что же вы так поздно? Я уж говорила себе: не нашли ли мои мальчики местечка получше, чем у Агостины?

Хозяйка явно напрашивалась на комплимент и, конечно, получила его заведомо заверили, что никто в целом свете не заставит их изменить ее кулинарному искусству. На что она скромно заметила, что пусть ее «Тамбурин» и не самый лучший в мире ресторан, но он неизмеримо выше всех этих модных парижских обжорок, о которых так много болтают.

— Вы знаете, где самая лучшая кухня? В Палермо! Какую еду подают там! За одну лиру напоят и накормят как свинью. А каким вином угостят, каким спагетти! Пища богов. Ах, Палермо! — Ее лирическое настроение росло по мере того, как дымка воспоминаний отуманивала прекрасные глаза сицилианки. — В Палермо целый день солнце. И небо голубое, как покров Мадонны. А воздух — как духи...

Закончив воспевать Палермо, она отправилась на кухню и тотчас вернулась с двумя полными тарелками чего-то острого и аппетитного.

Друзья не спеша вкушали свой ужин.

Через некоторое время господин догрыз свое яблоко и ушел, сунув газету под мышку. Гризетка, меланхолично разглядывая свое изображение в темном уже стекле, дымила сигаретой. Анри из-за своего столика следил, как медленным движением руки она подносила сигарету к губам, как лениво посасывала ее, как раздувались тонкие ноздри девушки, когда она выпускала через них дым. Свет газа смягчал ее черты, играл на волосах золотыми отблесками.

— Ну что, выбрал тему для Салона? — спросил вдруг Рашу.

— Пока нет. Сначала думал о библейском сюжете. Знаешь, что-то вроде «Авраама, приносящего в жертву Исаака» или «Моисея, рассекающего в пустыне скалу». Но они неоригинальны и трудны для исполнения.

— Точно. Требуют множества аксессуаров, — кивнул Рашу.

— А что скажешь об Икаре? Ну, о том, который вырвался с Крита и попытался улететь на скрепленных воском крыльях? Его бы можно было прекрасно уместить в треугольную композицию. Я изобразил бы его стоящим на скале, с распахнутыми крыльями, готовым к полету.

— Не знаю, — пожевал губами Рашу. — Никогда ничего о нем не слышал. Почему бы тебе не взяться за Венеру или Диану? Они всегда вызывают интерес. Все, что от тебя требуется, — пойти в Лувр, скопировать Буше, конечно, изменив несколько деталей, и картина готова.

Некоторое время они обсуждали различные сюжеты, приемлемые для Салона.

— А как, к примеру, старое доброе распятие? — предложил Рашу, когда Венера была отвергнута. — Они тоже хороши. Весь Лувр набит распятиями.



*В цирке Фернандо. Наездница. 1888*

Перебрали еще несколько библейских сюжетов: «Пьетá» — «Оплакивание Христа», «Мария Магдалина, вытирающая ноги Спасителя своими волосами», «Святой Себастьян, подставляющий грудь жестоким стрелам»...

— Все! Знаю, что тебе надо сделать! — закричал вдруг Рашу, потрясая кулаком в порыве вдохновения. — Хорошую кавалерийскую атаку! Абсолютно беспроектная тема! Пойдешь в Лувр, скопируешь один фрагмент, ну, кое-кого в другую униформу оденешь, глядишь, бронзовую медаль заработаешь, — для вящей убедительности добавил он.

Патриотический сюжет подвергся тщательному рассмотрению. Против были технические трудности и необходимость рисовать большое количество деталей. С искренним разочарованием Рашу согласился с доводами друга, к тому же добыть для студии чучело лошади в натуральную величину — дело слишком хлопотное.

— Ну что ж, — как последнюю альтернативу предложил он, — всегда можно написать какой-нибудь бытовой сюжетец.

— Ах, да-да... «Маленькая девочка, плачущая над разбитой куклой». Или «Мальчишка, тайком лакомящийся вареньем», — иронически поддакнул Анри.

Рашу его тон не понравился.

— А что, черт побери, плохого в мальчишке?

— Ничего. Так же как ничего плохого в пирожках, слепленных в песочнице, или даже в том, что ребенок мочит пеленки. Но ведь из этого надо когда-нибудь вырасти. Не так ли?

— Хорошо,— сдался Рашу.— Если ты считаешь, что твой Икар лучше, то можешь выбрать и его. Тоже классический сюжет и не лишенный достоинств. Но оближи его как следует. Знаешь ведь, как Кормон помешан на «слизывании».— Он заметил, что Лотрек не слушает его рассуждений.— Куда ты смотришь?

Анри кивнул в сторону гризетки, погруженной в свои мысли.

— Интересное лицо, как считаешь? — прошептал он.— Видишь эти зеленоватые тени у нее на шее?

Словно бы почувствовав, что разговор идет о ней, девушка смяла в пепельнице сигарету, накинула боа и, положив на столик деньги за обед, медленно прошла мимо них на улицу.

— Что с тобой? — нахмурившись, спросил Рашу.

— Ничего. Я просто сказал, что у нее интересное лицо. Вот и все. Она могла бы быть хорошей моделью. Некоторые лица глухие, как стена, другие прозрачны, как оконное стекло. Через них можно видеть. Ладно, хватит об этом. Значит, мы говорили о «слизывании» Икара.

— Когда-нибудь ты схлопочешь крупные неприятности,— совершенно серьезно, без тени улыбки произнес Рашу.— Какого дьявола понадобилась тебе эта проститутка? Собираешься рисовать? Потому что у нее на шее зеленые тени и лицо прозрачно, как стекло?

— Я этого не говорил. Я сказал...

— Заткнись и дай договорить мне! — перебил Рашу.— Ладно, положим, нарисуешь ты эту девицу, а что будешь делать дальше? Продашь картину? Кому? Выставишь? Где? Кому нужен портрет монмартрской шлюхи?!

— Может, и никому. Но ее рисовать куда интереснее, чем кавалерийскую атаку или мальчишку, лакомящегося вареньем. Или даже Икара. Разве ты никогда не рисовал просто для собственного удовольствия? Просто потому, что хотел что-то выразить? Ребенком я без конца рисовал маму, да и других людей просил мне позировать.

— А теперь? Разве теперь ты больше не любишь рисовать?

— Нет! Я ненавижу рисовать по канонам. Меня тошнит от всех этих идиотских Венер и Диан, которых мы пишем в мастерской. Мне надоело грунтовать первичные тени сырой умброй... Почему композиция всегда должна быть треугольной? И зачем это бесконечное слизывание? Кто сказал, что надо заглаживать каждый штрих? Кто так распорядился? Разве у искусства лишь такая альтернатива: либо отправляйся к мессе, либо иди к черту? Почему мне нельзя рисовать то, что я хочу, и так, как я хочу? Почему запрещено делать голубые или зеленые тени, если я вижу их голубыми или зелеными? Почему я...

— Потому что ты не можешь! — громом раскатился ответ Рашу.— Ты должен писать то, что желает Кормон, и так, как он требует. Иначе не попадешь в Салон! Понимаешь, чем это для тебя чревато? Заранее можешь распрощаться с карьерой художника.

— Конечно, ты прав,— сдался Анри.— Не знаю, что на меня нашло. Не бойся, я вылижу своего Икара и попаду в этот чертов Салон, чего бы мне это ни стоило.

У дверей звякнул колокольчик, и друзья повернулись на звук. В ресторан вошли двое мужчин. Одного из них, владельца небольшой картинной галереи Тео Ван Гога, Анри узнал.

— А кто второй? — спросил он шепотом.

Рашу пожал плечами:

— Думаю, какой-нибудь бродяга, которого Тео собирается накормить.

Спутник Ван Гога был широк в плечах, неряшливо одет — забрызганные краской вельветовые брюки и поношенная синяя вязаная кофта, облегающая могучую грудь. Он был без шляпы, немытые черные космы спадали жирными кольцами на уши. Войдя, он смял сигарету и бросил ее на пол. С вызовом оглядел зал светлыми навывкате глазами и по-моряцки — враскачку — двинулся к свободному столику.

Тео узнал двух студентов, извинился перед спутником и подошел к ним.

— Вас-то я и хотел встретить! Можно присесть? — Отодвинул стул и, обернувшись, бросил: — Заказывай что хочешь, Поль. Я уже ужинал.

— Кто это? — кивнул Рашу в сторону незнакомца.

Тео перегнулся через стол и, понизив голос, ответил:

— Поль Гоген. Раньше был торговым агентом, а теперь бросил, чтобы стать художником.

— Ну и дурень! — убежденно, но тихонько заявил Рашу.

— Не он один такой,— покачал головой Тео.— Мой брат тоже вбил себе в голову, что хочет стать художником. А ведь каких только профессий не перепробовал. Но ни на одной не остановился. Какое-то время даже проповедовал слово Божье среди шахтеров в Бельгии. Впрочем, и этим занимался недолго.

— А сколько ему лет, вашему брату? — осведомился Анри и тут же пожалел о своем невинном вопросе — Ван Гог покраснел от смущения.

— Тридцать три! Слишком стар, чтобы учиться рисованию. Однако я не уверен, продолжит ли он занятия искусством или бросит, как и все остальное.— Тео замолчал, пригладил ладонью свои рыжие кудри.— Все-таки он мне брат, и я бы хотел, чем могу, помочь ему. Он сообщил мне недавно, что собирается после Рождества приехать в Париж. Вот я и записал его к Кормону на второй семестр.— Тон его стал заискивающим, даже умоляющим.— Прошу вас, будьте добры к нему. Не испытывайте на нем своих студенческих шуточек. Он очень чувствителен и вспыльчив. Не смейтесь ни над его акцентом... ни над возрастом.

— А как его зовут?

— Винсент. Винсент Ван Гог. Вы легко узнаете его. Рыжебородый, вроде меня.— Тео улыбнулся.— Он замечательный человек, если поближе с ним сойтись.

\* \* \*

На следующий день Анри отправился здесь же, на Монмартре, в магазинчик папаши Тандиу, чтобы купить нужные краски и заказать холст для картины, которую он намеревался представить на выставку в Салоне.

Улица Клозель была наименее подходящим местом для магазина художественных принадлежностей. Почти безлюдная днем, она испытывала период активной жизни среди ночи, когда становилась прибежищем для всякого сброда и проституток, привлекая их полным отсутствием освещения. Но папаша Тандиу, убежденный анархист, не желал переводить свое хозяйство на более бойкое место, считая, что искусство есть выражение социального сознания и должно создаваться в пролетарском окружении.

Следуя своим идеям, он выставил в витрине магазинчика несколько полотен Сезанна, не удосужившись даже заключить их в рамы. На картины эти, понятно, никто и внимания не обращал.

Хозяин с сонным видом торчал за прилавком, попыхивая трубочкой, когда Анри появился в магазине.

— А, месье Тулуз! Какая приятная неожиданность! — приветствовал он вошедшего, поднимаясь ему навстречу. Еще бы, Лотрек был одним из редких покупателей, плативших наличными.— Как ваше драгоценное здоровье? — На грубо высеченном лице Тандиу возникло приветливое выражение.— А месье Рашу? Здоров ли он? А как чувствуют себя ваши друзья Анкетен, Гози и Гренье? Надеюсь, хорошо? А ведь такая мерзкая погода! Из-за нее никакой торговли. Да-да! Из-за этой тьмы художники не могут рисовать, поэтому не покупают ни красок, ни холстов. Так что мой бизнес терпит крах. Ну ничего, когда начнется революция,— хозяин бросил взгляд на входную дверь,— когда она начнется, все переменится: всем подлинным творцам, то есть тем, кто обладает настоящим социальным сознанием, государство обеспечит комфортные условия работы. А остальных мы перделаем!

Это заявление напомнило старому анархисту положение, возникшее во времена Коммуны, те бурные недели, которые наступили после краха Второй империи, события, где он, папаша Тандиу, играл заметную роль. Этот его рассказ Анри слышал уже неоднократно, но хозяин минут десять посвятил ему. В заключение, хлопнув ладонью по прилавку, он переменял тему.

— А теперь, месье Тулуз, чем могу быть вам полезен?

— Мне нужны семь тюбиков сырой умбры и четыре тюбика Вандейка.

— Семь тюбиков умбры и четыре Вандейка! — громко повторил его заказ хозяин магазина, словно обращался к легиону невидимых краскотеров, работающих в задних помещениях.

Из-за портьеры, прикрывавшей дверь за прилавком, ему ответил усталый женский голос:

— Наличными или в кредит?

Тандиу не мог сдержать протестующего жеста:

— Что ты, дорогая, конечно, наличными! Это же для месье Тулуза!

— Слава Богу!..



Тогда же Лотрек заказал и большой кусок самого лучшего полотна — восемь на восемь футов. Через три дня у себя в ателье он смог приступить к работе над картиной для Салона: «Икар, пробующий свои крылья».

С того часа его день и ночь преследовал призрак «летающего афинянина». Его карьера, вся его жизнь зависела теперь от успеха работы. После обеда у Агостины он покидал друзей и спешил на улицу Коленкур, задыхаясь, взбирался на свой четвертый этаж и окунался в лихорадочную деятельность — накладывал и тщательно «слизывал» сырую умбру.

Когда мадам Любе в первый раз последовала за ним и увидела, как он с палитрой и кистями в руке с трудом карабкается к огромному белому квадрату, установленному на большом мольберте, и тут же спускается с хлипкой лестнички на своих нетвердых ногах, она чуть не упала в обморок, решив, что ее жилец сошел с ума.

— Неужели вы обязательно должны рисовать такую большую картину?

Эта добрая женщина исподволь, но все глубже вторгалась в его жизнь. Как только Лотрек принимался за работу, она находила любой предлог, стучала к нему в двери и с заискивающей улыбкой осведомлялась, не разрешит ли он ей взглянуть, как там дела с печкой. Неспешно подходила к голландке, открывала дверцу, запускала в огненное нутро кочергу, долго шуровала там, ворча, что парижский уголь стал скверным и совсем не дает тепла. Потом, закрыв дверцу, долго слонялась по студии, пока хозяин не предлагал ей присесть. Она принимала его приглашение.

— Но только на минутку! — заявляла мадам Любе, опускаясь в одно из плетеных кресел. Иногда она заводила беседу о бывшем своем патроне месье Левалье, любезном и добросердечном фантазере-капиталисте, чьей экономкой она была до того, как стать консьержкой этого злополучного дома. Иногда она читала Лотреку заметки из своей газеты.

Так шли дни. Он упорно лазил с перекладины на перекладину, грунтуя «первичные тени» сырой умброй, «слизывая» каждый мазок, пока краска не ложилась на холст блестящей атласной лентой. Правда, порой его одолевала скука от этого занятия. Сколько еще времени придется убить, пока он закончит это кукольное лицо с совершенным носом без переносицы, пустыми глазами и девичьими алыми губами? А эти нелепые, скрепленные воском перья крыл? А эти анатомически выверенные бицепсы? А эту барабанообразную грудь? Но Анри вспоминал предупреждение Рашу и, стиснув зубы, продолжал работать, с отвращением водя кистью по полотну, проклиная каждый мазок, каждую тень, каждый квадратный дюйм гладкого желто-розового тела своего героя.

Но случилось — не выдерживал. Бастовал. Несмотря на свою решимость, спускался с лестнички, подходил к другому мольберту, поменьше, где был установлен подрамничек с эскизом какой-нибудь бытовой монмартрской сценки, и отводил душу. Молоденькая прачка, несущая по улице Коленкур корзину с бельем, личико гризетки, подсмотренное где-нибудь на улице или в кафе, канкан, наброски которого сделаны накануне вечером в «Элизе». Усталость и скуку снимало как рукой. Кисти возвращалась легкость, а вместе с нею — ярко-зеленые, темно-синие, нежно-лиловые тона. Анри вновь испытывал наслаждение живописью, становившееся более острым от постыдной близости Икара.





Отрывок из письма  
и один  
из набросков  
Лотрека

Pen d'aujourd'hui avec pour un contingent  
 d'ami comme cela il est possible que le  
 versant. L'opéra n'est en la méthode  
 en scène. Plus de vivants pour lui de  
 d'aujourd'hui raffiné, le magicien des  
 même se sont les personnes, un pour  
 être le roman des Romains : l'opéra  
 d'aujourd'hui avec amour est hanté de  
 de d'aujourd'hui  
 Plus je suis avec il donne au caractère  
 d'aujourd'hui le caractère de l'opéra  
 ces deux à l'opéra. Le haut principal  
 en cela, la transparence : l'opéra les  
 autres. Quel beau résultat. Elle finit  
 mais il est usage, le vrai, l'opéra  
 d'aujourd'hui à venir, l'opéra  
 d'aujourd'hui à venir, l'opéra  
 d'aujourd'hui à venir, l'opéra  
 d'aujourd'hui à venir, l'opéra

Во время одного из таких бегств от академического «шедевра», когда он с удовольствием писал маленькую сценку, запечатлевавшую какое-то па канкана, раздался стук в дверь и в ателье появился граф Альфонс. Перепуганная мадам Любе, едва кинув взгляд на этого представительного господина, тут же ретировалась.

— Твоя мать упомянула, что ты снял студию, и я решил взглянуть, что ты для себя нашел.

Зажав трость с золотым набалдашником под мышкой и сложив руки за спиной, отец оглядывал помещение.

— А что? Недурно, совсем недурно. Правда, дом довольно запущенный, но, полагаю, на Монмартре все дома такие.— Он подошел к окну, постоял там минуту-другую, расставив ноги и разглядывая открывающуюся перспективу.— И вид отличный. Думаю, в ясную погоду можно увидеть не только Нотр-Дам, но и то, что за ним.— Он обернулся, вновь окинул взглядом студию.— Что ж, надеюсь, ты сможешь тут малевать в свое удовольствие. В детстве ты всегда любил рисовать. Может, научишься писать лошадей не хуже, чем бедняга Пренсто.

Анри наблюдал за отцом, и сердце его сжималось. Он был поражен его внешностью, тем, как он изменился за годы, когда они почти не встречались. Тот же шелковый цилиндр, белая гвоздика в петлице, гетры, но перемена, происшедшая с ним, была не внешняя, а глубоко внутренняя: странная неподвижность в глазах, почти иступленность. До Анри доходили разные слухи. Бедный отец, он так хотел иметь сына, который мог бы вместе с ним участвовать в скачках, ездить в Лаури, охотиться на оленей...

— На антресолях есть еще спальня и ванная комната. Не хочешь ли посмотреть, папа?

— А что это такое? — спросил граф, игнорируя предложение Анри и указывая тростью на незаконченное полотно с Икаром.

— Это мой вклад для выставки в Салоне.

— Какого черта он размахивает своими нелепыми крыльями?

— Это Икар. Дедал, его отец, сделал себе и ему крылья, чтобы они могли перелететь через море. Но сын взлетел слишком высоко, слишком близко к солнцу, воск, скреплявший крылья, расплавился, и Икар утонул. Это один из греческих мифов.

— Ну и что? Одним идиотом в мире стало меньше, — пожал плечами отец и отвернулся от полотна. — Ладно. Мне пора. Я рад, что тебе здесь нравится.

Он было направился к выходу, но его глаза наткнулись на стоявшую на другом мольберте картину с бытовой сценой. Он подошел к ней, наклонился, чтобы получше разглядеть канкан: вздымающиеся нижние юбки, задранные женские ножки.

— Твоя мать была бы шокирована, если бы узнала, какую чушь ты рисуешь, — заметил он, выпрямляясь. — Чистая порнография. У проститутки есть свое место, но оно не на полотне.

Передернув плечами, насупившись, он зашагал к дверям.

— Впрочем, какое это имеет значение? Теперь уже все это не важно.

На пороге граф обернулся, на мгновение встретился глазами с сыном, они посмотрели друг на друга, как бы пытаясь перекинуть мостик через разделяющую их пропасть. Отец первым отвел глаза.

— Ну, Анри, до свидания.

— До свидания, папа. Спасибо, что навестил.

Граф не ответил. Выйдя за ним на площадку, Анри смотрел, как он спускается по лестнице.

\* \* \*

В начале декабря Париж охватила предпраздничная рождественская лихорадка, вызвавшая как бы улыбку на сумрачном лице зимы. Витрины магазинов забиты игрушками и подарками, горожане, не обращая внимания на грязь, топали по улицам, нагруженные пакетами и свертками.

Как-то в мастерской, во время обычного пятиминутного перерыва, Люка подошел к Анри.

— Знаешь, эта девчонка, ну, Жюли...

— Та, что работает модисткой у шляпницы?

— Ага. Так она никак не соглашается. Говорит, Бог ее накажет, если она согрешит.

— Почему бы тебе не приударить за кем-нибудь другим? Ты ведь не влюблен в нее?

— Дело не в этом. Передо мной встал вопрос о самоуважении. Кроме того, я увлекаюсь ею все сильнее и сильнее. Если бы я мог подарить ей что-нибудь к Рождеству, глядишь, она разрешила бы поцеловать себя. Женщины — загадочные существа, особенно по части поцелуев. Вероятно, слияние губ действует на их железы внутренней секреции, или фаллопиевы трубы, или что там у них еще? Но как только они соглашаются на поцелуй, то сразу же лучше начинают соображать кое-что... А я на днях видел маленькую меховую горжетку в магазинчике подержанных вещей...

Анри был несколько обескуражен: выходит, его друзья уже спланировали свое Рождество, а о нем забыли, не включили в проведение праздников. Люка заикнулся на своей Жюли — несговорчивой модисточке, Гренье как-то упомянул о назначенном уже randevu с некоей юной особой, о которой говорил с крайней сдержанностью, Рашу «продал» свое Рождество старой тетушке, обещавшей подарить ему золотой империал — двадцатифранковик, после того как он проводит ее к полуночной рождественской службе, Анкетен посвятил себя Жанетте — одной из танцовщиц в «Элизе», Гози встретил очередную «совершенную женщину», на этот раз актрису.

Таким образом, все друзья были заняты собой. Это впервые заставило его осознать, что их «вечная и верная», как он считал, студенческая дружба довольно непрочна. Пройдет последний семестр, они покинут мастерскую Кормона, и их маленькая сплоченная компания распадется. Не будет больше веселых обедов в «Тамбурине», дебатов в «Нувель», вечеров в «Элизе»...

Эти грустные мысли обрушились на него, когда он в канун Рождества задумчиво следил за огоньками в камине, сидя в гостиной материнской обители на бульваре Малерб. Лампа отбрасывала на потолок желтый эллипс, в каминных часах с гипсовыми фигурками капало время, как из испорченного водопроводного крана. За окнами бесшумно падал снег. Время от времени в комнату проникал приглушенный уличный шум — погромыхивание экипажей и гул предрождественского веселья. Иногда все затихало, и оставался только светлый эллипс на потолке.

— Как твой Икар? — спросила графиня Адель, поднимая голову от вязания. — Ты доволен им?

— Все идет отлично. — Милая мама, она старалась выказать интерес к его творческим делам и заботам! — Я уже закончил все первичные тени, написал лицо. Но остается еще многое — нужно «зализать» кое-какие детали.

Отвечая, Анри смотрел на мать. Словно прозрачная преграда, повисло меж ними постепенное отчуждение... Его захлестнула волна нежности. Бедная мама, как ей, должно быть, одиноко!

— Как только сдам работу в Салон, — решил он сказать ей что-нибудь приятное, — мы сможем уехать в Мальроме. И так как мне уже не нужно будет посещать занятия у Кормона, мы проведем там всю осень. Может, останемся даже до самого Рождества.

Глаза матери повлажнели от нежности. Сын хотел отблагодарить ее за свою монмартрскую независимость, за вечера, которые проводил с друзьями, вместо того чтобы навещать ее. Хотел выказать свою любовь. И сделать это экстравагантно-аристократически, широким жестом, как отец,

оставляющий официанту стофранковые чаевые. Сын хотел возместить ей месяцы своего отсутствия несколькими неделями пребывания под ее крылом.

— Боюсь, осенью в Мальроме будет не очень весело. После октября там сплошные дожди.

Но Анри настаивал, желая, чтобы она приняла его жертву. Ведь погода там будет не хуже, чем в Париже, и они смогут посетить рождественскую службу в Сант-Андре дю Буа.

— Пригласим кюре Сулака на праздничный обед,— предложил он.— Ну, пожалуйста, мама! Скажи, что согласна остаться там до Рождества!

Детские нотки в его голосе вызвали в ее памяти образ маленького упрямого на лужайке перед замком, упрасивающего мать попозировать для портрета. Нет, он не изменился. В чем-то он навсегда останется ребячески-капризным.

— Ну что же... Посмотрим,— с улыбкой кивнула графиня Адель.

Потом они поговорили о студии, которую он собирается снять в будущем году. Конечно, не на Монмартре, а где-нибудь в тихом, приличном районе.

— Тебе понадобится экономка. Не стоит ли обратить внимание на мадам Любе? Из твоих рассказов о ней я сделала вывод, что она достойная и добрая женщина.

Отличная идея! Он обязательно поговорит с ней, как только «Икара» заберут в Салон.

Анри снова устался в камин. Машинально следил за голубыми огоньками, которые плясали на уже догорающих поленьях. Что делают в эти минуты его друзья? Получил ли Люка вожаденный поцелуй? Сломил ли сопротивление строгой Жюли маленькая подержанная горжетка? Должно быть, приятно, когда тебя целует хорошенькая девушка...

Мать бросала на него взгляды поверх своего вязания. Сын взволнован, встревожен. До сих пор он был слишком поглощен самим своим вхождением в жизнь, не задумываясь еще о том, как жить дальше. Но теперь выходил из эйфории, из того состояния восторга, когда ничего не требуешь, только смотришь на окружающее широко открытыми глазами. Ныне он пробуждается от затянувшегося отрочества, сам еще не сознавая того. Глаза его утратили детскую чистоту и наивность. Горячая кровь Тулуз-Лотреков потихоньку закипала в жилах.

Буря еще не разразилась, но бушевала уже неподалеку.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Рождественские каникулы, продолжавшиеся три недели, закончились. Из магазинных витрин давно уже исчезли яркие игрушки и сувениры. Кому они нужны, эти безделушки, после Рождества? Даже конфетти и ленты серпантина, засыпавшие улицы во время праздников, были в последние дни выметены или смыты дождями. Люди забыли свои идиотские новогодние улыбки, весь сентиментальный вздор зимнего праздника и вернулись к повседневным трудам и заботам.

Анри тоже возвратился к своему Икару, к привычной, безалаберной, но заполненной работой студенческой жизни.

В это утро он покорно сидел в мастерской, сгорбившись на своем складном стульчике возле мольберта, заканчивая очередную «Диану перед ванной», смешивая краски, следя за анатомическими канонами и соблюдая хроматический баланс, время от времени поглядывая на обнаженную Большую Мари <sup>1</sup> — натурщицу, неподвижно стоящую на помосте в нескольких метрах от него.

Все как всегда. В печке потрескивают дрова. В мастерской тепло, почти жарко, но приятно. Натурщик Шлюмбергер, дожидаясь своей очереди, читает в уголке газету. Ученики то приближались, то отходили на шаг-другой от своих мольбертов, рылись в ящиках с тюбиками, отыскивая нужный и выдавливая краску на палитру. И конечно, шел дождь. Его капли цокали по застекленной крыше, как копытца овечьего стада, бегущего по каменистой дороге. Да, все шло, как обычно, как всегда, кроме... кроме того, что ничего прежнего уже не осталось, что изменилось все. Смешно, не правда ли? Почему же все вдруг перевернулось?

Анри попытался отогнать этот вопрос. Откинулся на спинку стульчика, осмотрел свою картину. В эту тень следует добавить немного умбры и несколько «слизать» левую руку Дианы... Господи, когда же наступит конец этому «слизыванию»? Почему Кормон так на нем настаивает? Любит, чтобы все было «красивенько»? Он же образованный художник, наверняка копировал и Микеланджело, и Эль-Греко, и Гальса, и Веласкеса, должен же знать, что великое искусство — подлинная красота, а не красивость... Однако еще вчера вдальблывал им, что настоящему художнику следует писать хороших обнаженных женщин. Миловидных и нарядных, целомудренных и соблазнительных. «Женская грудь должна возбуждать воображение, но не более того, бедра должны быть девственными, но обещающими наслаждение. На лобке — никаких волос, лучше всего, если он как-то завалирован или прикрыт изящным жестом руки, как у тициановской Венеры». Неужели он и впрямь так думает? Вероятно, да, потому что все больше становится нетерпим к нарушителям своих требований. На прошлой неделе один из студентов добавил в краски немного розово-лилового оттенка — можно было подумать, что наступил конец света! «Импрессионизм! Я же говорил вам, что в своем классе не потерплю этой гадости! Или вы забыли, что я член жюри Салона?» Студент удрал из мастерской и не возвратился. Какой смысл? Он понимал, что теперь мэтр завалит его работу, и знал, что без Салона его карьера художника не состоится... Хватит. Пора работать. Где эта проклятая сырая умбра?

Анри выбрал чистую кисть, размял ее, обмакнул в выдавленную на палитру коричневую краску и на некоторое время погрузился в нудное занятие — быстрыми тычками кисти стал наносить умбру на полотно.

Подумал об ожидающем его в студии Икаре и почувствовал острый приступ тоски от перспективы еще и еще «слизывать» мазки. Завершит ли он когда-нибудь этого проклятого афинянина?

Отвращение к работе стало настолько сильным, что напугало его самого. Что с ним происходит? Знал ведь, что писать Икара будет скучно, когда

<sup>1</sup> Этюд Лотрека «Большая Мари» находится в Стокгольмском музее.

только принимался за него, но также и понимал, что эта работа — ключ к Салону, что хочешь не хочешь, а нужно ее сделать. Но тогда откуда же такая внезапная перемена? Что это — бунт, вызванный возмущенным темпераментом художника? Что творится? Даже друзья заметили перемену. С ним что-то не в порядке? Прежде спал как убитый — теперь ворочается, мечется, бормочет всю ночь напролет. Об этом говорил ему Гренье. А внезапные перепады настроения? Только что был беззаботен, смеялся, нес всякую чепуху и вдруг хочется убежать к маме, зарыться лицом в ее колени и в слезы выплакаться... Что же все это значит?

Жюли?! Как порочная тайна, затаилось это имя в уголке сознания и все зловреднее отравляет мозг. Вот она — причина. И ведь все время знал об этом, только стремился скрыть даже от самого себя. Ни минуты покоя не знает он с того вечера, как Люка впервые привел ее в «Элизе».

Жюли, тоненькая, светловолосая, похожая на Весну, внезапно возникла перед ним, и эта Весна превратилась в модисточку в шляпке с оборками, вуалеткой, мушкой на щеке и в дешевой меховой горжетке, подаренной ей Люка к Рождеству. Жюли больше явно не собиралась давать ему пощечину. Каждый ее жест, каждый взгляд выдавал ее отношение к этому пустому, красивому нормандцу — стоило только увидеть, как ее рука тщетно шарилась под столом в поисках его руки. Даже как-то волнуящее неловко было наблюдать приметы этой «тайной» любви, вынесенной на публичное обозрение, полное, бесстыдное забвение приличной девушкой своей гордости, безоговорочную капитуляцию перед требованиями своего сердца и чувств. Люка был прав, утверждая, как много значит для женщины поцелуй...

В тот, первый, вечер Анри обменялся с ней лишь несколькими ничего не значащими репликами. Дважды она улыбнулась ему через стол. Он смотрел, как, отпивая свой пунш в перерывах между танцами, Жюли заливисто смеялась, болтала о своем шляпном ателье, где, по ее словам, «все только оригинальное, рассчитанное на элегантных дам», рассказывала о том, как однажды ждала саму Сару Бернар. Пока она говорила, Анри украдкой взглядывал на нее, его глаза шарили по ее лицу, фигурке, угадывая крепкую, молодую грудь с острыми розовыми сосками под облегающей кофточкой, светлый пушок под мышками, плавную округлость бедер. Это были новые и странные ощущения, одновременно острые и болезненные — тайное созерцание женщины, такой близкой и в то же время бесконечно далекой и недоступной, как звезда в небе. Именно тогда и случилась в нем эта перемена.

Позднее, когда он уже лежал в своей постели, она вновь предстала перед ним. Конечно, во сне, но реальном, словно сама жизнь. Грезилось, что они вдвоем лежат на кушетке в его студии под огромным окном. Ее тело, освещенное лампой, казалось янтарным и одновременно голубоватым. Соски алели, как две лесные земляники, пунцовые и напряженные от желания. Он нежно гладил ее, целовал обнаженное тело, чувствуя под ладонью теплый и мягкий живот, нежную кожу бедер. Внезапно их губы соприкоснулись, дыхание смешалось. Раздвинув бедра, со стоном счастья девушка отдалась ему, и они стали единым целым в пульсирующем биении сплетенных тел.

Анри очнулся, тяжело дыша, чувствуя неизведанное прежде, изматывающее наслаждение; ему было так хорошо, как никогда в жизни, он даже

не знал, что такое бывает, что оно возможно. Забылась, ушла, исчезла постоянно ощущаемая им боль в ногах. Он не мог сообразить, бодрствует ли, или сон еще длится. Неподвижно лежал на своей узенькой железной кровати, едва смея дышать, слишком взволнованный, чтобы разобраться в своих чувствах и мыслях, слишком счастливый, чтобы вновь заснуть. Лежал и улыбался в темноте.

Такое повторялось из ночи в ночь. Но и днем Жюли постоянно сопровождала его, невидимая окружающим, но такая реальная для него, что когда она появлялась в «Элизе» или «Нувель», то казалась лишь проекцией его снов. Она улыбалась ему из глянцевого теней его Икара, манила к себе, когда мадам Любе читала ему свою газету или когда его друзья спорили между собой, пуская клубы табачного дыма. Она была то веселой, почти озорной, то невыразимо нежной. А то и жестокой... Нет, он просто дурак. Она не любила его, не могла любить и никогда не полюбит. Они ведь едва знакомы...

Анри попытался прогнать эти мысли. Заставил себя пристрастно рассмотреть полотно на мольберте. Тут — ничего, тут — хорошо... А вот левая рука — словно набитая опилками детская перчатка. Может, Кормону это понравится — первичные тени на ней великолепны... Густая коричневая грязь...

И мысли непроизвольно вернулись к Жюли, но на этот раз Анри, с присущей ему широтой разума, посмотрел на себя с иронической отстраненностью. Что ж, все естественно. И ничего особенного не происходит. Просто ему надо переспать с девушкой — вот и все. Поразительно, что ему не захотелось этого раньше. Возможно, это следствие его продолжительной болезни. Что же касается именно Жюли, то она лишь плод его воображения, как та прекрасная муза, что склоняется над плечом поэта, и он творит, вдохновленный ею, свои сонеты. Она просто придала форму его безотчетным, дотоле не оформившимся томлениям. Остается найти девушку, реальную, во плоти и крови, и переспать с ней. Все очень просто. И ничего особенного. Монмартр кишит такими девицами. Доступными, жаждущими любить и быть любимыми, мечтающими о нежности, шляпках и красивых туалетах, об обедах в шикарных ресторанах. И если уж на то пошло — жадными до денег... И никаких проблем. Право же, никаких проблем!..

— Перерыв на пять минут!

Возглас старосты оборвал цепочку логических рассуждений. Последний мазок. Анри положил палитру и кисти на столик, поднял с пола свою трость и, волоча ноги, направился к худому рыжебородому студенту в синей сарже, который, будто и не слыша о перерыве, продолжал рисовать с рвением неофита.

\* \* \*

— Винсент Ван Гог? Не так ли? Тео предупреждал, что ты появишься у нас после каникул.

— А ты — Тулуз-Лотрек? — Новичок опустил кисть и внимательно посмотрел на Анри. — Тео говорил о тебе.

— Давно ли приехал?

— Только вчера. Но уже успел побывать в Лувре.— Он произнес «Лувр» с таким восторженным трепетом, что Лотрек не смог сдержать улыбки. Лицо незнакомца сразу застыло, глаза потухли.

— Чего смеешься? Хочешь меня поддеть? Высмеять? Я что-то не так сказал?

— Нет-нет! Прости, пожалуйста! — Тео недаром предупреждал — братец его действительно был обидчив.— Я не собирался смеяться над тобой. Просто подумал, не слишком ли ты поторопился посетить это старое кладбище.

— Кладбище? — Озадаченность на лице Винсента сменилась выражением понимания.— Выходит, Лувр — кладбище! Ха-ха-ха! Это и впрямь смешно. Ох-хо-хо! — Его даже затрясло. На худой жилистый шее вверх-вниз запрыгал кадык, грудь и плечи тряслись, взмахивали длинные руки. Смех перешел в удушающий хохот.— Кладбище! Ха-кха-кха!..— Он согнулся вдвое, словно от приступа боли, и теперь хриплый смех вырывался из него, как вода из выжимаемой губки. Такое впечатление, будто человеком овладел демон смеха.

Анри даже стало не по себе от столь бурного, неестественного гогота. Неужели все голландцы так смешливы? Студенты перестали переговариваться и следили за этим взрывом веселья. Большая Мари, полировавшая свои ногти, не сходя с подиума, полою кимоно, прекратила это занятие и тоже удивленно уставилась на Винсента.

Наконец водопад звуков сменился бульканьем и завершился затихающим кудахтаньем.

— Это было великолепно. Очень смешно,— заявил Ван Гог, вытирая кулаком слезы.— Грандиозно! Как это по-французски? Ах, да — колоссально! — рискнул он, как свойственно многим иностранцам, выказать свое знание местного жаргона.

— Ты прекрасно говоришь по-французски,— осмелился сделать ему комплимент Анри, надеясь, что это замечание не вызовет у голландца очередного приступа идиотского хохота.— В школе изучал?

— Нет. Много лет назад я жил в Париже, хотел стать торговцем картинами, как Тео, вот и выучил французский. Я даже какое-то время преподавал его в Англии, в школе. Лучший способ познать чужой язык — выучить его самостоятельно.

В его глазах снова заискрился смех. Анри затаил дыхание.

— Обедаем вместе? — быстро сменил он тему.— Ты непременно должен попробовать стряпню Агостины. А потом я приглашаю тебя посмотреть мою студию. Согласен?

На этот раз ему удалось предотвратить новый ураган. Новичок не рассмеялся, только улыбнулся в знак согласия. Анри показалось, что у него необыкновенно чувственная улыбка.

За обедом компания Анри забросала Ван Гога бесчисленными вопросами: о Голландии, о тюльпанах, ветряных мельницах, каналах, сыре... А есть ли у них там мастерские, подобные кормоновской? А свой Салон там устраивают? А требуют ли, чтобы в тени клали только умбру и «слизывали» каждый мазок? Нужно ли у них студентам-художникам зубрить анатомию? Видел ли он картины Рембрандта? А его дом в Амстердаме или Роттердаме, в общем, где-то там, в Голландии? А какие у них девушки?



Страстные или так себе? А любить они умеют? Или похожи на вареную лапшу? У нас тут, на Монмартре, сообщили ему, девицы поначалу всегда немного сопротивляются, но потом благодарны партнерам за настойчивость. Чем наглее домогаешься, тем больше их любовь. Голландки-то похожи на наших?

Молодые люди разглядывали попавшего в их среду тридцатитрехлетнего голландца несколько небрежно, но с интересом. Потрясая рыжей, морковного цвета, бородой патриарха, он обстоятельно отвечал на их вопросы на ломаном правильном, хоть и с гортанным акцентом, французском языке и плашмаргивал своими магнетическими голубыми ястребиными глазами.

— «Мону Лизу» в Лувре видел? — внезапно обратился к нему светским тоном Луи Анкетен. — Шедевр, а? Несравненное творение великого мастера. Только божественный Леонардо мог так написать. На свете нет более замечательного произведения. — Он обвел присутствующих вызывающим взглядом — плюнет в глаза тому, кто посмеет утверждать противное! — и с любезной улыбкой вновь обернулся к Винсенту: — Я на прошлой неделе целый день провел возле Моны Лизы, изучил каждый мазок, каждый штрих гения. Она так совершенна, так благородна, так возвышенна, что я готов был пасть пред ней на колени.

— Почему же ты не сделал этого? — ехидно спросил Анри. — И потом, откуда тебе известно, что именно Леонардо написал ее?

— Откуда известно? — зловеще нахмурился Луи. Он очень ревниво относился к своей репутации главного спорщика их небольшой компании, и тот, кто решился бы бросить ему перчатку, подвергал себя большому риску. Снисходительно усмехнувшись, он посмотрел на Лотрека. — Эта букашка желает знать, откуда мне известно, что «Мону Лизу» создал Леонардо да Винчи? Ха! Должно быть, сам Голиаф не смеялся так, когда на него напал хлипкий Давид.

Анкетен подкрепился глотком розового вина, вытер салфеткой свои светлые усики и стукнул кулаком по столу.

— Так я вразумлю тебя, дурак набитый! — взревел он, сверля глазами Анри, сидевшего на противоположном конце стола. — Я скажу тебе, откуда мне это известно: **я чувствую!** Понятно? Сердцем чую!

— Я не спрашивал, чем именно ты это чувствуешь. В конце концов, я могу чувствовать сердцем, что ты осел, но это еще не означает, что ты действительно осел. Или означает?

Застолье засмеялось. Винсент закурил свою короткую трубочку. Анкетен побагровел. Он рассчитывал нокаутировать противника одним ударом, но получил сдачи.

— А ее улыбка? — вдохновенно воскликнул он. — Ее улыбка! Даже слепой эмбрион, вроде тебя, должен был заметить эту неуловимую улыбку, сводящую с ума, дрожащую в ее глазах. Если ты осмелишься утверждать, что ее глаза не улыбаются, я плюну тебе в физиономию!

— По мне, она может улыбаться хоть пупком. Я желаю знать лишь одно: чем ты докажешь, что ее нарисовал Леонардо?

Короткая напряженная пауза.

— Легче легкого! — фыркнул Анкетен и, вновь охваченный вдохновением, начал: — Техника! Да-да, старина, техника! Мазки. Всем известен мазок Леонардо.

Он откинулся на спинку стула, ожидая от оппонента безоговорочной сдачи.

— Возрази, если можешь.

— Послушай,— улыбнулся Анри,— и напряги свои мозги амебы, если способен на это. В Лондоне есть музей, который именуется Национальной галереей. Это, можно сказать, их английский Лувр. Так вот, там находится версия Леонардовой Мадонны, отличающаяся от той, что хранится у нас. Предполагают, что Леонардо рисовал ее с помощью учеников. Подожди, не перебивай! — Анкетен открыл было рот, чтобы возразить Лотреку. — Но никто из искусствоведов никогда не смел категорически утверждать, что именно в этой картине принадлежит кисти да Винчи, а что — его ученикам. Те же мазки. Может, ученик создал всю картину, а Леонардо лишь правил?

Анкетен уже раскурил трубку и теперь посылал клубы дыма прямо в лицо Анри — признанный метод ведения боевых действий.

Анри закашлялся, отгоняя дым рукой.

— Сейчас я сообщу тебе, откуда ты знаешь, что именно Леонардо сотворил «Мону Лизу», если ты дашь мне эту возможность.

— Ладно,— победно ухмыльнулся Луи, удовлетворенный тем, что они поменялись ролями.— Сообщай!

— Ты обратил внимание на маленькую медную пластинку, прибитую к раме, и из нее узнал имя автора. Разве не так, старик? Просто медная табличка, где выгравировано: «Леонардо да Винчи, 1452—1519». Вот откуда ты все узнал. А если бы наткнулся на «Мону Лизу» в пыли ломбарда, без рамы и таблички, то решил бы, что это еще один профессионально сработанный, потрескавшийся, сильно залакированный портрет времен эпохи Возрождения, и, может быть, дал бы за него франков пятьсот.

— Эх, мне бы эти полтысячи франков! — мечтательно протянул Рашу.

— Но в Лувре,— продолжал Анри, когда сотрапезники закончили обсуждать, что они сделали бы, имея пятьсот франков,— в Лувре все было иначе. Вы снимаете шляпы, идете по залу чуть ли не на цыпочках, переговариваетесь шепотом, словно в храме. Просматривая экспонаты, читаете таблички: «Корреджо... Рембрандт... Тициан... Рубенс...» И каждый раз мысленно совершаете коленопреклонение и чуть ли не молитесь на их творения. А уж когда доходите до Моны Лизы, едва ли держитесь на ногах от почтительных реверансов. Перед вами уже не обыкновенная флорентийская домохозяйка средних лет со сложенными на животе руками и самодовольной улыбкой на губах и в уголках глаз, перед вами — сам Леонардо, величайший, легендарный, романтический, в ореоле своей бороды и своего гения. Перед вашим внутренним взором средневековая Флоренция, Понте Веккьо, дамы в парче, великолепные Медичи, похлопывающие себя по гульфикам... И вам жутко хочется пасть на колени.

— Ложь! — не выдержал Анкетен.— Перед вами гений! Гений, бедный ты мой олигофрен, подобен бриллианту. Его распознаешь с первого взгляда. Он так и бросается в глаза. Его ни с кем не спутаешь. Рембрандт, Тициан, Леонардо! Это ясно, как Божий день. Сразу понимаешь — они!

— Черт тебя подери! — перекричал его Анри, в то время как Рашу просто светился от гордости за своего ученика.— Тогда почему муженек

Моны Лизы не увидел этого? Разве тебе не известно, что он отказался от портрета? Разрази меня гром, если так просто узнать руку гения, если это любому невежде бросается в глаза. Почему же не признал художника Лоренцо Медичи? Почему он заставлял Леонардо разрисовывать меню званых обедов и делать эскизы маскарадных костюмов, вместо того чтобы позволить ему спокойно создавать шедевры? И если, как ты говоришь, каждому дано почуять гения, почему люди смеялись над «Ночным дозором» Рембрандта и позволили художнику умереть в нищете? А Ватто, вынужденный малевать вывески? А Теньер, которому пришлось пустить слух о собственной смерти, чтобы хоть за несколько франков распродать свои картины? Почему современники не «почуяли» их гения, если мы видим это так ясно? И ежели ты, Луи, так умен и проницателен в отношении старых мастеров, почему же столь туп и слеп по отношению к живым художникам? Откуда тебе известно, что Сезанн — не великий гений, что в один прекрасный день он не попадет в этом качестве в залы Лувра, не окажется рядом с твоим божественным Леонардо?

— А кто он такой, этот Сезанн? — спросил Винсент Ван Гог.

— Да никто! — заверил его Франсуа Гози с другого конца стола. — Лотрек просто умничает. Выпендривается.

Рашу покровительственно посмотрел на Анри.

— Может быть, в том, что ты говоришь, что-то есть, но слишком уж далеко ты заходишь. В конце концов, всем известно, что Сезанн совершенно не умеет рисовать. Даже импрессионистам за него было стыдно — вешали его полотна в уголке, чтобы никому не бросались в глаза. Так-то, — с мягким упреком подытожил Рашу, одновременно гордясь своим протеже — маменькиным сынком, из которого он вылепил настоящего мон-мартрского задиру. — А в Лувр, черт побери, попасть непросто. Когда ты утверждаешь, что Поль Сезанн в один прекрасный день окажется там, то рассуждаешь, как ребенок. Может, считаешь, что и сам когда-нибудь попадешь в Лувр?

На этом их теоретический спор закончился. Разговор вернулся к делам и замыслам Винсента Ван Гога. Ему выдавали ценные и зачастую противоречивые советы, где следует приобретать в кредит краски и холсты, где можно купить столь необходимый ему подержанный анатомический атлас. Обед завершился яростной дискуссией по вопросу об относительных достоинствах «треугольной композиции», «хроматического баланса» и «живописной отделки» картины для Салона.

Все еще продолжая спорить, ученики Кормона выкатились из «Тамбурина» и разбежались по своим делам.

\* \* \*

— Не задурили ли мы тебе голову? — спросил Анри, снизу вверх поглядывая на Винсента, когда они шли к улице Коленкур. — Очень уж путанно разглагольствуем, правда?

— Я считал, приеду в Париж и получу возможность, поучившись, стать художником, — ответил Ван Гог, прижимая к боку папку, с которой, кажется, никогда не расставался. — А теперь не очень уверен. Возможно, Тео прав — я уже слишком стар для этого.

В глазах ни малейшего намека на дикую смешливость. Он казался таким пришибленным, таким сбитым с толку, чужим и потерянным, что Анри даже стало его жалко.

— Не унывай, Винсент! Можно, я буду тебя так называть? Не обращай внимания на всю нашу болтовню, на все эти разговоры о треугольной композиции и хроматическом балансе. Все это не так сложно, как кажется поначалу...— И поскольку сочувствие частенько прибегает к невинной лжи, добавил: — Уверен, ты быстро нас догонишь.

По извилистой, бегущей вверх улочке они с остановками добрались до дома Левала. Поднявшись в студию, застали там мадам Любе, выметающую в мусорное ведро куски гипса и что-то ворчавшую себе под нос.

— Ох уж эти ремонтники, месье! — воскликнула она, обращаясь к Анри.— Вы только поглядите, что наделали! Если бы я представляла себе, что они все переломают, ни за что не позволила бы чинить ванную!

Ответив на вежливый поклон Винсента, она сделала несколько заключительных взмахов веником и, тяжело ступая, направилась к лестнице с ведром в руках.

— Позвольте, я помогу вам, мадам,— потянулся к ведру Ван Гог.

Предложение было столь неожиданным и галантным, что она с изумлением уставилась на незнакомого гостя Лотрека.

— Вы очень любезны, месье, но я сама справлюсь.— Ее лицо расплылось от улыбки.— Вы себе беседуйте. Желаю вам приятно отдохнуть.— И ушла, прикрыв за собой дверь.

— Ты завоевал сердце мадам Любе,— пошутил Анри, вешая пальто и котелок.— Вот увидишь, очень скоро она явится сюда с кувшином целебного настоя. И хочешь не хочешь — выпей. Не спорь. Я было пытался отказаться — куда там! Это все равно, что спорить с паровозом. А пока покажи мне свои рисунки.

Он подошел к длинному столу, отодвинул керосиновую лампу, чтобы освободить место для папки Винсента.

— Можно, я сначала посмотрю твои картины? — ответил голландец, изучая незаконченного Икара.— Что же, прекрасно! Видно, что ты отлично протудировал анатомию. Жаль, что я ее совсем не знаю.

— Тут просто нужно задолбить латинские названия. Если хочешь, можем заняться этим вместе.— В этом рыжебородом человеке было что-то привлекательное, странным образом располагающее к нему.— Прошу тебя, заходи ко мне когда угодно. И не стесняйся. Я буду только рад. Сам ведь целых два года работал в студии Рашу.

Винсент обернулся к хозяину, но взгляд его говорил совсем не о том, что он слышит предложение Анри. Ван Гог как бы видел что-то внутри него и с этим внутренним беседовал.

— Знаешь, чем бы я занялся, если бы умел рисовать, как ты? Я бы изобразил крестьян в поле. Постарался бы рассказать о том, как они устали, как болят у них руки-ноги к концу трудового дня. Вот кто-то из них выпрямляется прямо в борозде, чтобы размять спину, смахнуть рукавом пот с лица... Я бы рисовал фермы, деревья, цветы, солнце. И пользовался в основном охрой — как можно больше охры! Желтый — это цвет Бога, поскольку он создал само солнце желтым.



*В «Мулен де ла Галетт». 1889*

Странное замечание. Анри с удивлением уставился на гостя. Не чокнутый ли он случаем?

— Может быть, господь Бог и любит охру, но мэтр Кормон предпочитает умбру.— Анри усмехнулся.— Тебе лучше бы съездить в Вандею и набрать там янтаря. Или отведу-ка я тебя к папаше Тандиу, где можно дешево купить сколько угодно охры... Что ты там углядел? — спросил Анри, заметив, что Ван Гог подошел к маленькому мольберту и склонился над эскизом, где был запечатлен один из моментов канкана.— А... девушек рассматриваешь? Так у нас в «Элизе» танцуют канкан. Мы обязательно сходим туда, может быть, даже сегодня вечером.

— Но ведь это замечательно! — выкрикнул вдруг Винсент.— Великолепно, превосходно! — С каждым последующим восклицанием восторг его все возрастал.— Насколько это лучше твоей большой картины! Совершенно живые девушки. Воочию видишь, как они танцуют, слышишь музыку, ощущаешь дыхание зрителей, чувствуешь окружающую атмосферу, радость бытия! Превосходно! Почему ты не закончил?

— Руки не дошли. Да и отец мой заявил, что это — порнография.

— Ты должен закончить это полотно,— повелительно приказал Винсент.— Обязан!

— Как-нибудь, когда будет время. Не волнуйся так. Я-то думал, что голландцы — флегматики, но ты, должно быть, исключение, лишь подтверждающее правило. Знаешь, я рад, что тебе понравилось. Мне и самому нравится. Я бы всегда так рисовал, если бы было можно.

— А почему нельзя?

— Потому что я хочу попасть на выставку, в Салон. А мои танцовщицы для Салона не годятся... Покажи мне все-таки свое, а то уже темнеет.

Винсент неохотно оторвался от эскиза Анри и развязал тесемки своей папки.

— Только имей в виду, я новичок в живописи. Никогда прежде не занимался ни в какой мастерской, не изучал искусства.— Он протянул Лотреку лист ватмана с загнутыми краями.— Это одна из моих ранних работ — копия Милле, которую я срисовал с книги с его иллюстрациями.— Он один за другим раскладывал на столе листы.— Это роттердамские рыбаки... А это старик Нунен, ткач... Это Сиен — моя знакомая девушка; брабантские крестьяне — «Едоки картофеля», как их называют у нас...

В студии стало уже совсем темно, когда он выложил последний рисунок.

— Ну вот и все. И что ты об этом думаешь? Смогу ли я еще стать художником?

Анри медленно опустил на стол лист, который внимательно рассматривал, поднеся его к глазам. Коротко глянул на Винсента, пораженный покорным видом этого веснушчатого, но уже зрелого человека, с лихорадочным нетерпением ждавшего приговора.

— Неужели ты сам не знаешь? Но, Винсент, твои рисунки превосходны! Великолепны! Как ты можешь хоть на секунду сомневаться в себе и в них?

— Ты правда так считаешь? — Голос Ван Гога дрогнул и сорвался, словно лопнула какая-то пружинка внутри.— Не из вежливости говоришь все это? В самом деле думаешь, что я еще успею стать художником?

— Стать? Дорогой мой, ты уже художник.

Лицо Винсента вспыхнуло от радости.

— Спасибо тебе, Анри, спасибо! — бормотал он.— Ты не представляешь себе, что значат для меня твои слова! Мне необходимо было хоть от кого-нибудь это услышать.

Некоторое время они стояли по разные стороны стола, смотрели друг на друга, улыбаясь и не находя слов, чтобы выразить обуревавшие их чувства.

— Я думаю, мы подружмся,— произнес наконец Винсент с робкой улыбкой.

— Мне тоже так кажется,— кивнул Анри.— Я очень рад, что ты приехал в Париж.— Ему тоже не давались какие-то нужные, точные слова.— Пойдем-ка в «Нувель», выпьем пива, что ли...

В двери тихонько постучали. На пороге возникла мадам Любе. В руках поднос с двумя чашками горячего ароматного травника.

Анри подмигнул Винсенту:

— Что я тебе говорил?!

Еще до Рождества Анри заметил перемену, происшедшую с его друзьями. Они продолжали спорить об искусстве и женщинах, попыхивали своими трубками, хвастались безнравственностью, распутством, необыкновенной мужской потенцией, чертыхались и обещали наплевать друг другу и кому угодно в глаза, но под их бравадой чувствовалась неуверенность, тревожное ожидание будущего. Их выдавали внезапные мрачные восклицания, горестные вздохи.

— Помнишь, что прошлой весной сказал нам, когда мы сидели у Агостины, этот старый ублюдок Дега? — ни с того ни с сего спросил как-то вечером Франсуа Гози. — О художниках, умирающих от голода и бродящих по Парижу в дырявых сапогах? Я тогда не придавал значения его болтовне, а вот теперь начинаю задумываться.

— И я тоже, — вздохнул Анкетен. — Подумать только, какую замечательную работенку мог бы я иметь на почте!

Франсуа, поколебавшись, вытащил из кармана иллюстрированный каталог предметов домашнего обихода.

— Рекламные рисунки приносят огромные деньги, — заметил он с жалкой улыбкой. Палец его ткнулся в картинку, где была изображена супница. — Вы не поверите, сколько платят за такую ерунду! Или вот еще: роспись жалюзи. Некоторые любят разрисованные жалюзи.

Молодые люди помолчали, погруженные в свои думы. Они хотели стать художниками. Что же, скоро они будут дипломированными живописцами. А что потом? Чем придется им зарабатывать на хлеб? Сквозь тонкий слой внешнего богемного отношения к жизни проглядывала тревога. Здравомыслие мелких буржуа подсказывало им, что жизнь — не вечные пирушки и споры в «Элизе» или пиво в «Нувель», что обнаженные Дианы и Венеры, создаваемые ими в мастерской Кормона, давали им шанс попасть в Салон, но гарантировать ежедневный хлеб насущный не могли.

Анкетен с наигранной небрежностью сообщил:

— Возле Нотр-Дам есть один жучок, который выкладывает по двадцать пять франков за «Воскресение» и даже по двадцать семь — за «Рождество». Берет все, что ни предложи.

Рашу признался, что подал заявление о приеме в музей на должность помощника экскурсовода.

— Конечно, это не шибко высокий чин, можно сказать, самый мизер, но регулярное питание обеспечивает.

Через несколько дней Рене Гренье неожиданно озадачил Анри своим вопросом:

— Что ты знаешь про обои?

Они завтракали в своем привычном бистро, прежде чем отправиться в мастерскую. Улица Фонтене наполнилась утренним оживлением, ее оглашали выкрики разносчиков, богохульные возгласы кучеров конки и фиакров. Пожилые матроны в папильотках и шлепанцах спорили с торговками рыбой, рассматривали с видом Гамлета, нашедшего череп Иорика, каждый листик салата в ящике зеленщика. Старьевщики, которых легко было узнать по нахлобученным на голову двум-трем драным шляпам, издавали свои гортанные призывы: «Старье берем!» Склейщики стекла и фарфора

звенели в маленькие колокольчики; точильщики, стоя у водосточной канавы, гнулись возле своего мечущего искры станка с круглыми точильными камнями. Среди толпы шастали бездомные собаки. Время от времени по улице проходил стекольник, тащивший на спине ящик с оконным стеклом, с надеждой оглядывая фасады — нету ли где разбитого окна? — и тянул свое обычное: «Сте-е-екло! Сте-е-е-е-е-екло!»

Анри все эти уличные сценки напоминали ожившие гравюры Рембрандта, и он уже было собирался поделиться с Рене этой мыслью, когда тот озадачил его своими соображениями:

— Что ни говори, а интересное дельце этот обойный промысел. Можно кучу денег зашибить. И притом дело творческое: создавать эскизы, переводить на камень, придумывать, чтобы были красивыми, привлекали внимание.

— А по-моему,— фыркнул Анри, дожевывая свой круасан <sup>1</sup>,— самое обыкновенное ремесло.

— Ремесло? Нет, черт меня побери, это искусство! — Гренье склонился над столом и, понизив голос, принялся исповедоваться: — Помнишь ту молоденькую девицу, с которой я встречался на Рождество? Ее зовут Лили. Скромная девушка, не чета этим монмартрским, готовым переспать с кем угодно. В строгости воспитана. Так вот, она безумно влюблена в меня, а ее папаша — хозяин обойной фабрики. Поводил он меня по своему заведению, показал производство и сообщил, что я с моей художественной подготовкой для него просто находка.

Анри не отрываясь смотрел на друга поверх своей чашки. Сентиментальный добряк Рене Гренье! А ведь тоже понимал, что жизнь — не сплошные гулянки да танцульки...

— Что ж, думаю, ты абсолютно прав,— согласился он, когда приятель закончил свое повествование.— Говорят, женитьба — прекрасная вещь...

\* \* \*

Теперь Анри часто виделся с Винсентом. Он даже нарисовал его сидящим за стаканом абсента <sup>2</sup>. Молодой француз внимательно прислушивался к самобичеваниям голландца, к его политическим обличениям, возбужденным излияниям, к его рассуждениям, подогреваемым мистицизмом, алкоголем, болезнью и пробуждающейся гениальностью. Анри привык к его смирению и патетическим заявлениям, нерешительной улыбке, истерическому смеху, вулканически-взрывному энтузиазму, к периодам тягостного молчания...

В «Элизе» он наблюдал, как бывший проповедник топчется на танцплощадке в обнимку с местными гризетками, порой даже неуклюже флиртует с юными прачками, хохочущими над его голландским акцентом, неловкостью, рыжими бакенбардами. В «Нуvely» Лотрек видел Винсента, жадно пившего абсент, размахивающего своей короткой трубкой и излагающего туманные проекты организации колонии художников.

<sup>1</sup> Croissant — рогалик (франц.).

<sup>2</sup> В настоящее время эта работа Лотрека находится в Амстердамском музее.



— Она должна быть вроде фаланги Фурье. Объединим все наши ресурсы. За сколько бы ни продал один из нас картину, он должен передать все деньги в общую кассу.

Оставаясь вдвоем, они непрерывно спорили. Как ни странно, их близость и взаимопонимание зижделись на несогласии друг с другом. Разница в темпераментах и воспитании вызывала бешеные столкновения, после которых они расходились охрипшими, со сверкающими от гнева глазами, но еще большими друзьями, чем прежде.

— Твоя колония художников — безумие! — презрительно фыркнул Анри. — Ты что, совсем свихнулся?! Разве ты не знаешь, что художники не могут жить вместе? Запри двух в одной комнате, так они через неделю глотки друг другу перережут шпателями.

Однажды Винсент ворвался к нему в студию и громогласно объявил, что он наконец прозрел — надо быть пуантилистом!

— О Боже, и ты станешь писать цветными точками? — Анри слез с лесенки перед своим Икаром и рассмеялся. — На прошлой неделе божился, что решил примкнуть к импрессионистам. Забыл? «Буду писать, как Ренуар и Моне!»

— На этот раз все по-другому! — Глаза Ван Гога горели от восторга. — Вчера во время обеда я познакомился с Сера. И он за десертом изложил мне свою теорию. Уверяю тебя — это решение всех проблем живописи! И такое простое! Все, что должен делать художник, так это изучать оптику, законы рефракции света, принцип доминанты, длительность воздействия светового луча на сетчатку...

— И корпеть целый год над одним полотном, как Сера? Ты можешь представить себя, весь год тычащего кисточкой в одно и то же полотно? Особенно при твоей усидчивости!

Они спорили даже о политике.

— Не могу понять, как такой отвлеченно мыслящий идеалист, как ты, может быть столь объективен в своих рисунках, — бросал ему Анри в пылу спора. — По своему образу мыслей тебе следовало бы малевать сладенькие лубочные картинки, как твой герой Милле. Слава Богу, что это не так. Твои едоки картофеля — подлинны. Видно, что у них скверные зубы, что они редко моются, что от них несет потом и что эти люди глубоко несчастны.

— Крестьяне всегда несчастны. В прежние времена, когда король и феодалы крали их урожай, им было еще хуже.

— Где ты вычитал эту ерунду?

— Это правда.

— Нет, неправда!

— Нет, правда!

— Да нет же, клянусь Богом! Сходи в Лувр, посмотри на Брейгеля, Гальса, Теньера и скажи мне, выглядят ли их крестьяне голодными. Взгляни на их брюха, на жирные задницы! И чем занимаются эти несчастные, голодающие бедняки? Танцуют под кронами деревьев, обедают и то и дело откупоривают бочки с вином и сидром. А их женушки? Упитанные, как индюшки, груди из корсетов вываливаются.

— Так зачем они устраивали революции?

— Не они их начинали. И боролись с революционерами что было сил. Это ваши проклятые республиканцы довели сельских жителей до голода, изобретя рекрутчину. Короли никогда не осмеливались отрывать мужика от земли... Но о чем мы спорим? Пойдем-ка лучше в «Нувель», перекинемся в картишки. Чувствую, что сегодня вечером мне повезет.

Вскоре после приезда в Париж Винсентом вновь овладело его постоянное беспокойство, какая-то хроническая неутомимость. Он не мог вынести заведенных в мастерской Кормона порядков, монотонной учебы. Вместо того чтобы идти на занятия, он частенько устанавливал свой мольберт на какой-нибудь невзрачной монмартрской улочке или просто оставался дома, у брата Тео, где жил, писал натюрморты — забрызганные грязью башмаки. А то иллюстрировал романы в мягких обложках. Иногда, никого не предупредив, пропадал на два-три дня, чтобы возвратиться вымокшим до нитки, в изжеванной одежде, с колтунами в нечесаной рыжей бороде.

— Ходил посмотреть на деревья,— беспечно сообщал он.— Не могу дышать в городе. Где спал? Ох, Анри, странный ты парень. Ну не помню где. В какой-то лачуге на берегу Сены. Дождь? Ну и что? Это просто смешно. Разве тебе не известно, что мы, голландцы, плевать хотели на дождь? Ты глянь, Анри, глянь, что мне удалось сделать за эти дни.— И Винсент со смущенным видом устанавливал у стены холст — что-нибудь, что удалось накропать за пару часов: мешанина из Писсарро, Делакура, Сера, но при этом ярко индивидуальная, с нарушением всех и всяческих правил и канонов, но всегда великолепная.

Или неожиданно врвался в студию, запыхавшись от бега по крутой лестнице, с папкой под мышкой, на голове меховой треух, придававший ему вид какого-то эксцентричного охотника.

— Анри! Ты обязан научить меня анатомии! Я непременно должен знать анатомию, чтобы стать настоящим художником. А как тебе нравится мой головной убор? Колоссально, не правда ли? Очень практично. Зимой можно опустить уши, и будет тепло.

Он прикладывался к фляжке, висевшей у него на шее, делал большой глоток рома и удовлетворенно вздыхал.

И Анри начинал урок анатомии, раскрыв анатомический атлас. Правда, вскоре Ван Гог запускал кочергой в стену.

— Бесполезно. Никогда не выучу все эти дурацкие латинские названия костей и мышц. Слишком туп и стар. Пойдем-ка лучше к нам, перекусим чего-нибудь.

И они отправлялись в маленькую квартирку братьев Ван Гогов на улице Лаваль, где Анри знакомился с голландской кухней: жареной треской с большим количеством лука или другими деликатесами, а также с художниками из группы Независимых — многочисленными и очень болтливыми, чьи работы Тео старался выставлять в своей галерее наряду с гравюрами Месонье и пасторалями барбизонцев. Независимые бросали тщетный вызов неблагодарному миру, размахивали обтрепанными рукавами и объявляли себя жертвами тайных и подлых заговоров.

Так шла последняя студенческая зима Анри. Но все это было лишь внешним проявлением его жизни. Как и большинство внешних проявлений, оно было обманчиво — Лотрек вел как бы двойную жизнь. Внутри хранилась тайна: что предпринять, чтобы найти женщину?

Утром, в мастерской, все казалось так просто, но при более детальном размышлении оказывалось чрезвычайно сложным. Во-первых, где ее искать? В «Элизе»? Там его друзья знакомились с большинством своих подружек. Выуживали каких-то белошвеек с глазками-пуговицами, молоденьких прачек, жаждущих приключений и романов. Угощали их пуншем, танцевали с ними, нашепывали о том, как прекрасны ночи любви, которые они могли бы проводить вместе. Рано или поздно, а зачастую в первую же ночь просто приводили их к себе на квартиру, и потом неделю-другую продолжались их скоротечные интрижки. Но для этого надо было уметь крутиться на танцплощадке, а это для него исключалось.

Улица? Да, иногда и прямо на улице возникали прекрасные возможности.

— Все они хотят этого,— утверждал Рашу, признанный мастер по части внезапных атак.— Если будешь достаточно часто пытаться, в конце концов выиграешь. Это как дважды два.

Анри Рашу одержал несколько впечатляющих побед на небольшом пространстве — между Пляс Пигаль и Пляс Клиши. Но для этого сначала надо догнать приглянувшуюся тебе девицу. А как сделать это, едва волоча ноги? Когда через каждые несколько шагов вынужден останавливаться для отдыха? Ну, предположим, догнал. И что ей скажешь? Что можно сказать девушке, глядящей на тебя, пыхтящего, опирающегося на трость, сверху вниз? Так что улица для него тоже исключалась.

Что же остается? Бордель? Публичный дом, куда они наведались в тот день, когда Бонна распустил своих учеников? Узкие ступени, покрытые потертой ковровой дорожкой, вели в салон. Олеография Клеопатры на стене, обитые красным плюшем банкетки и диваны, запах дешевых духов и пота. Девуцы в прозрачных сорочках на голое тело или укутанные в пестрые шали с кистями. Их холодные руки, накрашенные губы, словно раны на бледных лицах. От одной только мысли о поцелуе этих губ начинает тошнить, не говоря уже о том, чтобы заниматься с этими девушками любовью. Воняло от них, как от уличных писсуаров. Нет! Все, что угодно, только не бордель! Все, что угодно...

Что же тогда? Можешь продолжать мечтания о Жюли, раздевать в своем воображении красивых женщин, тебя снова и снова будет кидать то в жар, то в холод, если пройдет мимо смазливая белошвейка, будешь метаться в своей постели, стонать во сне и просыпаться изможденным, раздражительным, готовым ввязаться в любую драку, лишь бы разрядить нервное напряжение.

Он сдерживался, как мог. Трудился над какой-нибудь проклятой Венерой или спящей музой в мастерской, гнал от себя навязчивые мысли о женщине, когда Кормон разглагольствовал о красоте и изобразительной утонченности. Работал над своим Икаром, пил пиво в «Нувель» и пунш в «Элизе». Таким образом он ухитрялся день за днем скрывать свою тайну, как некую позорную болезнь. И поскольку ни с кем не мог поделиться, выговориться — молчал и молчал. Возможно, эта постоянная новая боль, этот пульсирующий голод всего тела в конце концов пройдет. Возможно, все как-нибудь само собой образуется.

В марте Люка объявил друзьям, что его тяга к Жюли иссякла, что он устал от нее. Она — милая девчонка, и все прочее. Вначале, когда она говорила «Нет!» и даже дала пощечину, с ней было интересно. Она заставила добиваться себя. Люка получил большое удовлетворение от борьбы. Но теперь борьба окончена, и Жюли должна понять, что им пора сказать друг другу «Прощай». Безусловно, можно затратить уйму сил, чтобы достичь Северного полюса, но это не значит, что надо просидеть там всю жизнь. Не правда ли?..

Воодушевленный сочувствием друзей, Люка с праведным гневом описал, как Жюли сначала не хотела продолжать с ним игру, как потом была безрассудна и изводила его своими объяснениями в любви, неукротимой страстностью, упреками.

— Вы бы не поверили, что каких-нибудь три месяца назад эта девица была невинной овечкой, увидев, как она теперь срывает с себя платье, как всегда готова нырнуть в постель.

Рашу прокомментировал сетования приятеля следующим образом:

— Как только в девушке возбуждено женское начало — ее железы внутренней секреции, она превращается в мартовскую кошку или тигрицу. Понять невозможно, каким образом эти субтильные, с виду просто какие-то бестелесные блондинки вдруг удивляют вас своей страстностью, тогда как брюнетки с глазами Клеопатры оказываются вялыми и флегматичными, когда вы возитесь с ними среди простыней.

Как ни странно, но известие о том, что девушка лишилась расположения своего любовника, и рассказ о ее чувственности сделали ее для Анри еще желаннее. Он даже задумался о реальности возможной связи. До сего времени эта модисточка была лишь сладостной и недостижимой мечтой, теперь же она сделалась женщиной из плоти и крови, безрассудной и жаждущей любви, как и он сам.

В его голове теснились тысячи абсурдных и волнующих замыслов. Он старался гнать их прочь, смеялся над собой, над беспочвенностью своих фантазий. Но как можно отказаться от них, если видишь, слышишь ее? Розовые мочки ушей Жюли, ее чуткие нежные ноздри, звук ее голоса... Он почти ощущал упругость ее груди под своими ладонями, влагу ее слез, запах волос. Она превратилась в объемную галлюцинацию, более реальную, чем его друзья, чем мадам Любе или мэтр Кормон. Странно, что такая эфемерная субстанция, как мечта, могла причинять чисто физическую боль, подобную уколу иглы. Но тем не менее это было именно так, было столь же реальным, как некогда его приступы. Пламенем охватывала его горячая черная ярость. Хотелось кричать, бить кулаками о стену, довести себя до изнеможения, чтобы как-то погасить, изгнать из тела нервное напряжение. Но он едва мог передвигаться, поэтому оставался на месте, на своем маленьком стульчике у мольберта, отложив палитру, сбросив пенсне, закрыв руками глаза, и видел перед собой Жюли — обнаженную и язвительную, свернувшуюся маленькой оливковой змейкой в его ладони.

Иногда он внушал себе, что если ему удастся заглушить свои желания, утопить их в бездне мыслей, то, может быть, он найдет успокоение, освободится от наваждения, от этой любовной горячки или как там еще называется то, что сводило его с ума.

А ведь он действительно был на грани безумия. В воображении срывал с девушки одежды, бросал на постель и кидался на нее, как кидается умирающий от жажды к найденной грязной луже. Впивался в ее губы, горячечными руками мял ее грудь, дико и грубо насиловал, пока она не теряла сознания и не становилась вялым, инертным куском плоти, распластанным на мятых простынях.

Иногда это помогало, но чаще — нет. И в один прекрасный день, когда он больше не мог выдержать, Анри отправился на Пляс Клиши, которая, хотя и была частью Монмартра, совсем не соответствовала его атмосфере: художники редко бывали здесь. Клиши — оживленный торговый район, на каждом шагу кафе и магазинчики, на самой площади — «Брассери Монслей», большой ресторан, названный по имени генерала Монслея, чья огромная статуя украшала Пляс Клиши, возвышаясь в ее центре, как гигантская шахматная фигура.

Войдя в это заведение, Анри понял, что попал именно туда, куда стремился. Шумный, сверкающий огнями зал, где обслуживали случайных посетителей. Ни одного знакомого лица. И всюду — женщины! Которая из них? Блондинка в зеленой пелерине или та пухленькая брюнетка, задыхающаяся в своем тесном корсете? Неважно, совершенно все равно!..

Он заказал бенедиктин и, получив ликер, начал поигрывать тонким хрустальным бокалом, наблюдая за маневрами здешних дам. Процедура знакомства, кажется, подчинялась определенному ритуалу. Вошедший мужчина занимал свободный столик, заказывал выпивку. Вскоре к нему подходила одна из гризеток и осведомлялась, который час. Если клиент отвечал небрежно, а то и указывал на большие часы, висевшие на стене ресторана, беседа не завязывалась и девушка тут же ретировалась. Но если он вытаскивал свои часы, прикладывал их к уху и любезно сообщал, что без четверти десять, она присаживалась на свободный стул возле мужчины, и начинался оживленный разговор. Девушка, скажем, пускалась жаловаться на неверный ход собственных часов, они, мол, так ненадежны, что, доверившись им, она опоздала на поезд или на какую-то очень важную встречу. Эта болтовня создавала доверительность и позволяла перспективному клиенту оценить женские чары, принюхаться к дурманящему запаху духов возможной партнерши, почувствовать ее горячее бедро, невзначай прижавшееся к его бедру.

В этот момент происходило одно из двух: мужчина вдруг заявлял, что ждет жену или приятеля и поэтому просит мадемуазель оставить его в покое. Во втором случае — предлагал ей что-нибудь выпить. Тогда предварительная часть считалась оконченной и начинались конкретные переговоры.

Девушка придвигалась вплотную, как бы невзначай вонзала коготки в те части его тела, которые, как она знала по опыту, являются наиболее эrogenными, шептала, как она опытна в любви, уверяла, что строго следует правилу давать полное удовлетворение партнеру, а уж с таким привлекательным и мужественным она просто не сможет владеть собой и удержаться от самых безрассудных глупостей. В качестве заключительного соблазна она обычно упоминала о том, что рядом есть отель с чистыми и уютными номерами, кроватями с пружинными матрацами, и о том, что там умеют хранить тайну и обеспечивать полную надежность...

Затем происходило быстрое обсуждение финансовых условий. Всем известно, что существует и всегда была определенная цена — двадцать франков. За меньшую сумму она никогда даже не взглянет на мужчину. Но для него — потому что он так красив, его глаза просто сводят ее с ума — она согласна и на пятнадцать. При этом заявлении потенциальный клиент саркастически фыркал и спрашивал, за кого она его принимает. За провинциала? За американского туриста? Его последнее слово — пять франков. За эти деньги он может иметь любую женщину. Конечно, может, соглашалась она, но какую? У нее же — цветущее здоровье. Да-да, она здорова и внешне и изнутри. Однако она так влюбилась в него и страстно хочет поиграть с ним, что готова и за десятку. Только пусть никогда об этом никому не рассказывает, а то ее репутация погибнет навеки.

Во время этих торгов ее рука выдвигала собственные аргументы, и мужчина начинал сдаваться. Хорошо, согласен на восемь. Девушка укоризненно покачивала головой. Он скуп, как все красивые мужики, но ей очень хочется исполнить свой каприз. Пускай будет по-его: восемь и два на чай. Сделка слаживалась. Они допивали свои бокалы, поднимались и в обнимку покидали зал.

Минут через двадцать девица возвращалась одна, свеженапудренная и накрашенная.

Анри был так захвачен этим представлением, повторявшимся неоднократно и с разными участниками, что вдруг обнаружил, что проторчал здесь уже целый час, но ни одна из девушек не подошла к нему, не справилась, который час. Им овладело удивление, смешанное с гневом. В чем дело? Разве они не видят, что он один? Может быть, считают, что слишком молод и у него нет денег?

Его блуждающий взгляд остановился на шатенке, с рассеянным видом сосущей сигарету, которая сидела упершись руками о столик и подперев голову. Большие лучистые глаза, большой рот, напомаженные волосы, уложенные в высокую прическу, увенчанную шляпкой с цветами на тулье. Он смотрел на нее так пристально, что она наконец повернула голову в его сторону. Анри покраснел, призывно и робко улыбнулся ей. Она не ответила на улыбку, только принялась разглядывать его сквозь дым сигареты. Он почувствовал, как ее взгляд, словно луч, побежал по его лицу, остановился на короткой трости, на мгновение задел ноги, на несколько дюймов не доходившие до пола. Затем с безразличной медлительностью она выдохнула очередную порцию табачного дыма и отвернулась.

Он остолбенел. У него перехватило дыхание. И он вновь уставился на нее, все еще не веря в свое поражение и не замечая, как дрожит в пальцах хрустальный бокал. Отказала? Десятифранковая шлюха отказала ему?! Не желала, чтобы все увидели, как она выходит с ковыляющим, задыхающимся калекой?..

Наконец дыхание возвратилось. Он судорожно набрал воздух в легкие. Сердце бешено колотилось, а мозг сверлила одна лишь мысль: никто из этих проституток не хочет идти с ним! Поэтому ни одна и не подошла. Может быть, ни одна из девушек так никогда и не захочет его? Может, все и всегда будут отворачиваться? Он схватил трость, сполз со стула и, оставив нетронутым бенедиктин, выбрался из ресторана.



В течение последующих дней Анри пытался укрыться от правды. Рефлекс самосохранения подсказывал ему различные объяснения происшедшего, чтобы он смог обмануть себя и обрести хоть краткий душевный покой. Нет, никто от него не отказывался! И та не отказала. Видно же было, что она кого-то ожидает, погружена в свои мысли... А другие? Кто-то из них был сильно занят, а другие не заметили его. Слишком много людей вокруг, слишком много шума...

Он притворился, что верит этому самообману, постарался вытеснить проклятый эпизод в ресторане из памяти. И вообще забыть о женщинах. В какой-то степени ему это удалось. Анри со всей страстью отдался работе. Его Венеры и Леды, создаваемые в мастерской, превратились в эталон скрупулезного «слизывания», и Кормон был тронут его энтузиазмом.

— Очень хорошо, Лотрек, очень хорошо! Может быть, у вас нет художественской утонченности или природного таланта, но вы доказали, что все это можно компенсировать упорным трудом.

У себя в студии Анри упорно продолжал рисовать Икара, беседуя между делом с мадам Любе, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями и не дать им возвратиться на опасную тропу. В «Нувель» он удивлял друзей необыкновенной болтливостью, пытался развеять их озабоченность, щедро угощая пивом, провоцируя дискуссии об искусстве. Когда же беседы сворачивали на обсуждение женщин, он изо всех сил старался не слушать. Самыми трудными были ночи, когда он оставался беззащитным перед мучительными снами. Он привык читать в постели, пока не погружался в тяжелую дрему и книга не выпадала из рук, а лампа так и горела всю ночь на прикроватном столике.

Пришла весна. Как-то утром его разбудил щебет ласточек. Анри вылез из постели, дотянулся до своей трости, потащился к окну и долго стоял там, босиком, в длинной ночной рубашке, похожий на смешного бородатого ангела. С улыбкой наблюдал за игрой ласточек, как пронизывают они еще голые ветви каштанов, скользят вверх и вниз по воображаемым горкам, ввинчиваются в небо, словно крылатые пули, наполняя двор резким щебетом. Какое чудесное утро!

— Отличный денек для пикника! — Он вслух прошептал эти слова, и, прежде чем успел проконтролировать себя, воображение нарисовало перед ним четкий и нежный мираж. Берег реки, возможно Сены или Марны... А может, какой-нибудь маленькой речушки. На траве распростерта Жюли, притворившаяся спящей. Сквозь листву пробивается послеполуденное солнце, оставляя на лице девушки трогательные маленькие веснушки, которые он, склонившись над ней, пытается поцеловать... Невинная игра превращается в поцелуи, затем объятия, затем... Ее светлые волосы рассыпались по земле, как пучок солнечных лучей. Руки в муке наслаждения протянуты к нему. Экстаз... Потом Жюли садится, поспешно оправляет юбку, застегивает блузку, вынимает травинки из волос, притворяясь, что стыдится своего недавнего порыва. А он, улыбаясь, валит вину за происшедшее на весну, объясняя, что пикники на то и придуманы, а не только для того, чтобы жевать бутерброды с муравьями!



Усилием воли он прогнал прочь мучительные видения, оторвался от окна и заковылял к умывальнику.

— Просыпайся, Гренье! Пора вставать.

В тот день он писал в мастерской «Андромеду на скале» — тему этой недели. Кормон поведал студентам бородатую легенду про мифическую царскую дочь, принесенную родителями в жертву похоти страшного морского дракона, опустошавшего земли их царства.

— Вообразите, если сможете, ужас этой прелестной девушки, оставленной ночью у волн бурного моря, нагой, беззащитной, прикованной к прибрежной скале, в тот час, когда она видит приближение чудовища. Именно это — выражение ее лица, ее позу — момент драматической красоты — вы и должны передать зрителю. Для этого поднимите ее брови, закатите глаза, раздвиньте губы в беззвучном крике. Но не забудьте, что даже в такой ситуации Андромеда должна оставаться прекрасной, привлекательной, артистически соблазнительной...

Анри со вздохом взглянул на Большую Мари, стоящую на подиуме. Как можно нарисовать ее привлекательной и «артистически соблазнительной»? Стоит только взглянуть на ее утомленное, грубое лицо, пучки жестких черных волос под мышками, мясистые ляжки! Ну да ладно. Еще несколько недель, и не останется больше никаких Андромед и «слизываний».

После обеда у себя в студии он завершил Икара. Увлажнившимися глазами наблюдала мадам Любе, как он ставит свою подпись в правом углу большого полотна.

— Он великолепен, ваш герой, месье Тулуз! Прямо как фотография!

Ей будет жаль расставаться с Анри. Она была очень довольна им. Всегда такой вежливый, деликатный. И вот все кончается. Следующей зимой его здесь не будет. Снимет студию в каком-нибудь приличном районе, не на этом отвратительном Монмартре, полном подонков и бездельников. И ей станет совсем одиноко в этом большом доме, не услышит она больше его тяжелых, шаркающих шагов, когда он бредет к лестнице мимо привратничкой, потеряет возможность приглядывать за ним, поить его своими настойками на травах...

— Ваш Икар выглядит так, словно собирается взлететь с полотна,— произнесла она, смахивая слезы.

Он положил палитру и кисти на столик, с улыбкой обернулся к женщине.

— Я рад, что вам нравится, мадам Любе. И скажу вам, что сделаю после выставки в Салоне: оставлю ее вам, чтобы вы могли повесить картину у себя в комнате. Да-да! И не смейте отказываться!

Он увидел, что она вновь готова расплакаться, и взял ее руку в свои.

— Это вам будет маленькая память и моя благодарность за все, что вы для меня сделали, за те счастливые часы, что мы провели здесь вместе. Нам было хорошо этой зимой, не правда ли, мадам?

Он подумал: а что, если предложить ей следующей зимой переехать к нему, стать его экономкой? Пожалуй, пока еще рановато. Сначала пусть картину примут в Салон.

— Мне надо срочно сходить к Тандиу,— закончил он разговор.— Заказать раму. Думаете, следует надеть пальто? На улице уже очень тепло.

Она тут же вернулась к реальности.



*Прачка. 1889*

— Конечно, следует! Разве месье Тулуз-Лотреку не известно, что нельзя доверять парижской погоде? Кажется, совсем тепло, а в следующий момент вы коченеете от холода.

Ее заботливые слова еще звучали у него в ушах, когда он вышел из подъезда и отправился вниз по улице Коленкур. Солнце теплое, небо бледно-голубое и безоблачное. Ноги не болят; Икар завершен! Все — слава Богу. Он чувствовал себя свободным, счастливым, переполненным негражданской нежностью. Добрый старый Монмартр! Добрая старая улица Коленкур! Ему будет жаль покидать их, здешние покосившиеся, обшарпанные домишки, разбитые булыжные мостовые, приветливых аборигенов. Даже о здешних запахах он будет тосковать. Это специфическая вонь — смесь разнообразных ароматов, одинаково скверных: подгоревшего масла, гниющих отходов, плесени — влажного запаха нищеты, подлинной, не романтической, старой, как мир, нищеты.

Время от времени он останавливался, чтобы дать передохнуть ногам, затем возобновлял движение, отвечая взмахами руки прачкам, выглядывающим из окон, чтобы приветствовать его, плетущегося мимо. Он не был с ними знаком, но всегда приподнимал котелок в ответ на их улыбки, и его галантность умиляла этих женщин. «Настоящий месье,— вздыхали они, возвращаясь к своим корытам,— хоть и карлик».

Надомная стирка была единственной индустрией Монмартра, терпимой лишь потому, что она давала пропитание женщинам слишком старым, слишком безобразным или еще очень юным, чтобы они могли зарабатывать на жизнь более легким и приятным способом. Все женщины Монмартра рождались для этого потомственного занятия, иные так никогда и не расставались с ним до самой смерти. Начинали семилетней девчушкой с косичками, разносящей белье заказчикам. К четырнадцати матери ставили их к корытам — десять часов в день, два франка. Терли, скребли, выпаривали, полоскали, отжимали, развешивали сушить, гладили... Терпеливо страдали от разъедающей руки щелочи, час за часом вдыхали миазмы и влажный пар, стоя по щиколотку в мыльной жиже... Но однажды девчонка сбегала из дома, дав себе клятву никогда не возвращаться обратно. Проституция была в их глазах замечательным делом, куда более заманчивым и легким, чем вечное стояние над корытом. Но приходил день, когда женщину не брали больше даже в самый дешевый бордель. Что же теперь? Как заработать на хлеб насущный? Значит, опять к корыту, опять душастый пар, щелочь, ноющая спина, валик <sup>1</sup>... И так, пока не приходила костьявая с косой.

На углу бульвара Клиши Анри взял свободный фиакр.

— На улицу Клозель,— бросил он кучеру.

Папаша Тандиу пыхтел трубкой, загораю на ступеньках перед своим магазинчиком, когда возле его дверей, выкрашенных голубой краской, остановился наемный экипаж. Увидев Анри, хозяин встал, приветственно вскинул руки и осведомился о его драгоценном здоровье.

— Раму? Раму для вашей картины, предназначенной для Салона? — нахмурился он, когда Анри объяснил ему цель своего визита.— Раму я,

<sup>1</sup> Одна из известнейших работ Лотрека — портрет молодой прачки, печально глядящей из окна.

конечно, сделаю, но сначала позвольте изложить вам свою позицию. Для меня это вопрос принципиальный. А когда дело доходит до принципов, я стою как скала и не отступлю ни на сантиметр. Являясь анархистом, должен заявить вам, месье Лотрек, что не одобряю Салона, как и всех других проявлений буржуазного искусства. По моему мнению, всех этих прогнивших академистов надо расстреливать!

С этими словами он нырнул под прилавок и, покопавшись там, появился с четырьмя обрезками пыльного багета разной формы.

— Вот. Выбирайте.

Анри указал на один из образцов, и Тандиу на клочке бумажки записал нужные размеры. Затем драматическим жестом поднес к губам палец, на цыпочках подошел к стоящей в уголке папке и вытащил из нее японскую гравюру.

— Это же необыкновенно! — жарко зашептал он, держа лист словно священный предмет, словно плащаницу — Утамаро, месье, триада самого Утамаро!

На гравюре были изображены три гейши на морском берегу. Одна из них расчесывала волосы, другая, став на колени, искала в песке ракушки, а третья невидящим взглядом смотрела на мерцающие волны. Действительно, перед ним было исключительное произведение — эталон изящества, тонкости линий и какой-то почти звучащей пластичности.

— Прекрасная вещь, — согласился Лотрек, усаживаясь и принимая лист из рук хозяина, чтобы получше рассмотреть гравюру. — Сколько вы за это хотите?

Тандиу обиделся.

— Это не продается! Просто мне захотелось показать вам гравюру. Я так люблю этих девушек, будто они мои собственные дочери.

— Но они же не ваши дочери, Тандиу. Они умерли лет сто назад. Ну будьте же благоразумны и назначьте цену.

— Я же сказал вам, что люблю этих девушек как отец. Вам бы не хотелось, чтобы я продавал родных дочерей?

— Но месье Тандиу! У вас же нет никаких дочерей!

— Тем не менее я не могу продать этих. — Тандиу трагически прижал руки к груди. — Просите у меня все, что угодно, только не это...

За портьерой, ведущей во внутреннее помещение, послышался усталый женский голос:

— Двенадцать франков. А если вам угодно получить в рамке — четырнадцать.

Тандиу развернулся на каблуках и яростно глянул на жену, которая появилась из-за портьеры с кипой гравюр в руках.

— Дорогая! Как ты можешь?! Утамаро, триада Утамаро!

Не слушая горестных возгласов супруга, мадам Тандиу встала за прилавок и принялась спокойно заворачивать в старую газету свернутые в трубку листы.

— Не обращайтесь на него внимания, месье Тулуз! Он никогда не хочет ничего продавать. На той неделе пришел какой-то клиент купить Сезанна, кстати, это был первый человек, пожелавший его купить, так папаша Тандиу запросил с него десять тысяч! Слава Богу, я была дома и отдала за

двадцать пять франков. Вообразите: двадцать пять франков за три каких-то маленьких яблочка!

— Женщины не знают цену искусству! — крикнул хозяин, всплеснув короткими ручками. — Для них важны только деньги, деньги, деньги!

Некоторое время супруги спорили с неистовостью людей, уверенных в своей взаимной любви. Наконец поцеловались и пришли к соглашению.

— Теперь ступай и снеси эти рисунки месье Дега, — сказала жена, вручая старику запакованный рулон. — И не торчи там целый день на кухне с этой Зоей, рассказывая ей, как она прекрасно готовит и как ты жалеешь, что в свое время не женился на ней.

Тандиу нахлобучил свое канотье и проводил Анри к ожидавшему его фиакру.

— Между нами, женщины — низшие существа, — сказал Тандиу, когда жена уже не могла его слышать. — Они не ценят прекрасного.

Анри простился с ним и приказал кучеру:

— К «Нувель». И побыстрее. — Он откинулся на заднем сиденье и глянул вверх. Над тентом фиакра розовело небо — час заката, такой незаметный в городе и столь прекрасный и торжественный в сельской местности.

Ему вспомнились закаты в Альби, перед глазами распахнулась лужайка у стен замка, испещренная тенями от ветвей вековых платанов, Дан, спящий под чайным столом, мама, склонившаяся над вязаньем, и он сам у ее ног с альбомом и карандашами в руках. «Пожалуйста, не шевелись, я хочу написать твой портрет!» Каким далеким показалось ему все это!

В «Нувель», конечно, сидели друзья и беседовали о Салоне, хотя за пивом они обычно болтали о женщинах и других пустяках. Но теперь их головы были забиты мыслями о близком будущем.

— Я посылаю «Раннего христианина», — сказал Рашу. — Религиозный сюжет — верняк.

— Если бы мне было дано начать сначала, я стал бы фармацевтом, — вздохнул Гоzi. — Каждый раз, как кто-нибудь заболевает, ты становишься богаче.

— Уж лучше дантистом, — раздумчиво протянул Луи Анкетен, окутывая себя облаком табачного дыма. — Каждый рот — золотая жила.

Они принялись искать виновного в своих бедах и с нетерпимостью, свойственной юности, обрушили свое недовольство на Кормона, который обучал их «невыгодной» профессии.

— Этот сукин сын обязан был предупредить нас, что кистью заработать на жизнь невозможно, — заметил Рене Гренье, выбивая о край стола пепел из трубки. — Вместо того чтобы трепаться обо всех этих проклятых Венерах и Андромедах!

— Андромеда, — подражая голосу мэтра, проговорил Гоzi, — ах, друзья, какой драматический сюжет! Представьте себе ужас бедной царевны, когда она видит морское чудовище, направляющееся к ней!

— А когда этот дракон изнасилуется, позвольте выразить соболезнование, что это произошло! — ухмыляясь, подхватил Рашу.

Обедать перебрались к Агостине. От нее отправились в «Элизе». Для Анри этот вечер проходил так же, как и бесчисленное множество других.

Он пил свой пунш, наблюдал за друзьями, скачущими на танцплощадке, помахивал рукой, встречаясь с их взглядами, и, как обычно, набрасывал в блокнотике позы, па, пируэты танцоров.

В половине одиннадцатого какая-то девица провальсировала мимо их столика в объятиях неуклюжего малого в вязаной кофте. В зале было темновато, и Лотрек с трудом разглядел лицо девушки, но понял, что она совсем молоденькая и что до потери сознания влюблена в своего глупого, фатоватого кавалера.

И тут с таким трудом воздеигнутое им здание душевного равновесия и покоя вдруг рухнуло. Всколыхнулись прежние мечты, всем существом своим он восстал против несправедливостей судьбы. Чем он виноват, что не может прыгать по площадке, как его товарищи? Почему не суждено ему обнимать девушку, почему не может он быть любимым, он, который так отчаянно мечтает о любви? Какое преступление он совершил? За что так наказан? Почему? Почему?! Ладони вспотели, зубы стиснуты в бессильной ярости, все тело охватила судорога невыносимого желания и гнева. Он должен иметь девушку! Любую девушку. Сейчас же! Сейчас и тут...

Не дожидаясь окончания танцев, он заторопился к выходу, остановил фиакр.

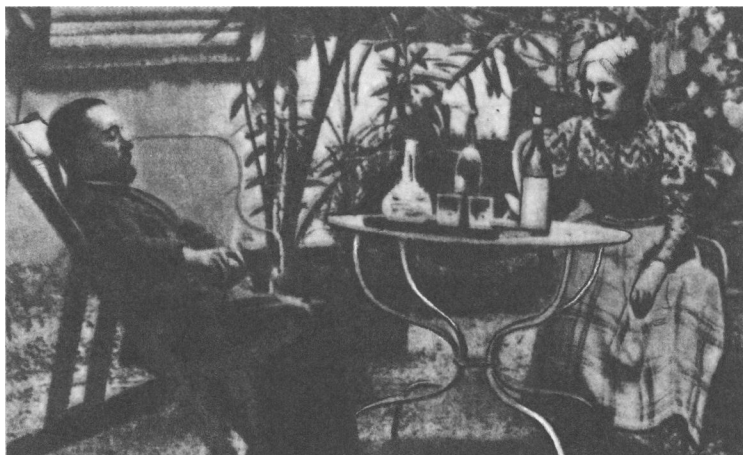
— В ресторан «Монслей»!

Почему в «Монслей»? Объяснить себе этого он не мог. Это было первое, что пришло в голову.

Ресторан был таким же, как и в первый его визит сюда: яркие огни, официанты, снующие по залу, в то время как некоторые из них, с салфеткой на согнутой руке, с мрачным видом пастухов наблюдали за столиками. Гризетки подходили к посетителям, спрашивали, который час. Все как в первое посещение.

Анри заказал бокал абсента, бросил туда кусок сахара, добавил сельтерской и залпом выпил. Да, он желает взять одну из этих девиц. Любую. На этот раз надо быть смелым, надо ясно показать свои намерения.

— Еще один абсент,— кинул он проходившему мимо официанту.



*Лотрек  
со своей матерью  
в Мальроме*

Теперь банкетка под ним мерно покачивалась, зашаталась и мраморная крышка столика, ставшая какой-то ненадежной опорой для рук. Лица наполнявших зал людей расплывались, дрожали, газовые светильники превратились в неясные шары — комки желтой шерсти. Но чувствовал он себя необыкновенно легким и свободным. Калека? Кто здесь калека? Захочет — перепрыгнет через стол! Взлетит, как Икар! А как он силен: попробует сейчас кто-нибудь что-то не так ему сказать! Ого! Он ему покажет! Он просто слегка толкнет его — и basta!

Миловидная гризетка присела за соседний столик. Ярко накрашенный рот, развращенное кукольное личико. Скрестила ноги, закурила, достала из большого черного ридикюля письмо. Он следил, как она читала его, шевеля губами, складывая про себя каждое слово. Табачный дым несколько затуманивал черты лица. Она? Чтобы избавить ее от смущения, он встретится с ней на улице и они вместе поедут к ней.

Он обратился к девушке.

— Не соблаговолите ли, мадемуазель, выпить со мной? — сказал тихо, но внятно.

Она подняла на него глаза:

— Разве не видишь, что я занята? Если бы у меня была такая физиономия и культы вместо ног, я бы убежала от людей и спряталась куда-нибудь подальше.— И вернулась к своему письму.

Его словно током ударило. Захотелось немедленно умереть. Он закрыл глаза. Значит, правда. Даже проститутка не желает иметь с ним дело. Ни одна девушка никогда не захочет его. И он будет один. Вечно один. До сих пор быть калекой означало боль в ногах, одышку, частые остановки при ходьбе, трость с резиновым наконечником. Теперь это значило, что он никогда не будет желанен, любим, никогда не поедет с ним на пикник ни одна девушка, никогда не получит он ее добровольного нежного поцелуя. Ну что же, клянусь бородой святого Иосифа, он им всем докажет, что сможет получить женщину! Докажет, что сможет купить то, что любой парижанин может купить за три, пять, десять франков. Он пойдет в бордель. Да, в бордель!

Открыл глаза. Девушка отсела за другой столик, подальше. Он прихватил трость, расплатился, сполз с банкетки, проковылял к выходу. Приказал кучеру фиакра:

— В «Зеленый попугай», на Стайн Керк. побыстрее, пожалуйста!

Вернувшись ночью домой, он опустился в свое кресло у окна и неподвижно сидел в темноте, уронив руки на колени, слишком измученный для того, чтобы раздеться и лечь или хотя бы засветить лампу. Нет, в бордель он не вошел. Добрался до двери... потянулся к колокольчику... И мужество покинуло его. Из-за дверей доносились аккорды механического пианино и смех. Он как бы увидел салон, наполненный людьми, клубы табачного дыма, красномордых здоровых мужчин, женщин, девиц, раскинувшихся на диванах и банкетках в бесстыдных позах, раздобревшую мадам, бесстрастным идиолом восседающую за стойкой бара. Что они скажут, если увидят его? Засмеют? Забросают грубыми шутками? Нет, никогда не появится он в этом месте. Не сможет... просто не сможет. И если уж суждено ему



метаться и стонать во сне, грезя о пикниках с обнаженными женщинами, что ж, он будет стонать и терпеть.

Анри рассеянно глянул в темное окно и увидел на противоположной стороне двора, в освещенном квадрате другого окна, силуэт Дега. Пробежал глазами по другим желтеющим окнам. Возможно, за некоторыми из них занимались любовью... Что ж, пускай. В этот момент в Париже ласкались сотни, тысячи парочек, губы и руки искали друг друга и... находили. А он — калека. Безобразный, уродливый калека. И никто никогда не полюбит его.

— Ты урод, Анри. Отвратительный карлик. Никогда не забывай об этом!

Отчаяние захлестнуло его словно дикий крик. Он почувствовал, как по щекам текут слезы. Закрыв лицо руками. И, как рыдание, вырвалось:

— О мама, почему ты не позволила мне тогда умереть?!

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В этот августовский полдень Мальроме как бы замер, оцепенел. Наступило время сиесты, когда окружающие замок поля и виноградники пустеют, работники, накрыв лица шляпами, дремлют где-нибудь в тени. Везде тишина, жара, ни ветерочка — все неподвижно. Но здесь, в замке, эта тишь — не благодатная передышка, восстанавливающая силы и энергию в людях и животных, тут это гнетущая безжизненность какой-то заколдованной страны, погруженной в траур, молчание места, откуда ушла сама жизнь, где остановилось время. Казалось, все наполнено ожиданием того, что должно обрушиться на этот огромный парк-сад с извилистыми, посыпанным песком тропинками, цветочными клумбами, зеркальным прудом и высокими, словно кладбищенскими, чугунными воротами с вензелями прежних владельцев.

В дальней части дома Адель, графиня де Тулуз-Лотрек, сидя на веранде, поглядывала, как, облаченный в белый полотняный костюм, свернувшись, дремлет в шезлонге из пальмового дерева ее сын Анри.

Спал он спокойно, пенсне свалилось с носа и висело на шнурке, одна рука покоилась на груди, другая безжизненно свисала чуть не до пола. Толстые губы, ярко-алые и влажные, чуть заметно шевелились при каждом выдохе. Книга, которую он начал читать, валялась на полу, рядом со стаканом недопитого лимонада.

Наконец-то ее сын вернулся домой! Его бегство в большой мир окончилось печально — и все же катастрофы не произошло. Бедный Рири, он был так подавлен провалом своей попытки выставиться в Салоне — «сделать Салон», как он выражался, но теперь боль начала утихать. Он уже не метался, как вначале, казался даже умиротворенным, почти счастливым. По утрам гулял в саду, иногда ездил к соседскому кюре сыграть партию в шахматы, читал, отсыпался. Ближе к вечеру вместе с матерью совершал недалекие прогулки в экипаже с верным Жозефом на козлах. Никогда не сетовал на монотонность этой жизни, на отсутствие друзей, не вспоминал о Монмартре. Но ему было больно, нестерпимо больно. Он узнал правду



о себе. Возможно, примирился с судьбой. Смирение — тоже форма счастья. К зиме, может, вновь вернется к своим книгам. Они защитят его. Больше ему не будет так больно.

Адель увидела, что сын зашевелился. И тут же отвела внимательный взгляд.

— Наслаждаешься сиестой? — улыбнулась она, надевая на палец наперсток.

— Меня разбудила муха, — ответно улыбнулся он. — И почему только эти поганые твари изо всех возможных на земле мест выбирают кончик твоего носа? Впрочем, я уже достаточно спал. Какой час?

— Четверть третьего, — ответила тетюшка Армандина, складывая газету и посмотрев на часы, висевшие у нее на груди.

— Анри, — обратилась к сыну графиня, — а не согласился бы ты провести эту зиму в Италии?

— Охотно! — Милая мама, она понимает, что он помирает со скуки, и потому предложила это путешествие. — Но разве мы не планировали прожить здесь до Рождества?

Ему вспомнился предыдущий канун этого праздника, когда он сидел в гостиной на бульваре Малерб и уговаривал мать провести всю осень в Мальроме, вспомнил и о ее предложении попросить мадам Любе стать его экономкой. Неужели было время, когда он всерьез рассчитывал сделать модным портретистом, снять новую великолепную студию в аристократическом районе? Минуло всего четыре месяца, и все его замыслы оказались ныне столь же нереальными, как те детские планы совместной жизни в лесах Канады, которые он строил с Морисом Жуаяном.

— Помнишь наш разговор по этому поводу?

— Помню. Но я никогда не собиралась проводить здесь зиму. Мальроме — не зимнее пристанище. Так как же ты относишься к тому, чтобы нам съездить на Ривьеру?

— В Сан-Ремо? — с готовностью подхватил он в восторге от того, что его жертва отвергнута. — Мы же видели его лишь издалека, помнишь? В тот день, когда ездили в Ментону. Говорят, этот городок очень красив. А оттуда мы смогли бы махнуть во Флоренцию и даже в Рим. Как бы хотелось увидеть «Страшный суд» Микеланджело в Сикстинской капелле! Я слышал, будто Рафаэль чуть в обморок не упал, когда увидел его. Думаешь, мы могли бы попасть и в Рим?

— Почему бы и нет? Давай поедem в середине октября.

— А почему не в начале или даже в сентябре?

Мать улыбнулась. Ее нетерпеливый и порывистый Рири готов хоть сию минуту паковать чемоданы и уезжать из Мальроме. Отцовский характер. Альфонс тоже терпеть не мог никаких отсрочек.

— Октябрь уже на носу. К этому времени здесь зарядят дожди, и мы сможем сполна оценить солнышко Сан-Ремо.

— Я нынче же вечером напишу в Бордо и попрошу срочно выслать нам туристические проспекты. — Анри потянулся, взял стакан с лимонадом и вылил его содержимое в один из цветочных горшков, украшавших балюстраду веранды. — Анетта обидится, если увидит, что я не выпил ее лимонада. Она, наверно, считает, что я — губка.



*Дочь полицейского.  
1890*

— Таким образом она проявляет свою любовь к тебе.

Едва только графиня произнесла это, как послышалось пошаркивание легких шагов и на веранде появилась старушка в седых буклях с очередным стаканом в руке.

— О, спасибо тебе, Анетта! — воскликнул Анри, принимая свежий лимонад. — Я как раз говорил, что твой лимонад — самый лучший из тех, что мне когда-нибудь доводилось пробовать.

Старая няня, с обожанием глядя, как он пригубил ненавистный напиток, одарила воспитанника самой нежной из своих беззубых улыбок и торжественно удалилась.

Анри снова вылил недопитое в цветочный горшок.

— На этом георгине скоро вырастут лимоны, — сказал он и, опустив стакан на пол возле шезлонга, взял книгу. Некоторое время притворялся, что читает, но вскоре поднял глаза к небу и, откинувшись на спинку, принялся следить за облаками. Интересно, вон то облачко новое или всегда

там висело? До чего же они коварны, эти облака! Некоторые выползают из-за горизонта маленькими, эфемерными, но к тому времени, как им приходит пора проплывать над замком, превращаются в огромные белые айсберги. Пожалуй, следует написать о них какую-нибудь притчу с мудрой моралью. Одни — дружелюбные, они строят вам клоунские рожицы, другие хмурятся, сердито гримасничают. Были облака-холостяки. Были — семейные, окруженные выводком мелких белых барашков.

Анри рассеянно любовался летним небом. Какой очаровательный день! Улыбнулся. Вспомнил, как этими же словами приветствовал то весеннее утро, когда его разбудил щебет ласточек.

Всплыла из памяти и вся картина того утра — сам он, босиком, в ночной рубашке стоящий у окна и воображающий пикник с Жюли. Вот он целует веснушки на ее личике... Однако на этот раз Анри не позволил фантазии увлечь его слишком далеко. Хватит! Он калека, а калекам нечего ездить на пикники с девушками. Не их дело — любиться с ними под сенью деревьев. Калеки должны сидеть дома. Ведь и некоторые нормальные люди умудряются прожить всю жизнь без любви. Ему тоже следует научиться этому, выкинуть из головы всякие романы, поцелуй при луне и тому подобные глупости. Он должен забыть о женщинах. Разве уже не заплатил он за это знание немалую цену? И Салон, и его карьера художника... Что накатило на него в то утро, в мастерской? В тысячный раз задавал он себе этот вопрос и не находил ответа. Что заставило бросить вызов самому Кормону? Он не мог этого объяснить. Да и чем объяснишь? Разве тем, что, когда человек доходит до последней черты, до отчаяния, до предела усталости и разочарования в самом себе и своей жизни, он теряет самоконтроль и на время как бы сходит с ума, говорит слова, которых ранее никогда бы себе не позволил произнести. Предыдущую ночь он не сомкнул глаз. В его ушах стояла фраза той проститутки из ресторана: «Если бы у меня была такая физиономия и эти культи вместо ног, я бы убежала от людей и спряталась куда-нибудь подальше...» Его лихорадило. Когда он припелся в мастерскую, то не мог объяснить друзьям, зачем пришел, если совершенно болен. Во рту до сих пор горечь абсента. Глаза воспалены, покраснели, нервы — как волокна разорванной плоти.

А тут Кормон остановился у его мольберта и начал свою обычную болтовню:

— Очень хорошо, Лотрек. Вижу, что вы стараетесь. Конечно, вам недостает ни утонченности истинного художника, ни природного таланта, но не всем же быть талантами и гениями!

В любое другое время Анри проглотил бы эти слова, никак не отреагировал на них. Сидел бы сгорбившись на своем складном стульчике и покорно продолжал рисовать. Но не в это утро! Внутри что-то взорвалось. Внезапная ярость охватила его. Резко повернувшись к Кормону, он выдал мэтру все, что о нем думал: и о его утонченности художника, и о красивых лакированных картинках, и о богинеподобных обнаженных девицах. Ах, как отвел он душу за эти несколько минут правды! Издевался, смеялся, язвил. О да, это было отличное представление! И в эти же мгновения он понимал, что губит свое будущее, совершает самоубийство как художник. Но ему было уже все равно. Это была одна из тех

необъяснимых вспышек безумия, когда все на свете, кроме истины, не имеет значения, когда на все наплевать...

Он повернулся на шезлонге и увидел Жозефа, поднимающегося на веранду с маленьким серебряным подносом в руке.

— У ворот чей-то экипаж, мадам. Гости,— доложил он, протягивая поднос графине. Та взяла с него визитную карточку, издала возглас изумления и, забыв свою обычную сдержанность, вскочила.

— Боже мой, Боже мой! — воскликнула она.— Это же Анжелика!

«Анжелика? Кто такая эта Анжелика? — подумал Анри.— И чего она приперлась во время сестры? А я без галстука и в шлепанцах».

Он вылез из шезлонга и с неохотой последовал за матерью, которая в сопровождении взволнованной Армандины уже спускалась с крыльца. Анри прихватил карточку, забытую ею на столе, и прочитал: «Мадам баронесса Андре де Фронтенак». Имя ничего ему не сказало. И только когда добрался до крыльца, его осенило: «Ну конечно! Анжелика — мамина школьная подруга. Они вместе учились в пансионе Нарбонского монастыря. Неразлучная подруга, вышедшая замуж за морского офицера и уехавшая с ним то ли на Мартинику, то ли на Мадагаскар».

Спускаясь с крыльца, Анри увидел стоящую у ворот старомодную карету. Кучер уже опустил ступеньку и открыл дверцу. За стеклами кареты мелькнула вуаль, и, словно головка змеи, ступеньку принялась нащупывать изящная черная туфелька. Наконец появилась полная, средних лет дама в накинутой на плечи траурной черной шали. Она бросилась в объятия хозяйки.

— Адель!

— Анжелика!

Их объятия были столь трогательны, что Анри не сразу заметил вторую гостью, выглядывавшую из кареты,— девушку лет семнадцати-восемнадцати, тоже облаченную в траур. Она приподняла юбку и осторожно спустилась на землю. У Анри перехватило дыхание — Жюли!.. Правда, он тут же понял, что обознался. Конечно, это не Жюли. Жюли блондинка, а у этой каштановые волосы, даже темно-каштановые. Кроме того, она совсем не похожа на монмартрскую белошвейку.

— Моя дочь Дениза,— представила ее баронесса, роясь в сумочке в поисках носового платка, чтобы осушить слезы.— Она родилась в Форте-де-Франс.

Дениза присела в грациозном реверансе и с притворным смущением приняла поцелуй, который графиня запечатлела на ее лбу.

Спустя час Анри слушал бесконечные воспоминания о днях, проведенных подругами в монастырском пансионе, вникал в генеалогию баронов де Фронтенак, в повествование об испытаниях и несчастьях, постигших семью барона за последние два десятка лет, поскольку баронесса была неутомимой рассказчицей. Она не прекращала разговора, оправляя свои траурные покровы, обмахиваясь носовым платком, прихлебывая чай и запуская пухлую руку в севрскую вазу с пирожными.

— А теперь, когда мой бедный супруг умер,— слезы вновь брызнули из ее глаз, хотя рот продолжал жевать очередной пtiфур,— Дениза и я остались одни в этом мире.— Она обернулась к дочери.— Дорогая, почему бы тебе не пойти и не сыграть что-нибудь на фортепиано для месье Тулуз-

Лотрека? Она у меня отменная пианистка,— добавила мадам Андре де Фронтенак, обращаясь к Анри.

Пока Дениза играла, а играла она действительно превосходно, без обычного дамского манерничанья, он не сводил с нее глаз, сидя на диване, положив руки на трость и опершись о них подбородком. Наблюдая за ее грациозной фигуркой, освещенной уже вечерним солнцем на фоне большого окна, он подумал, что она, вероятно, очень похожа на свою мать, какой та была в молодости.

— Продолжать или достаточно? — внезапно спросила она, улыбаясь ему из-за большого концертного рояля.— Нет, постойте,— остановила его Дениза, прежде чем он собрался ответить.— Я хочу сыграть вам свою самую любимую вещь. Это Сезар Франк, современный композитор. Еще не очень известный, но замечательный. Папа тоже очень любил его. Всегда просил, чтобы я именно это ему играла, когда бывал дома. Итак, Франк — прелюдия, хорал и fuga.

Когда затих последний аккорд, она повернулась на вращающемся табулете, оставив одну руку на клавиатуре.

— Вижу, и вам понравилось. Очень рада. Это правда отличная вещь!

Дениза поднялась и присела на диван рядом с Анри.

— Извините, что мы так неожиданно ворвались к вам, но мама была просто не в себе с тех пор, как узнала, что вы живете рядом. Нынче утром к нам заглянул кюре Сулак. Чтобы завязать разговор, мама спросила его, какие семьи проводят лето по соседству. Не подумайте, что мы собирались к кому-нибудь с визитами, вы же понимаете, что мы в глубоком трауре. Но вы видели маму, она любит поговорить...

Они обменялись заговорщицкими улыбками молодых людей, обсуждающих своих родителей.

— Когда же он упомянул, что в четырех километрах от нас живет графиня де Тулуз-Лотрек, я подумала, что маму хватит удар! Она едва могла доесть завтрак и потребовала закладывать лошадей, еще не встав из-за стола. Как подумаешь, это просто удивительно, что они нашли друг друга после стольких лет разлуки, не правда ли? Но боюсь, мы нарушили вашу сиесту. Я же вижу, вы были просто в ярости, когда мы явились.

Анри поклялся, что, наоборот, он в восторге от их приезда. Она, смеясь, ответила, что не верит ни одному его слову. Он принялся уверять с еще большим жаром. Дениза все равно не верила.

— Вы не умеете лгать,— поддразнивала она его.— Вот я могу, и очень успешно, если надо.

— Возможно,— с улыбкой отвечал Анри,— ложь свойственна женщинам.

Беседа повернулась к обсуждению темы лжи: ложь вообще, природная склонность женщин к обману, требования к хорошему лжецу, различия между подлым враньем и ложью во спасение, допустимость некоторой неправды из-за светской учтивости. Через десять минут они уже были друзьями и обращались друг к другу по имени и на «ты».

— Ты ездила по окрестностям? — спросил он.— У нас здесь очень красиво. Она с радостью подхватила эту тему.

— Мы еще ничего не видели. Приехали всего несколько дней назад. Слушай, Анри, а не сможем ли мы побывать всюду вместе? В конце концов

даже во время траура это не возбраняется.— И, едва заметно подмигнув, добавила: — Это позволило бы нам улизнуть от наших родительниц. Пусть себе вспоминают... А кроме того, они такие старые подруги, что мы с тобой почти кузены, не правда ли?

\* \* \*

В Мельроме началась новая жизнь. Фронтенаки ежедневно приезжали к Тулуз-Лотрекам, и Дениза с Анри отправлялись на долгие прогулки, в то время как их матери и тетушка Армандина, усевшись на веранде, затевали бесконечные разговоры.

Появление Денизы нарушило для Анри томительную монотонность летних дней, открыло ему незнакомые раньше радости общения с девушкой. Все это занимало теперь его деятельный ум, терзавшийся прежде думами о загубленной карьере художника и реальной перспективой праздного существования. Более того, эта встреча облегчила страдания пробудившейся уже плоти. Правда, он сразу же отсекал мечты о возможности романа между ними, радовался лишь счастливому случаю, благодаря которому эта милая юная девушка вошла в его одинокую жизнь. Теперь он уделял больше внимания своим туалетам, аккуратно подстригал бороду, до блеска полировал ногти, послал в один из крупнейших парижских магазинов — «Большой Дом белья» — заказ на дюжину тончайших полотняных сорочек и потребовал от Анетты, чтобы складка на его брюках была как лезвие бритвы. Он с утра повязывал галстук, на его руке сверкал теперь золотой перстень с печаткой, который мать подарила ему к совершеннолетию — в двадцать один год. Он, конечно, не рассчитывал покорить этим девушку, просто у него был хороший вкус, а Дениза умела ценить изысканность.

Еще за завтраком он тщательно обговаривал с Жозефом будущий маршрут, желая показать спутнице самые живописные окрестности. Одолжил у юре Сулака краеведческую книгу и превратился в эрудированного гида. Если они посещали какое-то старое кладбище, у него всегда наготове был рассказ о чудесных происшествиях, которые там случались. А если они рассматривали замшелые древние руины какой-нибудь средневековой крепости — повесть о сеньорах, владевших ею столетия назад.

Поскольку путешествовали они по земле Аквитании, герцогства, которым многие века управляли его предки, было естественным, что в объяснениях Анри фигурировали имена многих Тулузских графов, и каждый раз он видел в глазах Денизы невольное восхищение.

— Как ты должен гордиться, что и сам — Тулуз-Лотрек! — заметила она однажды, когда в тишине раннего осеннего заката они возвращались домой.— Мы, бароны Фронтенаки, тоже отсюда родом, но наш семейный замок уже давно сровняли с землей. Думаю, в годы революции. Может, мои предки были вассалами твоих? Разве ты не слышишь, как мой пращур произносит клятву верности и повиновения своему сеньору — твоему прапрапрадедушке?

Эти узы социального родства, так же как искренние товарищеские отношения, сходство вкусов и мнений, легли в основу их дружбы. Они нисколько не походили на дружеские связи монмартрской богемы. Он и она были аристократами, принадлежали к одному кругу, были верны общим

традициям, одним и тем же предрассудкам, руководствовались единым моральным кодексом. Поэтому Дениза была очень близка ему, почти как сестра, какую он хотел бы иметь.

Октябрь принес первые затяжные дожди. Поездки их прекратились, но они нашли иное занятие — Анри начал писать ее портрет.

Она по-прежнему приходила ежедневно, на минутку задерживалась на застекленной террасе, чтобы приветствовать реверансом графиню Адель и тетушку Армандину, пока ее матушка не присоединялась к хозяйкам и, вытаскив из ридикюля вязанье, не усаживалась с ними рядом. Тогда Дениза потихонечку оставляла их и ускользала. На верхнем этаже замка Анри оборудовал себе временную студию.

— Здравствуй, Анри! — еще с порога кричала она, уже развязывая бант шляпки и переводя дыхание от быстрого подъема. — Как там наш шедевр? — Не прекращая болтовни, она подходила к зеркалу, приглаживала волосы, оправляла юбку. — Ну как, заслуживаю я одобрения месье портретиста? — И усаживалась в нужной позе.

С профессиональной строгостью Анри командовал:

— Поверни-ка немного голову вправо. Не так сильно, Дени. Вот. Хорошо. И чуть опусти правое плечо. Отлично. Теперь постарайся не шевелиться несколько минут.

Когда девушка уставала, он объявлял перерыв на четверть часа и звонил горничной, чтобы принесла чаю. Смеясь и болтая о всякой всячине, они уничтожали горы птифуров, пока за окном лил дождь и ветер бил в ставни. Ну и пусть себе льет! Пусть воет ветер! Что может быть чудеснее, чем сидеть вот так, уединившись в светлой комнате, где в камине потрескивают поленья и где Дениза...

Однажды, когда она ставила на стол пустую чашку, он импульсивно прикрыл ладонью ее руку.

— О, Анри, — не отнимая руки, взглянула она на художника. — Не знаю, как благодарить тебя. Ты так добр ко мне! Нет-нет, не возражай! Если бы я тебя не встретила, не знаю, что бы со мной было. Наверно, умерла бы здесь от скуки. Ты самый добрый человек из всех, кого я знаю.

— Ну что особенного я сделал для тебя, Дени? — Ее необычные слова удивили Анри, даже вогнали в краску. — Это я умирал тут со скуки, пока не появилась ты — самая замечательная девушка из всех, с кем я когда-либо встречался в жизни.

Лишь на миг разрешил он себе испытующе и нежно заглянуть ей в глаза, потом легко пожал ее пальцы и потянулся к трости:

— Однако наши взаимные комплименты не создадут портрета. Так что допивай свой чай — и за работу, юная богиня!

Слова способны разбудить чувства. Этот незначительный эпизод, непроизвольная вспышка благодарности Денизы перевели их дружеские отношения в какое-то иное качество. Осенняя меланхолия обострила одиночество, оба искали выход из него. Подолгу оставаясь наедине, молодые люди начали поверять друг другу то, о чем прежде никому не говорили. Дениза рассказывала об отце, недавно умершем в Индокитае от желтой лихорадки. Она очень его любила, куда больше, чем мать... Повела она и о жизни в пансионе, тоже недавно оставленном, о подружках, подшучивавших над

наставницами-монахинями, о Форт-де-Франс, где она родилась, о своей няне-креолке, которая верила местным колдунам и заставляла ее носить амулеты от сглаза. О своем детстве, прошедшем на острове Таити, где много лет служил ее отец.

В свою очередь Анри рассказал о своей болезни, о кровном побратиме Морисе Жуаяне, об их канадских проектах, о годах, прожитых на Монмартре, даже о «Нувель», об Агостине и ее обедах, о том, как Рашу перевозил в его студию вещи на катафалке, и о мадам Любе, как эта добрая женщина отказывалась верить, что его фамилия — Тулуз. Он произнес, подражая голосу консьержки: «Тулуз — это не имя, месье! Это название города».

— Ты когда-нибудь скучаешь по Монмартру?

— Раньше ужасно скучал, теперь вроде нет.

И это было правдой. Он со снисходительной усмешкой вспоминал о своем тщеславном желании «сделать Салон» и стать профессиональным портретистом. Все его мечтания о романтических встречах в студии, о пикниках на лоне природы с нежно улыбающимися ему гризетками казались ныне Анри пустыми фантазиями эмоционально незрелого и глупого юнца. В жизни существуют куда более важные мысли и дела. Почти подсознательно он начинал думать о себе как о еще молодом дедушке Леонсии де Селейране — мирном землевладельце. Жить в провинции, хозяйничать на своих полях и виноградниках, принимать соседей, обильно угощать их собственным вином, кормить тем, что выращено и получено им со своей земли. Как и дед, состарится он, Анри, без горечи и сожалений, согреваясь нежной дружбой жены и счастливым смехом детей...

Выбирая воображаемую жену, он все чаще видел в ее роли Денизу. Постепенно начинал считать ее не только подругой, помогающей ему коротать тоскливое осеннее время, но и будущей графиней де Тулуз-Лотрек, спутницей жизни. Это изменившееся отношение к девушке нарушило душевный покой.

Ему чудилось, что он ей нравится. Он даже был уверен в этом. Но достаточно ли нравится — на любовь он не рассчитывал, — чтобы она согласилась стать его женой? Да, он урод и калека. Те слова проститутки из ресторана до сих пор жгли ему душу. Но ведь и за калек выходят замуж! Сколько замечательных женщин после каждой войны отдавали свои сердца искалеченным, слепым, безногим ветеранам! Была ли Дениза одной из таких достойных восхищения, самоотверженных девушек? Или для нее, как и для множества других, важнее всего было красивое лицо и статная фигура? Понимала ли она, что любовь — не увлечение, не романтическое приключение, что прочное счастье основывается на большем, чем пара крепких ног или смазливая физиономия здоровяка? Зачем стремилась она в Мальроме? Хотела быть с ним или просто потому, что общение с матерью было для нее менее привлекательным, чем болтовня с калекой? А тут еще траур на какое-то время лишал ее возможности встречаться с другими, более привлекательными молодыми людьми...

Как охотник, подстерегающий в засаде зверя, следил он за Денизой, замечая, анализируя, истолковывая каждый ее взгляд, слово, интонацию, каждый жест, пытаясь во всем найти какой-то намек на ее отношение к нему. Для голодного сердца каждая кроха доброты — уже пища. Разум



Анри потерял ранее свойственную ему остроту; в любой ее улыбке, банальном замечании отыскивал он скрытый намек. Да, он ей нравился, очень нравился, более, чем кто-то другой из тех, кого она знала. На нее безусловно производили впечатление и титул его, и состояние. Они принадлежали к одному кругу. Что еще требовалось для счастливого брака?

Путем старого, как мир, обычного, по-человечески понятного самообмана он увидел в девушке те качества, которые хотел обнаружить в ней, и поверил в то, во что хотел поверить. Так же как в давние дни относительного выздоровления, им овладела эйфория. Он жил теперь словно во сне. Весь мир, этот унылый сельский ноябрьский мир, наполнился райским пением, которое только он один и мог слышать.

Одновременно ему хотелось, чтобы все разделяли его счастье: пусть его окружают только улыбающиеся лица! Он и прежде умел располагать к себе людей добродушием, ныне же превратился в брызжущего весельем оптимиста. Утрами он приветствовал будившего его камердинера радостным «Доброе утро, Жозеф!» Если, паче чаяния, не было дождя, замечал: «Отличная нынче осень, не правда ли?» Если лил дождь: «Пусть идет! Прекрасный урожай будет летом, дожди очень этому способствуют!» И принимался журить Жозефа за недостаток бодрости: «Что-то ты становишься мрачноватым. Стареешь, что ли?»

— Вероятно, месье Анри.— Старый слуга спокойно ходил по его спальне, открывал дверцы шкафов, подавал ему одежду.

— Беда в том, что ты остался холостяком. У каждого мужчины должна быть жена! Человек не создан для того, чтобы влачить жизнь в одиночестве.

— Да, месье.

— А был ли ты когда-нибудь влюблен?

— Конечно, месье.

— Почему же не женился?

— Как-то не случилось сделать предложение.

— Вот видишь! Инерция, никакого напора, никакого усилия. Женщины любят настойчивых, мой милый Жозеф!

— Да, месье Анри. Когда будете принимать ванну — сейчас или позднее?

Но больше всего Анри хотелось видеть счастливой свою мать. В последнее время она очень изменилась. Вначале относилась к визитам Денизы с большой радостью, поощряла их совместные прогулки по окрестностям. Но теперь вот уже несколько недель как сын замечал на себе ее испытующий взгляд, когда они вместе садились обедать. Несколько раз она вспоминала об их недавних планах — провести зиму на итальянской Ривьере. Конечно, она не знала, да и не могла знать, что Анри ждет одного значительного, предельно важного события: скоро он сделает предложение и Дениза выйдет за него замуж...

Поэтому он был поражен, когда однажды вечером Адель отложила свое шитье и спокойно объявила ему:

— Я должна предупредить тебя, Анри, что приказала паковать вещи. Послезавтра мы уезжаем в Сан-Ремо.

Он, онемев, уставился на нее. Не может быть, чтобы мама распорядилась собираться, не посоветовавшись предварительно с ним!

— Но я не окончил портрета Денизы,— наконец возразил он.

— Очень жаль.— Лицо матери было строгим, голос ледяной, совсем не похожий на ее обычный.— Ведь ты уже давно обещал завершить эту работу. Сейчас двадцатое ноября, а мы собирались уехать самое позднее в середине октября. Больше откладывать некуда.

— Но почему? Какая разница, на этой ли неделе ехать или на следующей? Или даже в декабре? А то и после Рождества? Нас там никто не ждет.

В то время как он лихорадочно выкладывал свои аргументы, его вдруг пронзила страшная догадка: а вдруг мать больна? Наверно, больна! Простудилась в этом большом, полном сквозняков доме. Поэтому последние дни так бледна, так торопила его с портретом. И, как обычно, не жаловалась, жертвовала собой, ждала, пока он сам сообразит. Ему стало стыдно.

— Прости, мама! Я же не знал... Конечно, мы должны немедленно ехать. Но не считаешь ли ты, что мы можем подождать до дня моего рождения? Всего через четверо суток. Мне будет куда приятнее отметить его здесь, а не в каком-нибудь незнакомом отеле.

Мать грустно и тревожно посмотрела на сына.

— Я не уверена...

— Пожалуйста, ну, пожалуйста, мама! — взмолился он, невольно придав своему тону капризные интонации, к которым прибегал ребенком, желая поставить на своем, что-то выпросить у нее.— Всего только четыре дня...

— Ну хорошо,— кивнула графиня.— Поедем после дня рождения.

\* \* \*

Анри задумчиво пригубил бокал шампанского и оправил воротничок нарядной сорочки. Обвел взглядом стол, накрытый кружевной скатертью, белые розы в лиможской вазе, серебряные приборы, хрустальные бокалы, в гранях которых играли отблески зажженных свечей. Мельком оглядел баронессу Фронтенак, одетую в пышное платье с многочисленными бантами и оборками, тетушку Армандину, молодо выглядевшую в своем новом парике, маму, такую красивую в строгом черном бархатном платье, с крупным бриллиантом, висящим на груди, кюре Сулака в его обычной залатанной рясе, Денизу, такую прелестную в белой парче, напоминающей свадебный наряд. На самом ли деле она относилась к нему так, как он надеялся? Достаточно ли ей этого, чтобы она согласилась стать его женой? Последние четыре дня он метался как в агонии. Пока еще не сделал предложения — все не представлялось возможности... Как можно говорить о своей любви девушке, которая беспрерывно болтает о каких-то пустяках, серьезно утверждает, что по окончании портрета будет скучать по их сеансам в студии, по пятнадцатиминутным перерывам, чаепитиям, пирожным, словно не догадывается, не имеет ни малейшего представления о том, как безумно хочет он взять ее за руку и прознести слова, которые вот уже сколько времени жгут ему душу: «Дорогая, я понимаю, что не могу надеяться на твою любовь, но я посвящу всю свою жизнь...» Кто сказал, что у женщин богатая интуиция? А что, если все ее поведение — лишь ширма, просто она прячет свои подлинные чувства за обманчивым оживле-

нием? Разве можно ожидать, что серьезная невинная девушка сама бросится к нему на шею или будет рыдать от любви?

Он осушил свой бокал. Тут же один из лакеев вновь наполнил его шампанским.

Как она прекрасна сегодня! И какие плечи, как туго охватывает парча девичью грудь! В глазах ее тоже отблески свечей. Если бы он только смог нарисовать ее сейчас! Впрочем, к черту рисование! Если бы смог поцеловать... Представить себе невозможно, какое это счастье — обладать такой девушкой, аристократкой, сдержанной и одновременно страстной!.. Она принадлежит ему. Она же дала прямое доказательство этого: то, как взяла его руку, как сказала: «Ты самый добрый человек из всех, кого я когда-либо знала!» Такая девушка не станет говорить это, если не имеет в виду чего-то большего, намного большего! И он будет большим дураком, если не осмелится поговорить с ней, чтобы по возвращении с юга вдруг не узнать, что она помолвлена с другим, ибо он не решился сделать ей предложение.

Анри заметил, что мать собирается выйти из-за стола, и снова залпом выпил налитое шампанское. В голову ударило, все закружилось перед глазами. Когда он тоже встал и, опираясь на трость, сделал несколько шагов, показалось, что пол поплыл под ногами.

Все перешли в гостиную — пить кофе. Кюре извинился и покинул их. Дамы уселись возле камина.

Дениза склонилась к Анри:

— Хочешь, я еще раз сыграю тебе Франка? Ну, ту прелюдию, которую играла в первый день нашего знакомства? Она тогда тебе понравилась.

Он недвижно сидел подле нее, пока она не кончила играть. Их матери тихонько беседовали у камина.

— Невозможно поверить, что мы встретились лишь три месяца назад, — задумчиво произнесла девушка, сняв руки с клавиатуры. — Как нам было хорошо все эти месяцы, не правда ли, Анри?

Сказать обо всем теперь? Самое время!

— Давай удерем в студию, — шепнул он.

— Сейчас?

— Ну да, сейчас, — настаивал он. Голос прерывался от волнения. — Это очень важно.

«Как удачно, что он оставил там горящую свечу и еще до ужина просил затопить камин», — подумал Анри, когда, тяжело дыша, поднялся наверх следом за Денизой. Шампанское кружило голову, внушало смелость и беспечное веселье. Нет, никому другому не уступит он Денизу! Сейчас, в этой уютной студии, где им так хорошо было вдвоем, он скажет ей все. Если бы только сердце не выпрыгивало из груди!..

— Что ты собираешься мне показать? — кокетливо спросила она.

— Присядь здесь, на тахте.

Она повиновалась. С быстротой, удивившей его самого, Анри очутился рядом.

— Я хотел бы поговорить с тобой, Дени, — поспешно, словно опасаясь, что его могут прервать, начал он. — В апреле мы с мамой вернемся. Ты будешь ждать меня, правда?

— Конечно.— Она разочарованно, даже с некоторой укоризной посмотрела на него. Неужели для этого вопроса им надо было удалаться в студию? — Я же говорила тебе, что мама сняла виллу на целый год и наш траур кончается только в июне.

— Я не это имел в виду.— Он повернулся к ней и сжал ее руки.— Я хотел спросить, будешь ли ты ждать меня.

Она нахмурилась.

— Не понимаю...— Голос стал резким, она уже что-то подозревала.

У него возникло ощущение человека, стоящего над разверзшейся пропастью. Голова продолжала кружиться. Несколько секунд он панически сражался с собой, пытаясь найти путь к отступлению, пока не поздно. Но давно отрепетированные фразы непроизвольно сорвались с губ.

— Дорогая, я понимаю, что не могу надеяться на твою любовь, но я посвящу всю свою жизнь тебе, стремясь сделать тебя счастливой. Клянусь, ты никогда не пожалеешь, если согласишься выйти за меня замуж! Дени, я готов отдать за тебя жизнь! Готов исполнять все твои желания. Мы будем ездить туда, куда ты скажешь, делать то, что ты захочешь...

Склонившись, он целовал ее руки. Она недоуменно уставилась на него, слишком потрясенная, чтобы сопротивляться. Ее лицо выражало изумление и жалость.

— Но... я не люблю тебя, Анри. Мне никогда и в голову не приходило, что ты...

— Я знаю, знаю, что ты не можешь решить сама, что мне следовало раньше поговорить с баронессой... Но прежде чем мы уедем, я хотел...

— Нет, ты не понимаешь! — К ней вернулось самообладание.— Ты ничего не понимаешь! Я не люблю тебя. Мне очень жаль, но я не люблю... И пожалуйста, отпусти мои руки.

Все произошло слишком быстро. Голова кружилась, мысли путались.

— Я же не утверждаю, что ты меня любишь. Я только надеялся, что немного нравлюсь тебе... Помнишь тот день, когда ты не отняла у меня руку и сказала...

— С ума сошел! И пожалуйста, оставь мои руки! Ты делаешь мне больно... Я была благодарна тебе, но это ровным счетом ничего не значит. Я никогда не любила тебя и никогда не полюблю. Сама мысль об этом абсурдна!

Теперь ей стало страшно. До него постепенно доходил смысл ее слов. Зрачки его больших глаз расширились, вывороченные губы дрожали. При слабом свете свечи его уродливости стала чудовищной, какой-то гротескной.

— Почему абсурдна? Почему? — В лице — ни кровинки. Оно стало пепельно-серым. Пальцы, как тиски, продолжали сжимать ее запястья.— Потому, что я калека? Да? Потому, что урод?

Боль, смешанная с яростью, заставила Денизу прогнать страх. Она в упор взглянула на него. В ее наполнившихся слезами глазах сверкнула ненависть.

— Да! Да, да, да! — выкрикнула она.— Потому что ты калека! Потому что безобразен! Ты самый уродливый из всех, кого я встречала в жизни!..

Он не дал ей продолжать: внезапным рывком притянул к себе и впился губами в кричащий рот. Время для него перестало существовать. Как

в кратком сновидении, он ощутил влажность ее рта, пытаясь своими губами раздвинуть ее стиснутые губы. Почувствовал ладонями гибкость ее позвоночника, упругость груди, прижатой к его накрахмаленной сорочке, боль от ногтей, впившихся в его плечи.

Отчаянным усилием Дениза вырвалась из его объятий и кинулась к двери. Распахнув ее, она обернулась, понимая, что догнать ее он не сможет. Анри и не пытался. Он окаменел на тахте, уронив голову. Гнев его прошел.

— Ты отвратительный, безобразный дурак! Ни одна девушка не согласится выйти за тебя замуж! Никогда! Слышишь, ты? Никогда!

Ее ноздри трепетали от мстительной ярости, губы кривились. Она еще раз медленно повторила свои слова, как будто желала, чтобы они навсегда запечатлелись в его мозгу.

— Никогда! Слышишь? Никогда!

Он не видел, как она ушла. Слышал лишь звук шагов, удалявшихся по покрытым ковровой дорожкой ступеням, потом приглушенный гул взволнованных голосов в гостиной, звон колокольчика, а вскоре — скрип колес по мокрому песку у подъезда. Затем в доме наступила тишина — мягкая, обволакивающая тишина, милосердная и умиротворяющая.

А за окном — рыдающая ночь.

\* \* \*

Несколько минут он находился в прострации. В каком-то полуобморочном состоянии. Затем, словно струйки дыма на пепелище, в его опустошенном мозгу зароились бессвязные, отрывочные мысли. Удары сердца отсчитывали время. Человеческое сердце — не бьется ли оно в такт маятнику часов? Быстрее или медленнее его? Сколько боли может оно выдержать, прежде чем разорвется и перестанет биться?

Скоро он должен будет спуститься вниз и встретиться с матерью. Как это похоже на нее — не кинуться к нему навстречу, чтобы осыпать вопросами и упреками! Должно быть, сидит в гостиной. Бедная мама, простит ли она его когда-нибудь? Сколько горя причинил он ей!

Анри прихватил трость и заковылял к лестнице. Остановившись на нижней ступеньке, увидел, что мать действительно ждет его, сидя у камина, как он и думал. Сидит, смотрит на язычки огня, сложив руки на коленях. Ее бледное неподвижное лицо казалось высеченным из мрамора.

Он присел напротив в кресло, где недавно восседала баронесса. Уронил трость на пол и тоже сцепил пальцы на коленях.

Несколько минут они сидели молча.

— Ты с самого начала чувствовала, что я разыгрываю дурака? — начал он, не сводя глаз с камина. — Где-то в глубине души я тоже знал это. Но мне так хотелось надеяться, что Дениза не такая, как другие, что она может понять и полюбить меня. Так надеялся, что в конце концов поверил. Ты не представляешь, как легко обманывать себя, когда ты калека! Все время преуменьшаешь свое уродство, свою хромоту. И вот уже воображаешь себя чуть ли не приятным молодым человеком с легкой хромотой, а не колченогим карликом, каков ты на самом деле.

— Прошу тебя, Анри, не смей так говорить о себе!

— Но ведь это правда, мама! — сжав зубы, процедил он, ненавидя

себя.— Ты не знаешь, что там, на Монмартре, я дважды ходил в один ресторан, где знакомятся с определенными девицами. И дважды был отвергнут ими. Ты не знаешь, что не проходило дня, когда бы меня не мучили образы обнаженных женщин, я еженощно просыпался, словно от удара, и обнаруживал, что взмок от пота... Ты должна это знать, потому что знаешь обо мне все. Клянусь тебе, я изо всех сил боролся, гнал от себя эти видения, эти мысли, никогда не вызывал их сознательно, но они постоянно возникали во мне, возвращались опять и опять. Я даже думал, что схожу с ума.

Мать не шевелилась. На ее лице играли отблески каминных огоньков. Близки света пробегали по складкам черного бархата.

— Наконец,— продолжал Анри, помолчав,— однажды ты сталкиваешься с правдой о себе. А это все равно что наступить на змею. Это открытие не может исцелить тебя, но оно выбивает из тебя все надежды, всю глупость... Вот почему, мама,— он прямо посмотрел в ее глаза,— я должен вернуться на Монмартр.

Анри заметил, как дрогнули губы матери, как сжала она в кулаки лежавшие на коленях руки.

— Прости меня, мама,— выдавил он с отчаянием.— Прости, что я опять причинил тебе боль. Но это будет единственным выходом. То, что произошло сегодня, рано или поздно должно было случиться. Это могло произойти в Сан-Ремо, или во Флоренции, или еще где-нибудь. Дениза стала лишь предлогом. Любая девушка на ее месте поступила бы так же. Такое может повториться снова через полгода или через год. Но я не хочу, чтобы это повторилось! И только на Монмартре я смогу как-то жить. Только живя там, я не причиню тебе такого горя, такой обиды, как сегодня.

Мать опустила глаза. Из них выкатились две слезы и медленно поползли по щекам.

— Тебе будет безумно одиноко на Монмартре, малыш.

— Мне везде будет одиноко, мама. Теперь я это твердо знаю.

Он поднял с пола трость, встал и подошел к графине. Остановился перед ней.

— Пожалуйста, не плачь, мама. Нам обоим необходимо мужество. Ты же понимаешь — другого пути у меня нет. И я часто буду навещать тебя.

Спазм перехватил ему горло. Он потянулся и поцеловал ее.

— Никогда не забывай,— прошептал он ей на ухо,— что бы ни случилось, не забывай, что я люблю тебя и всегда буду всем сердцем любить.

Мать не пыталась успокаивать его, возражать. Анри был прав. Другого выхода у него не было.

Она проводила его глазами, когда он проковылял по гостиной и принял с трудом взбираться к себе по лестнице. Слышала, как по ступенькам стучала его трость, как захлопнулась дверь его комнаты. И снова перевела взгляд на затухающий огонь камина.

Ее Рири ушел. И теперь больше не вернется. Да, она ошиблась, рассчитывая, что сможет защитить его от судьбы. Судьба определена Богом. Что же дальше будет с ее сыном? Он калека, но он молод и жаждет любви и ласки. Что же будет? Этого она не знала. Знала лишь одно: он — ее дитя и ему будет больно. Очень больно. Но она не покинет его. Она будет любить его, молиться за него и ждать. До конца.

Часть **2**

**Мару Шарне**







## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Месье Тулуз!

Здрав юбки так высоко, что прохожие могли видеть ее ноги выше лодыжек, что в иное время она и сама сочла бы верхом неприличия, мадам Любе выскочила на улицу.

С тех пор, как ей доставили телеграмму, она пребывала в восторженном ожидании, правда, с долей неуверенности и даже страха. Должно быть, случилось нечто ужасное, если он решил возвратиться на этот отвратительный Монмартр! Но он — возвращался. И это было замечательно. Ей очень неоставало его. Все утро она места себе не находила — бродила по привратничкой из угла в угол... Ни в газету заглянуть, ни помолиться, перебирая четки, не могла: каждую минуту, заслышав стук колес, кидалась к окну.

И наконец — приехал!

— Месье Тулуз! — воскликнула она еще раз, когда фиакр остановился возле парадного. — Как живы-здоровы, дорогой месье Тулуз? Студия ждет вас! Печку там починили, и теперь тепло...

Она прервала поток слов.

Что-то с ним неладно. Вроде такой же, как был, и в то же время — другой. Глаза! Да-да — глаза! Они стали еще больше, потемнели, это уже не были веселые мальчишечьи глаза.

— Как вы себя чувствуете? Здоровы ли?

Он мягко и грустно улыбнулся ей.

— Благодарю вас, мадам Любе. Чувствую себя неплохо. И рад, что вернулся к вам. Я скучал по вашему обществу.

Когда они взобрались на его четвертый этаж, Анри распахнул дверь студии и проковылял прямо к окну. Целую минуту стоял там молча, опираясь на трость, оглядывая такую знакомую ему панораму — зубчатые крыши, дымовые трубы, зимнее небо, еще сохранявшее мягкие тона поздней осени... Оно напоминало ему последние прогулки с Денизой.

Он обернулся к застывшей в дверях консьержке, глубоко вздохнул. В воздухе еще витал невыветрившийся запах скипидара.

— Я рад, что вернулся, — повторил он.

Все еще улыбаясь, он взглянул на развешенные по стенам полотна, на свои мольберты, на плетеные кресла, на пышущую теплом печь, на Венеру Милосскую, стоявшую в том углу, куда в самом начале сунул ее Рашу. Ему почудилось, что он возвратился к старым друзьям.

— Теперь я буду не только работать здесь, но и жить, мадам. Тут будет мой дом. И никуда я отсюда не уеду.

Огромная комната с балконом, болбушущим, до потолка, окном, оклеенная обоями в белых и желтеньких незабудках, показалась ему еще уютнее, чем он вспоминал ее за все время отсутствия. На ночной столик возле тахты он поставил застекленную рамочку с дагерротипом матери, еще молодой, прикрепил к стенам несколько селейранских набросков и пожелтевшую фотографию своего лицейского класса, где они с Морисом, кровным побратимом, стояли бок о бок, два самоуверенных мальчишки. Через два дня прибыли чемоданы Анри. Мадам Любе разложила его белье и рубашки по ящикам комода, повесила в нише костюмы. Когда он нашел в ванной комнате полотенце со своей монограммой, свою мыльницу и бритвенные принадлежности, то окончательно почувствовал себя дома. Да, здесь он может быть счастлив.

Решил навестить Рашу, надеясь застать его за рисованием или играющим на мандолине в компании кладбищенских служителей, а то и в обществе очередной обольщаемой гризетки. Вместо этого его встретил усталый, измученный великан, скрючившийся в пальто над томами истории искусств. В жилище Рашу было страшно холодно.

— Как видишь, занимаюсь зубрежкой.— Рашу, робко улыбаясь, с трудом распрямился и поднялся из-за стола.— Приходится готовиться к этому проклятому экзамену. Ты и представить себе не можешь, что необходимо знать, чтобы стать музейным экскурсоводом.

Налет богемности, постоянный гогот — все слетело с него, как шелуха. В этом парне явно обозначились черты буржуа, жаждущего надежности и респектабельности. Танцы в «Элизе» или попойки в «Нувель» его больше не занимали.

— Все это хорошо, когда ты студент. Но что можно с этого иметь ныне?

Некоторое время они обменивались отрывочными фразами, стараясь восстановить былую близость.

— Знаешь, Гренье женился. А Люка вернулся в свою Нормандию.

— Ты мне писал о них,— кивнул Анри.— А как Винсент?

— О, Ван Гог все такой же. Пьет свой абсент и замучил всех своими прожектами о фаланстере художников. Летом в «Тамбурине», у Агостины, сделал свою выставку. И конечно, провалился. Предложил Агостине выйти за него замуж. Она, естественно, расхохоталась ему прямо в лицо: «Ах, плутишка! Ты же сумасшедший, ты безумец! У тебя в мозгу блохи прыгают!» И все на своем сицилийском наречии. Если между нами, думаю, она права. Винсент — хороший парень, но тут у него,— Рашу постучал себе пальцем по лбу,— кое-что не в порядке...

С Гоzi и Анкетеном они видятся редко, хотя оба до сих пор живут на Монмартре. Парни очень заняты, озабочены, чем бы набить брюхо. Замечательная профессия — живопись! В общем, минувшее лето было жарким и скучным. Слава Богу, возвращаясь как-то домой, он увидел у кладбищенских ворот одну девицу.

— Я, конечно, начал заливать ей по своему обыкновению, дескать, рисую Мадонну и не могу найти подходящей модели. Ну она и клюнула. Правда, не красавица и слегка туга на ухо, но доброй души девка. Золотое сердце. Работает кассиршей в отеле — во всяком случае, так о себе рассказывает. У женщин никогда не поймешь, правду они говорят или... Я даже

портрет ее написал, ну, не портрет, так, небольшой эскиз на кусочке холста. А она, представляешь, даже разревелась, когда я ей его подарил.

Он мягко улыбнулся.

— Хорошая девчонка эта Берта...— И несколько секунд пребывал в молчаливой задумчивости, обхватив колени своими широченными ладонями.— А ты что собираешься делать?

— Да вроде рисовать. Что я еще могу делать?

— Тебе-то, по крайней мере, не надо беспокоиться о куске хлеба. И рисовать можешь, что захочешь, не оглядываясь на всяких мэтров... Помнишь ту девицу у Агостины? Ну, ты еще хотел ее написать, потому что у нее «прозрачное лицо» и зеленые тени на шее?

— Помню,— невесело усмехнулся Анри.— Теперь мне можно класть любые зеленые тени; что захочу, то и наворочу. В этом одно из преимуществ любителя. Кому какое дело?

Им больше нечего было сказать друг другу, хотя они все еще хотели остаться друзьями. Но жизнь развела их. Дороги разошлись. То, что связывало их прежде, рухнуло. Они стали чужими людьми, связанными лишь общими воспоминаниями.

— Пора идти,— сказал Анри, поднимаясь с кушетки.— Не хочу отвлекать тебя от работы. Надеюсь, мы иногда будем видеться.

У дверей они пожали друг другу руки, смущенно улыбаясь. Глазами они прощались надолго.

— Думаю, до моего отъезда не раз встретимся,— бодрился Рашу.— Кстати, ты слышал о Жюли?

— Нет.

— Утопилась. Примерно через неделю после твоего отъезда.

— Где она похоронена?

Рашу пожал плечами.

— Знаешь ведь, как оно бывает... Ни денег, ни близкой родни. На похороны нужны деньги.

Анри вышел. Спустился вниз, сел на последней ступеньке и тихо заплакал...

Вечер, проведенный в «Нувель», тоже не ободрил его.

— Коммерческое искусство — это вещь! — разоткровенничался Гози, размахивая обтрепанными рукавами.— Вот где большие деньги! Иллюстрированные каталоги, реклама — у этого большое будущее. Даже дорожные указатели могут принести немалые гонорары. Главное — урвать заказ.

Анкеты похвастился своими успехами в оптовой реализации копий картин на религиозные темы.

— «Вознесение» Мурильо заняло у меня три дня. Мог бы сделать и за два, но эти чертовы ангелы требуют уйму времени. На «Рождество» кладу четыре дня. Масса аксессуаров.

Они изо всех сил старались казаться бодрыми и преуспевающими. Вспоминали прошлое, смеялись над старыми студенческими шутками.

Но через некоторое время запас воспоминаний о жизни мастерских Бонна и Кормона, которые, казалось, волновали их, оскудел. Истошился. За их бравадой Анри угадывал тревогу о будущем и даже сожаление о впустую потерянных годах.

— Весело, не правда ли? — мрачно усмехнулся Гоzi.— Годы потеешь, вкалываешь, чтобы пробиться в этот проклятый Салон, а когда ты его «сделал», начинаешь понимать, что ни черта твой «шедевр» не стоит.

— Половина живописцев, которые сегодня голодают в Париже, успешно «сделали» Салон,— подтвердил Анкетен.— Дега был прав, старый ублюдок. Искусство — это не профессия, это форма медленного самоубийства. Тебе-то, по крайней мере, такое не грозит, не беспокойся.

В первые же встречи Анри почувствовал их удивление от того, что он возвратился на Монмартр, и плохо скрытую зависть. Конечно, он мог позволить себе плюнуть на Салон. Ему все равно можно малевать все, что угодно, в своей прекрасной студии. Он никогда не должен был беспокоиться о куске хлеба, о том, чем прикрыть грешное тело, где перехватить в нужде денег. Он — богатый, они — бедняки. Мысль об этом непроизвольно отравляла их отношения, гнала прочь воспоминания о былом товариществе. Одним большим прыжком он снова вернулся в прошлое, в тот первый год, когда богатенький любитель живописи появился в мастерской Бонна.

Расставаясь, они уверяли друг друга, что по-прежнему будут часто видеться, понимая в глубине души, что это неправда.

Единственный, кто искренне обрадовался встрече, был Винсент. Глаза его сияли, когда он протянул Лотреку свою костлявую, в веснушках руку.

— Я скучал по тебе, Анри. Очень многое надо тебе рассказать. Пойдем к нам, выпьем немножко из запасов Тео.

Их глубокое взаимопонимание осталось прежним, и они провели вместе несколько счастливых вечеров, как и раньше, яростно споря друг с другом. Но Винсент явно был болен. Он был погружен в водоворот собственных почти маниакальных идей и переживаний, еще больше захвативших его за те месяцы, что они не виделись. Что-то чудовищное, пугающее появилось в нем, иногда он как бы сходил с ума.

Париж стал для него невыносим. Нервы взвинчены, губы конвульсивно подергивались. Временами глаза становились просто дикими, безумными. Вокруг Ван Гога витал дух неминуемой катастрофы.



*Альфред Сислеи*



*Поль Сезанн.  
Автопортрет*

Однажды он вломился в студию Анри пьяный, неистовый, вымокший до нитки.

— Думаешь, я совсем помешался? — простонал он, сгорбившись на кушетке и зажав голову ладонями.— Неужели действительно считаешь меня ненормальным? Считаешь, они упрячут меня за решетку?

В тот день в магазине папаша Тандиу Винсент столкнулся с Сезанном, и тот, посмотрев его работы, медленно растягивая слова, произнес:

— Честное слово, месье, вы рисуете, как сумасшедший.

Его замечание подействовало на Винсента, словно искра, попавшая в бочонок с порохом. После этой встречи он окончательно лишился покоя. Являясь в студию Анри, произносил бессвязные фразы, сильно жестикулируя и зачастую сбиваясь на голландский. Заикание его усилилось, участились и исчезновения.

Однажды в серое февральское утро он отправился в Оран. Последний взгляд на него запечатлел в памяти Анри красноглазого алкоголика, усмехающегося в спутанную бороду и тающего в облаке паровозного дыма. Винсент размахивал руками, как тонущий человек.

Спустя несколько дней наступило время проводов Рашу. Он сдал экзамены и получил назначение помощником экскурсовода в музей сонного, солнечного городишки Драгиньяна, в Провансе. И снова Анри поехал на станцию. Говорил подбадривающие пустые слова, которые обычно произносят провожающие.

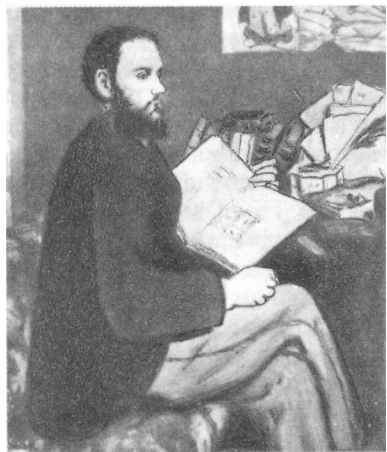
Порвалась последняя ниточка, связывавшая его с прошлым.

\* \* \*

Каждое утро он упорно принимался за работу. Трудился сразу над двумя-тремя полотнами, высиживал за мольбертами до темноты.

Теперь он писал быстро и уверенно. Частенько в это время мадам Любе читала ему газету.

Но в сумерках, когда краски меркли, наступало мучительное одиночество. Одиночество, сотканное из воспоминаний. Они просачивались сквозь



*Портрет Золя*

*Эдуард Мане*

стены потемневшей студии, проплывали перед глазами, змеями душили ему шею. Чтобы скрыться от них, он надевал котелок и сбегал из дома.

Заглянул как-то в «Нувель» и обнаружил там, какими чужими могут стать столь хорошо знакомые места. Кафе, еще год назад бывшее средоточием его интересов и дружеских споров, стало теперь шумной, незнакомой забегаловкой. Едва он появился, «зеленые» студенты прекратили свои разговоры и усталились на него, дивясь тому, что коротышка, не попавший в Салон, вновь объявился тут. Художники постарше были слишком заняты своими проблемами или стучали костяшками домино, посему не обратили на него никакого внимания. В свои двадцать два он был для них еще одним неудачником Монмартра — слишком старым для одних и слишком молодым для других. И неинтересным ни для кого.

Теперь его вечера превратились в бесцельные скитания. Он понял горечь одиночества в шумных, людных местах: в переполненных кафешантанах, в цирке Фернандо. Уже не занимали его все эти танцоры, клоуны, наездники, дрессированные собачки и акробаты в розовых трико.

Он даже заглянул в «Элизе», где к его столику подседа было Ла Гулю... Несколько ничего не значащих фраз, и она убежала танцевать, забыв о нем. Папаша Пудо приветствовал его обычными жалобами на поведение здешних девиц. Склонившись к его уху, блюстителю нравов доверительно поведал Лотреку новость: у них на Монмартре только что появился страшный человек — сержант жандармерии.

— Балтазар Пату,— почти шепотом сообщил папаша Пудо имя этого монстра.— Надеюсь, вам никогда не доведется иметь с ним дело. Это ужасный человек! Шастает ночами по району и выслеживает девочек, которые работают без желтого билета, ну, этих, выдаваемых префектурой карточек. Профессионалки обязательно должны иметь их при себе. А поскольку «на охоту» выходит он в партикулярном платье и его еще никто не знает в лицо, то бедняжки и не догадываются, что он — жандарм. Хватает их пачками и волочит в Сен-Лазар. Ужас! А если он как-нибудь заглянет сюда и увидит, что здешние девицы танцуют без панталон... Уж поверьте, у меня будут большие неприятности...

В конце концов основным пристанищем Анри стали небольшие пивнушки на бульваре Клиши. Там проводил он бесконечные вечера, изнывая от скуки, внутренне опустошенный. Котелок надвинут до бровей, трость прислонена к стулу, ноги не достают до пола. Сидел час за часом, почитывая в шуме и гаме вечерние газеты, наблюдая уловки гризеток, изредка делая в альбомчике наброски. Иногда поглядывал сквозь пенсне на свое уродливое отражение в темных оконных стеклах. Чего он ждал, и сам не ведал.

Говорила же мама, что ему будет очень одиноко. Так и вышло.

Как-то вместо бокала вина он заказал коньяк. Потом вторую порцию. И еще, и еще. Произошло что-то неожиданное: ноги перестали напоминать о себе — больше не болели. И еще одно — испарились мрачные мысли. Калека? Это кто калека?! Ничего подобного! Вот подхватил он самую красивую девушку и вальсирует с ней. Она прижимается к нему, как те гризетки в «Элизе» к своим партнерам. Положила головку к нему на плечо, зажмурилась, предаваясь чувственному наслаждению их движущегося объятия...

Анри с тайной гордостью обнаружил, что он «прирожденный пьяница», что без особо заметного эффекта способен проглотить поразительное количество спиртного. И испытал от этого открытия странное удовлетворение. Кто-то карабкается на горные вершины, ловко берет препятствия на скачках... Однако он тоже обладает умением, не всегда доступным другим,— может и умеет пить!

Коньяк помог ему и еще кое в чем: Анри преодолел свой страх перед борделем.

\* \* \*

На этот раз он подъехал к «Зеленому попугаю» и решительно позвонил у двери. Он специально приурочил свой визит туда к послеобеденным часам хмурого, дождливого дня, надеясь, что на обитых красным плюшем диванах салона пока нет посетителей и девушки свободны.

Открыла ему статная женщина неопределенного возраста, неряшливо одетая, с покрасневшими выпуклыми глазами и, отступив в сторонку, пропустила внутрь.

— Входите, входите скорее! Не видите, что ли,— дождь идет? — И затворила за ним дверь. По ее взгляду он почувствовал, что женщина нисколько не удивлена, даже, кажется, узнает его.— Не вы ли как-то приходили к нам года два назад? С друзьями? У меня хорошая память на лица — никого не забываю.

Он кивнул и сунул ей в ладонь серебряную монету, припасенную заранее.

— Спасибо, меcье, вот это настоящие чаевые! — хрипло поблагодарила она.— Побольше бы таких клиентов, и я могла бы вернуться к себе в деревню... Сдается, мы подружимся.

Она добродушно покосилась на него, как бы оценивая сообразительность посетителя.

— Вы приехали очень кстати,— доверительно сообщила она.— У нас пусто.— И с некоторым сомнением спросила: — Надеюсь, вы хоть и небольшого росточка, но заниматься любовью умеете? — Удовлетворившись его едва заметным кивком, она успокоилась: — Ну, тогда все в порядке! Большие или маленькие, старые или молодые — для нас все равны. Любовь — вот для чего мы здесь. Теперь ступайте наверх, в салон, а я покличу девушек.

Перехватывая перила и опираясь на трость, он потащился наверх по крутым ступеням, покрытым вытертой ковровой дорожкой. Тяжело дыша, остановился в дверях большой полутемной комнаты. Там было пусто. Но он сразу узнал интерьер — здесь ничего не изменилось: те же темно-красные портьеры, потрепанные плюшевые банкетки у крашенных металлических столов, диваны, механическое пианино, пыльные пальмы в углах, засиженная мухами гравюра — «Клеопатра в ванной», висящая меж двумя зеркалами в позолоченных рамах, запах пудры и застоявшегося табачного дыма. Салон как бы демонстрировал чувство униженности его обитателей и мертвящую атмосферу стоячего болота.

Анри взгромоздился на банкетку у стола, положил рядом трость, мокрый от дождя котелок, накидку и с бьющимся сердцем стал ожидать

дальнейших событий. Если прихожая поражала тишиной, то здесь, на втором этаже, жизнь, казалось, отличалась невиданной активностью: хлопали двери, слышался перестук быстрых шагов, чьи-то голоса.

В зал впорхнула девица в прозрачном negligé и розовых туфельках на высоких каблуках. Увидев посетителя, она застыла как вкопанная, улыбка на ее лице погасла. На мгновение его глаза встретились с ее потухшим взглядом. Девица тут же развернулась на каблуках и скрылась. И хотя сердце бешено стучало, он услышал другие шаги, неразборчивый возбужденный шепот, хихиканье.

Снова чья-то рука ответала краешек портьеры, и тут же в салон высыпали сразу пятеро женщин. Пять пар изумленных глаз-пуговиц уставились на него. Он почувствовал, что к лицу прилила кровь, щеки стали пунцовыми.

— Боже мой, вы же Анри!

Не в силах шевельнуться, он только смотрел, как пышнотелая брюнетка с добрыми коровьими глазами направилась к нему от дверей. Под тонкой сорочкой колыхались ее большие груди.

— Конечно, вы меня не знаете,— расплылась она в улыбке, остановившись перед ним,— но я-то вас знаю!

Крупное лицо еще сохраняло деревенскую свежесть. Чем-то она напоминала мадам Любе, лет эдак на двадцать пять помолодевшую.

— Меня зовут Берта.— Она оперлась о стол, в больших, навывкате глазах не гасла улыбка. И заговорила, словно отвечала на детскую загадку: — Мне о вас рассказывал ваш приятель Анри Рашу. Не здесь, он у нас не бывает.— И прежде чем он собрался с ответом, Берта повернулась к товаркам, которые тоже, следом за ней, осторожно приблизились к столу.— Все в порядке, девочки! Он художник. Как и мой шу-шу.— И объяснила новичку: — Мы так своих дружков называем.— Потом обернулась к подругам: — Тоже картины рисует.

Напряженность исчезла. Девушки окружили стол, возле которого сидел Анри.

— Это Вероника,— кивнула Берта в сторону худой брюнетки с торчащими из тонкогубого рта большими зубами, чем-то напоминающую печальную мышь.— Она у нас недавно. Новенькая. Только три месяца работает.

Вероника неуверенно протянула вялую руку. Открыла было рот, желая что-то сказать ради знакомства, но Берта представляла уже следующую девицу.

— А это Сюзанна. Она, как и я, из Бретани,— войдя в роль хозяйки, сказала Берта.— Это Гианина. Она из Венеции. Итальянка.— Небрежный тон, каким она рекомендовала Гианину, означал, что эта иностранка не заслуживает внимания.— А вот эта — Минетт,— продолжала она, усаживаясь рядом с Анри.— Она живет здесь столько же, сколько и я.

Познакомившись, девицы заняли места за столом, не обращая внимания на то, что все они полуголые. Завязалась беседа. Дело шло к ужину. В салоне появился шаркающий шлепанцами официант с перекинутой через руку не слишком чистой салфеткой. Он механически обтер ею стол, пока девушки заказывали блюда. Анри пустил по кругу пачку турецких сигарет, которые купил по дороге. Зажигал спички и подносил огонек закуривавшим девушкам. Они не привыкли к таким знакам внимания и смущенно благодарили.



Тайком они косились на его ноги, отмечали качество и покррой одежды. Видно было, что они начинают сочувствовать этому молодому калеке — такому скромному, хорошо одетому, пришедшему сюда не от хорошей жизни.

— Так вы, месье, значит, рисуете картины? — спросила Вероника, начиная разговор. — Всякие-всякие картины?

Берта не дала ему ответить, с раздражением и апломбом ответила сама:

— Разумеется, всякие! Когда ты настоящий живописец, то можешь нарисовать что угодно! Мой шу-шу тоже может нарисовать все, что ему захочется. Он даже мог бы и тебя запросто нарисовать, если бы ты согласилась. Ему это — раз плюнуть! — Берта даже прищелкнула пальцами, как бы в доказательство того, что портреты для Рашу были сущим пустяком.

— Однажды, — включилась в беседу Гианина, — я позировала одному австрийскому художнику. Еще когда жила в Венеции.

У нее были влажные, с поволокой, глаза, затененные длинными ресницами, классические черты лица, правда, изрядно заплывшие жирком. Своими густыми волосами, собранными на затылке в узел, она напоминала Анри величавую крестьянку из Романьи — героиню полотен Пуссена.

Мелодичным венецианским голосом она поведала о том, как проходили ее сеансы позирования: австрияк, человек меланхоличный, время от времени откладывал палитру и подходил к ней, чтобы погладить груди или обнаженные ягодицы, но вскоре возвращался к мольберту и вновь клал мазок за мазком.

— Он утверждал, что я его вдохновляю, — закончила она свой рассказ.

Сюзанна возмутилась. Нет, она не против того, чтобы переспать с мужчиной, но часами стоять перед ним голой? Ни за что!

— Это отвратительно! — Даже груди ее под кружевном рубашки дрожали от негодования. — Именно так: отвратительно!

— Но ты же не понимаешь, — увещевала ее Гианина, — художник — это не мужчина! Да он и смотрит-то на тебя совсем по-другому, не как клиент, а скорее как...

— Как врач! — подсказала Берта. Благодаря своей связи с Рашу она пользовалась среди подруг авторитетом в творческих вопросах. — Ты ведь не возмущаешься: каждый понедельник, когда приходит врач, без всяких возражений показываешь ему свою задницу. Так вот, это то же самое.

Вскоре все присутствовавшие девушки ввязались в дискуссию по этому вопросу. Анри с улыбкой наблюдал, как они свирепо поглядывают на оппонентов, одновременно отхлебывая уже принесенные напитки и дымя непривычными сигаретами с золотым ободком.

Что ж, эти девушки совсем не были грязными, вонючими шлюхами, как ему прежде представлялось. Симпатичные, добрые. Они словно бы вовсе не обращали внимания на его физические недостатки. Как, оказывается, все просто! От скольких страданий он был бы избавлен, если бы сразу пришел сюда!

— Рашу говорил, что вы хороший.

Анри обернулся к Берте и увидел, что она уже не участвует в споре, а смотрит на него.

— Вижу, это правда,— продолжала она вполголоса, улыбаясь ему своими выпуклыми голубыми глазами.— Вы действительно очень милый человек. Рашу тоже очень милый, правда? А как он играет на мандолине! И голос у него отличный. И сам он такой большой и нежный. Знаете, он нарисовал мой портрет. Я его сейчас вам покажу.— И умолкла, предавшись воспоминаниям.— Куда он девался? Здоров ли? — спросила она, и Анри был поражен робостью, прозвучавшей в ее тоне, недавно еще таком дерзком и резком.— Вы о нем что-нибудь знаете? Видите ли, он не может мне написать, я дала ему неправильный адрес. Наврала, что работаю кассиршей в семейном отеле. Не хотела, чтобы он знал...

— Рашу сдал экзамен на должность помощника экскурсовода и уехал в Драгиньян, в музей...

Берта не дала ему закончить.

— В музей?! Он работает в музее?! — Она обернулась к подружкам, продолжавшим спор, и, повысив голос, потребовала их внимания: — Разве я не говорила вам, что мой шу-шу — великий художник? Слышите? Даже работает в музее!

— У меня шу-шу тоже был не кто-нибудь, а начальник отдела в министерстве сельского хозяйства,— похвасталась Вероника, высокомерно поджав губы.— Говорил, что я напоминаю ему родную дочку!

Постепенно темнело. Октав, официант, зажег газовые лампы и подал по новой порции вермута. Вскоре начали появляться клиенты. Они неуверенно рассаживались на плюшевых банкетках, избегая рассматривать друг друга, вертя в пальцах котелки и кепи.

Девицы по очереди поднимались и, извинившись, покидали застолье.

— До свиданья, Анри,— прощались они, протягивая руки.— Было приятно познакомиться.

Он наблюдал, как они подходили к мужчинам. Присаживались рядом, обнимали и тянули привычное:

— Не угостишь ли стаканчиком, милый?

Кто-то завел пианолу. В «Зеленый попугай» вступала ночь.

Теперь рядом с Анри осталась только Берта.

— Может, пойдем ко мне? — предложила она, вспомнив о цели его визита.

Он кивнул и последовал за ней.

\* \* \*

Последующие месяцы Анри по-прежнему оставался одиноким, но был уже спокойным, временами даже почти счастливым.

Обычно он приходил в бордель во второй половине дня. По предложению Берты бывал и в комнатках других обитательниц «Попугая». Все относились к нему тактично. Опытные девицы старались доставить ему удовольствие. Ему было приятно, что они спокойно относятся к его уродству, ценят его чаевые, не скупаются на комплименты по поводу его мужской силы. В их объятиях он находил пусть краткое, но полное забвение своих горестей. Будьте благословенны, шлюхи, вознаграждавшие его за обиды, нанесенные «приличными» девушками! Они обучали его азам чувственности, анатомии наслаждения. С их помощью он познал сладострастье,

открыл холодный экстаз чистой эротики, не осложненной претензиями на романтику.

Среди этих девиц он обрел даже своеобразных друзей. В годы учебы его талант сочувствующего слушателя помог ему завоевать расположение студентов мастерской. Здесь это тоже высоко котирировалось. Со временем он перестал быть для девушек просто богатым клиентом, щедрым и вежливым, а превратился в поверенного, которому они выкладывали все о своей жизни, о ее горестях, проблемах и надеждах — реальных и вымышленных. Он вновь обнаружил, что большинство людей остро нуждаются в слушателе, испытывают потребность кому-то рассказать о себе.

Он дарил своим подружкам духи, конфеты, турецкие сигареты, которые им нравились. Отметил в своей записной книжке даты их дней рождения и не забывал всякий раз послать к празднику красивую корзинку со сладостями и банками гусяного паштета.

Постепенно он научился распознавать индивидуальность под безликой обнаженностью женского тела. У Сюзанны, например, был ребенок, и она старалась каждый франк отправить семье, воспитывавшей его где-то в деревне. Гианина была лесбиянкой. Вероника играла в тотализаторе на велосипедных гонках и, хотя неизменно проигрывала, часами изучала в газетах спортивные страницы. Минетт проводила свои свободные дни в театрах, посещая душераздирающие мелодрамы, которые потом подробно пересказывала подругам, и у них от ужаса дыбом вставали волосы.

И еще была Берта, добрая, заботливая Берта. Они часто говорили с ней о Рашу, она вспоминала восхитительные часы, проведенные в его обшарпанной студии возле кладбища на улице Ганнерон. Ее портрет, нарисованный Рашу, — маленькое темноватое полотно, был вставлен ею в позолоченную рамку и висел в ее комнатухе на самом почетном месте — прямо над биде... Ах, этот портрет! Он был здесь иконой, Моной Лизой «Зеленого попугая». Горе тому клиенту, который посмел бы не восхититься им!

— Это шедевр! — утверждал Анри. При этих словах большие коровьи глаза Берты наполнялись слезами и лицо вспыхивало от едва сдерживаемой гордости<sup>1</sup>.

\* \* \*

Так больше года текла его жизнь после возвращения на Монмартр, до тех пор, пока он случайно не забрел в новое кабаре «Мирлитон», открытое неким шансонье Аристидом Брюаном. Ему очень понравился этот задымленный подвальчик, так глубоко запрятанный под землю, что царивший там шум не привлекал внимания полиции.

На маленькой сцене сам хозяин — Аристид Брюан, обряженный в обыкновенную черную бархатную блузу, с красным шарфом на шее, в штанах, заправленных в сапоги, распевал баллады собственного сочинения.

Анри потихоньку пробрался к стоящему в углу столику, подозвал гарсона.

---

<sup>1</sup> Лотрек создал два портрета Берты.

— Двойной коньяк,— сказал он шепотом, боясь разрушить сентиментальные чары, овладевшие женской половиной аудитории кабаре.

Когда ему принесли заказанное, он приподнял тонкий бокал и залпом осушил его. Несколько секунд сидел неподвижно, откинув голову и зажмурившись, ощущая, как теплая волна прокатилась по всему телу. Открыл глаза, удовлетворенно улыбнулся и кончиком языка облизал щеточку усов. Удивительная штука этот коньяк!..

Анри бодро присоединился к вспыхнувшим аплодисментам публики и заслужил благодарную улыбку шансонье, который обратил на него внимание уже при входе. Аристид Брюан хотя и был поэтом, но в нем была сильно практическая жилка — сразу определил выгодного клиента.

— А теперь я,— произнес певец, глубоко вздохнув,— с вашего позволения исполню свою балладу «В Сен-Лазаре».

Публика встрепенулась как от порыва ветра и застыла в молчании. Аккомпаниатор взял на пианино несколько минорных аккордов. На чисто выбритом широком лице Брюана возникло выражение печального пафоса. Он перекинул конец шарфа за спину и начал балладу.

«В Сен-Лазаре» считалась шедевром Брюана. С этим были согласны и он сам, и все слушатели. Заунывная мелодия быстро запоминалась, слова затрагивали самые сентиментальные струны души каждого. Монмартрские гризетки считали эту песню неотразимой. Как и многие другие баллады шансонье — не романтические, а глубоко реалистические,— «В Сен-Лазаре» была посвящена проститутке, милой, нежной, обаятельной девушке, которая «делала бульвары» не из жадности к деньгам, не по лености или естественной склонности к разврату — нет, нет и нет! — только от огромной любви.

Пойманная без карточки — выдаваемого проституткам полицией «желтого билета»,— она была направлена в Сен-Лазар, страшную тюремную больницу для уличных женщин. Но о чем думала она, попав в столь ужасное заведение? Горевала ли о собственном несчастье? Нет! Все ее мысли неслись к шу-шу, который был теперь лишен ее заработка и с тревогой смотрел в будущее. Кто оплатит ему вермут, кто купит ему помаду для волос? В отчаянии девушка берет бумагу и перо, чтобы написать возлюбленному полное ошибок и неколебимой преданности утешительное письмо. Пишет о том, как волнуется она о нем, одинокая, без единого су в кармане, вынужденная заживо гнить в этой проклятой дыре. Но — мужество, милый друг! Скоро ее выпустят, и она с великой радостью бросится на панель и наверстает все упущенное время.

Такая самоотверженная преданность долгу поднимала уличную проститутку до уровня святой мученицы и заставляла слушательниц лить горькие слезы от жалости к собственной участи.

Аристид Брюан во всю силу легких трагически выкрикивал скорбные фразы, терзая лацкан своей бархатной куртки. По его лицу струился пот.

Наконец, последний куплет баллады:

Письмо заканчиваю я...  
Прости, любимый мой!  
Ты обездолен без меня,  
Но я всегда с тобой!

После заключительной ноты все гризетки, собравшиеся в зале, неоднократно получавшие болезненные удары от своих сутенеров, разрыдались, прощая любимым свои обиды. Что значат несколько пинков под зад для любящих?

Брюан закончил выступление под гром аплодисментов, под женские всхлипы и потоки слез. Слегка кивнул головой, прощаясь со слушателями, устало улыбнулся, спрыгнул со сцены и направился прямо к столику Анри.

— Совершенно выдохся! — Отдуваясь, он плюхнулся на банкетку всей своей двухсотфунтовой массой и вытер платком лицо. — Всякий раз, когда я это пою, песня изматывает меня. Наверно, вкладываю в нее слишком много души.

Анри подавил невольную улыбку. Неужели этот гигант действительно верит в собственную болтовню?

— Могу ли я предложить вам что-нибудь выпить? — спросил он.

— Выпить? Нет-нет, месье! Напротив, это я должен угостить вас. Да-да, я настаиваю! — И он тоном, не терпящим возражений, приказал гарсону: — Жан! Еще один коньяк для месье!

Удивление Анри по поводу столь неожиданного проявления хозяйского гостеприимства длилось недолго. Как только бокал с коньяком был поставлен на стол, Брюан склонился к гостю и конфиденциально сообщил, что его балладу собираются напечатать отдельным буклетом — текст и ноты.

— Я нашел устраивающего меня издателя. Дело за малым... Хотелось бы... мне лишь хотелось бы, — Брюан перешел почти на шепот, — это маленький рисунок на титуле, который явился бы своеобразной иллюстрацией. Вот я и подумал, мне о вас рассказывали, я и подумал, не согласитесь ли вы сделать это для меня? Ничего особо сложного — маленький сюжетец на тему баллады. Думаю, рисунок не отнимет у вас много времени. Естественно, — поспешно добавил он, — я заплачу. Правда, много не получится. Вы же знаете, я поэт... — Печальный вздох, беспомощное пожатие плеч. — А поэты всегда голодные, всегда без единого франка...

Тот факт, что он — владелец одного из самых преуспевающих на Монмартре кабаре, как-то вдруг испарился из его памяти. И шептал он так искренне, что Анри заключил для себя: Брюан в самом деле поэт и как поэт верит во все свои фантазии.

— О гонораре не беспокойтесь, — успокоил его Анри. — Я с удовольствием помогу вам.

Через несколько дней он принес в «Мирлитон» заказанную заставку для титула и вскоре совершенно забыл о ней.

\* \* \*

Буклет «В Сен-Лазаре» с рисунком Лотрека имел феноменальный успех. Он разошелся мгновенно. Брюан и его издатель разбогатели на слезах представительниц древнейшей профессии: обитательниц борделей, уличных бродяжек, вокзальных и солдатских шлюх, посетительниц дешевых бистро, девиц по вызову, дам полусвета и даже кокоток самого высокого пошиба — проституток всех рангов и тарифов, которые узнавали себя в героине баллады. Она стала чуть ли не гимном всех членов гильдии, занимающихся продажной любовью.

Анри эта работа не принесла денег, но в корне изменила его жизнь. Высокий мир критиков, раньше не обращавший внимания на такие мелочи, как заставка к массовому изданию песенки, проявил вдруг огромный интерес к рисунку Лотрека:

«Глубокий и горький комментарий к вечной проблеме проституции»;

«Рисунок, созданный поразительно проницательной и уверенной рукой молодого, до сих пор никому не известного художника»;

«Любителям изобразительного искусства следует пристально следить за будущими работами этого юного, но уже опытного мастера»...

Через некоторое время Брюан предложил публике еще одну свою балладу. И естественно, вновь обратился за помощью к любезному художнику, столь хорошо понимающему запросы поэтов. Критики, вновь удивленно протирая глаза, бросились к своим чернильницам, чтобы констатировать «обнаженный реализм» и «жестокую объективность молодого и дерзкого рисовальщика». Восхищенный всей этой высококлассной рекламой, Брюан окантовал оригиналы Анри и вывесил их на стенах своего кабаре, где они вызвали у посетителей живой интерес.

Теперь при встрече с Лотреком совершенно незнакомые люди приподнимали шляпы и кланялись ему. Прачки с улицы Коленкур с особой нежностью в голосе здоровались с ним, выглядывая из окон, официанты многочисленных кафе и бистро почтительно обращались к нему по имени и услужливо торопились выполнить любой заказ. «Конечно, месье Тулуз... Сей же миг, месье Тулуз... Это все, месье Тулуз?..» Конечно, не последнюю роль играли при этом и щедрые чаевые, но уважение этих людей к талантливому карлику было в достаточной степени искренним.

Обитательницы «Попугая» с гордостью сообщали своим посетителям, что бородатый толстогубый коротышка — великий художник, и в качестве доказательства кивали в сторону рисованных им заставок, приколотых к стенам их каморок или сунутых за рамку зеркала на туалетном столике.

Откуда-то вынырнули вдруг редакторы эфемерных издательств, упраснивавшие дать для их журнальчиков какой-нибудь сущий пустячок — набросок, эскизик, что-нибудь этакое, с чем они могли бы познакомить своих читателей. Правда, заплатить они пока не могут, только начинают издание, а начинать всегда ох как нелегко!.. Но потом, потом! Добродушно отмахиваясь от их посулов, Анри снабжал желающих своими рисунками. Обычно эти журнальчики после второго-третьего номера бесславно погибали, но их место занимали другие... Работы Лотрека становились все заметнее, о них начали говорить всерьез, хотя их создатель так ничего и не получал за них.

Потом пришла очередь торговцев картинами — владельцев мало, а то и вовсе никому не известных выставочных залов и магазинчиков, затхлых, темных, разбросанных по окраинам огромного города. Эти «меценаты», тяжело дыша от подъема по крутой лестнице на четвертый этаж, стучали в дверь его студии и сладко улыбались хозяину. Каждый уверял, что основной его страстью было и есть «открытие молодых талантов», что нет для него большего счастья, как предоставить неизвестному, но многообещающему молодому художнику «первый шанс». Возможно, у него есть какой-нибудь лишний, завалившийся эскизик, пустячок, который они могли

бы выставить в витрине своего заведения?.. И с довольными улыбками покидали студию, охапками унося полотна и листы, забыв дать автору расписку в их получении.

— Они же воры, месье Тулуз! — восклицала мадам Любе, всплескивая от возмущения руками. — Форменные грабители!

Он успокаивал ее, уверяя, что для него это неважно, он уже получил свое удовольствие, малюя эти вещи, а теперь они просто загромаждают студию. Пусть себе тащат!..

Неожиданно к нему нагрянули Анкетен и Гоzi. Да, они знакомы с его рисунками к балладам Брюана, все на Монмартре только о них и говорят. «Как, должно быть, разъярен этот старый ублюдок Кормон! Помнишь нашу мастерскую, Большую Мари, Агостину? Добрые старые времена, а? Кстати, как тебе удастся заставить всякие журнальчики публиковать свои рисунки? Не платил ли ты критикам за то, чтобы написали отзыв? Не мог бы ты замолвить словечко и о наших работах? А как насчет того, чтобы выпить пивка в «Нувель» как-нибудь вечером?..»

Потом Лотрека посетил Писсарро — глава импрессионистов, этаким пастух божьего стада. Он галантно поклонился мадам Любе, протянул ладони к голландской печке, чтобы согреть их.

— Да, ваши обложки буклетов и все эти мелочи в журнальчиках очень интересны. Они и самому Дега нравятся. Он хотел бы повидаться с вами, приглашает вас на следующей неделе вместе отобедать. Приходите. Прихватите свои работы. Может, месье Дега найдет их ужасными, но не верьте ни единому его слову!

Теперь у его столика в кафе частенько останавливались люди, которые прежде и внимания на него не обращали.

— Пардон, месье! Вы де Тулуз-Лотрек, не так ли? Позвольте поздравить вас с вашим последним рисунком. Потрясающе! Великолепно, абсолютно великолепно! Такое изящество, такой лаконизм, четкость линий! Не выпью ли? С удовольствием. Гарсон, один абсент! Я ваш преданный поклонник. Впрочем, и сам тоже художник...

Или скульптор, иллюстратор, гравер, романист, драматург — короче, один из типичных обитателей Монмартра, всегда готовых покорить Париж своим новым полотном, неоконченным еще романом, пятиактной трагедией в стихах... Большинство из них — хорошие парни: бороды, умные глаза, траурные ободки под ногтями. Потрепанные цилиндры, мятые котелки, широкополые фетровые шляпы, береты, пальто с потертыми манжетами, а то и с заплатыми на локтях. Многим уже за тридцать, а то и за сорок, но все они еще браврируют, как в годы студенчества, вопреки невеселым реалиям жизни, словно застыли в юношеских годах. У них все еще в ходу имена «Великих», они еще полны надежд — должна же фортуна наконец повернуться к ним лицом!

— Ничего! Теперь не то, что прежде. Теперь у нас есть собственный Салон, и мы можем показать публике любые свои работы. Кстати, месье Лотрек, надеюсь, вы тоже член Общества Независимых художников? Нет?! Так вы должны вступить! Непременно. Какой же вы представитель Монмартра, как можете считать себя здешним художником, если до сих пор не состоите членом нашего Общества?! Ай-яй-яй!

— Что ж, если для того, чтобы натурализоваться здесь, это необходимо, я готов! Общество так Общество. Мне тоже нужны друзья и единомышленники, как в старые времена учебы у Кормона.

Уже известное имя, а также репутация многообещающего художника сделали его желанным членом Общества Независимых. Вскоре коллеги избрали его в исполнительный комитет организации. Он все больше превращался в достопримечательность Монмартра.

И здесь с ним произошла одна из тех невероятных мелодраматических историй, какие случаются только в реальной жизни.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Морис!

В дверях стоял Морис. В цилиндре и пальто, высокий, светловолосый, красивый, с убийственными усиками — очень похожий на Тео Ван Гога, только без его бородки, но с таким же честным и серьезным лицом, с такими же голубыми глазами — терпеливыми, преданными и добрыми.

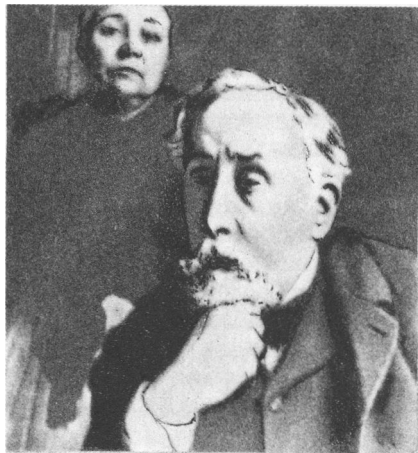
— Анри!

Что последовало за этими восклицаниями, не поддается описанию. Мадам Любе, наблюдавшая эту сцену, выронила газету и решила, что ее маленький месье Тулуз сошел с ума, а высокий молодой человек, ворвавшийся в студию, должно быть, сбежал из желтого дома. Лишь через несколько минут бешеных рукопожатий, бессвязных сдавленных восклицаний и бессмысленных жестов ее посвятили в этот секрет.

— Мадам, это же Морис Жуаян! Мой самый-самый давний, самый лучший друг, мой кровный побратим! Мы не виделись пятнадцать лет. Я считал, что он в Лионе, а он — что я живу в Альби. А оба мы все эти годы были в Париже. Когда-то мы учились в одном лицее, играли в индейцев в парке Монко. Мечтали, что вырастем и отправимся вместе в Канаду, охотиться на медведей...



*Портрет Камилля  
Писсарро*



*Эдгар Дега*



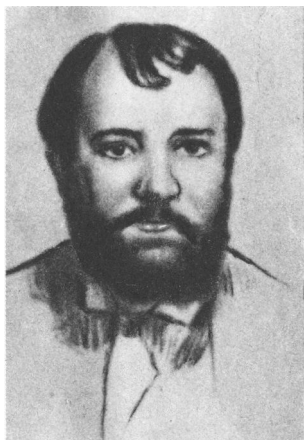
Это сообщение, выпавшее сияющим от счастья Анри на одном дыхании, не вполне объяснило женщине, что случилось, но убедило ее в том, что произошло нечто замечательное. И мадам Любе, тут же заразившись эмоциональным напряжением момента, залилась слезами, заявляя сквозь рыдания, что ни с чем нельзя сравнить подлинную дружбу и что месье Тулуз, конечно, достоин иметь настоящего друга. И поспешила к себе вниз за двумя чашками травника и, появившись вновь, не оставила молодых людей до тех пор, пока они не выпили до дна, объясняя свое требование тем, что на дворе только начало апреля, зима еще не кончилась, погода коварная, особенно же опасен ночной воздух Монмартра.

А час спустя Морис в тихом ресторанчике разворачивал перед Анри цепочку ничем не примечательных событий, которые сделали возможным чудо их встречи.

— Простое стечение обстоятельств. Ты уже знаешь, я работаю помощником редактора в «Пари иллюстре». Вчера отправился в типографию к нашему печатнику с гранками для следующего номера. Прохожу через отдел литографий и вижу оттиск чьего-то нового рисунка. Заинтересовался. И вдруг обратил внимание на подпись в уголке: «Лотрек». И меня как ударило: ведь это же мог быть ты! Видел бы ты, как я бежал из типографии! Ведь я был так уверен, что ты живешь у себя, в Альби, мне и в голову не приходило навестить вас по старому адресу. А тут кинулся на бульвар Малерб. Консьержка подтвердила, что твоя мать снимает ту же квартиру. В два прыжка взлетел на второй этаж. Графиня дала твой адрес — и вот я здесь!

Таким образом, после пятнадцатилетней разлуки Морис Жуаян вновь вошел в жизнь Анри Тулуз-Лотрека. Их старая близость возобновилась без каких-либо усилий. Кровные побратимы проводили теперь вместе много вечеров, встречались по воскресеньям, снова спорили, мечтали, вспоминали былое, поверяли друг другу самое сокровенное.

— Знаешь, Анри,— признался однажды Морис,— я тебе еще этого не говорил, но последние два года неоднократно делал попытки сменить



*Художественный  
критик Луи Леруа*

*Клод Моне*

работу. Хотелось бы иметь свою картинную галерею. Торговать картинами.

— Торговать картинами? — В руке Анри сверкнул шпатель, которым он очищал палитру. — Собираешься стать торговцем, в то время как перед тобой такая перспектива — руководить самым крупным в Париже иллюстрированным журналом?! С ума сошел! Ведь это такое же скверное занятие, как живопись. Разве тебе не известно, что во Франции все рисуют и никто не покупает картин? Зачем покупать, если каждый сам может малевать, что ему заблагорассудится?

\* \* \*

Пришла добрая весна 1888 года. Анри был счастлив. Счастливее, чем когда бы то ни было. В следующем году Франция собиралась праздновать столетие своей Великой революции, столетие падения Бастилии. В честь этих событий правительство Третьей республики готовилось открыть очередную Всемирную выставку, которыми так славился Париж. На этот раз она должна была стать самой грандиозной.

На огромном пустыре Марсова поля возводился волшебный город из «Тысячи и одной ночи» — белокаменные дворцы, гаремы, мечети, замощенные мраморными плитами дворики, смальта и мозаики бесчисленных фонтанов, минаретов, камбоджийские храмы, гаитянские хижины с крышами из пальмовых листьев, тунисские базары, экзотические постройки... А главное — с каждой неделей росла Эйфелева башня — чудовищная конструкция из железного кружева, стрелой взметнувшаяся в небо, как бы бросая ему вызов. По устремленным ввысь балкам муравьями ползала целая армия рабочих. Газетчики с пафосом сообщали читателям, не скупясь на эпитеты, что башня будет самым высоким строением в мире: выше нью-йоркских небоскребов, выше купола римского собора Святого Петра и Вашингтонского обелиска, дважды превзойдет высоту пирамиды Хеопса. Ее фундамент уходит в землю на сорок восемь футов! Только заклепок для скрепления конструкции требуется два миллиона четыреста тысяч двадцать шесть штук!

В этом году был счастлив и Монмартр. Не из-за выставки, к которой он прямого отношения не имел, а просто потому, что пришла весна, что жандармы закрывали глаза на многие нарушения порядка, что ласточки, попискивая, прошивали кроны каштанов на бульваре Клиши.

Начиналось лето. На террасе перед «Нувель» потягивали свой абсент бородатые художники, как веерами, обмахиваясь широкополыми шляпами. Семейные обеды переместились из кухонь и столовых на квартирные балконы. Соседи через улицу за просто переговаривались друг с другом. Прачки улицы Коленкур утирали пот ладонями в мыльной пене. Кучера дремали на козлах фиакров, выпустив из рук вожжи, в то время как их лошади, обряженные в нелепые соломенные шляпы с вырезом для ушей, терпеливо стояли возле сточных канав, отгоняя взмахами хвостов докучавших им мух и оводов.

Таким был в лето 1888 года Монмартр — оазис наивного героизма, веселое прибежище богемы и беззаботных влюбленных, полусельская окраина Парижа, где на каждом свободном клочке земли цвели вишни и целовались парочки, где у крылечек своих хибарок учились танцевать канкан юные

прачки, потому что ноги готовы были пуститься в пляс и на сердце было легко.

Это все еще был старый Монмартр — непристойный, обособленный от города, сентиментальный. Но он доживал последние дни.

\* \* \*

Ангел Смерти уже витал над патриархальным Монмартром, но пока никто из аборигенов не обращал на него внимания, потому что он принял вид тучного мужчины средних лет с редющей шевелюрой и седой полоской усов над верхней губой. В своем пальто из магазина готового платья, в изрядно потрепанном костюме он походил на крестьянина, обрядившегося в городскую одежду, или на мелкого провинциального чиновника, попавшего в столицу, а то и просто на полицейского в отставке. Неторопливый, ничем не выделяющийся из толпы, он прогуливался по местным улочкам, жуя незажженную сигару; время от времени останавливался, чтобы почесать подбородок или сплюнуть в сточную канаву.

Анри столкнулся с ним в «Элизе», где привычно набрасывал в своем блокноте позы канканеров.

К его столику подошел незнакомец и вежливо приподнял котелок.

— Меня зовут Зидлер, — представился он. — Шарль Зидлер.

Анри поднял глаза на подошедшего.

— Рад познакомиться, месье Зидлер. Анри Тулуз-Лотрек, — представил он в свою очередь и вновь взялся за карандаш. — Может, желаете кружечку пунша?

Незнакомец опустил на банкетку напротив.

— Благодарю, нет. Я уже пил. — Некоторое время он молча наблюдал за рисующим Анри, опершись на стол пальцами так, что полусогнутая кисть руки напоминаласторожившегося краба. — Я уже почти месяц каждый вечер прихожу сюда.

— Вы, вероятно, из Эльзаса? — улыбнулся Анри, уловив его акцент. — Мой лучший друг из Малхауза. Может, знаете его? Морис Жуаян.



*Поль Гоген*

*Огюст Ренуар*

Визави отрицательно покачал головой.

— Я действительно из Эльзаса, но не из Малхауза. Кроме того, я едва ли мог столкнуться там с вашим другом, если он не из бедных слоев, как моя семья. Семи лет я начал работать на сыromятне, а это был тяжелый труд, особенно для мальчишки, уж поверьте мне. Грамоте я научился лишь к двадцати годам.

Сквозь сильные линзы своего пенсне Анри разглядывал эльзасца. Что-то странно притягательное, какое-то обаяние было в его облике: затаенная энергия крестьянина, пронизательный простонародный ум. Что ему нужно? Зачем пожаловал он в «Элизе»?

— Как я уже сказал вам, сюда я прихожу каждый вечер. Целый месяц хожу. И все время приглядываюсь к вам. Вы всегда рисуете канканеров. Вижу, вас интересует канкан, не правда ли? Меня тоже.

Все еще улыбаясь, Зидлер осмотрелся вокруг — не подслушивает ли кто их беседу.

— Канкан может принести большие деньги.

— Канкан?

Зидлер утвердительно кивнул.

— Но только тому, кто знает как.

— Как что?

Зидлер тихо рассмеялся, прочитав удивление на лице Анри.

— Как его использовать. Если хотите, коммерциализировать. И будьте уверены, я знаю, о чем говорю. Я два десятка лет занимаюсь зрелищным бизнесом. В настоящее время руковожу цирком «Ипподром». Я — его директор.— Он протянул Анри визитную карточку.

На Лотрека она произвела впечатление: цирк «Ипподром» был самым большим заведением такого рода в Париже.

И вот в полуночном шуме и грохоте монмартрского ресторана Зидлер начал посвящать Анри в свои планы.

— Да,— сказал он, опуская на стол пивную кружку и вытирая ладонью пену с усов.— Я уже целый год стараюсь найти что-нибудь новенькое, непохожее на то, что уже приелось публике, что-нибудь такое, что могло бы принести мне миллион.

— Миллион? Всего-навсего...

— Если бы дело шло лишь о деньгах на жизнь, я бы не стал этим заниматься. Мне хватает. Но я хочу миллион... или ничего.

— И вы считаете, что канкан принесет вам эту кругленькую сумму?

— Да,— со спокойной убежденностью кивнул Зидлер.— На канкане я заработаю миллион.

— Что ж, давайте выпьем за ваш успех.

Они осушили рюмки. Анри заказал еще коньяка.

Эльзасец снова вытер усы. Легкая усмешка тронула его губы.

— Не верите? Думаете, я рехнулся? Нет, месье, я не сумасшедший. Когда я добьюсь того, о чем сказал вам, о канкане узнает весь мир! Я уже все обдумал и уверен в успехе. Вот послушайте!

Он резко отодвинул от себя принесенный официантом бокал.

— Будущей весной откроется Всемирная выставка. В Париж слетятся тысячи и тысячи людей со всей планеты. И что они будут тут делать?

— Я полагаю, посещать выставку.

— Да-да! Станут забираться на самую верхотуру строящейся башни, тарашить глаза на негритосов, китайцев, на заклинателей змей, кататься на слонах и верблюдах. А что еще? Где и как они будут убивать свободные вечера? — Он достал из жилетного кармашка сигару и, не прикуривая, зажал в зубах. — Видите ли, — продолжал он, перекатывая ее из одного угла рта в другой, — люди — существа своеобразные, самостоятельно веселиться они не умеют. Кто-то должен их развлекать. Люди не выносят одиночества, жаждут удовольствий. А удовольствие в нашем мире олицетворяет женщина. Если я что-то твердо усвоил за два десятилетия работы в развлекательном бизнесе, так именно эту истину. Пусть глупо, но таковы люди. И тут-то следует обратить внимание на канкан. И канкан сделает меня миллионером.

— Возможно, вы и правы, — с некоторой долей сомнения протянул Анри. — Возможно... Однако, хотя в «Элизе» танцуют канкан уже не один год, насколько я знаю, он еще никого не сделал богатым.

— «Элизе»! — презрительно фыркнул Зидлер. — Не говорите мне об «Элизе»! Можно ли надеяться, что богатые люди — из Америки, Англии — пойдут в подобные заведения? Тут даже нет бара! Я знаком со здешним хозяином. Что ни говорите, но месье Деспре — не коммерсант. Он ни черта не понимает в развлекательном бизнесе. Не может, извините, отличить своего живота от собственной задницы. Сидит на золотой жиле, а довольствуется... Но подождите, я покажу ему, что можно заработать на этом канкане.

— Каким образом?

Вопрос вонзился в мозг Зидлера, как бандерилья — в бычий бок на корриде.

— Каким? Ну что ж, скажу вам каким. Прежде всего, я ангажирую всех девиц, которые прилично танцуют канкан в «Элизе-Монмартр». Особенно ту лихую блондинку со смешным шиньоном на макушке.

— Ла Гулю?

— Еще не интересовался, как ее зовут, но эта девушка умеет танцевать. Она будет сенсацией. Затем я найму здешнего дирижера. А потом, когда все контракты будут подписаны, построю собственное кабаре. И будьте уверены — там будет бар. Да, месье Тулуз, бар. Бар, где делают деньги!

— Это зависит от того, по какую сторону стойки вы находитесь, — пошутил Анри.

Но Зидлер не принял его шутки. Он продолжал развивать свои планы.

— Чтобы сделать миллион, необходимо иметь настоящий ликер и хорошую барменшу. Именно — барменшу! Женщина-бармен стоит десяти барменов-мужчин. Но та, которую я имею в виду, заткнет за пояс целую сотню. Я присматривался к ее работе: расторопная, проворная, одним взглядом может поставить на место пьяницу, того, кто не умеет пить, того, кто собирается рыдать в свой стакан или затеять потасовку. И к тому же она прехорошенькая. Когда она мурлычет клиенту: «Еще стаканчик, месье?», никто не может устоять и не повторить. К тому же — трудолюбивая и честная.

— Где же обретается подобное совершенство?

— В «Фоли Бержер». Зовут ее Сара, и работает она там барменшей. Я заполучу эту девицу, даже если мне придется платить ей сотню франков в месяц да еще десять процентов прибыли в придачу.— Он вдруг замолчал, пораженный своим безрассудством.— Ну, пусть не десять. Это слишком. Но пять — дам!

— Кстати, о напитках. Не хотите ли еще чего-нибудь? Я спрошу еще коньяку.

Зидлер отрицательно покачал головой:

— Спасибо, месье. Я не любитель выпить. А если пью, то в основном — пиво. Иногда, когда у меня депрессия, употребляю ром. Вот и все мои пристрастия.

Анри заказал себе коньяку, а Зидлер продолжал посвящать его в свои планы:

— У меня будет не только шикарный бар и отличная барменша, но и настоящее шоу.

— Шоу? В танцзале?

— Именно так. Не могут же посетители беспрерывно танцевать. Их, как я уже говорил вам, необходимо развлекать. Вот у нас и будет профессиональное шоу. И не на сцене, как в «Фоли Бержер», где надо иметь телескоп, чтобы как следует рассмотреть ножки балерин, а прямо в центре танцзала, где их смогут видеть все. Вначале, пока зрители только усядутся за свои столики, я выдам им на заправку Иветт Гильбер. Слышали о такой? Я увидел ее на конкурсе в маленьком кафе, посетители которого не умеют оценить ее талант. А я уверяю вас, что она талантлива. У нее свой стиль. Своя манера. Потупив глазки, с видом невинной девушки, она выдает публике такие непристойные куплеты, что волосы встают дыбом. Вы услышите ее сами, я познакомлю вас, когда мы начнем репетиции. И уверен, она вам понравится. И она тоже будет сенсацией моего кабаре. После нее публика сможет немного потанцевать сама. Пусть разогрется, почувствует жажду. И когда они начнут наперебой заказывать напитки, я подам им Грий Эгу. Ее вы тоже еще не видели? — И, не дожидаясь ответа, он продолжал: — Малость тяжеловата, но когда начнет крутить задом, исполняя «танец живота», то заставит вас выскакивать из брюк. У этой девчонки такой пупок, который может все. Разве что не поет «Марсельезу»!.. После Эгу пускай еще потанцуют. А далее я предложу публике акробатическую группу Морелли — они выступали в моем цирке. Это для женской половины публики. Вы же знаете, каковы пристрастия особ женского пола. Они любят глазеть на мужиков с большими бичепсами, облаченных в розовые трико. Их это возбуждает. И снова — танцы. И еще несколько номеров программы. И наконец — канкан. Вы должны признать, что ничего более подходящего для финала, чем канкан, не найдется. С ним ничто не сравнится.

— Да, этот танец приковывает к себе все взгляды. Время от времени — даже взоры полиции нравов,— опять пошутил Лотрек.

Зидлер небрежным взмахом руки как бы отмахнулся от этой опасности. И вдруг умолк. И как-то смущенно спросил:

— Может, вы все-таки считаете, что я малость того... тронутый? Не понимаете, чего это я так разболтался?

Анри, как бы извиняясь, развел руки.

— Может, думаете, чего это он так подробно излагает мне свои замыслы? Ведь и знакомы-то мы не больше часа... Но, видите ли, если человек день за днем перебирает в голове всякие варианты на одну тему, наступает момент, когда ему необходимо с кем-то поделиться, с кем-то, кому, по его разумению, можно доверять. Разве у вас такого не бывало? Разве вы никогда не чувствовали, что не в состоянии больше держать все в себе и надо поделиться с тем, кто вас поймет?

Глаза его испытующе уставились на Анри, встретились с его глазами.

— Как только я вас увидел, то понял, что вы именно тот самый человек, месье... Кстати, вы назвали свое имя, а я запомнил...

— Тулуз-Лотрек. Но обычно меня называют короче — Тулуз.

— Так вот, месье Тулуз, я почувствовал к вам доверие.

— Спасибо. Я не предам вас. А где же вы собираетесь открыть свое заведение?

— Здесь же, на Монмартре.

— Не слишком ли далеко от центра, от Марсова поля?

— Нет, месье, Монмартр — это именно то, что нужно. Я тщательно обследовал весь район и нахожу, что здесь есть все необходимое для успеха моего предприятия. Монмартр живописен, безнравственен, богемен. Как раз то, что привлекает туристов. Они уверены, что художники романтичны.

— Большинство действительно романтики, — улыбнулся Анри. — Но учили ли вы, что тут и без того уже много танцевальных залов?

— Но не таких, каким будет мой! Не таких, дорогой месье Тулуз! Уверяю вас, что такого еще никогда не было не только в Париже, но и на побережье Тихого океана, в Сан-Франциско. А у них там много интересного, поверьте мне. Нет, мой кафешантан будет уникален. Здесь будут объединены бар, дансинг и... бордель... С такой комбинацией ничто не сможет конкурировать. Даже внешний облик будет не таким, как у подобных заведений. Я воздвигну ветряную мельницу, новую мельницу Монмартра, на бульваре Клиши. Зачем? Просто чтобы не походить на все остальные танцзалы и кабаре. И выкрашу ее в красный цвет. Все будет красное — внутри и снаружи. Зачем? А затем, что во всем Париже нет ни одного красного здания. И еще потому, что красный цвет удивительно красив. Особенно при полном освещении. При этом цвете женщины кажутся прекраснее, а мужчин тянет к любви и алкоголю. У моей мельницы будут настоящие, вращающиеся от ветра красные крылья — с сотней красных же электрических лампочек на каждом крыле, новинка, которую я выпущу из Америки. Крылья красной мельницы на холме будут видны издалека, за десятков километров. Вы — художник, вы можете представить себе это!

Зидлер вновь замолчал, уставившись в пространство, как бы любясь взмахами алых, огромных, иллюминированных огоньками электролампочек крыльев на фоне темного ночного неба. Затем он взял бокал, залпом осушил его и, как прежде, вытер ладонью усы.

— Да, месье Тулуз, учитывая, что следующей весной откроется выставка и сюда хлынут все эти толпы богатых людей и то, что у меня впереди еще

семь-восемь месяцев... Я создам самый знаменитый кафешантан в Париже, во Франции... Да что там во Франции! Во всем мире! Уверю вас, я не промахнусь. Обдумаю все до малейшей детали. Я даже придумал название. Знаете, как будет именоваться этот шедевр?

— Представления не имею,— признался Анри, поднося к губам бокал с коньяком.

— Я назову его «Мулен Руж»<sup>1</sup>, месье. Запомните — «Мулен Руж». Это будет славное имя: «МУЛЕН РУЖ»!

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

2 апреля 1889 года трехцветный флаг Французской республики взвился над сооруженной Эйфелевой башней. Президент Франции господин Карно, одетый в великолепный вечерний костюм, торжественно объявил в десять часов утра, что Большая Всемирная выставка открыта. Миллионы французов обрели возможность осуществить свою мечту: не покидая родимых мест, увидеть весь мир.

В течение нескольких месяцев тысячи граждан ежедневно толпами устремлялись на Марсово поле поглазеть на туарегов — укутанных в голубые покровы жителей Сахары, на плетущих циновки женщин из Тимбукту, на мальгашских принцев, раскрашенных цветной глиной, на таитянских ловцов жемчуга, конголезских вождей, заклинателей змей из Аннама, на шаманов с Мартиники — на поющее, танцующее, бьющее в тамтамы человечество со щитами, в тюрбанах, фесках, барсовых шкурах, набедренных повязках, саронгах, кимоно и расшитых индийских сари. Парижские мальчишки взбирались на спины терпеливых слонов, а хихикающие гризетки гордо восседали меж верблюжьих горбов, скакали на арабских пони. Дамы в модных шляпках принимались к ароматам алжирских духов, приценивались к тунисским браслетам, в то время как их мужья, «потеряв» в сутолоке своих дам, «неожиданно для себя» оказывались в палатках, где демонстрировали свое искусство индийские танцовщицы.

Из Англии прибыл коротконогий, пучеглазый прожигатель жизни в белых гетрах и смокинге с атласными лацканами. Тут же сердца тысяч парижских кокоток затрепетали, едва сдерживаемые корсетами из китового уса. В свои сорок восемь лет Эдуард, принц Уэльский, все еще оставался беспутным шалопаем викторианского двора — его *enfant terrible*<sup>2</sup>, — но здесь, в Париже, он был наследником британской короны. И внуки санюлотов Великой революции, обезглавивших своего добродетельного короля, готовы были до хрипоты выкрикивать приветствия обладавшему всеми пороками добродушному гуляке. Они одобряли его.

Когда приехавший из-за Атлантики маг и волшебник Эдисон, заставивший машину повторять человеческий голос и зажегший солнце в маленьких стеклянных шариках, поднялся в «летающей кабине» на вершину Эйфелевой башни, восторг публики достиг апогея.

<sup>1</sup> Moulen Rouge — Красная Мельница (франц.).

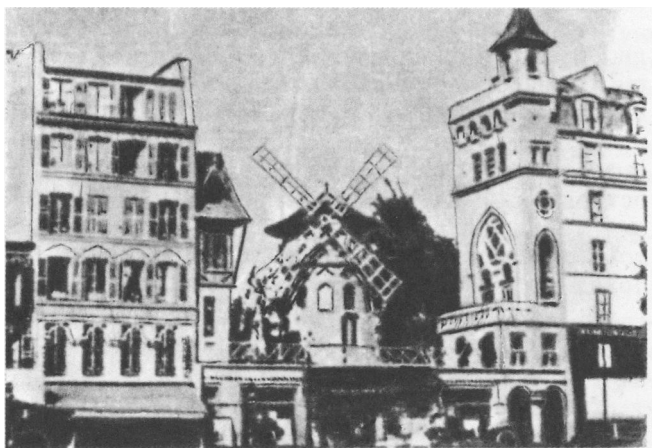
<sup>2</sup> Ужасный ребенок (франц.).



В Париж, как и предсказывали газеты, съехалась «вся Вселенная». На улицах и за столиками бесчисленных кафе слышалась многоязычная речь. Официанты и бармены мгновенно стали разбираться в биржевых курсах валют. Они твердо знали: пять франков равны одному доллару, или фунту и двадцати пяти пенсам, или рублю и четырем копейкам, или двум голландским флоринам. А вот австрийский крейцер идет всего за два су... Кокотки превратились в полиглотов и изъяснялись с клиентами на невообразимой смеси всевозможных языков: «Вы инглиш, не так ли?.. Инглишмен очень карашо, гуд, они джентльмен... А вот ваш Лондон очень грустный... В Лондоне нет л'амур. В Париже л'амур сколько угодно... И женщины здесь бьютифул, самые бьютифул. И страстные... Я прямо сгораю от инглишменов. Ола-ла!.. Вы покупайт мне немного дринк? Выпить. Йес?..»

Над Монмартром закрутились красные, расцвеченные лампами крылья «Мулен Руж», и Анри стал самым преданным ее завсегдатаем. Всю прошлую осень и зиму он наблюдал за осуществлением безумного проекта Зидлера. Этот бывший директор цирка превратился в человека-электрогенератора. Шарль Зидлер работал по шестнадцать часов в сутки, не упускал из виду ни одной мелочи. Он лазил по лесам возводимого храма канкана, покрикивал на работяг, сам выбирал ковры и фарфор, нанимал персонал, руководил репетициями, торговался с поставщиками... Негодовал, острил, жевал свою вечную незажженную сигару... Их знакомство в «Элизе» переросло в прочную дружбу.

— Говорю вам, месье Тулуз: я не имею права на ошибку. Я все продумал и, учитывая, что до открытия выставки... Извините. Эй, вы там, наверху! Что это ваша кисть едва ползает? Машите как следует. Черт вас побери! Вы что думаете, я плачу вам два франка в день, чтобы вы мух считали?.. Так вот, месье Тулуз, все идет, как я предполагал. Кстати, как вам нравится бар? Настоящее красное дерево. Целое состояние на него угрохал, но погодите, когда за стойку встанет Сара... Я говорил вам, что заполучил ее? Да-да! Это было не просто, но заполучил! Оторвал от всяких дураков и в конце концов переманил.



*«Мулен Руж»*

Когда спал этот человек? Когда отдыхал? Этого не знал никто. Все свое окружение держал в страхе. Тремопара, пухлый седой человечек, в прошлом известный клоун, а ныне ассистент Зидлера, чуть не до дыр протер свое круглое личико, утирая пот красным носовым платком.

В марте начались репетиции, начались прямо в неоконченном, еще пахнущем свежей краской зале, среди грохота молотков, скрежета пил, криков электриков. Тут Анри снова встретил Ла Гулю и других быстроногих прачек, которых знал по танцам в «Элизе». Тяжело дыша и обливаясь потом, они подходили в перерывах к его столику. Канкан больше не был любительской импровизацией — стал тяжелой, изнурительной работой.

Иногда к нему подсаживался Зидлер со своей вечной сигарой и спрашивал: «Ну как вам мое шоу? Видите, все лучшие канканерки у меня. А на Ла Гулю я делаю главную ставку. Уверяю вас, это будет сенсацией. Скоро должны появиться афишки. Это будет самая завлекательная реклама из тех, какую только доводилось вам видеть. Я дорого за нее заплатил, но она заманит сюда толпы народа. Реклама, месье, вот в чем секрет успеха... Прошу прощения... Эй, вы там, на балконе! Продолжайте делать дело!.. Эгу! Мадемуазель Эгу! Будь добра, подойди сюда. Что я слышал? Вы повздорили с Ла Гулю, чуть ли не подрались? Думаешь, «Мулен Руж» такой же притон, в каком ты работала раньше? Знаешь, чем может все это кончиться? Я дам вам обоим коленом под зад и выкину вон. Я требую, чтобы здесь было тихо, ясно? А теперь ступай в свой угол и продолжай репетировать... Кстати, месье Тулуз, не найдется ли у вас картины для нашего холла? Я бы повесил там. Что-нибудь в красных тонах.

Когда «Мулен Руж» открылся, он стал для Анри вторым домом. Он всех здесь знал и мог делать все, что заблагорассудится, никакие «правила» его не ограничивали. Скажем, в служебных помещениях еда не подавалась, а ему по первому требованию несли тарелки и выпивку. Он даже устраивал здесь маленькие ужины. За его столик присаживались канканерши, изливали перед ним душу, рассказывали об амурных успехах и неудачах. Эгу в своем конфликте с Ла Гулю пыталась перетянуть его на свою сторону, барменша Сара читала длинные лекции о вреде алкоголя.

Так летели удивительные дни весны и лета 1889 года. Парижане привыкли к толчее иностранцев, к вращающимся крыльям «Мулен Руж». К октябрю количество туристов стало уменьшаться. Начался разезд. А к ноябрю выставка закрылась. Волшебный город на Марсовом поле растаял с первым снегом зимы. Обнажился жалкий скелет экзотических дворцов, наскоро сколоченных из дешевых досок, а вскоре и он исчез. Красочные орды островитян, жителей джунглей и пустынь, собрав свои шатры и палатки, отправились в родные места. Только как жираф, забытый уехавшим цирком, осталась торчать над Парижем Эйфелева башня. Город вновь стал похож на самого себя.

В конце года на имя Анри Тулуз-Лотрека пришло некое странное письмо с иностранной маркой, к которому мадам Любе, получая его, отнеслась с опаской.

— Надеюсь, ничего плохого? — протянула она, передавая конверт адресату. — Никто не умер?

— Нет-нет! Наоборот,— заверил он взволнованную женщину, пробежав текст.— Брюссельская «Группа двадцати» приглашает меня принять участие в их выставке в январе.

Консьержка сразу насторожилась.

— Это означает, что вам придется поехать туда?

— Конечно, мадам. Приглашение — большая честь.

— Честь? Хм... У них что, своих художников не хватает? Понимаю, это не мое дело. Если месье желает уехать в иностранный Брюссель, то он свободен, как ветер. Он может даже укатить в Китай или какую-нибудь Африку... Вольная птица...

Ее поджатые губы и дрожащий подбородок — все выдавало внутреннюю борьбу. Внезапно на глазах выступили слезы, и она сменила воинственный тон на почти умоляющий:

— А если... если с вами что-нибудь случится? Ну там... упадете вдруг... Совсем один среди этих диких болгарцев!

Ему пришлось долго убеждать ее, что Брюссель расположен всего в нескольких часах езды от Парижа, что бельгийцы — никакие не «болгарцы», что говорят все они по-французски и в Бельгии превосходные врачи.

— Кроме того, вы же знаете месье Сера. Такой молодой, высокий художник, он заходит ко мне время от времени и тоже получил приглашение. Мы поедем вместе.

Подошел канун Нового года. И, как в прежние времена, Анри сидел у материнского очага. Еще утром он послал графине Адели цветы — корзину баснословно дорогих белых роз, которые она так любила.

Обедали они вдвоем, и оба старались казаться веселыми. Анри, подражая ворчанию Любе, рассказывал матери о волнениях своей «надзирательницы». Месяц назад, когда он простудился, она обратилась в форменного дракона, изрыгающего пламя,— не отходила от его постели и мучила горячими компрессами.

— Представляешь, чуть не утопила меня в своем травнике, читала вслух «Трех мушкетеров»...

Мать, подыгрывая сыну, натянуто посмеивалась, делая вид, что это ее забавляет.

После обеда они перешли в гостиную пить кофе и вели там светскую беседу о погоде, о здоровье старенькой Анетты, о Жозефе. Но постепенно разговор исчерпался, и они напряженно поглядывали друг на друга, сидя визави возле камина. Мать склонилась над вязаньем, ее лицо озарялось янтарными вспышками огня. Он, в вечернем костюме, молча уставился в камин, тщетно пытаясь отыскать безопасную тему для продолжения беседы.

С момента его возвращения на Монмартр между ними началось отчуждение, их отношения приобрели характер тонкой меланхолической игры, в которую, правда, они оба играли с большим мастерством. Что делать, они жили в разных мирах, объединить которые было совершенно невозможно. Он понимал, что мать не одобряет его жизни, и тактично избегал разговоров о своих делах. Они по-прежнему любили, но все больше и больше отдалялись друг от друга. Их взаимная, несмотря ни на что нерушимая любовь только углубляла горечь отчуждения и одиночества.

— Между прочим, мама, я говорил тебе, что приглашен в Бельгию? «Группа двадцати» хочет, чтобы в январе я участвовал в их ежегодной выставке.

— В самом деле? Отлично! — Мать подняла на него глаза и вымученно улыбнулась. — Я очень рада слышать это.

Он ответил на ее взгляд через толстые стекла пенсне. Бедная мама! Бедная милая мама — она продолжала свою игру. Пыталась казаться довольной, хотя это приглашение удивило ее и не обрадовало. Ей даже было не очень интересно само сообщение сына. И конечно, она не имела никакого представления о «Группе двадцати». Но даже если бы и имела, для нее все это не было бы важным. Ее очень огорчала жизнь Анри на этом «порочном» Монмартре, то, что он много пьет, и поэтому она не придавала никакого значения тому, что он начинает делать себе имя.

Вот, скажем, рисунок на титуле «В Сен-Лазаре». Да видела ли она вообще этот буклет? Его рисунки в журналах, его картины, появляющиеся в художественных салонах и магазинах, лестные отзывы критиков — знала ли она обо всем этом? Ни разу при встречах мать даже не заикнулась о них. Может, приглашение выставиться в Брюсселе произведет на нее какое-то впечатление, убедит, что он не только монмартрская богема, что он работает, много и успешно работает?

Он принялся с энтузиазмом рассказывать о «Группе двадцати». Они каждый год приглашают одного-двух зарубежных коллег, получивших известность, участвовать в своей выставке. Что делало их предложение привлекательным, так это то, что «Двадцатка» демонстрирует удивительное чутье при выборе приглашаемых: многие из них позже обретают мировую известность — такие художники, как Ренуар, Уиндслей, Роден.

— Я самый молодой из тех, кого они когда-либо приглашали, — гордо закончил сын, надеясь на одобрение.

— Это в самом деле великолепно, — холодно кивнула мать.

— Художественный критик «Фигаро» Арсен Александр написал обо мне в своей статье. Он говорит там...

По мере того как он хвастался, надежды его таяли. Мать оставалась безучастной. Ей было безразлично, что там написал некий Арсен Александр, что означает какое-то приглашение. Для нее Анри навсегда останется неудачником, несчастным неудачником, горячо любимым, но все равно неудачником. Она никогда не забудет того, что он не сумел «сделать Салон». Она полна предрассудков, свойственных ее классу: хорошие музыканты кончают консерваторию, хорошие актеры играют в «Комеди Франсез», хорошие певцы поют в «Гранд опера», а хорошие художники выставятся в Салоне...

Анри подавил свое разочарование и продолжал болтовню, только чтобы не молчать. Недавно он послал на выставку несколько своих полотен. Между ними — портрет мадемуазель Дио за фортепиано. О других портретах — девиц из «Попугая» — он, конечно, и не заикнулся. Мадемуазель Клементина Дио была респектабельной старой девой, с которой его познакомил месье Дега. Она давала уроки музыки и жила с двумя братьями, тоже музыкантами. Старший — Дезире — играл на контрабасе в «Опера» (это должно было произвести впечатление!), а младший, Анри, там же —



*Танец в «Мулен Руж». 1890*

на флейте. По воскресеньям семья Дио иногда устраивала небольшие домашние концерты, которых никогда не пропускал меесье Дега. Он обожает музыку, особенно любит Моцарта...

Он всесторонне расписывал этих Дио — прекрасную интеллигентную семью, рассказывал о том, каких интересных и культурных людей можно встретить на их вечерах, наконец, о том, какое сам он получал удовольствие от их концертов. Мать заметила, что очень рада тому, что у ее сына такие хорошие друзья, и тому, как любезно было со стороны мадемуазель Дио согласиться позировать ему для портрета. Потом в разговоре возникла пауза. Как бы упал занавес молчания. Молчания, полного невысказанных слов...

Эта мука тянулась добрый час, изредка прерываемая краткими попытками оживленного общения. На камине тикали старинные гипсовые часы.

— Очень мило, Анри, было с твоей стороны провести со мной канун Нового года. Но, вероятно, у тебя были и другие планы?

Нежно поцеловав мать и пожелав ей счастливых праздников, Анри ушел. На улице остановил первое же свободное ландо.

— В «Мулен Руж»! — распорядился он, взобравшись на сиденье.

Как только отъехали, Анри обернулся, чтобы бросить последний взгляд на окна материнской квартиры — они слабо светились сквозь черную сетку ветвей. Бедная мама — одна в канун праздника! Может, следовало посвятить ей весь вечер? Но какой в этом смысл? Ведь они только причиняют друг другу боль.

Он со вздохом поднял стекло в дверце, отодвинулся в дальний угол кареты и вздохнул.

Да, он слишком много пьет. Но что из того? Он ведь умеет пить как джентльмен — не пьянея. И когда угодно может бросить это занятие. Кроме того, коньяк снимает боль в ногах, эту проклятую, никогда не прекращающуюся боль... Нет, люди не понимают его.

Он раздраженно опустил переднее стекло и крикнул кучеру:

— Черт побери! Не можешь ехать побыстрее?

Сквозь шум дождя по крыше ландо до него донесся ответ:

— Делаю, что могу, месье. На улицах столько народу — канун Нового года.

— Поспешая таким образом, мы и до следующего Нового года никуда не доедем!

И услышал в ответ на свою сердитую шутку хриплый смех кучера. Это бодрое веселье улучшило его настроение. В конце концов мир не такое уж паршивое местечко, если кучера наемных ландо еще смеются, несмотря на предпраздничную суету и дождь. Надо смеяться — вот в чем секрет. Смеяться как можно больше, а думать как можно меньше. Утверждает же Аристид Брюан: «Смейся, не дожидаясь, пока будешь счастлив, потому что можешь умереть, так и не насмеявшись вдоволь!» Умный парень, этот шансонье.

Наконец ландо подкатило к тротуару перед «Мулен Руж», украшенному по случаю Нового года гирляндами красных лампочек, алые огни которых разгоняли ночную мглу.

— Добрый вечер, месье Тулуз!.. Добрый вечер, месье Тулуз!.. Добрый вечер, месье Тулуз!..

\* \* \*

Дружески помахивая рукой администратору, кассиру, разным служащим «Мулен Руж», Анри миновал холл, даже не взглянув на свою картину «В цирке Фернандо: наездница». Скоро в пару ей появится его «Танец в «Мулен Руж» — Зидлер собирается ее купить, как только будет готова.

— С праздником, месье Тулуз! — поклонился ему распорядитель Тремопара, распахивая перед гостем дверь в фойе. — Что-то вы сегодня рановато...

— Я даю небольшой прием и пришел убедиться, все ли в порядке. Приходите попозже выпить с нами.

— Постараюсь, но мы сегодня ожидаем большой наплыв публики. Может, наконец-то нам повезет, — добавил он, понизив голос.

Они обменялись понимающими взглядами. Вопреки ожиданиям, дела в «Мулен Руж» шли не так гладко, как рассчитывали его организаторы. Даже в дни Выставки выручка не поражала воображения.

— Все-таки постарайтесь заглянуть, если выпадет минутка! — И Анри заковылял к танцевальному залу.

Свет здесь был так ярок, что ему пришлось прикрыть ладонью глаза. При виде этого помещения у Лотрека всегда захватывало дух от его грандиозных размеров и какого-то вызывающего уродства. Тут не было ни упадочной красоты, поэтичности «Элизе», ни убогого интима остальных монмартрских кабачков. Это было публичное место встречи для многочисленных, не знакомых друг с другом людей: что-то вроде огромного зала ожидания железнодорожного вокзала, на одну ночь превращенного в дансинг. В глубине, на эстраде, уже наигрывал оркестр. Посетители занимали места у столиков, окружавших пустое пространство для танцев. По случаю Нового года с балюстрады и центральной люстры свешивались трехцветные бумажные ленты, придававшие помещению несколько нарочитый праздничный вид.

Анри направился к бару из красного дерева, за стойкой которого уже орудовала Сара: мыла стаканы на фоне зеркальной стенки, отражавшей хрусталь и разнообразнейшие бутылки.

— Вы нынче ранняя пташка,— еще издали приветствовала она Лотрека. Ее большеглазое личико, обрамленное прямыми черными волосами, с челкой на лбу, озарилось улыбкой.— И какой нарядный! Вам идет вечерний костюм. Куда торопитесь?

Теперь он, тоже улыбаясь, стоял возле стойки, одной рукой уцепившись за ее край и тяжело дыша.

— Плесни-ка мне коньячку,— попросил он.

Барменша ловко наполнила тонкий бокал и, перегнувшись над стойкой, протянула его Анри.

— Ишь как запыхались! Куда вам спешить? — Сара проследила, как он залпом осушил бокал.— И пить так быстро не следует. Это сжигает желудок.

Он поставил пустой бокал, залез на один из высоких крутящихся табуретов, стоявших возле стойки, и казался уже высоким мужчиной. Его широкие плечи очутились почти на одном уровне с плечами Сары. Она видела свое отражение в стеклах его пенсне.

— В самом деле, месье Тулуз, вы глотаете коньяк слишком быстро. Почему бы не смаковать его помаленьку, как делают все остальные?

— Мне очень хотелось пить. Жажда одолела.— Он снял котелок и расстегнул накидку.— По правде говоря, я все еще умираю от жажды. Обедал в гостях у мамы и чувствую себя не в своей тарелке. Ни глотка не выпил с шести часов.— Он достал сигарету, поднес спичку и задымил.— Как насчет еще одного коньячка?

— А может, насчет стаканчика воды, если так хочется пить? Коньяк жажду не утоляет.

— Ха! Здесь ты ошибаешься. Коньяк не только утоляет жажду, но способствует пищеварению, укрепляет мышцы, очищает кровь, промывает печень, радует почки, согревает кишки и бодрит душу... Так что будь хорошей девочкой и дай мне то, что я прошу. И не хмурься! Сегодня канун Нового года. Кстати, о Новом годе...— Он порылся в карманах накидки и достал плоскую квадратную коробочку.— Вот тебе небольшой презент, хотя ты его не заслужила, учти это. Всегда начинаешь читать мне мораль, заставляешь выпрашивать каждый глоток... Но все равно ты мне нравишься.

— Это мне? — воскликнула Сара, вытирая пальцы передником

и принимая коробочку.— О, месье Тулуз, как вы добры! — Она импульсивно потянулась к нему через стойку и чмокнула в щеку.

— Что это значит? Уж не намек ли? Фуй! Держи себя в руках, Сара... А как же насчет коньяка?

Но Сара притворилась, что не слышала последнего вопроса. Она открыла коробочку.

— Какие чудесные! И с моими инициалами! — Она с восторгом щупала тонкий батист.— И подшиты вручную!..

— В прежние времена на Новый год люди дарили друг другу ночные горшки. Красивые, фарфоровые, с портретами знаменитых личностей на донышке. Нынче мы куда более рафинированны — дарим носовые платки... А теперь, Бога ради, где мой коньяк? — Он нетерпеливо прихлопнул ладонью по стойке.— Как отвратительно тут обслуживают!

— Вы уже выпили один.— Сара все еще рассматривала подарок.— И коньяк вам вреден.

— Что ты такое болтаешь? Так-то ты справляешься со своим делом? А Зидлер-то считает тебя непревзойденной барменшей...

В глазах женщины засветилась нежность.

— Мне плевать, если другие готовы жечь свои внутренности, но вы, месье Тулуз...

— Я же сказал тебе, что мне это не вредит.

— Так все утверждают.

— В данном случае — это истинная правда. Ты когда-нибудь видела меня пьяным? А?

— Нет,— неохотно призналась она.— Но вам все равно вредно пить.

— Господи, спорить с женщинами бесполезно! Черт возьми, собираешься ли ты наконец налить мне?

— Хорошо,— нахмурилась Сара.— Пейте свою отраву. Вот.— Ловким движением она наполнила его бокал.

Он опрокинул его в рот, вытер губы и удовлетворенно улыбнулся.

— Теперь убери свои платки и поговорим о деле. Дрюан прислал омаров?

— Они на леднике,— все еще дуясь, ответила она.

— Отлично. А шампанское?

Она указала на ряд серебряных ведерок, где из льда торчали горлышки бутылок, обернутые в золотую фольгу.

— «Мозт и Шандон-78». Как заказывали.

— Ты золотко, Сара!

Он поднял глаза к зеркальной стенке за ее спиной и увидел подходящего к бару Зидлера, сутулящегося, чем-то угнетенного, сосущего свою неизменную сигару.

— Что с тобой, старина? — обратился к нему Анри, повернувшись на круглом табурете.— Выглядишь так, будто последнего друга похоронил. Надо выпить. Быстро, Сара! Два двойных рома.

Зидлер взгромоздился на соседний табурет и устало облокотился о стойку бара.

— Ничего не могу понять,— пробормотал он, уставясь в пространство.— Ничего не могу понять...



— Чего ты не понимаешь? — приобнял его за плечи Анри. — Кое-что я и сам не могу понять. Так в чем дело?

— В том-то и дело, что не понимаю. — Он подавленно посмотрел на собеседника. — Помнишь, я утверждал, что не могу ошибиться? Собирался сделать свой миллион. Так вот, проверил я сейчас годовой баланс и увидел, что дела идут... из рук вон. Не так, как должно быть. А вот почему? Не могу понять. Шоу у нас первосортное, музыка отличная, коньяк замечательный, посетители в восторге от канкана, цены нормальные... В таком случае, почему у нас никогда не бывает аншлага?

— Ну, сегодня здесь полно народу, — пытался успокоить его Анри. — Смотри, все идет и идет.

Зидлер недоуменно пожал плечами.

— В канун Нового года везде полно. Нет, здесь что-то не завязалось, что-то не так. Даже во время Выставки нас не посетила половина англичан из тех, кого я ожидал. А без американцев невозможно сделать рентабельным такое заведение. — Он рассеянно вертел в пальцах ножку бокала. — Пожалуй, я был слишком самонадеян, допустил какую-то ошибку.

— Брось! С твоей «Мельницей» все в порядке. Одно плохо, парижане еще не знают о ней.

Уныние Зидлера превратилось в раздражение.

— Так что им еще, черт побери, нужно? Я всадил в рекламу целое состояние. Мои афиши на каждом киоске, на каждом писсуаре. В городе шагу нельзя ступить, не наткнувшись на них.

— Пусть так. Но люди твою рекламу не видят.

— Что ты хочешь этим сказать? Не видят? Почему не видят?!

— Потому что твоя рекламная афишка — не реклама.

— Не понимаю! Ее создал лучший рекламист Франции!

— Да пусть бы и сам Микеланджело. Это красивая картинка, но не реклама.

— В чем же отличие? Какая тут разница?

— Примерно такая же, как между орудийным залпом и писком флейты. Реклама должна быть броской, оригинальной, даже шокирующей. Она должна бить зрителя между глаз! Останавливать его как вкопанного, ошарашивать, впиваться в его мозг, как клещ в собачий хвост... Вспомни, Зидлер, с чем знакомит потенциального клиента твоя афиша. Хорошенькая девушка сидит на осле, бессмысленно улыбается и демонстрирует свои ножки. Какое отношение имеет все это к «Мулен Руж»?

— А что же она должна делать?

Лицо Анри расплылось в широкой улыбке.

— Это очевидно, старина: она должна танцевать канкан!

— Канкан? — Глаза Зидлера загорелись. — Клянусь Богом, ты прав! Точно! Канкан — это именно то, что надо.

— Ее нижние юбки должны шуршать, ее ножки — задираются выше головы, — воодушевленно продолжал Анри. — И она должна канканировать не на сцене, а прямо в окружении любопытствующих зрителей, чтобы они знали: это в «Мулен» происходит каждый вечер, и именно так, не на эстраде, а прямо среди столиков. Ее можно видеть со всех сторон, она должна...

Он резко оборвал свою речь, ибо узрел в глазах Зидлера плотоядный огонек. Мысли Шарля ясно отражались на его лице.

— Эй, погоди минутку! Если ты считаешь, что я думаю то же, что и ты, то лучше забудь об этом! Я не собираюсь рисовать для тебя рекламу. Ни за что! Даже через тысячу лет. Я никогда не делал рекламных афиш, не знаком с литографией. Знаешь, сколько надо учиться, чтобы рисовать на камне?

— Тебе мог бы помочь папаша Катель, показать что и как,— перебил его Зидлер.— Он может нанести твой рисунок на камень. Катель — симпатичный, приятный человек,— попытался Зидлер убедить художника.

— А мне плевать, какой он — приятный или наоборот. И у меня нет времени. В январе я еду в Брюссель, а кроме того — миллион других дел. Что бы ты ни сказал, как бы ни уговаривал...

И все-таки через полчаса, после решительных заявлений, что никто и ничто не заставит его заняться рекламой, после все новых и новых аргументов, после того как Анри накричал на Сару, присоединившуюся к мольбам Зидлера, после их увещаний, уговоров, лести, компромиссов, взрывов эмоций, даже ударов кулаком по стойке, после угроз Тулуза, что ноги его не будет больше в «Мулен Руж»,— Анри наконец сдался.

— Это будет потрясающая реклама! — промурлыкала Сара, когда Зидлер со слезами благодарности на глазах удалился.

Анри хмуро взглянул на женщину.

— Иди-ка ты прочь! Я бы с радостью свернул тебе шею... Я ведь почти отвертелся, почти убедил его, что не могу. А тут ты вмешалась: «Ах, ах, все, кто приходит, плят глаза на «Наездницу» у нас в холле!»

— Но ведь это правда.

— Возможно. Однако тебе не следовало вмешиваться! Почему бабы не могут держать язык за зубами? А теперь посмотри, что ты натворила: мне придется кланяться этому проклятому папаше Кателю, придется учиться литографии... Да мне и через пять лет не сделать этой рекламы!



*Анри де Тулуз-Лотрек*

Анри глянул на часы, вытащив их из жилетного кармашка, машинально завел и сунул обратно.

— Думаю, пора идти к своему столу. Скоро явятся мои гости. Пусть Гастон принесет мне бутылку коньяка. И никаких возражений! Заруби себе на носу: не будет коньяка — не будет тебе рекламной афиши!

Она провожала его глазами, пока он, сползши с табурета, ковылял к заказанному столику — нелепая жалкая фигурка в вечернем туалете.

— Спасибо за новые платки! — бросила Сара ему вслед. — И счастливого Нового года, месье Тулуз.

Обернувшись, он остановился, улыбнулся ей через плечо. На мгновение она почувствовала на себе взгляд его больших печальных карих глаз. Бедный... Бедный, уродливый карлик... Как старается он об этом забыть!..

А зал все наполнялся. Заняты были все столы, публика уже толпилась в проходах, у стен, окружая пустое пространство для танцев, люди устремились на полукруглый балкон. Тут и там мелькали цветные бумажные колпаки зрителей, они дудели в картонные трубы — всем этим любезно наделяли их служители «Мулен Руж». В воздух взвились первые нити серпантина, описывающие огромные дуги, на головы танцующих уже сыпался дождь конфетти. Женщины за столиками уже стягивали перчатки, снимали пелерины, мужчины сбрасывали пальто и накидки и с важным видом делали заказы официантам.

Анри сел во главе длинного стола, уже накрытого к ужину. На мгновение его внимание привлекла группа американцев — четверка веселых парней, которые коллективно пытались объяснить с официантом по-французски, требуя от него самую большую бутылку шампанского и четырех самых хорошеньких девушек.

— Понимать, гарсон? Четыре маленький кароший девушка и большой шампанское! О-ла-ла! Четыре красивый герлс, мадемуазель! Вив ла Франс!

— Здравствуйте, месье Тулуз! Вот ваш коньяк. — К столу Анри подошел официант, поставил откупоренную бутылку и бокал. — Сара сказала, чтобы вы...

— Неважно, что она там болтает. Сам могу догадаться... Как твоя жена, Гастон?

— Спасибо, ей лучше. Я был сегодня у нее в больнице, она просила поблагодарить вас за посещение... Извините, месье, сегодня все торопятся. — И Гастон отошел.

Анри налил себе бокал и принялся бесцельно пересчитывать приборы — поблескивающие тарелки, фужеры, бокалы, бормоча имена приглашенных друзей. «Во-первых, Морис... затем остальные: Анкетен с Гози, коллеги по исполнительному комитету Общества Независимых, ну, прибьются еще всякие любители выпить и закусить на даровщинку...»

Анри пригубил коньяк и, как всегда, одним глотком осушил бокал. Вытирая носовым платком усы, увидел Жуаяна, пробиравшегося к нему через толпу. Его захлестнула волна нежности к этому красивому молодому человеку — единственному настоящему другу. Как хорошо, что они вновь встретились, что вместе встретят Новый год!

— Извини за опоздание! — Морис отстегнул нарядную накидку, сбросил ее с плеч и уселся за стол рядом с Анри. — Пошел снег, на улицах столпотворение...

Кстати, добираясь сюда, я столкнулся с Дрейфусом. Помнишь его? Как-то вы встретились у меня дома. Я перебросился с ним парой слов. Он уже получил чин капитана и ждет перевода в Генеральный штаб. Собирается весной жениться.

— Отлично. А как насчет того, чтобы выпить? Шампанское принесут попозже.

Морис взглянул на початую бутылку коньяка.

— Вижу, ты уже успел... Честное слово, Анри, не следует тебе так увлекаться...

— Всё, всё! Я уже выслушал на эту тему проповедь Сары. Дай мне спокойно повеселиться в канун Нового года.

Морис нехотя кивнул.

— Ну ладно.— Он обежал глазами стол.— Вижу, ты ожидаешь много народа. Кто придет?

— Несколько известных деятелей из мира искусств и журналистики. Тебе будет полезно познакомиться с ними, если собираешься заводить свою галерею. Кстати, о торговле картинами: почему бы тебе не сходить к месье Буссо?

— К кому?

— К месье Буссо. Он совладелец фирмы «Буссо и Валадон», мог бы взять тебя в качестве ассистента Тео Ван Гога. Никто не обучит тебя премудростям этого ремесла лучше Тео, и, думаю, он будет рад получить помощника. Когда мы с ним виделись в последний раз, я его с трудом узнал — так скверно он выглядел. Недавно женился, и у него очень болен ребенок. Потом еще этот случай в Арле с его братом Винсентом. Я тебе о нем рассказывал. Прекрасный художник. Можешь себе представить, как все это отразилось на Тео.

— Спасибо. Попытаюсь повидаться с Буссо после Нового года. Кстати, видел ли ты статью Александра в «Фигаро» о «Группе двадцати»? Он там и о тебе...

Их беседу нарушило появление привлекательной, явно взволнованной молодой дамы.

— Мой Чарлз еще не появлялся? — спросила она, обшаривая зал возбужденными миндалевидными глазами.— Сказал, что будет ждать меня за вашим столом.

— Через минутку будет здесь. Присаживайтесь, Жермен, выпейте с нами.— Анри повернул голову в сторону Мориса.— Мой друг Морис Жуаян. Мадемуазель Жермен, невеста мистера Кондера.

— Невеста? Прекрасно сказано! — Женщина отвесила Анри церемонный поклон и села к столу.— У меня столько же шансов выйти за него, как за папу римского. И почему я продолжаю спать с этим ленивым, вечно пьяным недотепой-англичанином? Ума не приложу. Вероятно, по собственной глупости.— Жермен стянула перчатки, откинула с лица вуаль и продолжала безостановочно болтать: — Таскается всюду со своим новым приятелем, тоже англичанином. Не встречались? Такой толстый, завитые волосы и щеки, как у девицы, наруганы...

Анри увидел пробивающихся к ним Гози и Анкетена, закивал им, призывно помахивая ладонью. На Анкетене был все тот же потрепанный цилиндр, который он носил еще студентом. Его светлая борода курчавилась, как всегда, только теперь выглядела более растрепанной

и неухоженной, чем в прошлые годы. И Франсуа — худ и изможден, казалось, он чем-то встревожен.

— Брр... Ну и погода! — поежился он, добравшись до стола. — Ботинки у меня насквозь промокли. Простужусь до смерти.

— А ты их скинь, — наивно предложила Жермен.

— Не могу, я без носков... — Гоzi поклонился Морису. — Надеюсь, вы не художник? Если бы у меня был наследник и заявил, что собирается стать живописцем, я бы его собственноручно утопил.

Тем временем Анкетен, стряхивая снег со своего цилиндра, попал ледяными брызгами на декольтированных дам, сидевших по соседству.

— Не обращайтесь внимания, — беспечно извинился он, — немножко чистой воды...

Прибыла новая группа приглашенных во главе с Дебутеном — старым гравером в засаленной крылатке, с длинной глиняной трубкой, торчащей из дремучей седой бороды.

— Приветствую вас, мадам и месье, — промычал он, не размыкая губ, и отвесил обществу церемонный поклон, чуть не метя пол своей бесформенной шляпой. Средневековая куртуазность была присуща его стилю. Она возрастала с каждой рюмкой, и в пике опьянения его речь достигала неимоверной цветистости. — Пусть Бахус с Венерой вечно ведут нас вперед, а критики и владельцы картинных галерей вечно кипят в адских котлах. Аминь!

Анри подмигнул Морису, пока старейший представитель богемы разоблачался и занимал свой стул.

— Пища! Самое приятное зрелище в этом мире! — Дебутен ухватил здоровенного омара и с вожделением обнюхал его. — Нет! Вы только посмотрите на эту прелесть! На линии его усов, на зубчики панциря, на печальное выражение вылупленных глаз! Какую гравюру можно создать на эту тему! Под стать самому Рембрандту, не хуже, чем у Дюрера. Но я слишком голоден и должен его съесть. В конфликте между желудком и сердцем желудок всегда побеждает.

Подходили новые гости, парами и маленькими группками. Анри представлял им Мориса. Женщины одаривали Жуаяна оценивающими кокетливыми улыбками. Вскоре собравшиеся принялись за еду и питье: разливали шампанское, посасывали клешни омаров, перебрасывались через стол шутками.

— Послушай, Лотрек, как тебе удалось получить приглашение от бельгийцев? — орал с другого конца стола Детома. — Почему это они пригласили тебя, а не меня?

Ответа Анри он не расслышал.

— Во втором акте моей новой пьесы на сцене должны появиться двадцать восемь слонов! — во весь голос ревел драматург Булевель.

— Брак следует отменить как аморальный и противоречащий биологии акт!..

— Вы видели Ренуара у Дюран-Рюэля?..

— ...величайший знаток женского тела после Рубенса...

— ...мясник... одни ляжки да ягодицы...

— Эй, Лотрек, ты слышал, что Сера...

— ...моя следующая картина будет синтезом Веронезе и Сезанна...



*Со своей милой. 1891*

Так и катился праздник. В нарастающем гаме, пронизываемый лентами серпантина, засыпаемый дождем конфетти, в оглушающем реве картонных рожков... Мужчины, возбужденные шампанским, обильной едой и близостью красивых женщин, жестикулировали, говорили со страстью людей, для которых беседы стали последним прибежищем, единственным средством обмануть себя, избавиться от предчувствия краха. Время от времени они умолкали, чтобы набить рот нежным мясом омара, поднести к губам бокал. Или отправлялись потанцевать, чтобы через несколько минут вернуться к столу раскрасневшимися, запыхавшимися, вновь готовыми ввязаться в любой спор. Некоторые, преисполненные добродушной вседозволенностью и духом распутства, всюду флиртовали с любовницами своих приятелей, поглаживая под столом коленки дам. Эти дамы — их было тут восемь — типичные гризетки Монмартра, в свободных блузонах и экстравагантных самодельных шляпках, многое в жизни повидали, в большинстве случаев не сумев добиться особенного успеха: работали натурщицами, полупрофессионально подвизались на ролях кокоток. Любили они неглубоко и несильно, просто часто меняли партнеров.

Теперь в свои двадцать восемь — тридцать лет, а то и постарше (что, впрочем, они тщательно скрывали) они отказались от юношеских мечтаний и надежд, безропотно принимая то, что предлагала им жизнь.

Этим вечером, в шумном, щекотавшем их самолюбие обществе, заглушавшем стыд и сожаления, они стремились урвать как можно больше радостей. Раскрасневшиеся, с блестящими от шампанского глазами, они болтали, хохотали, швырялись серпантином, танцевали, притворно сопротивлялись мужским домогательствам, счастливые уже от того, что участвуют в этой бесшабашной пирушке, что за ними опять ухаживают, внушают им, какие они потрясающие и таинственные создания.

А до Анри то и дело долетали обрывки разговоров:

— Угадай, сколько предложил мне за мои гравюры этот скряга-торгаш!..

— Но, дорогой мой,— кто-то досказывал анекдот,— как я могла сопротивляться? Ведь он так похож на тебя!..

— Неправда, что самое лучшее в жизни достается нам даром. Оно — самое дорогое...

Анри тянулся к коньячной бутылке, стоявшей перед ним, и наполнял свой бокал. Он охрип от болтовни, у него кружилась голова — количество выпитого давало себя знать. Он поглядывал и на четверку американцев, меланхолично певших по соседству «Женевьева, моя Женевьева» и совершенно не обращавших внимания на сидящих за их столом проституток.

Сара за своей стойкой демонстрировала чудеса расторопности, успевая наливать и получать то у одного края бара, то у другого, словно играла на гигантском ксилофоне. Официанты сновали по залу, напоминая вышедшие из-под контроля автоматы, разносящие на круглых подносах, поднятых на растопыренных пальцах, закуски и напитки.

По мере приближения Нового года веселье нарастало крещендо. На площадке для танцев дамы жались к своим кавалерам, зажмурив глаза, полуоткрыв крашенные губы — словно бы в ожидании чего-то страшного. В воздухе зала, наполненного дыханием сотен разгоряченных людей, табачным дымом, запахом яств, рвались хлопушки с конфетти, пространство полосовали молнии серпантина.

Да, здесь было весело. Это была жизнь. Именно так следовало встречать Новый год. Куда лучше, нежели сидеть у камина в материнской гостиной. Брюан был прав, утверждая: «Смейся, не дожидаясь, пока будешь счастливым...»

Анри опорожнил бокал, провел по усам согнутым пальцем. Тепло коньяка окутало его будто одеялом. К столу заплетающейся походкой приближался один из опоздавших знакомцев — англичанин Чарлз Кондер — в сопровождении высокого грузного господина с вьющимися каштановыми волосами, падающими на холеные полные щеки, которые как бы стекали жирными складками в высокий стоячий воротничок. Оба англичанина были в вечерних туалетах, но манишки помятые, уже не первой свежести, цилиндры едва держались на головах. Видно было, что они крепко пьяны.

— Вон идет твой Чарли, Жермен,— Анри мотнул головой в сторону Кондера.

К этой минуте Жермен уже дошла до апогея слезливой жалости к самой себе и облегчала душу на заботливо подставленном плече Луи Анкетена.

Она мгновенно выпрямилась, глаза яростно сверкнули.

— Свинья! Вы только гляньте — настоящая свинья! Я же предупреждала, что надерется до потери сознания.

— Анри, старина,— не очень внятно обратился к Лотреку подошедший Кондер,— позволь представить тебе моего друга — мистера Оскара Уайльда. Превосходный писатель, клянусь честью! И все такое... Только что из Лондона...— Усилия, затраченные им на представление незнакомца, настолько утомили беднягу, что колени Чарли подогнулись, он едва успел рухнуть на стул и умолк.

— Ах, Париж! — Его приятель тоже сел по приглашению Анри.— Единственный цивилизованный город в мире. Лишь двое суток назад я прибыл сюда, издерганный делами и бедами, что ни говорите — жена, двое детей, бесконечные будничные заботы, и вот уже начал оживать.— Он глубоко вдохнул насыщенный табачной вонью и запахами кухни воздух и продолжал: — Здесь, в этом прекрасном Париже, я наконец могу дышать, могу думать... Эй, шампанского!

Сквозь дым своей сигареты Анри присматривался к новому знакомцу. Сложное лицо. Оно выдавало внутренний конфликт человека, который не ладил с самим собой. В небольших, выпуклых, несколько настороженных глазах можно было прочесть порочные желания. Маленький рот с пухлыми, розовыми, женскими губами. Но лоб... Лоб великолепен. Высокий, мраморно-белый, отмеченный печатью почти царственного величия <sup>1</sup>. Ему хотелось ближе познакомиться с этим, возможно, самовлюбленным, но обладающим магнетическим обаянием иностранцем, однако его отвлек Луи Анкетен:

— Слушай, Лотрек, разве не правда, что торговец картинами с улицы Марти — жулик?

— Обыкновенный дилер.

Это новомодное английское слово вызвало за столом взрыв возмущения. Дебутен, Ибель, Гоzi, Детома — у всех был зуб на торгашей, присосавшихся к искусству. Ругали их с удовольствием, почти с остервенением, от которого на шее вздувались вены, глаза горели праведным негодованием.

— Мне раньше за «Вознесение» платили двадцать семь франков,— заглушил возмущенный хор голос Анкетена,— а теперь этот чертов Шейлок сбил цену до двадцати пяти. Утверждает, что у покупателей ослабело религиозное чувство. Но всем ясно, что это просто наглая ложь. Загляните в воскресенье в любую церковь — полна-полнешенька!

Анри и Морис обменялись незаметным взглядом... Ах, эти владельцы галерей, эти торгаши! Негодяи, делающие состояние — да-да, состояние! — на гениальности и бедах великих художников. Как любят они держать в черном теле прекрасных, оригинальных творцов, погибающих от отчаянной нужды, от презренной нищеты!

<sup>1</sup> Впоследствии Лотрек создал портреты почти всех присутствовавших на этой вечеринке гостей. Среди них — и Уайльда.





*Ла Гулю с танцором в «Мулен Руж». 1891—1892*

Страсти накалялись. Разговор, и без того горячий, становился все жарче. А тут еще Булевель подлил масла в огонь, пожаловавшись на театральных антрепренеров.

— Это же презренные личности! Не далее как на прошлой неделе директор «Комеди Франсез» отказался от чести первым поставить мою «Смерть Ганнибала». И знаете, чем аргументировал свой отказ этот дебил?

Конечно, никто не знал. И драматург принялся изрыгать проклятия на голову «этого идиота» в качестве своего рода контрапункта к хору осуждающих торговцев картинами, хотя слушали его довольно безучастно.

— Эй, Дюжорден,— вмешался уставший от этих проклятий и жалоб Анри, стремясь сменить тему,— а как идут дела с порнографическим бизнесом?

— Увы, он процветает! — бодро отозвался Дюжорден.— Отлично себя чувствует, как и все предприятия, делающие ставку на человеческую глупость.

Он вытащил руку из-под стола и повернул свою огненно-рыжую бороду в сторону Лотрека.

— В настоящее время я работаю над «Секретными любовными мемуарами». Их должна была бы написать маркиза де Помпадур, но не собралась, бедняга. Как известно, сексуально она была фригидна, но в моей книге простыни дымятся, как под раскаленным утюгом. Уверен, «Мемуары» разойдутся, как горячие пирожки на ярмарке.

— И вам не стыдно, месье Дюжорден? — Этот упрек бросила писателю Жоржетта, ясноглазая брюнетка, известная в монмартрских кругах как «пожирательница мужчин».

Дюжорден вставил в глаз монокль и подарил праведнице взгляд, в котором сумел передать одновременно и восхищение ее телесным очарованием, и сожаление по поводу полного отсутствия у нее интеллекта.

— Вы правы, мадемуазель, абсолютно правы. Мне следовало бы стыдиться. Но я слишком беден, чтобы позволять себе литературную совесть. Года два назад я принес своему издателю великолепную рукопись: исследование об инкунабулах и о старинных требниках. На следующий день он швырнул ее мне в лицо. С тех пор я пишу только о любви и регулярно питаюсь. Конечно, это весьма ограниченная и довольно скучная тема. Но, честно говоря, любовь — это нечто, начинающееся на одном конце пищеварительного тракта и кончающееся на другом... — Он погладил пламя своей бороды и вздохнул.— И чем я виноват, если это единственное, что люди хотят читать? Особенно женщины.

Дамы бурно запротестовали.

— Женщины не читают эту грязь! — возопила Ронпон, хорошенькая белошвейка, которая вообще не умела читать.— Ими интересуются только мужланы, у которых грязные мысли.

Реплики, последовавшие за ее заявлением, вызвали за столом общую дискуссию на вечно популярную тему.

Даже Булевель прекратил свои нападки на антрепренеров и объявил, что у представительниц прекрасного пола вообще нет мышления — ни грязного, ни какого-либо другого.

— Умственные способности средней женщины подобны разуму бегемота, греющейся в болоте!

На минуту спор был прерван Дебушеном, объявившим честной компании, что собирается помочиться.

— Требования мочевого пузыря более властны, чем приказы короля! — И он величественно удалился в туалет. Его мятая шляпа съехала на затылок, накидка волочилась по полу.

Едва он ушел, битва между полами возобновилась с новой энергией. Женщины неспортивно били ниже пояса своими пренебрежительными замечаниями о том, как мужчины ведут себя в постели.

— Хвастают своей силой, будто они Гераклы,— фыркнула Манитер, явно основываясь на собственном опыте,— а после нескольких минут усилий начинают пыхтеть и задыхаться, так что приходится вставать и давать им нюхательной соли...

Приближалась полночь. Зала «Мулен Руж» превратилась в гигантский закипающий котел. На открытом пространстве для танцев, оказавшемся сейчас слишком тесным для огромного человеческого сборища, пары топтались на месте и шаркали ногами — вместо танцев происходило трение спинами и ягодицами. Блеяли овцами картонные трубы, словно стадо попало в бурю. На оркестровом возвышении дирижер Дюфур раскачивал бедрами, хлопал себя по бокам и бешено махал своей палочкой.

Анри вновь наполнил коньяком свой бокал, выпил и откинулся на спинку стула. Наступил тот удивительный момент, когда привычная боль покинула его ноги. Лица сидевших за столом расплылись цветными пятнами, шум голосов доходил до него неясным гудением.

Да, так и следовало провожать старый год! В конце концов, ты проглатываешь жизнь минута за минутой, как будто лакомишься виноградом — ягода за ягодкой. И если тебе удалось порадоваться каждому мгновению, насладиться временем, ты, сам того не сознавая, радуешься жизни...

Вдруг оркестр резко оборвал мелодию. Дирижер ударил палочкой по пюпитру, обернулся и протянул руки к публике.

— Мадам и месье,— провозгласил он высоким пронзительным голосом, похожим на тявканье маленькой собачки,— наступила полночь. От имени дирекции «Мулен Руж» я желаю всем вам счастья и процветания в Новом году! Да здравствует Новый год!

Затем он вновь повернулся лицом к оркестру и задергался, как в припадке падучей. Медные инструменты издали вопль, ударники загрохотали. В зале начался настоящий бедлам. Люди целовались, орали, топали ногами, пожимали друг другу руки, чокались.

Морис склонился к Анри.

— С Новым годом, брат! На жизнь и на смерть!

— Счастливого Нового года, Морис! — Он напялил смешной бумажный колпак, схватил со стола картонный рупор и, надув щеки, изо всех сил затрубил в него.

Наступил Новый год.

1890 год... Год Мари Шарле.

— Ну и как там Брюссель? — Дега расправил на груди салфетку, подвернул манжеты сорочки и бросил несколько щепоток соли в большую миску с салатом. — Как прошла выставка? Что писали критики?

— Да вроде имела успех, — ответил Анри. — Но критики... Чего только эти писаки не говорили!

— Критики! — Дега громко засмеялся и обернулся к Камиллю Писсарро, который наблюдал за ним с противоположной стороны стола, поглаживая свою бородину Санта-Клауса. — Слышишь, Камиль? Критикам не приглянулись его полотна! Знакомо, не правда ли? Помнишь, что писали они о моих балеринах лет десять назад?

Сегодня мэтр Дега был в хорошем настроении. Дружеские домашние обеды вносили разнообразие в его уединенную жизнь. Его одушевление выражалось в нервных жестах и потоке пессимистических высказываний. Появление каждого нового блюда сопровождалось все более резкими филиппиками. К тому времени, как Зое, его преданная экономка, подала ростбиф, он успел уже предсказать всеобщий крах и Всемирный потоп.

— Первым делом — укус! — Он протянул руку к графинчику с этой жидкостью. — Лучшая приправа для салата. — Дега оглянулся, чтобы убедиться, что Зое вернулась на кухню. — А полагаться в этом деликатном деле на милость невежественной стряпухи недальновидно!

Он с серьезной миной отсчитал несколько капель уксуса, положил в сотейник соли и перца, смешал все в однородную массу.

— Теперь следует добавить масла. — В его голосе звучали торжественные нотки. — Как, по-твоему, салат, Камиль? Не суховат ли?

— А по мне — все равно, — отозвался Писсарро. — Как тебе по вкусу. Сколько суеты из-за какого-то соуса...

Дега обиженно взглянул на Анри.

— Вот видишь?! — раздраженно фыркнул он. — Вот твой хваленый импрессионист! Не в силах понять, почему надо затрачивать время и разум для создания соуса к салату! Конечно, можно удовольствоваться и проверенным методом: посолить, бросить чесночку, полить маслом, размешать... и сойдет. Салат готов! Все вы, импрессионисты, таковы: зачем волноваться по поводу таких пустяков, как рисунок и анатомия? Зачем изнурять себя? Выдави тюбик клея, размажь по холсту розовые и голубые краски, назови всю эту мешанину «импрессион»<sup>1</sup> — и готово!

— Ну-ну, Эдгар, зачем ты так разволновался? — добродушно успокаивал друга Писсарро. — Весь салат на стол вывалишь.

— Кто это разволновался? Я совершенно спокоен! — почти до крика повысил голос Дега, яростно размешивая в салатнице грудку желтых листочков, отчего часть из них оказалась на скатерти.

Он отвернулся от приятеля и с выражением высокомерного безразличия обратился к Анри.

— Так расскажите мне о Брюсселе. Конечно, посетили Сант-Гудул и кафедральный собор? Правда, великолепии? Но имели ли вы возможность

<sup>1</sup> Impression — впечатление (франц.).

побывать в музее, как следует посмотреть Ван Дейка? Он, молодой человек,— совершенство! Эти его руки, эти драпировки! Только господь Бог смог бы написать их лучше, да и то сомневаюсь... А что за слух до меня дошел, что вы дрались на дуэли? Ну что молчите, словно язык проглотили?

Анри ожидал этого вопроса. Новость о его «дуэли» ходила по всему Монмартру.

— Ни на какой дуэли я не дрался, месье Дега,— протянул он.— Просто вызвал некоего Груа, не мог стерпеть его оскорбительных замечаний в адрес Винсента. Это случилось на заключительном банкете.

Рассказывая о том инциденте, он вспомнил длинный стол, накрытый белой скатертью, блеск хрустали, белоснежные манишки собравшихся, гул их беседы, смешанный со стуком ножей и вилок. Вдруг его внимание привлек господин де Груа, бледный светловолосый эстет, сидевший в конце стола. Он размахивал руками — чуть не на каждом пальце перстни с аметистами — и громко разглагольствовал о том, что Винсента Ван Гога вообще не следовало приглашать к участию в выставке. «Это же настоящий сумасшедший! Отрезал собственное ухо! Что же касается его работ, то чего можно ожидать от пациента дома для умалишенных?»

Некоторое время Анри сдерживался, но вскоре гнев заставил его взорваться.

— Месье де Груа! — Он ударил кулаком по столу с такой силой, что зазвенели бокалы. Даже официанты оторопело замерли, хотя готовились наливать гостям шампанское.— Только трус позволяет себе нападать на человека, который не может себя защитить. Всех великих людей ничтожества, вроде вас, осмеливались считать безумцами! Если бы Винсент присутствовал здесь, он, безусловно, влепил бы вам пощечину, а может быть, и простил бы... Кто знает? Но я — его друг и не желаю спускать вам ваши оскорбления. С наслаждением вызвал бы вас драться на шпагах и обрубил бы вам оба уха! К сожалению, это для меня невозможно, но я смогу нажать курок.

— И если месье де Тулуз-Лотрек будет убит,— вскочил Сера,— я повторю его вызов!

В наступившей суматохе де Груа попытался было что-то бессвязно возражать, но его перебил председатель «Клуба двадцати», потребовавший, чтобы тот убирался прочь.

— Таким образом,— заключил свой рассказ Анри, робко улыбаясь мэтру,— как вы понимаете, дуэль не состоялась. Наглец сорвал с себя салфетку, надменно швырнул ее на стол и ретировался. Председатель от имени всего «Клуба» принес мне извинения. И на этом инцидент был исчерпан.

— Превосходно! — воскликнул Дега.— Это напомнило мне людей, дравшихся из-за «Олимпии». Они вставали на рассвете, отправлялись в Булонский лес и смертельно простуживались. И все из-за различных мнений об этой картине. Помнишь, Камиль? Кстати, что случилось с девушкой, позировавшей для «Олимпии»? Прехорошенькая была девица, не правда ли? Как ее звали?

— Викторин. Викторин Мюран. Ныне она, должно быть, уже бабушка.

— У нее были самые дерзкие груди, которые я когда-либо видел,— продолжал Дега, погружаясь в приятные воспоминания.— И самый красивый грушевидный зад... По тому, как она им вертела, можно было понять, что девица прекрасно знает, как им пользоваться... Боже мой, восьмой час! — перебил он себя, взглянув на часы,— а я обещал Дио, что мы придем после обеда послушать их музицирование. Клементина обещала сыграть Моцарта. Моцарт! Ах, какой композитор!

Они быстро закончили обед. Анри отпустил Зое комплимент по поводу ее апельсинового конфитюра, и старая служанка раскраснелась от удовольствия.

— Лично я апельсиновый конфитюр терпеть не могу,— проворчал Дега, когда они покидали квартиру,— но она считает, что готовит его чудесно и подает к столу эту мерзость ежедневно. Женщины дико тщеславны, когда дело касается их маленьких достижений, даже воображаемых.

Писсарро, надвинув на лоб свой черный котелок, дошел с ними лишь до угла и удалился, направляясь к Северному вокзалу, Дега и Анри зашагали по улице Фрошо, где жили Дио — Клементина и два ее брата. Уже наступила обычная ненастная январская ночь, порывистый ветер громыхал ставнями, рбыл лужи на булыжной мостовой.

Еще поднимаясь по лестнице, они услышали густые звуки фагота и тонкие нотки флейты, как бы шаловливо вклинивающиеся в серьезное арпеджио. В воображении возникла картинка леса — словно медведица-мать играет в чащобе со своими медвежатами. Но как только Дега подергал шнур звонка у дверей, мелодия смолкла.

— Просим, просим! — открывая дверь и кланяясь гостям, воскликнул Дезире Дио.— Вы явились очень вовремя, чтобы послушать хорошую музыку.

Со своими внушающими ужас усами и толстым, испещренным синими прожилками носом, Дезире больше походил на подвыпившего кучера, нежели на респектабельного фаготиста из «Гранд-Опера».

— Клементина варит на кухне кофе,— продолжал он, помогая гостям раздеться и вешая их пальто в стенной шкаф.— Кофе отлично гармонирует с музыкой. Впрочем, пиво тоже... Я помню, как во время репетиций «Тангейзера» Вагнер выцедил целую бочку пива. Можете себе представить, он провел полтора часа репетиций этой проклятой оперы, и все, чем публика вознаградила нас на премьере за этот труд, были лишь тухлые яйца!

Не прекращая болтовни, он пропустил гостей в душную гостиную, заставленную мебелью, где уже сидели несколько человек. В этот момент появилась и Клементина с раскрасневшимся от жара духовки костлявым лицом старой девы.

— Боже мой! — затараторила она, опуская на стол поднос.— Надеюсь, что Франк придет, я же написала ему адрес, но бедняга так рассеян, что, боюсь, не забыл ли он мою записку. Вечно думает только о своей музыке.

Тут она заметила Дега и Анри.

— А, вы уже здесь, месье Дега и месье Тулуз! Как это мило с вашей стороны — прийти в такую мерзкую погоду! — Клементина машинально откинула со лба упавшую седеющую прядь и глянула на каминные часы, высившиеся на мраморной полке.— О Боже! Уже девять часов! — восклик-





Англичанин в «Мулен Руж». 1892

нула она.— Я уверена, что он заблудился. Ну что ж, давайте слушать музыку. Начнем с Моцарта, сонату которого я обещала месье Дега.

Она уже открыла фортепиано, когда раздался новый звонок. Один из братьев поспешил в прихожую и вернулся в сопровождении полного господина, на круглом лице которого меж пышными седыми бакенбардами как бы застыла извиняющаяся улыбка.

— А мы уж думали, что вы заблудились! — бросилась к нему Клементина, протягивая руки.

— Так оно и было,— признался старый господин, пожимая ей руку.— Я помню, что вы дали мне адрес, но я его потерял. Простите меня, добрая моя мадемуазель. В шестьдесят восемь память, бывает, подводит. Иногда я даже забываю адреса своих учеников. Кроме того, пока я искал ваш дом, Бог послал мне прелестную мелодию — о, такую чудесную мелодию! — и я вынужден был записать ее прямо под фоноарем...

Прервав поток его извинений, Клементина взяла старика за рукав, будто боясь, что он вновь исчезнет, и представила его своим гостям:

— Месье Цезарь Франк.

\* \* \*

В три часа пополудни Анри, уставший, вымокший до нитки, сидел в темном бистро, близоручко рассматривая сквозь окошко незнакомую улочку, не соображая, каким образом он здесь очутился и как теперь доберется домой в этот поздний час.

— Как же мне добыть фиакр? — шепотом спросил он себя, переведя взгляд на свое отражение в зеркале. Хотя это теперь не особенно волновало его. В бистро было тепло и спокойно: уютно потрескивал газовый светильник, на стенах пылились засиженные мухами календари с портретами пыющих вермут красавиц в вечерних туалетах.

Слава Богу, кризис почти миновал. А был так неожиданен и тяжел!

Вечер был приятным. Клементина исполнила сонату Моцарта, хрупкую, как звон хрустального бокала. Затем принесли скрипку, и месье Франк, подойдя к роялю, проаккомпанировал исполнителю собственной сонаты. Кстати, тоже великолепной.

А затем у Анри началось это. Клементина с заискивающей улыбкой принялась уговаривать маэстро что-нибудь сыграть.

— Ну, пожалуйста, месье Франк, просим вас!

Чтобы доставить ей удовольствие, старик согласился. И надо же было ему заиграть прелюд Денизы! Тут все и началось.

Странно, как можно долгие месяцы жить в мире с самим собой, почти позабыв, что ты безобразный коротышка и калека! И вдруг — бац! — удар ниже пояса, и накатывают прежние мысли: ты никогда не сможешь ходить прямо, ни одна девушка никогда не полюбит тебя, ты всегда будешь одинок...

Он повернулся к стойке, возле которой о чем-то шептались толстомордый хозяин бистро и какой-то лощеный типчик с лисьим личиком, одетый в плотно облегающий костюм, с коричневым котелком на голове, по всей видимости — сутенер.

Лотрек прервал их беседу:

— Как называется ваша улица?





*В «Муллен Руж». 1892*

— Ла Льер, месье,— любезно улыбнувшись, ответил хозяин.

— Это далеко от бульвара Клиши?

— Нет, месье. Повернете в конце квартала налево и выйдете на Клиши.

— Спасибо. Еще один коньяк, пожалуйста.

Он отвел глаза от хозяина и уставился в законную темень. Дождь прекратился, но ветер завывал по-прежнему. Ну и ночь! Ничего, на бульваре он возьмет фиакр и спокойно доберется до дома.

Некоторое время Анри разглядывал веерообразный газовый светильник, горевший на стене. Отличная штука!словно живая пульсирующая бабочка, попавшая в паутину. За угловым столиком, уронив голову на руки, спала проститутка. Перед ней — пустая бутылка. Шляпка упала и валялась в опилках на полу, возле ее ног. Женщина дышала ровно, как ребенок, только время от времени тихонько всхрапывала.

Анри увидел, как хозяин подошел к спящей, схватил ее за плечо, встряхнул, чтобы разбудить. Она шевельнулась, подняла голову, словно прогоняя тяжелый сон. Ее мягкое лицо с бессмысленной улыбкой оборотилось к хозяину. Мужчина брезгливо ударил ее по щеке тыльной стороной ладони.

— Эй ты, прекрати храпеть! Знаешь ведь, что я не терплю храпа. Экая невежа! В следующий раз выставлю тебя вон.— И тяжелой походкой возвратился к стойке.— Извините, что перебил вас,— сказал он сутенеру,— но должен же я смотреть за порядком!

— Естественно,— поддержал тот,— естественно.

Это произошло так быстро, что Анри сначала не понял всей откровенной грубости этой сцены. А тут — пришел в ярость.

«Свинья, грязная свинья, сукин сын! — молча проклинал он наглеца и свое бессилие.— О, быть бы высоким и сильным! Ухватить этого типа за грудки, вклепать крепкую затрещину по его толстой, грубой морде!»

Но вскоре другое чувство вытеснило гнев. Все еще ошарашенная пощечиной, женщина как бы замерла. Прикрыла ладонью щеку и безутешно уставилась на пустую бутылку. Ее отупевшее лицо было серым от беспробудного пьянства, она дошла до предела, ничто уже не могло ее унижить.

Анри быстро вытащил свой альбомчик, карандаш. Если бы она посидела вот так, недвижно, хоть минутку! «Пожалуйста, не шевелись...» Он лихорадочно чиркал карандашом по бумаге. Через несколько секунд на листе появился грубый профиль, растрепанные, свалывшиеся волосы, погасшие, остекленевшие глаза, упершиеся в бутылку... но модель уже меняла позу, как бы таяла: глаза закрылись набухшими веками, голова стала клониться и со слабым стуком упала на стол. Женщина снова спала <sup>1</sup>.

Он расплатился за свой коньяк. И протянул хозяину еще несколько франков.

— Это за бутылку вина. Дайте ей! — И подождал, пока тот не откупорил и не поставил перед спящей новую бутылку. Только после этого выбрался из бистро.

Его сразу же пронзило холодом. Он поднял бархатный воротник пальто и с трудом заковылял по незнакомой улице, склонив против ветра голову и придерживая рукой котелок. Высоко в небе в прогалинах меж рваных облаков бледнела зимняя луна. Выбравшись на бульвар, поискал глазами фиакр, но на обычно забитом транспортом бульваре Клиши было безлюдно и зловеще тихо. Пришлось идти дальше, помогая себе тростью, шумно хватая ртом воздух. Таким способом он мог осилить без передышки футов двадцать — тридцать. Что ж... Еще полчаса — и он в постели...

\* \* \*

Анри миновал «Мулен Руж» — черную и глухую в этот час громадину, напоминавшую руины после пожара. Волоча себя по пустому бульвару, он вдруг услышал позади перестук легких, догоняющих его шагов. Возле него возникла девушка и подхватила его под руку.

<sup>1</sup> Этот набросок стал основой для образа проститутки в известной картине «Пересохшая глотка» — одном из шедевров Лотрека.

— Пожалуйста, месье,— зашептала она, еле переводя дыхание от быстрого бега,— пожалуйста, скажите, что я с вами!

Вскоре послышался тяжелый топот, и из темноты появилась фигура мужчины. Он молча ухватил беглянку за запястье.

— А ну-ка, предъяви свою карточку!

Пойманная брыкалась, царапалась, старалась освободиться, вырвать руку. Преследователь выругался сквозь зубы и грубо вывернул ей руку за спину. Она вскрикнула и согнулась от боли.

— Так что же, сама пойдешь или мне придется волочить тебя?

— Отпустите ее руку,— не выдержал Анри.— Разве не видите, что ей больно?

Мужчина обернулся к нему.

— Я видел, как она приставала на улице к прохожим, а у нее нет карточки муниципалитета. Чтобы заниматься проституцией, надо иметь регистрацию. И вообще, какое вам до этого дело?

— Как она могла к кому-то приставать, если весь вечер была со мною? — Ложь непроизвольно сорвалась с его губ.

— Весь вечер? — хмыкнув, повторил мужчина.— Не морочьте мне голову! Уверю вас, я собственными глазами видел...— Он резко оборвал себя.— Вы ведь месье Тулуз, я не ошибаюсь? — Теперь в его голосе зазвучала уважительная нота.

— Да. И я пожалуюсь на вас в полицию, если вы не прекратите издеваться над человеком.

— Вы говорите — в полицию, так я же сам полицейский.

— Откуда мне это знать? Вы же не в форме. Предъявите свое удостоверение.

Человек неохотно выпустил руку девушки и начал расстегивать свое пальто.

— Я сержант полиции Балтазар Пату, из полиции нравов. Нам разрешается ходить в гражданской одежде.

— Ну ладно. Допустим, я вам верю. Слышал о вас в «Элизе» от папаши Пудо. Он считает вас самым ревностным борцом с аморальностью на Монмартре. Но поверьте и мне, вы ошибаетесь в отношении этой барышни. Я, между прочим, только что видел, как по улице пробежала какая-то девица и скрылась вон за тем углом. Должно быть, та, которую вы разыскиваете.

— Вы видели ее лицо?

— Как я мог рассмотреть в такой темноте? Она промчалась мимо и скрылась.

Его уверенный тон сбил полицейского с толку.

— Вы уверены, что она побежала туда?

— Именно. И свернула на улицу Фроментен.— Анри повернулся к девушке.— Ты ведь тоже ее видела, не правда ли?

— Вроде...— угрюмо выдавила девица, потирая руку, и добавила: — Вот туда свернула.

Детектив нерешительно подкручивал ус, по очереди поглядывая то на нее, то на Лотрека.

— Боюсь, не догоню, если она шмыгнула на Фроментен,— пробормотал он себе под нос.— Извините, что побеспокоил вас, месье Тулуз.

Но у нас, понимаете ли, приказ такой. Должен ведь кто-то стоять на страже общества, охранять здоровье людей, следить за этими девицами.

— Безусловно. Хорошо понимаю вас, сержант. До свидания, месье Пату.— Анри поманил девушку.— Пойдем, дорогая, уже поздно.

И они молча двинулись по бульвару, чувствуя на своих спинах взгляд полицейского.

Анри старался двигаться как можно быстрее, чувствуя рядом шаги девушки. Ощущение было странным: его раздражали и ее пружинящая походка, и нехитрая ложь, на которую пустился он, чтобы выручить незнакомку.

— Слушай, не мог бы ты плестись не так медленно? — прошипела она, когда он второй раз остановился передохнуть.— Что с твоими ногами? — В ее вопросе не было ни сочувствия, ни даже любопытства, обыкновенное неудовольствие от задержки.

— Если тебе не нравится, как я хожу, почему бы тебе не пойти одной? Пату уже отвязался, и тебе не обязательно сопровождать меня. Полицейский больше не кинется за тобой.

Она не ответила. Помолчав, осведомилась:

— Ты что, родился таким или покаялся? — Тон оставался безучастным.— Я знала одного мужчину, у которого рука в машину попала. Повезло ему — страховая компания выплатила полтысячи франков.— Она покосилась на спутника через плечо и снова потребовала: — Да иди же ты побыстрее!

— Господи, разве ты не видишь, что я стараюсь, как могу? — От одышки ему трудно было говорить на ходу.— Я же сказал тебе: можешь топтать одна. Теперь ты в безопасности. Никто за тобой не погонится.

— Я бы этому типу все зубы выбила,— с мстительной яростью прошипела она.— Я бы ему всю физиономию заплевала!

— Он же отпустил тебя. Разве не так?

— Все равно я бы у этого рыжего вырвала его вонючий язык! — ругалась она с фанатичной ненавистью, но не личной, а вековой неприязнью преследуемого к охотнику.— А ты ловко обвел его вокруг пальца! Полицию-то обмануть — дело трудное,— добавила она после паузы.— Хитрый ты.

И снова в тоне ее почувствовалось безразличие. Она не благодарила его, не отпускала «спасителью» комплимент, просто констатировала тот факт, что он «хитрый».

Наконец они добрались до угла, от которого начиналась улица Коленкур, и Анри остановился под уличным фонарем.

— Вон там отель,— указал он на светящийся шар над подъездом темного здания.— Он открыт всю ночь. Ты сможешь получить там номер. Деньги у тебя есть?

— Не хочу идти в отель,— нахмурилась она.— Во-первых, они не пустят, пока не убедятся, что у тебя карточка в порядке, а если и пустят, то сдерут двойную цену, а утром стукнут в полицию, чтобы получить десять франков премии...

Впервые он смог разглядеть ее лицо. Блондинка. И моложе, чем ему показалось сначала. Лет восемнадцати, от силы — девятнадцати. В сумраке глаза ее выглядели зеленоватыми, при дневном свете, вероятно, окажутся

светло-карими. Большеротая. Вызывающе яркие, подвижные губы. Голова ничем не прикрыта. Ни шляпки, ни пальто, и он подумал, что и под платьем на ней ничего нет. Впрочем, ей как будто не холодно. Тонкая ткань облегла острые груди, подчеркивая их классическую форму, как у греческих скульптур. Она была грубой, жалкой, но гибкой и безумно желанной.

— Ты живешь где-то тут?

— Да, у меня здесь поблизости студия.

— Можно мне переночевать у тебя? — Впервые в ее голосе прозвучала заискивающая нотка, и это почему-то обрадовало его. — Я не причиню тебе беспокойства, а утром уйду. — И она взглянула на него из-под полуопущенных век. — Если захочешь, можешь переспать со мной. Бесплатно. Честное слово, это не будет тебе стоить ни единого су... Дай закурить.

Он вытащил из кармана и протянул ей свой золотой портсигар. Она осмотрела вещицу, ощупала и вернула, взяв сигарету.

— Похоже на настоящее золото. Как-то один парень подарил мне пару золотых сережек. Правда, я их потеряла... Спички есть?

Он зажег спичку и протянул ей огонек. Она наклонилась, заслонив язычок пламени от ветра ладонями, прикурила.

— Господи, какой урод! — пробормотала она между затяжками, успев при свете спички разглядеть его лицо.

Он побледнел.

— Убирайся прочь! Убирайся и оставь меня в покое! Я не хочу тебя.

— Врешь, хочешь! — Она задула спичку и стала спокойно сосать сигарету. — По глазам вижу.

— Говорю тебе, оставь меня в покое! — Анри отвернулся и заковылял в сторону. — Отвяжись, а то я сдам тебя в полицию!

Она легко догнала его.

— Ну чего злишься? Просто я попросила, чтобы ты пустил меня к себе поспать, вот и все. Я ничего не украду. А если я тебе нравлюсь, можешь иметь меня. И плевать мне на то, что ты калека. Я буду очень хорошей с тобой. — В голосе снова послышалось заискивание. — Вот увидишь, я умею быть хорошей, если захочу.

Не отвечая, он продолжал брести по пустой, тихой улице, аккуратно обходя лужи, поблескивающие в лунном свете. Она держалась рядом, выпуская табачный дым из ноздрей, и останавливалась, когда он устраивал очередную передышку.

— Если у тебя студия, то ты, должно быть, художник, — задумчиво заключила она возле дома Левалье. — Я как-то жила с одним художником, он сервизы разрисовывал, всяких амурчиков малевал.

Они прошли мимо привратничкой и стали взбираться по лестнице. Тихонько шипели газовые рожки, бросая на стены зыбкий свет.

— Ты что, не запираешь? — удивилась она, когда он, нажав ручку, распахнул дверь студии.

— Зачем? У меня нечего красть. Погоди, сейчас зажгу лампу.

Анри вступил в знакомую темноту, добрался до стола и засветил керосиновую лампу. Огромная комната сразу ожила, озаренная ярким янтарным светом. Стали видны полотна на стенах, силуэты трехногих

мольбертов. От стоящей посредине голландки, облицованной изразцами, исходило не только тепло, но и розовое сияние. Гостья обвела глазами студию.

— Большая комната. И печка еще горит. Что, она у тебя все время топится?

Подошла к окну, опустила на кушетку и с тем же безразличием начала раздеваться.

Он не сводил с нее глаз, забыв в пальцах еще горевшую спичку. Первая женщина, проводящая ночь в его жилище!.. Как же она грациозна! Даже огромная тень, падавшая от нее на стену, была красивой. Почему же она так бесит его? Из-за наплевательского отношения ко всему? Или раздражает ее спокойная уверенность в том, что он ее хочет? Откуда она это знает? Неужели умеет читать в глазах? Не пробыла здесь и пяти минут, а уже сбрасывает платье и туфли, словно у себя дома. В «Попугае» девицы болтали всякую чепуху, пока раздевались, обращались к тебе «милый». Наверняка все их нежности не были искренними, но они по крайней мере делали вид, что интересуются им. А эта даже не пытается притворяться.

— Ну чего уставился? — спросила она, подняв на него свои кошачьи глаза. — Никогда не видел, как девка раздевается?

Вытащила изо рта сигарету, погасила о пол.

— Для художника ты не слишком разговорчив, — продолжила она, так как он не ответил на вопрос. — Мой художник, о котором я тебе уже говорила, ну, тот, что посуду разрисовывал, он ни на минуту не умолкал, рассказывал всякие истории, смешные анекдоты.

Он почувствовал укол ревности к этому художнику, умевшему ее развлечь, ко всем тем, кто видел, как она раздевалась, кто обладал ею. Сколько раз спускала она чулки на глазах у незнакомых мужчин, спала в чужих комнатах, в чужих постелях — эта девятнадцатилетняя девчонка?

Она поднялась с кушетки, чтобы стащить через голову платье. Как он и подозревал, нижней юбки на ней не было... Быстро сбросила трусики. Теперь она стояла перед ним в тонкой рубашке, отделанной дешевым кружевом.

— Где тут у вас туалет?

Нет, он не позволит ей воспользоваться своей чистой ванной комнатой. Пусть прогуляется, пусть пройдет по холодку! Это научит ее хорошим манерам.

— В конце коридора.

— Хочешь сказать — на этом же этаже? Вот это да! — удивилась она. — Иногда приходится бродить по всему дому, чтобы найти сортир.

Он не спускал с нее глаз. По каким отвратительным развалахам, по каким клоповникам, темным мрачным коридорам бродила она? Сколько лет занималась проституцией? Может, с детства?

— Можно взять спички? — поколебавшись, дрогнувшим голосом спросила она. — Я же не знаю тут ничего.

— Возьми лампу. — И сразу пожалел о своем предложении. Конечно, она выглядела жалкой, несуразной, даже трогательной в своей рубашонке, босиком. Но не следовало ему поддаваться первому импульсу — сунул бы коробок, и все. Так поступили бы настоящие мужики — и тот художник, и все остальные. Отнесли бы к ней как к обыкновенной дешевой шлюшке,

кем она и была на самом деле. Не стали бы они терпеть неудобства ради нее. Она не привыкла к доброте, не воспринимает ее.

Не поблагодарив, девушка взяла у него лампу и вышла.

Анри остался в одиночестве. Его окружал голубоватый полумрак. Если поторопиться, то можно успеть улечься в постель до ее возвращения. Тогда она не увидит его ног... Слава Богу, кушетка широкая, как кровать.

Он торопливо разулся, небрежно бросил на кресло свою одежду и едва залез под одеяло, как услышал топоток ее босых ног.

— Уже в постели? Ну, ты не теряешь времени даром!

Она поставила лампу на стол, стянула рубашку.

— Оставить свет?

— Нет. Погаси.

Она подставила ладонь к стеклянному горлышку, с потрясшей его грацией склонилась к лампе и дунула. Лишь мгновение он видел шафранное очертание ее профиля, округлое плечо, розовый сосок — и все исчезло во мраке, растаяло в кобальтовой темноте комнаты.

— Боялся, что я увижу твои ноги?

Саркастический тон взбесил его.

— Убирайся к черту! — захохотал он от гнева. — Убирайся и будь ты проклята! Напяливай свои шмотки и вытряхивайся! Не нужна ты мне! И не звал я тебя сюда! — Эх, быть бы здоровым и сильным, чтобы дать наглой девке по физиономии, заломить ей руку, как сделал Пату. — Что, никогда не спала с калекой? Да ты с любым спишь!

Она преспокойно откинула одеяло и скользнула к нему в постель. Он ощутил шелковистость ее кожи всем своим телом.

— Не ори так громко — весь дом перебудит. Я просто сказала, что ты не хотел, чтобы я увидела твои ноги. Вот и все. Да и какое мне дело до твоих ног? Плевать мне, что ты калека. Я обещала быть ласковой, если ты позволишь мне остаться. Ты ведь хочешь, чтобы я осталась, правда?

Ее дыхание обвевало теплом его шею, кончики пальцев щекотали бедра. Голос перешел в шепот.

— Ты увидишь, я буду очень нежной. Я умею быть нежной, если захочу.

Со змеиной гибкостью она приподнялась над ним, продела руку ему под спину, прижалась ртом к его губам.

И для него вдруг перестало существовать все окружающее, кроме ее обволакивающей наготы, нежной влажности ее языка.

А с высокого неба светила в окно луна.

\* \* \*

Проснувшись, он по веселому потрескиванию огня в печи понял, что приходила мадам Любе. Затопила и ушла. В тишине студии как бы осталось ее неодобрение. За окном моросил дождичек. Начинался еще один скучный зимний день.

Он осторожно повернул голову на подушке и увидел девушку, лежащую рядом. Она спокойно посапывала, положив ладонь под щеку, одна из грудей вывалилась из-под одеяла. Несмотря на ярко раскрашенный рот и подведенные черным брови, она напоминала ему девушек-подростков на картинах Клу. Как мирно она спала! Так же покойно и крепко спала бы

в любой постели... на нарах... на скамье в парке. Или, свернувшись калачиком, в каком-нибудь подъезде. Она привыкла спать где придется, так же как бродить ночами по темным коридорам, скитаться без пальто и шляпки по улицам. Случайно, на несколько часов, проникла она сюда, как те мухи, что залетают летом в открытое окно студии. Скоро проснется, оденется и покинет его обитель. Уйдет. Куда? Бог знает. Вновь будет бродить под дождем, слоняться по дурно пахнущим аллеям бульваров, прятаться от полицейских ищеек, обедать каким-нибудь яблоком, которое удастся стянуть с крестьянской повозки. Будет поджидать в сумерках клиента, предлагать себя незнакомым мужчинам за пять, четыре, три франка, а то, может быть, и за постель, за место, где можно переночевать, как с ним. Сегодня вечером кто-нибудь другой будет смотреть, как она раздевается, будет обладать ее гибким телом дикарки. Другой будет ощущать прикосновение ее пальцев, познает изощренную порочность ее рта. Она будет отдаваться с тем же безразличием и распутством, как нынче ему. Без любви, без нежности, просто потому, что родилась такой порочной, сексуально талантливой.

Возможно... возможно, если бы он заплатил, хорошо заплатил ей... Не будь дураком! Пусть уходит. Шлюха она, всего лишь грубая, дешевая, глупая шлюха... Девица вроде этой может принести одни неприятности...

\* \* \*

Он сидел за мольбертом, когда она наконец проснулась.

— Доброе утро,— поздоровался он, не вставая со своего высокого табурета.— Как спалось?

Она села, обвив руками колени. Мотнув головой, отбросила за спину копну желтых волос.

— Дай сигарету.

Он почувствовал, как вновь закипает гнев. Почему она не может быть пожевливей? Ну да ладно. Скоро уберется прочь... Он сполз с табурета, приковылял к креслу возле кушетки, нарочито не торопясь, достал портсигар, протянул ей.

— Вставай, уже за полдень. И у меня много работы.

— Спичка есть?

Она прикурила. Жадно затянулась дымом.

— Это ты нарисовал все эти картины? — Она бежала глазами стены.— И что с ними потом делаешь? Продаешь?

Концом трости он поднял с пола ее трусики и швырнул на кушетку.

— Вставай и одевайся. Мне некогда. Надо работать.

Она не шелохнулась, продолжая дымить сигаретой.

— Вот дьявольщина! — Она покосилась на окно.— Снова дождь. Ты видел когда-нибудь столько дождя?

На ее лицо падал сероватый дневной свет. Он отметил про себя, что глаза у нее действительно светло-карие, но более ясные, чем он предполагал. Тени на шее и груди были голубоватыми. Он уже хотел было попросить ее не менять позы, чтобы сделать набросок, но удержался.

— Что у тебя на голове? — засмеялась она, внимательно оглядев его.

Ему стало неловко от того, что она застала его в нелепой, измазанной красками старой соломенной шляпе.



— Так... Для работы,— нахмурился он.— Вытираю о нее кисть. При-  
вычка.

— Это же глупо!

Он снова ощутил, как кровь отлила от щек.

— Если не нравится, можешь не смотреть. Ты меня очень обяжешь, если соберешь свои шмотки и уберешься отсюда. Пату тебя внизу не ждет, а мне надо дело делать.

— И чего ты сразу бесишься? Чуть что, начинаешь орать, прочь гонишь. Плевать я хотела на твою задрипанную шляпу. Просто ты в ней смешно выглядишь. Вот и все.

Она с усмешкой посмотрела на него и стряхнула на пол пепел.

— А что там, наверху? — указала она на антресоли, заинтересовавшись лестницей.

— Моя спальня и ванная комната.

— Ванная!

Она пулей выскочила из постели и кинулась наверх. Послышался восторженный визг. Дверь ванной распахнулась, и девушка свесилась вниз, вцепившись в перила антресолей.

— Пожалуйста, ну пожалуйста, позволь мне принять ванну! — в ее голосе послышались интонации капризного ребенка, умоляющего купить ему приглянувшуюся игрушку.— Я ее потом хорошо помою. Клянусь!

Слабый внутренний голос предупредил его: откажи, вели, чтобы она оделась и уходила.

— Ну, если хочешь...

Слова эти вырвались непроизвольно, и у него возникло странное ощущение, будто внутри него сидит кто-то чужой и своевольный, над которым у него нет власти.

— Только не слишком долго там засиживайся,— заставил он себя нелюбезно добавить.— Говорю же — надо работать.— С помощью трости он поднялся с кресла и вернулся к мольберту.

Послышался плеск воды, стук затычки, шум в трубах. Через минуту — какая-то возня, сопровождаемая потоком ругани.

Она снова выбежала к перилам.

— Эй, поднимись сюда! Я не могу закрыть кран! Вода может хлынуть через край!

Когда он добрался до ванной, там уже было тихо. Она лежала в воде и хихикала.

— Все в порядке! Знаешь, я ведь никогда не принимала ванну, настоящую ванну. Как положено.

Стоя на пороге, он наблюдал, как она плескала воду на плечи, шевелила пальцами ног, погружаясь поглубже и тихо повизгивая от наслаждения. Его тронула ее радость — ликование уличного мальчишки, впервые окунувшегося в океанскую волну. Светлые волосы, небрежно собранные на макушке в высокий пучок, придавали ей задиристый, ребячливый вид. Поблескивающие под водой груди были совсем маленькими, как у девчонки, едва достигшей половой зрелости. Сейчас ей нельзя было дать больше шестнадцати. Анри опять поразила природная грация ее движений. Вот она вскинула руки, чтобы восстановить разваливающийся пучок волос,

и на несколько минут стала подобием помпейской статуэтки, которую ему довелось зарисовывать в Лувре. Юные куртизанки, посещавшие римские бани, должно быть, походили на нее...

Он жадно смотрел на это чудо. Все тело напряглось.

Одну ночь... Еще хотя бы одну ночь с ней, с ее горячими бедрами, мягкими губами... Нет! Она зла, опасна... Но как может этот ребенок быть злым? Взгляни только — шестнадцатилетняя невинная девчонка... Может, в ней еще сохранилась юная свежесть, потаенная нежность...

— Понимаю, почему ночью ты не сказал мне о своей ванной.— Она намыливала подмышки, разбрызгивая по груди мыльную пену.— Не хотел, чтобы я попользовалась ею, видела твои красивые вещички. Вот и отправил меня в конец коридора. Видимо, я тебе не нравлюсь. Кричишь на меня все время.— Она посмотрела на него сквозь влажные ресницы.— Но ведь я была, как и обещала, хорошей с тобой, правда ж? Я сдержала слово. И понравилась тебе тогда? Не отрицай, я знаю, что понравилась. Если бы не это пенсне, у тебя были бы красивые глаза,— добавила она вдруг.

Ее голос доходил до него сквозь поток собственных мыслей.

— Какая тебе разница — понравилась, не понравилась? — Ей не удастся обмануть его лживыми улыбками и глупой болтовней...— Я помог тебе, вызволил из беды, ты спала в моей постели. Теперь приняла ванну. Ты ведь хотела этого? Теперь одевайся и оставь меня в покое. Говорю же — много работы.— И повернулся, чтобы уйти.

Она с наслаждением погрузилась в теплую воду.

— Если хочешь,— голос ее превратился в задабривающее мурлыканье,— я могла бы вернуться сегодня вечером. И опять буду ласковой...

Соблазн... Да, это был соблазн, от которого у него перехватило дыхание и размягчились кости... Вот как выглядит и как звучит он — соблазн. Змий в райском саду, должно быть, говорил именно таким тихим, вкрадчивым голоском. «Ответь ей — нет! Ответь — нет! — умолял слабый внутренний голос.— Просто ей нужны твой кров, твоя ванна, твои деньги...» Но другой голос, голос восставшего естества, тоже не умолкал: «Еще одну ночь... Только одну ночь!..»

Две-три секунды они яростно спорили под аккомпанемент бешеного биения его сердца. Он снял пенсне, медленно протер стекла.

— Как хочешь.— Подчеркнуто безразличным было пожатие плеч.— Мне все равно.

В глазах девушки вспыхнул едва заметный огонек.

— Ты не сказал мне, как тебя зовут. Меня — Мари. А тебя?

— Анри.

— Красивое имя.— Она протянула к нему мокрую руку.— Поддай мне полотенце, Анри...

\* \* \*

Часа два спустя он торопливо продвигался по улице Коленкур, ловко обходя лужи и разговаривая сам с собой, как делал всегда, когда бывал счастлив. Он готов был кувыряться, прыгать, целовать встречных прачек.

Мари вернется!

Она ушла, сказав:

— В семь часов. Нет, я не забуду. И увидишь, снова буду хорошей...— Эти ее обещания тянулись за ней шлейфом, пока он прислушивался, как затихают на лестнице ее легкие шаги. И только тогда понял, что счастлив.

Конечно, сегодня он не поедет в литографию к папаше Котелю, куда собирался раньше. Уже слишком поздно. Кроме того, ему следует заняться более интересными вещами, куда более интересными, чем литографический камень. И рекламной афише Зидлера придется обождать... Катись она ко всем чертям!

Мари! Какое простое и прекрасное имя! Они вместе поужинают. Сначала он намеревался повести ее к Друану, но теперь родилась идея получше: они поужинают у него в студии! Вдвоем. Как любовники в романах. Великолепный ужин с хорошими винами. И шампанское! Почему бы нет? От шампанского она будет смеяться, морщить носик, болтать глупости... И еще нужно купить цветов. Ничто, кроме них, не сделает его комнату уютной. И Мари увидит, что такое доброта, поймет разницу между благородным человеком и теми подонками, с которыми ей приходилось общаться прежде.

В этом — корень. Бедная девочка за всю свою жизнь ни разу не испытала уважительного отношения к себе. Замерзшая, голодная, запуганная... Неудивительно, что выросла такой грубой. Даже собаки становятся злыми, когда их постоянно бьют. Доброты — вот чего хотят люди. Вот что нужно миру. Просто немного доброты. И он может дать ей это, заставит ее забыть холодные ночи, полицию, «художника», расписывавшего посуду, и всех других, с кем ей доводилось встречаться.

Поразительно, как можно ошибиться, оценивая человека! Он-то считал ее эгоистичной, глупой, черствой, в то время как она была просто невоспитанной. Но ведь люди не рождаются воспитанными. А незнание правил поведения заставляло ее прятаться в защитную броню грубости. Кто бы поступал иначе при той жизни, которую ей приходилось вести? Но под внешней броней в девушке угадывался гибкий ум и доброе сердце.

Его мнение о ней стало круто меняться после того, как он подал ей по ее просьбе полотенце. Она двигалась так пластично: выпорхнула из ванны, вытерлась и, еще нагая, начала расчесывать волосы. И продолжала трещать как сорока. Мари обладала даром подражания, свойственным всем парижским гаменам, воспитанным улицей. С поразительной точностью стала копировать сержанта Пату, имитируя ворчливое рокотание его голоса. Приложила к верхней губе расческу, изображавшую усы полицейского, и очень похоже бросала фразы: «Я — сержант Балтазар Пату из полиции нравов. На нашей работе мы не носим форму...» Скоро Анри уже смеялся ее комичным ужимкам, вульгарным остромам, обращался к ней по имени, трепеща от близости ее обнаженного тела, от полного отсутствия стыдливости, когда она красила губы, подводила жженой спичкой брови. Они даже пошутили по поводу его рабочего головного убора. Дурачась, она, натянув одни трусики, водрузила на свои светлые волосы его перемазанную красками шляпу и принялась строить перед зеркалом гримасы. Это было глупо, но это было восхитительно.

Вечером, когда она вернется, на ней будет новое платье. О, ему нелегко было уговорить ее взять деньги на обнову.

— Я же сказала, что ты будешь иметь меня даром,— протестовала она. С трудом удалось убедить Мари, что ее платье — старое, а белье не лучшего качества. Они даже прошлись по поводу ее трусиков — рискованные шуточки, которыми любовники обмениваются между смехом и поцелуями. В конце концов она приняла деньги, и он никогда не забудет выражения ее лица при виде стофранковой купюры. «Сто франков?!» Она была поражена, у нее захватило дух. Бедная девочка, жизнь не баловала ее! Что знала она, кроме горечи и нищеты? Но он все изменит...

На бульваре Клиши он остановил фиакр и отправился к Друану, где заказал ужин на дом. «И не забудьте шампанское — «Люэ и Шандон-78»... И положите несколько бутылок коньяка...»

Затем Анри отправился к цветочнику. Выйдя из магазина и отпустив фиакр, он пошел в ближайшую закусочную. По дороге его остановило знакомое, но на сей раз добродушное рокотание.

— Добрый день, месье Тулуз! И надо же, какая встреча! Вот потом и говорите, что в жизни не бывает странных совпадений! Ведь я как раз собирался нанести вам визит.

Это был Пату, тот самый сержант Пату, который прошлой ночью так заломил руку Мари, что она закричала от боли. Однако сейчас его приветливость казалась вполне искренней. Что-то зловещее таилось в его внезапном появлении перед Анри. Совпадение? Ну-ну...

— Зачем же вы хотели меня видеть?

Снова игривая улыбка.

— Ничего особенного, месье Тулуз, ничего особенного. Собираетесь закусить? Наверно, голодны? Ничто так не возбуждает аппетита, как небольшое амурное приключение. Не возражаете, если я перекушу вместе с вами?

Закусочная, куда они направлялись, входила в сеть «ресторанов здоровья», созданную муниципалитетом Парижа для борьбы с алкоголизмом и поощрения неимущих горожан, потребляющих молочные продукты. Кормили здесь сыром, яйцами, маслом, а единственным напитком было молоко. Эти заведения отличались чистотой, стены были облицованы белым кафелем. Гордились организаторы и атмосферой добропорядочности, царившей в закусочных. Но посещали их плохо. А в этот послеполуденный час тут было и совсем пусто.

Они сели за столик, и Анри сделал заказ стерильно выглядевшему накрахмаленному гарсону.

— Боюсь, месье Тулуз, что могу предложить вам для аппетита лишь стакан молока,— пошутил тот, стараясь казаться радушным. Сержант поддержал этот дух дружелюбия и шутливости. Не спеша снял котелок, накидку, уложил на стул возле себя и принялся набивать трубку. Создавалось впечатление, что он никуда не торопится. Пока Анри поглощал свой омлет, Пату разглагольствовал о панамском скандале, занимавшем умы французов,— об афере на строительстве канала только-только сообщили газеты.

И лишь за десертом, как бы между прочим, словно эта мысль только что пришла ему в голову, Пату заметил:

— А крепко вы меня вчера надули. Я поначалу даже поверил вам. Эта

история о другой девице, свернувшей на улицу Фроментен, была остроумной идеей. И прозвучала очень убедительно.

Он добродушно рассмеялся, утрамбовывая пальцем табак в трубке.

— Но после того как вы со своей дамой,— ирония, прозвучавшая в его тоне, заставила Анри насторожиться,— ушли, я стал раздумывать. Как это могло случиться, сказал я себе, что месье Тулуз заметил девицу, юркнувшую на Фроментен, хотя была такая темень, что и слона бы не удалось разглядеть в десятке шагов. «Балтазар Пату, пожурил я себя, этот месье — хитрый человек. И он тебя одурачил: продал тебе бычий пузырь вместо фонаря, извините за выражение».— Он отхлебнул молока и вытер усы.— Вы молодой человек, месье Тулуз, и я хочу дать вам добрый совет.— В манере его беседы произошла едва ощутимая перемена.— Не следовало вам этого делать. Я не в обиде за то, что вы меня обманули, хотя точно знаю, что Мари не было с вами, как вы утверждали, но...

— Откуда вам известно ее имя?

Губы Пату тронула снисходительная улыбка.

— У нас свои источники информации. Нетрудно навести справки о человеке, если он тебя заинтересовал. Как-нибудь я расскажу вам, каким образом узнал ее имя. А сейчас хотел бы предупредить: не имейте с ней ничего общего! Она скверный человек, вы уж поверьте мне. Яблочко с червоточиной, с гнильцой... Я знаю, что вы переспали с ней прошлой ночью, в этом нет ничего страшного. Но не оставляйте ее у себя. Гоните вон!

Он повторил последние слова резко и категорично:

— Гоните вон!

— Откуда вы знаете, что она была у меня вчера ночью?

— Откуда? — Снова снисходительная усмешка.— Следил за вами, вот откуда. Видел, как вы свернули вдвоем на Коленкур, где у вас квартира. И не пытайтесь уверить меня, что девица ночевала в номерах «Луны». Я проверял. Но ничего. Это нормально. Никакого преступления в том, чтобы переспать с проституткой, особенно такой хорошенькой, нет. Все мы были когда-то молоды и понимаем что к чему, но...

Он умолк. Улыбка сползла с его лица.

— Но я не хочу, чтобы эта шлюха жила в моем районе.— Пату как бы подчеркивал каждое произнесенное слово, постукивая после каждого косяшками пальцев по столу.— У нее нет карточки, нет права приставать к мужчинам. Надеюсь, пока она не больна, но всякое может быть... Мы поставлены следить за здоровьем общества. За это нам платят. Пожалуйста, но считите, что я вмешиваюсь в ваши личные дела, месье Тулуз, но держитесь от нее подальше. Гоните ее, поверьте мне, гоните ее прочь! Если она не захочет уходить, только намеکنите мне. Уж я об этом позабочусь. Я таких, как она, сотни повидал. Рождаются в трущобах и впитывают порок с молоком матери. Вырастают в сточной канаве. В пять лет родители гонят их просить милостыню, в двенадцать они отдаются за пять су в подъездах или писсуарах. В пятнадцать — уже профессионалки... Но одни не желают регистрироваться в префектуре, не получают карточки — боятся дважды в месяц обследоваться в Сен-Лазаре. Другие считают себя достаточно ловкими и хитрыми, чтобы «делать улицы» без разрешения властей — хотят проверить, как долго удастся им ускользнуть от полиции...

Но все это к делу не относится. Я только не хочу, чтобы она промышляла на Монмартре!..— В его тоне вновь послышалась угроза.— Чем она занимается, не мое дело. Но если она попытается прижиться на территории моего участка, я отправлю ее в Сен-Лазар на полугодовое принудительное лечение. Это ее утихомирит.

Анри рассматривал кончик своей сигареты.

— Вы уверены, сержант, что знаете все о девушке, которую и видели-то в ночной темноте одну минуту? Вам не приходит в голову, что вы можете ошибиться?

Глаза полицейского прищурились от сердитой усмешки.

— Не в этот раз, месье Тулуз, не в этот раз! Я знаю об этой особе все, кто она и откуда, все! Помните, когда вы отдыхали у уличного фонаря и она попросила у вас сигарету? Вы меня не видели, но я был не более чем в десятке метров от вас. Когда она потянулась прикурить, мне удалось как следует рассмотреть ее лицо, и я узнал ее. Не сразу, но я сказал себе тогда: «Друг мой Балтазар Пату, ты уже где-то видел эту потаскушку». И вот нынче утром вспомнил. Потому и пустился наводить справки. И оказалось — не ошибся.

Пату наслаждался удивлением, написанным на лице Анри. Снова набил трубку, сделал несколько затяжек.

— Да-да, я оказался прав! — Он покачал головой и ладонью разогнал перед собой облако дыма.— Ее полное имя Мари Франсуаза Шарле. Она родилась на улице Муффетар. Не бывали там? Не много потеряли. Даже в Темпле, на что уж злчное место, не найдешь такой улочки. Муффетар — тупик в центре винно-ликерного производства, там от одной спиртовой вони делается дурно. А Мари здесь родилась. Папаша ее работал грузчиком в одном из местных винных погребов и, естественно, был запойным пьяницей. Мать в молодости занималась проституцией, но ей удалось приобрести лицензию на розничную торговлю с тележки. У Мари есть старшая сестра, Роза, которая сбежала из дома в шестнадцать лет и устроилась в районе Севастопольского бульвара, где я тогда служил. Через пару лет к ней присоединилась Мари. И так как это происходило в моем тогдашнем районе, я ее запомнил. Конечно, не обратить внимания на эту копну желтых волос, на эти раскосые хищные глазищи — невозможно. Но все равно она — гнилое яблочко.

Некоторое время он молча занимался своей трубкой, прежде чем продолжить рассказ, словно хотел, чтобы в голове Анри прочно запечатлелось все им изложенное.

— Так вот,— снова заговорил Пату,— сегодня с утра я отправился к своему старинному приятелю инспектору Ремпару. Он все еще служит в Севастопольской бригаде. Расспросил его о Мари. У них, конечно, есть на нее досье. Во-первых, у нее был сутенер, некий Бебер, один из этих поганных сводников, которые, не довольствуясь деньгами, вымогаемыми у девушек, не брезгают и грабежами, что приводит к убийству и частенько заканчивается гильотиной. Так вот, Мари была без ума от этого Бебера, вечно висела на нем как приклеенная, покупала ему выпивку и помаду для волос, когда у нее случались деньги. Настоящая течная сучка. В один прекрасный день он ее выгнал.

Не поднимая глаз с кончика сигареты, Анри пропускал через себя слова Пату. Почему ему было так больно слушать то, о чем говорил сержант? Он ведь и без того знал, что Мари — уличная шлюха, бродяжка. Теперь ему сообщили, что у нее традиционное, почти классическое прошлое проститутки: пьяница-отец, безразличная к ней неряха-мать, шлюха-сестра, сутенер... Почему же вызывал боль рассказ о ее отношении к этому Беберу, о том, что она покупала ему выпивку и помаду? Значит, у нее все-таки есть сердце, значит, она способна любить... И конечно, выбрала себе глупого, сильного мерзавца. Это тоже было частицей ее прошлого. Почему же ему так больно? Почему хочется уткнуть лицо в ладони? Он ведь не мог надеяться, что она его полюбит. Разве не так? Не мог же он быть таким дураком...

— Почему же он ее выгнал? — перебил он наконец монолог Пату, пытаясь придать своему вопросу оттенок праздного любопытства.

Пату рассмеялся.

— Видимо, не зарабатывала для него достаточно денег. Слишком молодая и глупая еще была, едва семнадцать стукнуло. И слишком влюблена, чтобы сделаться хорошей добытчицей. Ее разум не был занят никаким делом. Ей хотелось лишь быть рядом со своим Бебером, вместо того чтобы таскаться по улицам и ловить клиентов. Бебер потерял терпение и прогнал ее. Это случилось два года назад. Может быть, теперь она малость поумнела, но я в этом сомневаюсь. Мне ясно одно: она ушла из того района и перебралась сюда. А я не хочу, чтобы она была на Монмартре.

Пату наклонился над столом, ближе к Анри, и в его глазах вдруг засветилась неожиданная нежность.

— Понимаю, вам больно все это выслушивать, месье Тулуз, но я был обязан сообщить вам, что она вконец испорчена. Благородный человек, вроде вас... — Он усмехнулся, уловив в глазах Анри удивление. — О да, я и про вас все знаю. Видите ли, такая уж у нас работа: знать все и обо всех в своем районе. Я знаю даже о месье графе, вашем отце, о его лошадях, его соколах, его...

— Поскольку вы, очевидно, расспрашиваете всех, позвольте и мне задать вам вопрос. — Анри вымученно улыбнулся. — Скажите, есть ли у вас семья?

В выражении лица Пату произошла разительная перемена. Проницательный взгляд, резкая линия тяжелой нижней челюсти, намек на твердость характера в квадратном подбородке — все сразу куда-то исчезло.

— Только дочь, месье Тулуз. Но какая дочь! Никто не может мечтать о лучшей дочери, нежели моя Евлалия. Сокровище! Готовит, как ангел, сама шьет, держит дом в идеальной чистоте. Посмотрели бы вы, как она мне собственноручно вышила домашние туфли!

В воображении Анри предстал образ сержанта полиции нравов в вышитых шлепанцах.

— Что же, в таком случае вы счастливый человек.

К его удивлению, Пату горестно вздохнул и отрицательно затряс головой.

— Был. Но теперь... Моя маленькая Евлалия собирается замуж. Не подумайте, что я против. Ничего подобного, пусть выходит. Жених у нее хороший человек. Я о нем все знаю.

— Не сомневаюсь.

Пату не уловил иронии и с энтузиазмом продолжал:

— Прекрасный, честный молодой человек. И с перспективой! В настоящее время он надзиратель в Ролеттской тюрьме, но его уже повысили, перевели в секцию, где содержатся приговоренные к гильотине. Должность почетная. Попомните мои слова, когда-нибудь он получит чин капитана, а то и инспектором станет.— Он отпил из своего стакана еще глоток молока и вытер свои роскошные усы тыльной стороной ладони.— Но все равно я буду тосковать по моей маленькой Евлалии.

Анри не мог сердиться на беднягу, у которого рушилось счастье. Этот человек тоже по-своему одинок... Лотрек погасил сигарету и, подозревая официанта, расплатился.

— Я благодарен вам, месье Пату, за то, что вы рассказали о Мари. И мне неловко, что я обманул вас вчера. Ее действительно следовало бы отправить в Сен-Лазар. Если я как-то могу компенсировать причиненные вам неприятности, то с радостью сделаю это.

— О, месье Тулуз! — Что-то похожее на румянец смущения залило грубоватое лицо полицейского.— Мне давно хотелось иметь изображение моей девочки. А сейчас, когда она собирается выйти замуж и покинуть меня, я был бы счастлив повесить ее портрет над своим камином. Я не чувствовал бы себя тогда таким одиноким.

Да, жизнь любит пошутить. Человек, можно сказать, разбил тебе сердце, а ты отблагодарил его, написав портрет его дочери...

— Что ж, буду рад исполнить ваше желание. Приводите мадемуазель Евлалию в мою студию, когда будет время.— Анри улыбнулся.— Надеюсь, я не должен давать вам адрес. Вы, кажется, все обо мне знаете.

Когда он вечером вернулся в студию, то увидел, что мадам Любе уже успела накрыть на стол. Бутылка шампанского охлаждалась в ведерке со льдом, цветы благоухали в вазе. В комнате был полный порядок, печка затоплена, кровать постелена. Добрая мадам Любе! Ему нетрудно было догадаться, о чем она думала. Он почти слышал неодобрительное поцокивание ее языка.

Ну ничего, завтра, конечно, все будет прощено и забыто. Утром он отошлет Мари. Пату прав. Она — «гнилое яблочко»...

\* \* \*

— Посмотри-ка!

Она стояла в дверях, одетая в дешевое черное бархатное платье, на плечи накинута боа из перьев.

— Настоящий бархат! Шикарно, а?

Она прошла перед ним.

Дело шло к полуночи. Часов пять просидел он, сгорбившись, на краю кушетки, поставив у ног бутылку коньяка, прислушиваясь к каждому звуку на лестнице, чувствуя, как всякий раз, когда по ступенькам стучат шаги, замирает сердце, и все больше сердясь при постоянных ошибках. Шлюха! Отвратительная, лживая шлюха! Не вернется она. Небось потешается сейчас со своим Бебером над колченогим уродцем, спасшим ее от полиции. Это точно, она, конечно, побежала к своему напомуженному сутенеру, вручила ему хрустящую стофранковую купюру, которую дал ей этот дурак...



Сейчас он смотрел на нее все еще злыми глазами, слишком измученный и... слишком счастливый, чтобы говорить что-то... Вернулась!

— Что с тобой? Заболел? Почему молчишь? Не нравится мое платье? Я по дешевке купила его у одной подружки.— Она опустила рядом с ним на кушетку.— Но пришлось отдать целых пятьдесят франков. Настоящий, дорогой бархат. Только пошупай!

— Полсотни франков за эту тряпку? — Вместе с облегчением вернулся гнев.— Да она и десятки не стоит. Впрочем, мне все равно. А как насчет нашего ужина? Помнится, ты обещала прийти к семи.

— Десятка?! — Она готова была вцепиться в него.— Это показывает, что ты ни черта не понимаешь в платьях! Да и откуда тебе об этом знать? В платье важен материал! — Она схватила его руку и прижала к боку.— Чувствуешь? Разве такое можно купить за десять франков?

Он вырвал руку, оттолкнул ее. Мари завалилась на кушетку, и он почувствовал, что она удивлена силой его рук — рук со стальными мускулами, привыкшими хвататься за перила и тянуть его тело вверх.

Вдруг ему захотелось остаться одному, лечь спать и никогда больше не видеть ее, захотелось, чтобы она убралась отсюда вместе со своей ложью, со своим резким голосом и дешевым платьем.

— Ладно,— устало кивнул он.— Пусть это настоящий бархат и ты отдала за него полсотни франков. Ты хорошая девочка, и я рад, что ты вернулась. Но я обо всем подумал и решил: будет лучше, если ты...

— Обиделся из-за ужина? Потому что опоздала к ужину? А я-то думала, ты будешь рад, увидев меня в обновке. Весь день эту девицу искала, чтобы купить платье. Правда, еще навестила сестру. Оказывается, Роза больна, тяжело больна. Так просила меня остаться! Но я ни в какую — обещала, и все!

— Ах, перестань лгать! Мне это ни к чему. Мне безразлично, явилась ты к ужину или нет, мне нет дела ни до твоей обновы, ни до твоей подружки, ни до твоей сестры... А теперь уходи. Слышишь? Я устал и хочу спать. Вот, возьми это...

Он полез во внутренний карман, но она обвила руками его шею. Ее груди прижались к нему, он ощутил гибкость ее талии.

— Но я тебе ничего не соврала, клянусь! — Ее губы ласкали его ухо.— Говорю тебе, пришла к сестре, а она в постели. У нее лихорадка. Я даже дала ей денег на врача. И все-таки не осталась. Она так просила, чтобы я осталась, но я заявила — нет! И видишь, вернулась. Я ведь вернулась, правда?

Он слабо попытался оторвать ее от себя.

— Да-да,— бормотал устало,— да, ты вернулась. Конечно. Я рад, что ты вернулась, рад, что купила себе это платье. Но, пожалуйста...

Его протесты потонули в блаженстве ее поцелуя. Он вновь ощутил нежность ее языка, податливость теплых бедер. Глаза у него закрылись.

Всю ночь Анри боролся с собой. Вновь и вновь, после страстных объятий, принимался корить ее за обман, то сердясь, то умоляя и, наконец, сбивчивым, полусонным шепотом. Но она не слушала его упреков, прижимаясь к нему обнаженным телом, подстегивая его чувственность разнообразными приемами опытной развратницы.

— Я тебе нравлюсь, правда? — шептала она в густой синеве лунной ночи.— Очень нравлюсь? Я же вижу! Ты понимаешь, что я хорошая? Ты рад, что я снова с тобой. И не хочешь, чтобы я уходила, хочешь, чтобы осталась...

Наконец они утомленно затихли, переплетя руки и ноги, их губы соприкасались, ее волосы желтым шелком струились по его плечу...

На рассвете он на минуту проснулся, посмотрел на нее сквозь приоткрытые веки.

Бесполезно, бесполезно... Никакого значения не имеет то, о чем говорил Пату, что думает по этому поводу мадам Любе, все, что он сам себе внушал. Все равно, где и с кем она была, кто она, что делала. Все это не имеет никакого значения. Главное — она здесь, рядом с ним! Он может чувствовать тепло ее тела, может ласкать его, делать с ним что пожелает... Следующей ночью она вновь будет принадлежать ему!

Он закрыл глаза. Борьба с самим собой закончилась. В его душу снизошел мир, как сумерки, опустившиеся над полем яростной битвы. Он признал свое поражение.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Она поселилась у него.

Теперь его ванная комната была завалена ее безвкусными тряпками. Ее гребни, ее шпильки, ее бигуди в беспорядке завалили туалетный столик, где лежали и его щеточки, пилки для ногтей, расчески. Она бесцеремонно пользовалась ими, мылилась его дорогим мылом. Он смирился с мелкими неудобствами совместного бытия: полотенцами, перемазанными губной помадой, чулками, валявшимися на полу, нижним бельем, разбросанным по всей комнате, запахом рисовой пудры.

И ему все это нравилось.

Впервые в жизни он приобщился к интимным секретам женского туалета. С интересом наблюдал, как она моется, красит губы, подводит брови, завивает волосы. Это было как бы одной из форм обладания, почти такой же чарующей, как и главная. Перед ним открылась обратная сторона ее женственности. Нельзя как следует узнать женщину, пока не видел ее за туалетом.

Впервые у него была любовница. Нет, не совсем...

— Если ты хочешь, чтобы я каждый раз приходила, то должен мне платить,— заявила она в одно прекрасное утро.

И он понял, что ею руководит не столько жадность, сколько представление профессионалки о том, что ее любовь стоит денег. Тело было ее капиталом, вложенным в дело, оно сдавалось внаем на часы или сутки, но ни в коем случае не для бесплатного пользования.

— А если я нужна тебе на всю ночь,— она уже прочла ответ в его глазах и прикидывала в уме цену,— то ты должен давать мне каждое утро десять франков.

Когда он попросил, чтобы она и днем была здесь, она посмотрела на него с недоумением. Зачем это ему? Никто никогда не предлагал ей такого...

Ну что же, если он так хочет... Еще один сложный расчет был произведен в ее мозгу.

— Тогда тебе придется доплачивать мне еще пять франков.

Она приготовилась торговаться и была удивлена, когда он согласился, не споря. «Наверно, богатый...»

Второе разочарование Анри испытал несколько дней спустя. Он надеялся появиться с ней в кафе, насладиться завистью своих приятелей. Она разрушила его мечты.

— Не желаю встречаться с твоими друзьями. На кой черт нужна мне их болтовня об искусстве, в котором я ничего не смыслю?

Не согласилась она сопровождать его и в «Мулен Руж», не пошла в ресторан к Друану.

— Не хочу, и все. Там, в этих шикарных местах, официанты смотрят на тебя сверху вниз. Плевать я хотела!

Он обнаружил, что она начисто лишена самолюбия и не испытывает ни малейшего желания стать лучше. Мечта каждой гризетки найти богатого покровителя никогда не посещала ее. Она вышла из трущоб и не собиралась порывать с ними. Анри понял: либо он принимает ее условия, либо потеряет ее. Привычек своих ради него она не изменит. Если он хочет, чтобы она оставалась, ему придется менять свои.

Он так и поступил.

Оставил приятелей, привычные аперитивы, вечера в «Мулен Руж». Поскольку они засыпали лишь на рассвете и вставали после полудня, когда короткий зимний свет уже угасал, Анри и работу свою забросил. Не мог собраться к папаше Котелю, не заканчивал картину, которую обещал Саре, забыл о рекламной афише для Зидлера. Перестал посещать заседания исполнительного комитета «Независимых». Избегал Мориса. Словно невидимая рука распускала узор, который раньше украшал ткань его жизни.

Связь его с Мари стала тайной, сокрытой от посторонних глаз, она не допускала встреч с прежними друзьями, не разрешала ничем разнообразить монотонность бытия. Они неторопливо одевались, завтракали в какой-нибудь недалекой забегаловке, где их обслуживал неопрятный, с нездоровым цветом лица хозяин заведения, облаченный в рубаху с засученными рукавами и шлепанцы. Много времени проводили они в «Кармен-баре» — грязном притоне, набитом сутенерами и шлюхами, напоминавшем Мари кабаки в окрестностях ее любимого Севастопольского бульвара. Они просиживали там часами, курили, пили, почти не разговаривали, наблюдали за тем, как сутенеры сражались на бильярде. Дожидались ночи. Тогда на нетвердых ногах брели на улицу Коленкур, поскольку Мари отказывалась садиться в наемный экипаж и требовала, чтобы они шли пешком.

В первые недели их связи Анри тысячу раз задавал себе один и тот же вопрос: чего ради мирится он с жизнью, которую партнерша заставляет его вести? «Что со мной?» — сердился он сам на себя.

Ответ всегда был одинаков: она была необходима ему — ее порочность, ее ненасытная похоть, дурманящее и постоянно новое ощущение счастья от обладания ее телом. Чтобы удержать ее, он вынужден был все время терпеть ее присутствие. Отпустить было опасно. Она же бездомная,

бродяжничество у нее в крови. И еще могла кого-нибудь встретить... Могла не возвратиться...

А вообще-то она была инертна и обладала таким примитивным мышлением, что он даже поражался, не в силах уразуметь, как в одном человеке уживаются столь полярные начала: изобретательность плоти и полное бездействие разума. Мари сексуально талантлива, как бывают люди, рожденные с талантом к музыке или математике.

Тщетно укорял он себя за безоговорочную капитуляцию. Впервые обнаружил, что может трусить, примиряться с унижением — качества, вероятно, глубоко заложённые в каждом мужчине. Познавая себя, Анри учился терпимости по отношению к окружающим.

Однако ни за что на свете не согласился бы он отказаться от того, что обрел, главное, удерживал возле себя Мари.

Что бы там ни было, но каждый дюйм ее стройного, гибкого тела сейчас принадлежал ему. Ежедневно он вновь и вновь трепетал от прикосновения ее рук, от вкуса ее сосков, ласки ее опытных губ — от всего того, что она продавала ему за пятнадцать франков в день.

Однажды утром она вдруг проснулась раньше обычного.

— Дай сигарету!

Не поднимаясь, она молча смотрела в окно и курила. Потом вскочила с постели и стала торопливо одеваться. Натягивая чулки, вдруг спросила:

— Как открывают счет в банке?

Не иначе уже давно обдумывала этот вопрос.

— Обыкновенное дело.— Анри постарался не показать, что удивлен ее вопросом.— Идешь в ближайшее отделение банка, скажем, на улице Прованс, и говоришь кассиру, что хочешь открыть счет. Вот и все.

— И все? И он не будет ни о чем спрашивать?

— Люди не задают вопросов, когда им предлагают деньги. Вероятно, спросит твою фамилию, чтобы записать.

— И больше ничего? — Она расправила чулок, проведя ладонью снизу вверх по ноге, пристегнула подвязку над коленом и склонилась, натягивая второй чулок.— И ничего-ничего больше не спросит?

— Больше ничего.

— И я в любой момент могу взять свои деньги назад? — Она с сомнением глянула на него, подняв глаза.

— В любой момент.

Это внезапное желание копить деньги было ее первым разумным решением. Может, надумала остепениться? Может, останется у него насовсем?

— Можно спросить тебя, зачем ты хочешь открыть счет?

Она ответила не сразу.

— Это для лицензии. Чтобы получить лицензию на тележку.— В ее тоне проскользнули отголоски голодного детства.— Мать всегда говорила, что при первой же возможности я должна собирать деньги на лицензию. Когда имеешь право торговать с тележки, не будешь голодной.

— И сколько же стоит такая лицензия? — осторожно спросил он.

— Полторы тысячи франков,— ответила она, потрясенная такой суммой.— Но ее дают на всю жизнь. Заплатишь за одну, и уже никогда не придется покупать другую.

— И сколько же у тебя уже есть?

— Почти три сотни!

«Не дать ли ей остальные?» — подумал он, но воздержался: так она сможет тут же бросить его...

— Ну, осталось немного. Скоро будешь иметь достаточно,— только и сказал он.

Вернувшись из банка, Мари была взволнована, как ребенок.

— Смотри! — закричала она еще с порога, размахивая банковской книжкой. — И служащий не задавал мне никаких вопросов. Только спросил фамилию, как ты и говорил.

Да, вот и ее фамилия, аккуратно вписанная витиеватым почерком: «Мари Франсуа Шарле». И сумма. Цена ее скучных дней и бессонных ночей с ним.

— Поздравляю,— натянуто улыбнулся он. — Если будешь продолжать в том же духе, то скоро превратишься в богатую женщину.

Вскоре банковская книжка заняла важное место в ее жизни. Она носила ее с собой, вынимала из сумочки и любовалась, вертя в пальцах. Постоянно говорила о ней и, таким образом, поведала что-то о самой себе.

— Ты бывал на улице Муффетар? — однажды неожиданно спросила она. — Я там родилась.

Ее слова возбудили в его воображении образ мрачных трущоб, скопище полицейских, озлобленных и униженных бедняков с мозолистыми руками: сапожников, складских грузчиков в кожаных фартуках и подбитых деревянными гвоздями грубых ботинках. Мари описывала громыхание огромных бочек, которые тащили тяжеловозы-першероны. Постоянный стук молотков, когда набивали обручи и заколачивали в бочки затычки, сусло, заливавшее булыжники мостовой, вонь из бродильных чанов, смешанную с запахами гниющего мусора.

Она рассказывала Анри о своих играх в сырых дворах с подружками — девочками с косичками, о холодных и голодных субботних ночах, когда родители бывали слишком пьяны, чтобы позаботиться об ужине, о шлепках матери, отцовских побоях, сменявшихся приступами двусмысленной нежности.

— Сначала он заставлял меня спустить трусики, а потом порол. Когда я начинала плакать в постели, подходил, целовал и умолял простить его.

Иногда она внезапно, на полуслове, прерывала свои воспоминания из зло, искося поглядывала на Анри с извечной ненавистью бедняка к богачу.

— Не понимаю, к чему я все это тебе рассказываю. Ты никогда не был голоден и ничего не можешь понять.

Он не требовал продолжения рассказа, и она неожиданно, спустя час или неделю, возобновляла свои откровения.

С полным бесстыдством, с отсутствием чувства собственной вины повествовала она о своих неразборчивых связях с соседскими парнями.

— Как-то субботним вечером один мужик заманил меня под лестницу в коридоре нашего дома и изнасиловал. Он был бочаром на том же складе, где работал отец. Пьян был крепко, но все равно заплатил мне целый франк. На него я купила ленту и отделала свое платье.

После неизбежного скандала она сбежала из дома и прибилась к старшей сестре, которая уже самостоятельно жила в районе Севастопольского бульвара. Там началось ее приобщение к профессиональной проституции. Наивными, безыскусными словами описывала она свой восторг по поводу приобретения первой собственной шляпки, первого мотка кружев, рассказывала, как удивила ее возможность легкого заработка, как возбуждали ее вечера, проводимые вместе с сестрой — ее первой наставницей — в прокуренных подвальчиках, первые вальсы с напомаженными лошеными парнями-сутенерами.

— Однажды я встретила Бебера.— Ее глаза подернулись дымкой.— Такой красавец! Девки по нему с ума сходили.— Но поскольку ей инстинктивно была свойственна лживость, тут же добавила: — Но я даже глазом не повела!

Наконец после драки с одной девицей — такова была версия Мари — она была вынуждена срочно покинуть этот район. С тех пор началось ее бродяжничество. Она скиталась по всему Парижу, питаясь чем придется, увертываясь от стражей порядка, ночуя на скамейках бульваров или в чужих постелях.

— Потом я перебралась на этот чертов Монмартр. Конечно, та рыжая свинья непременно отправила бы меня в Сен-Лазар, если бы не ты. Ты его здорово обдурил тогда.

Впервые в ее словах слышалось что-то похожее на благодарность. Онаглянула на него со смешанным чувством любопытства и жалости.

— Хоть ты и урод и едва ковыляешь на своих коротышках, но добрый. Добрый ко мне.

Эти последние серенькие дни марта были самыми счастливыми за все время их связи. Но вскоре ей наскучило обладание банковской книжкой.

Правда, она все еще ходила в банк, чтобы положить свои ежедневные доходы, но новизна уже прошла. И она перестала рассказывать о себе. Опять смотрела на Анри, словно бы не видя его, с прежним безразличием.

С приходом весны с ней случилась новая перемена. Подобно животному, пробужденному от спячки, она очнулась от зимней летаргии, стала раздражительной, беспокойной. Предчувствуя недоброе, Анри настороженно наблюдал за тем, как она, нахмурив брови, часами просиживала у окна или недвижно валялась на кушетке, уставившись широко открытыми, остекленевшими глазами в потолок.

«Ей скучно!» — в панике твердил он себе.

И делал, что мог.

Накупил ей дорогих туалетов, прелестную шляпку, которую доставили на дом в обтянутой шелком круглой коробке, перевязанной розовой лентой. Мари с полным равнодушием открыла ее, минуту подержала подарок в руке, сунула обратно и отшвырнула коробку в сторону.

Она частенько позволяла себе теперь огрызаться на любые его замечания, дерзила, вызываяюще противоречила. Собирались они куда-нибудь сходить, а она в последнюю минуту вдруг объявляла, что останется дома. А едва успевал он возвратиться домой, она, еще за дверью услышав его тяжелое дыхание от подъема по лестнице, требовала, чтобы они немедленно отправлялись в бистро, причем расположенное как можно дальше от

улицы Коленкур. Презрительно поглядывая на его ноги, она гоняла Анри по всей квартире с ничтожными поручениями и издевалась над его медлительностью.

— Черт тебя поberi! Не можешь шевелиться побыстрее?

И все же он не сдавался.

— Может, съездим в Версаль? — предложил он однажды, когда они сидели рядом в фиакре — после долгих уговоров Мари согласилась прокатиться.

— Зачем?

— В королевском дворце — музей, там много интересного. Прекрасный парк. Свежий воздух. Тебе будет полезно.

Она не удостоила его ответом и повернулась спиной.

— А может, хочешь пойти в театр? Сара Бернар играет в театре «Ренессанс» «Даму с камелиями». А то ходим в мюзик-холл.

— Никуда я не собираюсь с тобой ходить! — с яростью внезапно прошипела она. — Думаешь, интересно мне выставляться на людях с калекой?

Он побледнел и забился в угол экипажа.

Скука обострила ее скрываемое жестокосердие. Она все чаще ради забавы, а то и просто чтобы убить время причиняла ему боль. Подсознательная классовая ненависть, неистребимая враждебность неимущих к богатым побуждала ее издеваться над ним: сколько сможет вытерпеть от нее этот богатей? Этот никогда не голодавший и не холодавший урод.

Она насмехалась над его брезгливостью, над привычкой к чистоте и аккуратности.

— Чистюля, да? Любишь себя? Мужчины, которых я знаю, так часто не моются и ногтей не шлифуют. Но ведь они настоящие мужчины, не богом обиженные калеки, как ты.

Она давно уже знала, что от одного слова «калека» его передергивает, и принялась употреблять его постоянно, чтобы увидеть выражение боли на его лице.

Теперь они часто ссорились, и он был до глубины души потрясен ее бессмысленной яростью. Она орала, делала непристойные жесты, изрыгала непотребную ругань. Ее вопли разносились по всему дому. Жильцы собирались на лестничной клетке послушать эти пронзительные богохульства. В своей привратничкой рыдала мадам Любе.

Когда же она чувствовала, что терпение Анри вот-вот лопнет, ругань сменялась мурлыканьем, Мари начинала ластиться, просить прощения, звала в постель. Быстрым движением, исполненным такой всегда завораживавшей его грации, она срывала с себя блузку и задирала юбки. Как вибрирующий пестик какого-то ядовитого цветка, ее язычок проскальзывал сквозь его губы. И он вновь и вновь признавал свое поражение перед магической властью ее тела. Их дыхание сливалось, и он забывал о своем унижении и отвращении к этой злобной фурии. После скандала она день-два оставалась веселой, приветливой, почти нежной.

Во время одного из таких перемирий он предложил ей попозировать ему для портрета. К его удивлению, она с готовностью согласилась.

— Нарисуешь меня? Настоящий мой портрет?



Эскиз афиши. 1892



— Да. И если захочешь — подарю его тебе.

Она тут же кинулась на антресоли и долгое время проторчала в ванной комнате, завивая и укладывая волосы. Когда она наконец сошла вниз, на ней было то самое, «пятидесятифранковое» черное бархатное платье. Через плечо свисало боа из перьев.

Прежде всего ему захотелось заставить ее переодеться, но он принудил себя промолчать. Такая просьба могла вызвать очередной скандал. Последние два дня она была с ним очень мила...

Мари потребовала, чтобы он запечатлел ее в определенной позе.

— Лучшее всего я смотрюсь в профиль! — Она заняла кресло на подиуме для натурщика и поправила прическу. — Не забудь сделать мне маленький-маленький рот!

Вся ее естественность исчезла. Грациозная от природы, она стала похожа на нескладную деревянную куклу.

— Мне трудно сидеть без движения! — заявила она через несколько минут. — Не мог бы ты рисовать побыстрее? — И тут же, словно эта мысль только что пришла ей в голову, спросила: — А сколько ты платишь своим натурщикам?

— Я редко пользуюсь услугами профессиональных натурщиц. Обычная их такса — три франка за утро или пять за весь день.

— В таком случае, ты обязан и мне платить! — бросила она через плечо. — Это ведь ты предложил мне позировать, не так ли? Я же не просила делать мой портрет. Ты сказал, что хочешь нарисовать меня, значит, плати мне как натурщице!

Из всех ее вульгарных замашек его больше всего раздражала привычка проститутки устанавливать тариф на любое свое действие, что лишало его удовольствия делать ей подарки бескорыстно.

— Я же обещал подарить портрет тебе. Разве этого недостаточно? — уныло спросил он. — И как же насчет денег, которые ты получаешь ежедневно?

Она обернулась к нему. Теперь ее глаза пылали от гнева.

— Это только за то, что я постоянно торчу здесь. Позволь заметить, что немного отыщется девушек, которые согласились бы безвыходно сидеть с тобой за пять франков. Если же я сверх того позирую, ты должен мне приплачивать. Дополнительно. Три франка.

— Натурщица, чтобы заработать эту сумму, позирует четыре часа, а ты и часа не просидела.

Она соскочила с подиума.

— Не хочешь платить — не стану сидеть! — Она метнулась к своей сумочке, достала сигарету, задымила, подошла к мольберту, на котором стоял начатый холст. — Ничуть не похожа. Я красивее. Так и знала, что ты не умеешь рисовать! Парень, что тарелки раскрашивал, вот тот был настоящим художником.

— Убирайся! — вырвалось у него непроизвольно. — Оставь меня в покое. Возвращайся к своему «настоящему», иди куда хочешь. Мне все равно!

— А как насчет моих трех франков? Больше не хочешь, чтобы я позировала? Ладно, не буду, но заработанное — отдай!

Он уже знал по опыту, что спорить с ней бесполезно. Достал три маленьких серебряных монетки и по одной швырнул ей. Она поймала их на лету, сунула за корсет и направилась к выходу.

— Ты куда? — окликнул он ее.

— А тебе-то что? Сам велел убраться. Вот я и уйду. Сыта по горло. Осточертели мне и эта твоя квартира, и ты сам. Если тебе нужна компания, купи лучше себе новую физиономию и новые ноги!

Хлопнула дверь.

Через час она вернулась, раскаивающаяся, с заискивающей улыбкой.

— Прости меня, дорогой.— Свернулась калачиком у его ног, потерлась щекой о колени.— Я вовсе не хочу с тобой ссориться. Очень мне надоело сидеть в этой комнате.

Он хотел напомнить ей, что много раз предлагал пойти куда-нибудь вдвоем, но смолчал. Какой смысл?

— Понимаешь, я в жизни никогда не торчала так долго на одном месте. Если бы я только могла...

— Что могла? — Он печально погладил ее по голове.

— Если бы могла хоть иногда уходить отсюда... Если бы ты позволил мне навещать сестру, я бы так не психовала и была бы с тобой доброй, очень доброй...

Она, конечно, снова лгала. Но какое это имеет значение? Ей хотелось появиться в кабаках на Севастопольском бульваре, утереть своими нарядами нос всем бывшим соперницам, похвастать банковским счетом, посмеяться над богатым дурнем, который от нее без ума... Все. Она ускользала от него. Он понимал, что когда-нибудь это случится. Но сейчас он слишком устал, чтобы жалеть себя. Он больше не в силах терпеть постоянные скандалы. Но... Но ему все-таки останутся ночи!

Она поднялась с пола, достала шляпку, которую он ей подарил. «Ни разу не надела ее, когда мы выходили вместе, ни разу не нарядилась для меня,— печально подумал он, когда она уже сбегала вниз по лестнице,— а вот для своих приятелей с Севастопольского бульвара — напялила...»

— Я скоро вернусь. Рано приду и, увидишь, буду опять хорошей,— еще у двери кинула она ему.— Буду очень хорошей.

Он промолчал.

Ее шаги по ступенькам были похожи на радостное хлопанье крыльев.

\* \* \*

Теперь она просыпалась до полудня. Поспешно одевалась, получала от него положенные деньги и исчезала. Вечером возвращалась развратившаяся, с сияющими от дневных приключений глазами. Раздеваясь, принималась рассказывать лживые истории о часах, проведенных у постели больной сестры. Но так как была достаточно глупа, проговаривалась о танцульках, веселых пирушках в кабачках, о посещении местных ярмарок, о катании там на карусели...

Из ее путаных рассказов он сделал вывод, что она превосходно проводила время, возобновляя старые знакомства, шлеясь с сестрицей и транжиря деньги, которыми он ее снабжал. Он ее почти не расспрашивал, не задавал вопросов и притворялся, что верит всей ее болтовне.

У него вдруг образовалась масса свободного времени. Поначалу страшно было оставаться в студии одному, не видеть ее на кушетке, не слышать привычное «Дай сигарету». Возможно, так оно и лучше. Они больше не скандалили. Она все еще аккуратно появлялась по вечерам. И у него оставались ночи с нею. Быть может, хоть так он сможет удержать ее?

Он начал работать и обнаружил, что утратил вкус и привычку к краскам. Несколько пробных эскизов для рекламной афишки «Мулен Руж» закончились беспорядочными, вымученными карандашными набросками.

Он слонялся по студии, не находя себе места.

Как-то в его двери робко постучали. Это был Балтазар Пату со своей дочерью.

«Маленькая Евлалия» оказалась на поверку довольно безобразной девицей — с длинным носом, пробивающимися над верхней губой усиками и жесткими черными патлами. Анри даже посочувствовал преуспевающему тюремщику, собирающемуся сочетаться браком с этим ужасающим экземпляром женственности.

— Мы по поводу портрета. — Пату мял в руках котелок. — Если вы не возражаете, месье Тулуз...

Евлалия позировала ему три сеанса. Прямая как палка, молчащая, задыхающаяся в корсете из китового уса, в винно-красном воротничке, душащем горло <sup>1</sup>.

Портрет растрогал детектива до слез.

— Я никогда не смогу отблагодарить вас, месье Тулуз! Повешу его над камином, и он всегда будет напоминать мне о моей девочке, когда она меня покинет.

Свадьба, по его словам, должна состояться в июле. Пату пригласил Лотрека на прием с танцами, который начнется днем. Какая будет свадьба! Будет сам префект полиции! Пату почти согнулся пополам, произнося его августейшее имя. Будут также инспектора сыскной полиции и шефы департаментов.

Анри с притворным восторгом и благодарностью принял приглашение.

Собираясь уходить, Пату окинул взглядом студию, несколько раз профессионально принюхался и тихо констатировал:

— Рисовая пудра. Она все еще здесь.

Анри кивнул.

— Жаль, что вы не последовали моему совету, месье Тулуз. — Полицейский задумчиво покрутил ус. — Это нехорошая девица, но я вас понимаю. Иногда женщина влазит вам в душу, и вы становитесь беспомощным. Я часто наблюдал, как случается такое. Половина из сидящих в тюрьмах попадают туда из-за женщин. Но это ужасно — быть влюбленным в дурную женщину. — Он немного помолчал, потом пожал плечами и заключил: — Что ж, ваше дело. До тех пор, пока она не пытается действовать на моем участке, я не собираюсь ее трогать. Но знайте: одно ваше слово — и я отправлю ее в Сен-Лазар.

---

<sup>1</sup> Знаменитое полотно «Дочь полицейского» значится в каталоге Жуаяна как находящееся в частной коллекции Бернхейма.

Завершив портрет Евлалии, Анри большую часть времени стал проводить вне студии. Нанес долго откладывавшийся визит матери, которая и не пыталась спрятать от него опечаленных глаз и, когда он уходил, прошептала:

— Пожалуйста, будь осторожен, Анри! Будь осторожен!..

Как-то он пообедал с Морисом, который сразу же обратил внимание на его нервозность.

— В чем дело? Какие-нибудь неприятности? Опять болят ноги? Тебя что-то тревожит. Женщина?

Анри клялся, что никогда не чувствовал себя так замечательно, как сейчас, а нервное состояние приписывал тому, что завален работой.

— Наступит лето, и я, возможно, смоюсь из Парижа. Сниму где-нибудь за городом небольшую виллу. В Трувиле или Арканшоне.

Он вновь стал ходить в привычные кафе, где нашел своих приятелей за обычными разговорами: они поносили критиков и владельцев выставочных залов. Чувствовалось, что без него они были вынуждены вести слишком воздержанную жизнь, мучались от жажды и теперь усиленно ее утоляли.

Анри транжирил время, как мог, и обнаружил, что убивать время — довольно сложное занятие. Он стал бездельником, докучающим друзьям: забегит такой на пару минут и остается на целый день. Часами наблюдал он, как Сера в своей студии с монашеским терпением наносит на холст свои цветочные точки... Один из дней провел с Франсуа Гоzi, пыхтящим над каталогом иллюстраций, другой — проторчал у Анкетена, пишущего сразу четыре копии «Вознесения». Разыскал студию Дебутена — старый гравер, укутанный в обтрепанный халат, грязный, с мутными глазами, горбился над раствором азотной кислоты.

Он бродил по Лувру, изучал Липпи и Полайолу, ходил на дневные спектакли и там дремал в своей ложе, кормил в Зоологическом саду земляными орехами слонов, наблюдал за проказами мартышек, мечущихся в своих клетках. Долгие часы проводил в магазинчике папаши Тандиу, роясь в папках с японскими гравюрами, заказывал тюбики с красками, в которых пока совсем не нуждался. Он даже с благодарностью принял как-то приглашение мадам Тандиу на ужин.

— К концу месяца,— попросил он,— когда вечера станут теплыми.

— Отужинаем в саду,— взмахнул рукой папаша Тандиу в сторону чахлого садочка позади своего магазина.— Будет что-то вроде загородного пикника.

Навестил он и семейство Дио, где узнал, что Сезара Франка сбило omnibusом.

— Я знала, что такое случится! — причитала Клементина.— Знала! Он же был так рассеян! Вместо того чтобы следить за уличным движением, думал только о своей музыке. Вот и...

Он даже заглянул в «Мулен Руж», где к его столику сразу подошел Зидлер и пустился упрашивать поскорее приняться за работу над рекламой.

— Когда же вы, наконец, собираетесь дать нам эту афишу? Взгляните только — половина столов пустует.

Так шло время.



*Сара Бернар в «Федре» Расина. 1893*

Он разъезжал в фиакрах, пил коньяк, болтал с приятелями, даже смеялся, но делал все это словно в трансе, словно видя себя со стороны. Обнаружил, что может рассуждать о живописи, с улыбкой выслушивать сплетни, курсирующие по студиям художников, а в это время думать о том, что в этот момент делает Мари. Это придавало его бытию какой-то нереальный, призрачный характер, который исчезал только тогда, когда она возвращалась и он вновь мог держать ее в своих объятиях.

Однажды она вернулась очень взволнованная и объявила, что ее сестра оправилась от своей странной болезни.

— И знаешь, что мы сделали? — продолжила она с фальшивой непосредственностью человека, который привычно лжет. — Мы вместе пошли в бистро. Видел бы ты, как все обрадовались, увидев ее здоровой! Друзья собрались к нашему столику, и мы вместе отпраздновали возвращение Розы к жизни. Выпили, конечно. Я рассказала им о твоей студии, про ванну и про твои красивые картины. Они не поверили. Тогда я пригласила их

прийти и посмотреть собственными глазами. Завтра вечером они явятся, и мы устроим небольшую вечеринку.

— Никакой вечеринки! Я не желаю, чтобы сюда приходили твои приятели. Не хочу с ними встречаться.

Она отпрянула от него.

— Считаешь, что слишком хорош для моих друзей? Ну так я скажу тебе...

— Этого я не говорил,— устало покачал он головой.— Я лишь сказал, что не хочу с ними встречаться. Вот и все.

— Даже с моей родной сестрой?

— Даже с сестрой.

Он увидел искры гнева в ее светло-карих глазах и понял, что затянувшееся перемирие кончилось. Она заставит его расплатиться за отказ. Но что-то в его тоне заставило ее пока не настаивать.

— Как хочешь. Я думала, тебе будет интересно познакомиться с ними. Юджин — это приятель Розы, он обещал притащить свой аккордеон, и мы могли бы потанцевать. Но если ты не хочешь...

Вечеринка не состоялась. Но Мари стала возвращаться все позднее и позднее. Поджав губы, надутая, она приносила с собой табачный дух и эхо звуков аккордеона тех притонов, где проводила дни. Когда он спрашивал, где она была, вела себя вызывающе.

— Не твое дело! Если ты против того, чтобы мои друзья приходили сюда, я вовсе не обязана докладывать тебе, где я с ними встречаюсь.

Если он ничего не спрашивал, начинала мучить его историями, призванными возбудить ревность. Или заводила разговор о его ногах.

— И как же это ты их обе сломал?

— Я уже рассказывал тебе об этом. Поскользнулся на полу.

— У тебя, наверное, что-то не в порядке. Мальчишки все время падают, но никто не ломает ног. А ты и на костылях ходил?

— Ходил. Некоторое время.

— А что делала твоя мать, когда...

— Заткнись, черт тебя возьми! Заткнись или убирайся!

— Вот опять ты орешь и ругаешься. С тобой невозможно спокойно разговаривать. Я же только про твои ноги спросила.

— Прекрати говорить о них.

Уговорами и грубой лестью она неустанно стремилась заставить его, чтобы он позволил прийти к ним ее сестре и друзьям. Но он не уступал. И эта тема стала для них камнем преткновения. Мари все чаще грозила, что бросит его.

— Дождешься! В один прекрасный день я не вернусь. Будешь ждать, а я не вернусь. И что ты тогда будешь делать? Смотри-ка, уже побледнел как полотно. Тебе это не нравится, да?

И потребовала, чтобы он платил ей больше.

— Десятки мало. Мне нужно двадцать франков в день.

Через неделю она захотела уже тридцать. Потом — полсотни.

Именно это постоянное вымогательство убедило его в том, что она снова встречается с Бебером.

Теперь к мукам ожидания добавились муки ревности. Почему ему так больно было делить с кем-то то, что никогда не принадлежало ему? И какое значение имеет, есть у нее еще любовник или нет? Он пытался урезонить себя этими соображениями, но не мог.

Нервы сдали окончательно. На него накатывали приступы бессильной, безудержной ярости. Он кричал на нее, выпаливал оскорбление за оскорблением.

Вечера их превратились в пьяные склоки, ночи — в безрадостные оргии, символизирующие их вражду: сплетенные руки словно бы душили, поцелуи напоминали укусы. Лишь на короткий миг соединяла их сотрясающая судорога, из которой они выходили задыхающимися, разбитыми и еще более ненавидящими друг друга. Это эротическое единоборство оставляло лишь синяки на их телах.

Утром, когда она уходила, он как бы впадал в летаргию, им овладевала непреодолимая сонливость, любое, даже самое простое действие требовало громадных усилий. И все-таки в течение дня он ухитрялся принять ванну, одеться, поесть. Но перестал ходить в кафе, не встречался с друзьями. Расстроенные нервы не выдерживали уличного шума, ресторанной суеты, дурацких споров о живописи. Он оставался в студии, валялся в постели, поставив возле кушетки бутылку коньяка. Пил и мучил себя размышлениями о Мари, любя и ненавидя ее, изобретая планы освобождения. Иногда боль стихала, и он засыпал.

В таком состоянии однажды и застал его Морис.

— Заработался? Я ведь знал, что ты говоришь мне неправду, хотя это тебе и несвойственно. Ты всегда мог работать больше, чем любой из тех, кого я знаю. Помнишь «Фонтан»? А сейчас погляди на себя!

— Оставь меня в покое. Почему ты среди дня не в редакции? Разве ты не обязан там быть? Или сегодня воскресенье? Я думал, в журнале не могут обходиться без тебя.

— Сарказм тебе не поможет, старина.— Морис спокойно угнездился в соломенном кресле, поставил котелок на стол и закурил сигарету.— У меня выходной. Беспокоился о тебе и взял свободный день. И не уйду отсюда до тех пор, пока ты не скажешь мне, что с тобой происходит.

— А ты встречался с месье Буссо? Как он?

— Нормально. Ты был прав, состояние Тео его беспокоит. Продажи в галерее идут все хуже и хуже. Он понимает, что Ван Гог нуждается в отдыхе, но не может нанять ему помощника. Записал мой адрес и обещал, что свяжется со мной, если что-то случится. Но я пришел сюда говорить не о своих делах. Я пришел выяснить, что происходит с тобой, и не уйду, пока ты мне не скажешь всего.

— А почему бы тебе не заняться собственными делами?

— Успею.

— Иди к черту и оставь меня в покое.

— Говорю, что не уйду. У тебя неприятности, я вижу. И можешь ругаться сколько угодно, я не сойду с места до тех пор, пока не узнаю, что с тобой.— Он подался вперед в кресле и заговорил быстро и настойчиво: — Ты должен мне все рассказать, Анри, обязан! Что бы это ни было, нельзя все время копить в себе отрицательные эмоции. И с кем же тебе еще

откровенно поговорить, как не со мной? Мы же кровные побратимы! Забыл, что ли?

— Хорошо. Что ты хочешь узнать? Ну, встретил я одну девушку. Ее зовут Мари. Она бродяжка, глупая, вульгарная, дешевая шлюха, но... — он глубоко затянулся сигаретой и струей выпустил дым сквозь сжатые губы, — но я не могу без нее жить. Вот и все. Теперь ты все знаешь. Удовлетворен?

— Ты что, так влюблен в нее?

— Влюблен? Ха-ха! — Анри пожал плечами и горько рассмеялся. — Кто тут говорит о любви? Разве я сказал, что люблю ее? Я сказал: не могу без нее жить. Одна из причин, почему наша беседа — пустая трата времени, заключается в том, что само слово «любовь» содержит сотни разных значений и никогда не знаешь, какое из них имеет в виду собеседник. Можно говорить о любви к Богу или креп-жоржету, можно любить мать и свою собаку, Рембрандта и горячие ванны. Нет, я не люблю Мари, если такое определение, принятое в нашем кругу, тебя волнует. У меня нет желания пожимать ей ручки при лунном свете или писать в ее честь сонеты. Но я люблю ее рот, ее соски, то, как она целует меня... И одновременно ненавижу, так, как никогда никого другого не ненавидел. С того мгновения, как мы встретились, все, что она говорила, все, что делала, возмущало меня. Ее первое же замечание...

К своему удивлению, говоря о Мари, он испытывал странное облегчение, почти ликование. Описал их первую встречу той памятной ночью, весь эпизод с Пату, то, как она брякнула: «Господи, какой урод!» — под уличным фонарем. О ее глупости, ее грубости и... об отравляющем душу колдовском очаровании ее тела.

— Не спрашивай меня, как можно ненавидеть женщину и одновременно страстно ее желать. Этого я не знаю. Знаю одно: возможно, ненависть — самое могучее средство, возбуждающее сексуальность, и половой акт, совершенный в приступе гнева, наверно, самый неистовый по испытываемому наслаждению... — Анри смолк, уперся глазами в потолок. — Единственная беда такого рода любви состоит в том, что она не утоляет желания, не приносит ни спокойствия, ни облегчения, ничего не решает и... — он сел на кушетку, выдохнул дым из легких, нацедил себе в стакан коньяка, — и медленно сводит с ума.

Морис проводил глазами его жест: как он поднял стакан, залпом осушил его и сунул на подоконник.

— Что же делает ее такой неотразимой? — недоуменно спросил он, устремив на друга свои спокойные голубые глаза.

Губы Анри тронула усталая усмешка.

— Я ждал, что ты спросишь об этом. Сам тысячу раз задавал себе этот вопрос и до сих пор не нашел ответа. Видишь ли, Морис, когда начинаешь задумываться о сути секса, то почти сразу же теряешь почву под ногами. Ничего не можешь разглядеть ясно, а то, что видишь, тебе не нравится. Считаешь себя абсолютно нормальным человеком, самым благонамеренным на свете, и вдруг обнаруживаешь, что за здорово живешь можешь вдруг превратиться в садиста, насильника, гомосексуалиста или в одного из тех маньяков, которых можно встретить в любой психиатрической больнице. Секс — это бездонная океанская пучина, полная тьмы и чудовищ.





Афиша «Диван японне» («Японский диван»). 1892—1893

Почему Мари так необходима мне? Снова скажу — не знаю. Больше никому она не кажется такой неотразимой. Она живет с мужчинами с четырнадцати лет, и ни один не совершил ради нее никаких безумств.— Он печально хмыкнул.— Кроме меня.— Приподнялся на локте и продолжал, глядя на друга своими огромными карими глазами: — Понимаешь, она с ума сходит по какому-то невежественному альфонсу и даже не может заставить его полюбить себя. Так почему же она так желанна мне? Не знаю, не знаю... Что здесь? Врожденная пластичность движений, очаровывающая меня классическая грация? Она — как статуэтка из Танагра... Но конечно, это ничего не объясняет. Я как-то думал, что ее сила заключается в развращенности, в порочности и сексуальности. Она гениально женственна. В ней присутствует какое-то поэтическое бесстыдство, непристойное очарование.— Он резко оборвал себя.— Говорю ерунду? Боюсь, ты ничего не понял. Возможно, дело еще в ее полном безразличии, в сводящей с ума манере смотреть на меня и словно не видеть. Ты этого не поймешь, ты полноценный человек, женщины на тебя никогда так не смотрели. Но поверь мне, Морис, если существует в мире нечто более глубокое, более сложное, чем секс, то это гордость. Не социальная, духовная гордыня, нет! Твоя личная гордость как человека. А она смотрит на тебя, как ты можешь смотреть на червяка или жабу, смотрит, будто ты какое-то отвратительное бородатое существо, лишь замаскированное под человека. Есть такое отвратительное, унижительно-оскорбительное безразличие, которое сводит тебя с ума успешнее, чем что-то другое. Я как-то читал отчет о восхождении на Моттерхорн. Семь раз пытался альпинист взобраться на эту «ужасную гору», как называют ее швейцарцы. И когда это наконец удалось, люди спрашивали у покорителя Моттерхорна, что заставляло его год за годом возвращаться туда, тысячу раз рисковать жизнью. И знаешь, что он ответил? «Потому что эта сучья гора надо мной смеялась!» Подобное чувствую и я по отношению к Мари. Меня бесит, что я могу обладать ею, но не могу заставить ее испытывать ко мне какие-то чувства. Это превратилось в навязчивую идею. Мари стала для меня воплощением безразличия, безжалостного презрения, которые я ощущал по отношению к себе от бесчисленного количества других женщин.

В студии стемнело. Небо в огромном окне заливала алая вечерняя заря.

— А как теперь? — тихо спросил Морис.

— Теперь? Мы словно два гладиатора, запутавшиеся в одной сети! Причиняем друг другу боль чем только можем. Она желает привести сюда своих друзей, продемонстрировать им феноменально богатого уroda, который ежедневно платит ей пятьдесят франков. В противном случае грозит бросить меня, всячески унижает и мучает. Все, что я могу противопоставить ей, это свою ненависть. Ненавидя, насиловать. Потому что изнасилование — самое большое унижение, которое можно нанести женщине. И я нахожу в этом прекрасный способ выразить ей свое презрение и месть.

Они помолчали несколько минут. Темнота все больше разливалась по комнате.

— И что же ты собираешься делать дальше?

Анри неопределенно пожал плечами.

— Не знаю. Возможно, все само собой образуется. Думаю, она все-таки уйдет от меня. Это может случиться со дня на день. И это будет конец всему. Или я удивлю самого себя и найду в себе мужество выгнать ее... Или, может быть, устану сражаться... Не знаю... Просто не знаю...

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Разве это не мои деньги? Я их честно заработала и вольна делать с ними все, что захочу! — Она разъяренно бросала эти слова ему в лицо, щуря сверкающие гневом глаза. — Ну и что? Ну, отдала ему! Я люблю его, понял? Я по нему с ума схожу! И хочу к нему вернуться, чтобы никогда в жизни не видеть больше твою уродскую морду.

Она выскочила за дверь и, спускаясь вниз, запела.

Еще утром он обнаружил ее банковскую книжку, валявшуюся на полочке в ванной комнате, и увидел, что все накопления сняты. Его охватила безудержная ревность. Он осыпал ее оскорблениями и, замахнувшись тростью, приказал убираться прочь. Не увернись она, он бы даже ее ударил.

Это произошло две недели назад. Теперь гнев иссяк. Появилась боль. Каждое мгновение он испытывал муку ожидания. Конечно, сначала гордился собой, аплодировал себе за мужество, уверял себя, что счастлив, избавившись от нее... Но самовнушение не помогало. Голод плоти не удовлетворишь, восхваляя свое мужество. Память о ее маленьких упругих грудях, о ее отдающихся бедрах огнем жгла его по ночам.

Он избороздил в поисках Мари все улочки в районе Севастопольского бульвара, заглядывал во все забегаловки, подвальчики, притоны, скрывающиеся от посторонних глаз. Все вечера сиднем сидел дома, глуша коньяк и томясь в ожидании, вздрагивая каждый раз, заслышав чьи-то шаги на лестнице. Хотя твердо знал: она никогда не вернется.

\* \* \*

В то утро — это было уже 27 мая — он сидел на краю кушетки, бессмысленно уставясь на яркий квадрат: солнце заливало пол. И тут услышал шаги. Кто-то поднимался вверх. В нем вновь затрепетала бессмысленная надежда.

Но это была не Мари. Все ближе и ближе раздавался тяжелый, грузный перестук мужских сапог. Анри сполз с кушетки, проковылял к мольберту и лихорадочно принялся выдавливать краски из тюбиков на палитру.

В дверь постучали.

— Войдите! — И как только дверь распахнулась, издал радостный вопль: — Винсент! — Бросил тюбик, встал со стульчика, опираясь на трость. — Когда ты приехал? Сколько погостишь в Париже? Ну проходи, проходи! Присядь. Дай мне поглядеть на тебя. Как себя чувствуешь?

Пока он сыпал эти взволнованные фразы, глаза внимательно оглядывали друга, и в голове роились первые впечатления. Да, это был Винсент, но какой-то иной Винсент. Спокойный, присмиривший, в затравленных глазах — апатия, даже скука. Без своей всегдашней папки, без обычной фляжки с ромом. Никакой жестикуляции. Незнакомый Винсент — благовоспитанный, робкий,

в новом, с иголки, но несколько узковатом для него костюме из магазина готового платья, в слишком большой фетровой шляпе с широкими полями.

— Чувствую себя прилично.— Голос тоже был тихий и бесцветный. Винсент прошел вперед, сел в кресло.— Рад повидаться с тобой, Анри. Приехал я еще вчера и весь день провел с Тео и Джоанной. Знаешь, они называли своего отпрыска в мою честь...

И впервые улыбнулся — удивленно и блаженно. Улыбка осветила его изможденное, высохшее лицо.

— Не поверишь — они называли его Винсентом! И такой чудесный малыш! Рыжий, как я.— Все еще улыбаясь, он набил свою трубку и глянул в окно.— Сдается, солнце сегодня не очень горячее.— Голос остался сипловатым, словно Винсент лишь поправлялся после какой-то тяжелой болезни.— В Арле сейчас бывает невыносимая жара. Я думаю, именно это южное солнце стало причиной моего заболевания...

— Зато у тебя наконец появилась возможность до конца использовать запасы охры и сиены женой — весь спектр желтых красок, как ты об этом мечтал, — пошутил Анри, перебивая печальную ноту в тоне Винсента.— Помнится, ты говорил: «Хочу рисовать желтым. Желтый — это цвет Солнца и Бога», а я тебя урезонивал, предупреждая, что Кормон поклоняется умбре и от нас требует любви к буро-коричневому.

Скованность, которую оба они испытывали в начале встречи, испарилась. К ним вернулась их прежняя задушевность и доверительность. Они обменялись улыбками.

— Как я рад, что ты вернулся! Очень часто я думал о тебе, Винсент. Монмартр стал не тот после твоего отъезда. Помнишь, как мы с тобой пытались долбить латинские названия из анатомического атласа и потерпели фиаско?

— Еще бы! А знаешь, мне бы хотелось на эту зиму снова попасть в мастерскую, вместо того чтобы заниматься рисованием дома или на улицах, как я это все время делал. Мои познания в анатомии абсолютно недостаточны.

— К чертям всякую анатомию! На твоих картинах сама жизнь! Ты действительно нашел себя.

— Может, ты и прав.— Винсент смущенно рассматривал свои узловатые руки.— Но не это ли обстоятельство чуть не погубило меня? А может, ради этого и стоило побывать в психбольнице... Ты не представляешь себе, что такое быть запертым в сумасшедшем доме!

— Не стоит о нем. Выкинь из головы. Ты же теперь здоров.

— Но мне необходимо поговорить об этом,— настаивал Винсент.— Может, потом я перестану про него думать. Самое страшное там не одиночество, а то, что рядом с тобой ненормальные, настоящие психи. Некоторые вдруг просыпались с ужасными криками, и их вопли доносились до тебя еще долго после того, как санитары выволакивали их из палаты. Иногда мне там казалось, что я и сам схожу с ума...

Винсента как прорвало: он подробно рассказывал другу о своей жизни в Арле, о часах, проведенных под палящим солнцем на лугах и в полях за городской чертой, о том, как неистово, словно в безумии, писал он окрестные пейзажи, о том, как пешком возвращался в город после заката, бродя

по пыльным проселкам с тяжелым мольбертом за спиной и подрамником с еще не высохшим полотном в руках. Поведал и о долгожданном посещении Гогена, о завязавшейся в первые же дни после его приезда дружбе между ними, об их совместной поездке в Авиньон. И о первых ссорах в Арле, начавшихся потом. О ссорах, которые частенько кончались потасовками. Рассказал об их примирениях за стаканом абсента в вокзальном ресторанчике, о вечерах, которые они вместе с Гогеном проводили в борделях, о своем постоянном и искреннем сочувствии падшим женщинам. И наконец, о том, как он сорвался: запустил стакан с абсентом в лицо Гогену. Драка, не контролируемая разумом, ярость... И в результате все закружилось у него перед глазами, рушились стены, пол ушел из-под ног. А в голове загремели цимбалы... Полоснул себя бритвой по уху, окровавленный отправился среди ночи в бордель с ужасным сувениром — отрезанным ухом, завернутым в газету. Потом возвратился к себе в отель, по шее продолжала сочиться кровь. А грохот цимбал в голове все громче, громче... И тут — эпилептический припадок. Тишина, мрак, покой...

— Остальное ты знаешь. Тео примчался из Парижа и устроил меня в психиатрическую монастырскую клинику в Сан-Реми, чтобы не упрятали в обычный сумасшедший дом под контроль государственных медиков или не выслали обратно в Голландию. Монашенки, ухаживавшие за психами, были очень добры ко мне. Позволяли рисовать во дворе монастыря. Иногда приходили посмотреть и тихонечко между собой посмеивались. Но беззлобно. Человек в психбольнице теряет представление о времени. Так шел месяц за месяцем. И вот я снова в Париже. И чувствую себя так, словно только что очнулся от страшного сна, а на самом деле никогда не покидал Монмартра.

Анри мягко положил руку на его плечо.

— Это и было сном, Винсент, дурным сном. А теперь ты здоров и стоишь на пороге новой жизни.

Ван Гог ответил своей беспомощной грустной улыбкой.

— Может быть, и так...— И замолчал.— А что здесь? Как идут дела на Монмартре? Над чем ты работаешь?

— Я? — Анри неопределенно пожал плечами.— Со мной никогда ничего не случается. Провожу свои дни, как могу: пишу что-то, сделал несколько рисунков для разных журналов, титульных заставок для песен. Даже обещал намалевать рекламную афишу... Ты надолго в Париже?

Винсент отрицательно покачал головой.

— Завтра уезжаю. В квартире Тео теперь полно народу.

— Почему бы тебе не пожить у меня? Могли бы вместе работать, как прежде. Я совершенно один... теперь...

Винсент прикрыл ладонью его руку. Пожал.

— Спасибо, Анри. Но мне лучше уехать. Париж не для меня.— Он встал и подошел к полотнам, висевшим на стене.— Можно посмотреть? Я уже много месяцев не видел твоих новых работ.

— Пожалуйста, смотри что хочешь. А я пока заберусь наверх и приведу себя в порядок. И пойдем вместе пообедаем. Как ты насчет того, чтобы заглянуть к Агостине?

Их взгляды встретились. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, улыбаясь и вспоминая прошлое. Такое, казалось бы, близкое прошлое, но уже такое бесконечно далекое...

Агостина выскочила из кухни в сопровождении двух своих псов.

— Винсент! *Carissimo mio!*<sup>1</sup>

Обняла его, тискала, целовала. Когда же наконец отпрянула, щеки ее были залиты слезами.

— Я так счастлива! — рыдала она, роясь за корсажем в поисках носового платка. — Думала, уже никогда больше не увижу тебя. Говорила себе: никогда, никогда больше не вернется ко мне Винсент... И вы тоже, месье Тулуз... Сколько времени вас не видела... А теперь вдруг явились! Все посетители уже давно ушли, все блюда остыли...

Агостина была по-прежнему экспансивна, но и она тоже изменилась: щеки обвисли, в черных волосах — серебряные нити.

Они неспешно ели в пустом зале «Тамбурина», а когда закончили обед, хозяйка принесла бутылочку ликера и под села к ним.

— За встречу, — сказала она, наливая три бокала. — Этот божественный напиток называется «Ла Стрега» — вкуснейший ликер, лучший ликер на свете. Он смягчает сердечную боль, — закончила она печально.

— Что с тобой, Агостина? Чего загрустила?

Ее прекрасные глаза глянули на Анри тоскливо и отрешенно.

— Так хочется вернуться домой, туда, где всегда светит солнце, где земля под ногами теплая и мягкая. Хочу смотреть на море, видеть, как пенятся пронизанные солнцем волны.

Наконец они покинули Агостину и остановили свободный фиакр.

— Отличный денек для прогулки, — заметил Анри. — Ты уже видел Эйфелеву башню? Нет?

Они спустились на людные улицы Парижа, миновали площадь Согласия и вышли на Елисейские поля.

— Я уже совсем позабыл, как выглядит Париж, — нарушил долгое молчание Винсент.

— Да, прекрасный город. Сцена, где декорации впечатляют больше, чем актеры. Иногда мне кажется, что архитектура — самое воодушевляющее искусство. Даже трогательнее музыки.

Объехали Эйфелеву башню, здания Конгрегаций, издали полюбовались на комплекс Луврского дворца — этот каменный массив, напоминающий распахнувшего крылья грифона, охраняющего свои сокровища, полюбовались собором Нотр-Дам, похожим на корабль, бросивший якорь в центре Парижа. Потом пересекли Сену и поехали по левому берегу. Их фиакр раскачивался и дребезжал на булыжных мостовых темных и узких старинных улочек, минуя маленькие сонные магазинчики, уютные кофейни, древние, вросшие в землю церкви, зажатые покрытыми вековой сажей готическими домами... То и дело распахивались вдруг перед ними маленькие площади с непременно фонтанчиком в центре и бронзовой статуей какого-нибудь полководца, несколькими платанами и обязательной под ними скамейкой, на которой восседал, читая газету, местный рантье с козлиной

<sup>1</sup> Дорогой мой! (*итал.*)



бородкой, в пальто и котелке. Иногда на таких площадях можно было увидеть карусель, облепленную визжащими от восторга сорванцами.

— Не хочешь ли посетить Нотр-Дам? — спросил Анри, когда они возвращались и пересекали прихрамовую площадь на Ситэ.

Слезли, вошли в огромный сумеречный корабль, наполненный запахами ладана и затхлости, свойственными очень старым каменным громадам. Повсюду молчаливые фигурки коленопреклоненных старух с молитвенно сложенными ладонями. За ближней колонной сотрясалась от беззвучных рыданий молодая женщина.

Анри посмотрел на Винсента, замершего перед крошечным огоньком свечи, горящей перед ракой. Он незаметно шевелил губами, словно беседовал с Богом, скрытым за позолоченной дверью алтаря. Бедный Винсент, он победил, но как же устал!.. Бешеный поток его жизненной энергии иссякал, и иссякал очень быстро.

— Я приглашен нынче к Тандиу, на ужин, — сказал Лотрек, когда они покинули храм. — Не хочешь ли пойти со мной? Они были бы рады видеть тебя.

Улица Клозель была уже окутана вечерней дымкой, когда их фиакр добрался до магазинчика папаши Тандиу. Увидев Винсента, хозяин широко распахнул объятия.

— Месье Ван Гог! Какая радость, какой сюрприз! — Он прижал Винсента к груди и, встав на цыпочки, ухитрился поцеловать его в подбородок. — Ну, теперь все в сборе! Вы подросли как раз вовремя, чтобы отведать луковое рагу мадам Тандиу.

Не прекращая болтовни, он повел гостей на кухню, где хозяйка, засучив рукава и обливаясь потом, хлопотала возле закипающего котла, словно колдующая ведьма. После новых восторженных восклицаний, обращенных к неожиданно появившемуся Винсенту, троица мужчин отправилась в садочек позади магазина, где уже был сервирован к ужину стол.

— Прямо как за городом! Не правда ли? Вы только понюхайте, какой здесь воздух! — сиял Тандиу, раздувая грудь. — Полюбуйтесь моим деревом! — Он гордо указал на корявую липу, украшенную бельевыми веревками. — Я всегда говорил: чтобы насладиться природой, не обязательно покидать Париж.

Через несколько минут появилась мадам Тандиу, неся дымящуюся фарфоровую миску, которую она водрузила посреди стола. Ужин начался. Луковое рагу было признано шедевром.

— Это самое вкусное рагу из всех, какие мне доводилось пробовать! — воскликнул Анри. — Как вы его делаете?

— О, это очень просто, — вспыхнула от похвал мадам. — Закладываете в воду несколько листиков лавра, шалфей, немного тмина, петрушки, несколько одуванчиков, розмарин, головку чеснока, ну и, конечно, лук... — Ее усталые глаза сияли от счастья.

Анри заметил, что Тандиу почти ничего не ест и бокал его остался нетронутым.

— В чем дело, месье Тандиу? Вы разлюбили вино?

Старый анархист повернул к нему круглое, грубо вытесанное лицо и жалобно усмехнулся:

— Все из-за моего желудка, месье Тулуз. Болит сам не знаю отчего.

— Я уговариваю его обратиться к врачу, но он упрям как осел,— пожаловалась жена.

Поднявшись из-за стола, она стала собирать тарелки.

— Я не намерен показывать свой желудок какому-то буржую-врачу. Для меня это принципиальный вопрос,— решительно заявил хозяин.— А теперь я хочу показать вам прекрасную маленькую японскую гравюру, которую приобрел на днях.

— Тандиу, иди-ка сюда! Помоги мне вымыть посуду! — раздался из кухни голос супруги.

Он уныло посмотрел на гостей, вздохнул и покорно поплелся на кухню.

Наступила ночь. Воздух был чист и мягок. Во дворике тихо и темно; лишь небольшой круг света от стоявшей на столе керосиновой лампы, возле которой вьются мотыльки и падают на стол, обжегшись о горячее стекло. Но вскоре они начинают шевелиться, расправляют слабые крылышки и возобновляют свой воздушный танец в освещенном кругу.

— Они тоже хотят того, чего не могут иметь,— задумчиво проговорил Анри.— Так много написано о чудесных инстинктах всего живого, но ты только взгляни на этих глупых мотыльков!

— Анри!

— Да?

— Пока ты одевался там, дома, я взглянул на твои картины. Эта девушка, ну, блондинка... Будь осторожен, не дай ей разрушить твою жизнь! Не позволяй отрывать тебя от работы.— Винсент горестно улыбнулся.— Ты на десять лет моложе меня и еще не сказал всего того, что можешь и должен. Изложи все это на полотне, ибо никто никогда не скажет этого, кроме тебя. И не разрешай никакой женщине помешать тебе сделать это.

У Анри вдруг возникло странное предчувствие, что ему больше никогда не доведется видеть Винсента. Тот Ван Гог, которого он знал, уже умер. Его безобразно-прекрасное лицо приобрело несвойственное былому Винсенту спокойствие. Голубые глаза смотрели так, будто перед ними открывался давно ожидаемый берег.

Они еще долго беседовали в садике, после того как хозяева отправились спать. Потом в молчании пошли на Ситэ Пигаль, где Винсент остановился у Тео. У дверей он протянул Анри свою сильную мосластую руку.

— *Vaagwel, mijn vriend!* — Он в последний раз подарил Лотреку свою грустную улыбку.— По-голландски это означает: «Прощай, мой друг».

Прощай? Значит, он тоже считает, что они больше не увидятся?

Анри на мгновение задержал в своей руке ладонь Винсента, еще раз всмотрелся в художавое рыжебородое лицо.

— Прощай, друг мой,— хрипло ответил он.— Прощай, Винсент.

\* \* \*

Свадьба «маленькой Евлалии» получилась именно такой, какой мечтал видеть ее любящий отец. В зале играл квартет музыкантов из оркестра парижской полиции, присутствовали представители Сюрте, экзекуторской бригады молодожена, деятели казначейства, секретной полиции, группы инспекторов и высших офицеров. И сам месье префект полиции. Лично!



Вблизи эта сверхважная персона оказалась толстеньким лысым господином с большой лопатообразной бородой, облаченным в визитку и брюки в полосу, напоминавшим церемониймейстера похоронного бюро. Префект произнес поздравительную речь, посидел во главе стола несколько минут и удалился, сопровождаемый заикающимся и кланяющимся Пату, щедро расточая подчиненным свое епископское благословение. Не дойдя до двери, он остановился, чтобы пожать руку Анри и обменяться с ним несколькими живыми фразами.

После его отбытия квартет ударил зажигательную полку. Полицейские подхватили своих женушек и запыргали с воинственным азартом.

Пату, стоявший возле Анри, исполненный гордости и волнения, настоял на том, чтобы Лотрек разрешил ему представить некоторых из присутствующих.

— Позвольте мне, господин граф, представить вам капитана Куло из экзекуторской бригады. Он сопровождал на гильотину двадцать преступников, приговоренных к смертной казни... Капитан Гилье, специалист по раскрытию хищений драгоценностей... Месье Варден Поншель из тюрьмы Рокетт...

Прием уже близился к концу, когда он вновь подошел к Лотреку, ведя за собой тучного веселого человека.

— Господин граф, это мой старинный друг инспектор Ремпар, шеф полиции нравов региона Севастопольского бульвара. Да-да, тот самый, о котором я вам как-то говорил.— Он многозначительно улыбнулся Анри и, усадив Ремпара рядом с ним, смешался с толпой гостей.

Вначале Ремпар принялся прочувствованно аттестовать Пату, восхваляя его четкость и оперативность, потом, понизив голос, сказал:

— Пату говорил мне о вашем интересе к одной из девиц. Вы уж поверьте мне, но это отлично, что вы от нее избавились. Скверная особа. Она вернулась в мой район, и я глаз с нее не спускаю. Вновь связалась со своим сутенером и целый день околачивается в маленьком бистро на улице Де ля Планшетт. Но она должна вести себя осторожно — один неверный шаг, и мы вышвырнем ее прочь.

Когда Анри в этот вечер вернулся к себе в студию, кровь стучала в висках. Окружающая темнота была наполнена голосами, нашептывавшими ему: «Улица Де ля Планшетт... Улица Де ля Планшетт... Планшетт... Она там. Поезжай туда и увидишь ее. А вдруг ты сумеешь ее вернуть?..»

Несколько часов он боролся с преследовавшими его воспоминаниями о ее чувственном рте, ее гибком теле... Думал и о ее неряшливости, жадности, глупости.

После полуночи он капитулировал.

Де ля Планшетт оказалась узкой темной улочкой, скорее даже траншеей между двумя рядами безобразных обшарпанных домов.

Велев кучеру фиакра подождать, он подошел к бистро и заглянул в запыленное окно, сквозь которое едва мог различить расплывчатый силуэт хозяина за стойкой, моющего стаканы, и двух посетителей, режущихся в карты.

И вдруг увидел ее! Мари сидела рядом с Бебером. Она что-то говорила, и глаза ее, устремленные на любовника, выражали мольбу и нежность. Те самые глаза, которые умели глядеть так жестоко... Анри увидел, как

собеседник оттолкнул ее, грубо, хамски, что-то выкрикнул ей прямо в лицо, поднял руку, словно собирался ударить. Она покорно кивнула, робко улыбаясь ему... Каким унижением может быть любовь!

Анри возвратился к фиакру.

— Пожалуйста,— попросил он кучера,— зайдите в бистро и спросите девушку по имени Мари Шарле. Скажите ей, что с ней хотят поговорить.

Ожидание показалось бесконечным. Наконец в дверях бистро появился ее силуэт.

— Мари,— позвал он сдавленным голосом,— Мари!

— А, это ты? — Она направилась к нему.— Чего надо?

— Я хочу, чтобы ты вернулась ко мне, Мари,— проговорил он, радуясь тому, что она не может видеть, как стыд жжет ему щеки.— Я был не прав. Пожалуйста, вернись!

— Не знаю...— поддразнила она его.— У меня все в порядке, за мной ухаживают богатые господа. А кроме того, ты всегда на меня орешь.

— Я больше не буду. Обещаю тебе. Пожалуйста, Мари!

— Ну что ж, это другое дело. Но если я вернусь, ты должен будешь платить мне шестьдесят... нет, семьдесят пять франков в день.— Она выиграла и ставила свои условия.— Согласен? Тогда обожди здесь минутку.

Она юркнула назад в бистро, и он ждал ее, скрючившись на сиденье фиакра, потерпевший полное поражение, несчастный, презирающий себя. Да, каким унижением может быть любовь!..

Вскоре она возвратилась. Обернувшись, отправила воздушный поцелуй своему любовнику, затем, приподняв юбку, вскочила в фиакр.

— Улица Коленкур,— бросил он кучеру.

— Я знала, что ты явишься,— прошептала Мари, прижавшись к нему.— И я рада, что ты пришел. Я тоже соскучилась.

Разве имело какое-то значение, правду говорила она или лгала? Разве имело значение что-либо, кроме одного: она здесь, она рядом с ним и он везет ее к себе!

\* \* \*

Все пошло по-прежнему. Он платил. Она проводила день в городе, возвращалась ночью и была с ним «хорошей».

Но что-то все-таки изменилось, и ему не потребовалось много времени, чтобы заметить перемену. Мари, которую он знал прежде, была вольной шлюхой, загадочной и озлобленной. Новая Мари — влюбленная женщина, подчиняющаяся требованиям сутенера.

— Ты не поверишь,— сказала она спустя несколько дней после возвращения,— но в тот самый вечер, когда ты приехал за мной, Бебер говорил о тебе. И знаешь, что он сказал?

— Ну откуда же...

Да, умной Мари не была. Очень уж напряглось ее лицо, когда она произносила заученную ложь.

— Ну как тебе не стыдно, сказал он мне, так обращаться с добрым месье. И правда, ты ведь всегда был ко мне добр. Бебер настаивал, чтобы я извинилась перед тобой.

Да, возможно, Бебер и говорил нечто подобное в ту ночь. Даже поднял

руку, чтобы ударить ее... Наверно, пытался втолковать, какая она дура, что порвала с умалишенным, безропотно выкладывавшим полсотни франков в день, и, конечно, настаивал, чтобы она вернулась...

Анри посмотрел на нее отстраненно: у Мари исчез вызывающий, надменный взмах головой, которым она отвечала на его слова, не кривились презрительно губы. Она стала покорной служанкой, усердно исполняющей приказы господина, но исполняющей их бездушно.

— Ладно, Мари. Тебе не в чем извиняться. Я сам виноват. Это действительно были твои деньги, и ты имела полное право распоряжаться ими по своему усмотрению.

— Нет, это я виновата,— настаивала она.— Бебер сказал, что я должна извиниться.

— Хорошо. Можешь сообщить ему, что извинилась.— Анри наполнил бокалы.— Давай не будем больше об этом говорить.

— Я никогда не буду ссориться с тобой. Не хочу. Ты мне слишком симпатичен.

— Ладно.— Он наблюдал за ней через стол. Даже обычный блеск в ее глазах потух. Она улыбнулась ему, стараясь таким неуклюжим приемом обмануть его.

Однажды утром, вместо того чтобы одеться и поскорее уйти, она предложила попозировать ему.

— Даже голый, если захочешь.

Нарочитая небрежность тона выдала ее с головой. Он почти слышал, как инструктирует ее Бебер, разворачивая кампанию по обольщению уроды.

— Посмотри-ка,— откинула она одеяло.— Правда, у меня красивое тело? Ни прыщика. И кожа гладкая, не такая грубая, как у многих девушек. Потрогай! — Она ухватила его руку, заставила провести ладонью по своим бедрам.— И груди у меня упругие, разве нет? — продолжала она, прижимая его руку к груди.— Ведь они нравятся тебе, правда?

— Да, Мари. У тебя чудесная грудь,— мягко сказал он, тихонько отбирая руку.— Но ведь тебе пора идти. Опоздаешь.

— Не бойся, тебе не придется платить мне за позирование. Я ничего с тебя не возьму.

— Очень мило с твоей стороны, но как-нибудь в другой раз. Сейчас тебе лучше одеться.

На другое утро она выразила желание убрать студию.

— Я хорошо умею убираться. Мать заставляла меня драить полы. А если дашь мне воску, я так натру мебель, что она заблестит.

Ее смиренное подобиострастие покорило Анри. Чего только не сделает женщина ради любви! Он отворачивался, когда она вдруг притворно начала восхищаться его картинами, так как это тоже было одним из элементов стратегии, разработанной на улице Де ля Планшетт и направленной на полное его порабощение.

«Подлизывайся к нему, говори, что тебе нравится его мазня» — так, должно быть, наставлял ее Бебер, и она беспрекословно повиновалась, надеясь получить награду — его поцелуй или ласку за то, что восхищалась картинами карлика.

Она пошла еще дальше: ради любви отказалась от любви, перестала

ежедневно встречаться со своим Бебером. Лишь раз в неделю виделась с ним, заявляя Анри, что провела день со своей сестрой.

— Знаешь, тот парень, ну, о котором я тебе говорила, что сохну по нему, так вот, больше я его не люблю! — Ее несчастные глаза кричали о том, какой дорогой ценой доставалось ей каждое слово. — И я не желаю больше его видеть. Ты мне нравишься куда больше. Ты настоящий благородный человек.

Впервые она стала играть роль любовницы: жила с Анри, готовила в кухоньке завтраки, делала все, о чем он мог раньше только мечтать. Даже предложила, чтобы он познакомил ее со своими друзьями, соглашалась сходить к ним в гости. Его поражала ее жертвенность, свойственная, кстати, и многим другим подобным ей женщинам. Что заставляло их исполнять самые унижительные приказы своих сутенеров? Отдавать им деньги, получаемые за свое падение? Откуда у них эта страсть к самоуничтожению?

Теперь она постоянно была при нем, докучая неуклюжими знаками внимания. Однако иногда забывалась, погружалась в мечты. Тогда лицо ее озарялось нежным сиянием. Он понимал, что в эти моменты она думает о своем любовнике, воображает, что ласкает его. Лишь ради него терпит она эту скучищу, идет на жалкий обман. Было даже что-то возвышенное в ее чувствах к этому крестину.

А в отношениях с Анри... Она утратила свойственную ей грацию, словно вынашивала свою любовь, как беременная — ребенка.

То, что Мари стала совсем другой, вызвало перемену и в их сексуальном общении. Если прежде постоянная взаимная враждебность становилась как бы острой приправой к их отношениям в постели, то теперь она превратилась в усердную любовницу, стремящуюся угодить партнеру: не жалея сил симулировала экстаз и, дабы и Анри поверил в его истинность, сопровождала его любовными стонами и страстным шепотом:

— Ты замечательный любовник, Анри!

Молчание.

— Я сказала, что ты замечательный любовник.

— Лучше спи, Мари, уже поздно.

— А ты меня любишь?

— Ты мне очень нравишься.

— Я не о том. Я спрашиваю, любишь ли ты меня?

— Любовь так много значит...

— Но ведь ты любишь меня? Ты доволен мной? Я хорошо отношусь к тебе? Делаю все, как ты хочешь? Правда? У тебя ведь никогда не было такой девушки, как я? Такой хорошей, ласковой? Ну скажи, что не было! Никогда!

— Никогда, никогда... Спи, светает уже... Пожалуйста, Мари, спи!

Он чувствовал, как ее губы ищут его рот.

— Спокойной ночи, дорогой! Положи голову мне на плечо.

Ах, если бы эти слова были искренними! Но в них — сплошная ложь, и они причиняют только боль...

— Спокойной ночи, Мари!

Постепенно он понял, что страсть его уходит. Безыскусная независимая шлюха вызывала у него смутную жалость, а ее хитрости и чувственность

разжигали желание. Теперь Мари сделалась покорной, и ее раболепие ничем не отличалось от профессионального притворства обитательниц борделей.

Вежливостью нередко пытаются прикрыть усталость от любовных утех. По мере того как влечение к Мари угасало, Анри общался с ней все ровнее и спокойнее, что она воспринимала как доказательство его полной капитуляции. Когда он подносил зажженную спичку к ее сигарете или помогал застегнуть на спине блузку, в ее глазах можно было прочесть ликование триумфатора. Он не лишал ее этих иллюзий. Он устал. Хотел только покоя. Их связь близилась к концу. Он желал, чтобы она прекратилась естественно, сама собой, как падает на землю перезревший плод.

В день Успенья — знойный августовский день — он преподнес ей пару золотых сережек.

— Настоящее золото? — недоверчиво спросила она, держа подарок на раскрытой ладони.

Он кивнул.

— Помнишь, в ту ночь, когда мы встретились, ты хвастала, что у тебя когда-то были золотые сережки? И ты их потеряла. Эти — вместо тех.

— Но те были не золотые, а позолоченные.

— А эти — настоящие. Если что, ты всегда сможешь заложить их в ломбарде.

— Никогда! Я всегда буду их носить. Я никогда...

— Хорошо, — устало согласился он. — Примерь. Погляди, как они смотрятся на тебе.

Он наблюдал, как она продела их в мочки ушей, думая о том, как долго позволит ей Бебер щеголять в этих дорогих безделушках.

В эти последние недели августа он признался себе, что излечился от Мари, и стал осторожно планировать прекращение их совместной жизни. На этот раз разрыв должен быть окончательным, бесповоротным. И по возможности приличным, по крайней мере, не скандальным.

Как выздоравливающий, пробуящий свои силы после длительной болезни, он объявил Мари, что ему надо на три дня уехать из Парижа.

— На три дня? — вскрикнула она. Но он видел, каким восторженным огнем вспыхнули ее глаза. Три дня и три ночи с Бебером!.. Но тут же она спохватилась. — Ах, как жаль, что тебе придется уехать, — выдавила она с деланной печалью. — Если хочешь, я даже не буду покидать наш дом. Буду сидеть здесь и ждать тебя. Сидеть и ждать.

Его просто затощило. Он уверил ее, что ему будет куда приятнее, если она проведет эти три свободных дня с сестрой, сообщил, что оплатит, как обычно, все время своего отсутствия, настоял, чтобы, кроме оговоренного жалованья, она приняла и существенные чаевые. И стал поспешно укладывать чемодан.

Трое суток просидел он взаперти в своей студии, питался обедами, доставляемыми на дом из ресторана, с увлечением работал. И почти не вспоминал о ней.

Он излечился!

Теперь оставался «*Coup de grâce*» <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Последний удар (*франц.*).

И все-таки он почувствовал, каким трудным и болезненным бывает разрушение любого устоявшегося домашнего уклада, даже самого непрочного. И понял, почему такое множество несчастливых супружеских пар предпочитает продолжение совместной жизни тяготам и сложностям разрыва. Ее туалеты, несколько вещей, жалкая косметика все еще загромождали его шкафы и ванную комнату. Их надо будет собрать и отправить по определенному адресу. Возможно, к ее сестре. Потом встает денежный вопрос. Он обязан совершить этакий финальный жест, сделать под занавес прощальный подарок. Конечно, ничего он ей не должен, но он продолжал жалеть ее и эти несколько последних недель. Что теперь станет с ней? Он выкидывал ее вон; Бебер, в тот момент, когда она перестанет приносить ему ежедневную ренту, вероятно, последует его примеру. И она вновь окажется без крыши над головой, без денег, без любви. Что же она будет делать? У нее нет данных для превращения в дорогую кокетку, в даму полусвета, и, скорее всего, она вернется к прежнему образу жизни: дешевая проституция в подъездах и темных закоулках... Сен-Лазар, желтый билет, возможно, публичный дом... А дальше — дно. И наконец, сосновый гроб, общая могила...

Он потерпел еще одну неделю после «возвращения». Затем, в один из сентябрьских дней, сказал то, что намеревался сказать еще в ночь ее появления в «пятидесятифранковом» платье.

— Мари,— сдержанно начал он,— я думал о наших отношениях и решил, что нам будет лучше, если мы больше не станем видеться. Скажи, куда мне отослать твои вещи?

Она непонимающе уставилась на него:

— Ты что? Ты хочешь, чтобы я ушла?

— Пожалуйста, постарайся понять меня. Ты напрасилась ко мне на одну ночь и прожила здесь семь месяцев. Все было очень славно, и я тебе благодарен. Теперь пришло время прощания. Давай не будем устраивать сцен. Давай расстанемся достойным образом.

Он вытащил из внутреннего кармана плотный конверт.

— У меня для тебя прощальный подарок.— Анри вдруг осекся. Ее лицо помертвело. Она дрожала всем телом. Ее слабый умишко не мог сразу осмыслить все значение несчастья, неожиданно обрушившегося на нее, и потому ее плоть, всегда более восприимчивая, чем ее разум, лихорадочно сотрясалась, как у животного, чующего приближение смерти. На это рефлексорное проявление ужаса невозможно было смотреть.

— Сядь, Мари,— сказал он мягко.— Присядь.

Она словно не слышала.

— Ну что я такое сделала? — заикаясь и стуча зубами, выговорила она наконец, не меняя позы.— Ведь я была хорошей с тобой. Разве не так? Делала все, что ты хотел... Согласилась даже позировать голой, если бы ты сказал... Полировала мебель...— пыталась она жалко защищаться сбивчивыми полусловами, полувсхлипами. Казалось, горло сведено судорогой. После каждой фразы она облизывала губы кончиком языка. Он видел, что ее разум подчинен сейчас лишь одному — ее переполняло чувство чудовищной несправедливости: она так старалась, исполняя все его желания, и так наказана за это!

— Ты не сделала ничего плохого,— пытался он успокоить ее.— Ты была очень хорошей. Просто я...

— Вот видишь! — схватилась она как за соломинку за его милосердный обман, ошибочно приняв его за признание вины.— Видишь? Ты же сам сказал, что я была хорошей!

— Пожалуйста, Мари, давай не будем...

— Но ты же сам только что сказал, что я была хорошей! — Она никак не могла понять противоречивость его слов.— Докажи мне, что я хоть раз оказалась делать то, что ты...

— Пожалуйста, Мари,— взмолился он,— не будем спорить. Объяснения ничего не дадут. Будем считать, что все произошло по моей вине.

Он протянул ей конверт.

— Это тебе. Лицензия на тележку. Ведь ты хотела ее иметь? Вот она. Выписана на твое имя. Лицензию нельзя ни продать, ни передать кому-нибудь. Помнишь, чтобы приобрести ее, ты начала копить деньги?

Теперь до нее что-то дошло. Он увидел, как расширились ее глаза.

— Но что скажет он? — в ужасе простонала она, словно забыв о присутствии Анри.— Что он скажет? Что скажет, когда узнает, что я больше не нужна тебе? — Она вскинула голову и вдруг метнулась к нему.— Умоляю, Анри, не прогоняй меня! — Отчаяние вернуло ее движениям кошачью грацию.— Я сделаю все... все...

Она упала перед ним на колени, схватила его руку и стала целовать ее, орошая слезами.

— Пожалуйста, не надо, Мари! — Он отвел глаза, не в силах вынести зрелище ее унижения.— Ну прошу тебя!

Она не слушала, даже не слышала его, продолжая покрывать поцелуями его руку и что-то бессвязно бормоча. Вдруг ее словно осенило. Она резко рванула от ворота блузку, спустила лямки сорочки.

— Смотри, Анри, смотри! — Она приподняла в ладонях обнаженные груди, выпростав их наружу.— Разве не красивые? Ты же говорил, что они тебе нравятся... Любил их тискать... Можешь тискать, целовать, делать все, что хочешь... Все...

Анри никогда не мог забыть того, что за этим последовало. Распластавшись на кушетке, задрав юбку и раскинув ноги, залитая слезами, она молила его, старалась затащить на себя. Прерывая рыдания, выкрикивала, что согласна готовить ему, позировать, чистить мебель, чинить одежду, мыть пол...

Закрыв глаза рукой, он оставался сгорбившись сидеть на своем парусиновом рабочем стульчике возле мольберта. Мари невольно напомнила ему мадам Дюбарри на эшафоте. Любовница короля Людовика XV тоже была блондинкой, тоже родилась в трущобах, тоже упала перед палачом на колени, обнажила грудь, молила о милосердии: «О господин палач, подождите хоть одну минуту! Одну минуту!»

Вдруг Мари вскочила с кушетки. Теперь перед Анри был скорпион, готовый к атаке.

— Ненавижу тебя! Понятно? Ненавижу! И всегда ненавидела морду твою уродскую, ноги калеченые! Карлик ты, урод и калека! Даже ходить по-людски не можешь. Как увидела в первый раз, так с тех пор и ненавижу. И когда говорила, что люблю, тоже ненавидела! Меня всю корежило, когда

ты до меня дотрагивался! Я бы ни за что к тебе не вернулась, если бы не Бебер. Это он заставил меня...— Она приблизила к нему искаженное гримасой отвращения лицо.— И еще скажу: так тебе и надо, что ты калека! Я рада этому! Слышишь? Рада, рада, рада!

С дикой злобой выплевывала она эти наполненные ядом слова прямо ему в лицо и мерзко, пронзительно смеялась.

— И вообще я не уйду! Что, не нравится? Да, не уйду. И знаешь почему? Потому что ты задолжал мне кучу денег! Да-да — кучу денег! Хочешь отделаться? Не выйдет! Ты же обещал платить мне по сотне в день, а давал только по семьдесят пять. Обманывал меня!..

Она визжала как помешанная, без всякой логики, что было типично для нее. Сперва он даже был благодарен ей за эту мстительную злобу. Она облегчала разрыв. С каждым ее оскорблением, с каждым лживым выкриком решимость его укреплялась. Наконец, чтобы все прекратить, он напомнил ей о Пату: тут же явится и упечет ее в Сен-Лазар.

Угроза подействовала. Она сникла, обессиленная, сжалась в комок на кушетке, понимая, что потерпела поражение. По-детски всхлипывая, она молча, дрожащими руками натянула блузку, застегнула на все пуговички.

— Можешь отослать мои вещи к сестре. Я заберу их оттуда.

Он подсел к ней, взял в ладони ее руку.

— Разве ты не возвращаешься к Беберу?

Она отрицательно замотала головой. На мгновение ее лицо исказилось невыносимой болью.

— Не могу вернуться. Он любит другую, не меня. У него какая-то рыжая... Ему нужны только мои деньги.

— Трудно любить того, кто тебя не любит, правда? — тихо сказал Анри.— И ты, и я понимаем это. Вот увидишь, пройдет некоторое время, и ты привыкнешь к одиночеству...— Нет, он знал: это неправда, к одиночеству привыкнуть невозможно.— Привыкнешь, все забудется, и встретишь хорошего человека, который будет добрым и отнесется к тебе...

Она не слушала его. Вырвав руку, механически поправила волосы, вытерла ладонью слезы — ребячий жест, опять тронувший его, взяла конверт, который он снова протянул ей, и, не поблагодарив, как заведенная кукла вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Минуту он прислушивался к ее шагам.

И вот все утихло. Только жужжали осенние мухи, и в воздухе стоял запах рисовой пудры... Пройдет несколько дней, и он выветрится...

Анри приковылял к мольберту, взял в руки палитру и начал выдавливать на нее краски из тюбиков...

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Литографская мастерская папаши Котеля располагалась в полуразрушенном сарае на заднем дворе церкви Нотр-Дам-де-ла-Круа в районе Менильмонтан. В свое время этот сарай был конюшней, где состоятельные горожане могли за плату держать своих лошадей, и запах навоза так



пропитал помещение, что ощущался до сих пор, приправленный ароматами типографской краски, азотной кислоты, гуммиарабика, табака и кофе.

Анри представился и объяснил цель своего визита. Хозяин, не отрывая глаз от полированной поверхности массивного, лежащего на станине печатного прессы литографского камня, внимательно выслушал посетителя. Из-под черной ермолки торчали пучки редких длинных волос, волосы свешивались и с подбородка, придавая мастеру сходство то ли с китайским мандарином, то ли со старым козлом — Анри не мог решить, с кем именно.

— Вы говорите — рекламная афишка? Обещали месье Зидлеру афишу...

— Цветную,— уточнил Анри.

— Цветную афишу,— повторил папаша Котель, теребя бороду.— Но, как я понял из ваших слов, прежде вы никогда не занимались литографией. Правильно?

— Правильно.

— Значит, вы не обладаете даже минимальными навыками этого ремесла?

— Совершенно верно.

Последовало долгое молчание, во время которого старый литограф так дергал себя за бороду, словно собирался выдрать ее совсем. Взгляд Анри блуждал по плоским сланцевым плитам, разбросанным по всему сараю или стоящим на ребре друг подле друга у стен, по банкам с красками, по покореженному старому тазу в углу, по закипающему на газовой горелке эмалированному кофейнику. Возле окна стол. Под крышей из застекленных рам высился печатный пресс. Из-за распахнутой двери доносилось поскрипывание от игривого сентябрьского ветерка проржавевшей жестяной вывески. Где-то поспыстывала какая-то птица.

— И когда, позвольте поинтересоваться, вы собираетесь сдать заказчику его афишу? — нарушил молчание мастер. В его голосе явно звучала ироническая нотка. Он впервые оторвал глаза от камня и взглянул на Анри.

— Чем скорее, тем лучше. Она очень, очень нужна Зидлеру. «Мулен Руж» может прогореть, если я не потороплюсь.

— Ясно.

Последовала новая продолжительная пауза. Анри готов был поклясться, что за это время борода Котеля стала длиннее — так усердно дергал он ее, накручивая на палец.

Наконец хозяин очнулся от своей странной медитации.

— Полагаю, через пяток лет все будет готово. Нормальный срок,— вкрадчиво резюмировал он.

— Пять лет?!

— Скорее, даже шесть. Боюсь, вы не представляете себе, что литография — один из самых сложных и тонких графических процессов. А если вы собираетесь заниматься не просто литографией, а хромолитографией, то есть созданием многоцветных оттисков, то техника становится еще сложнее. Надеюсь, вам будет интересно узнать, к примеру, что изготовление знаменитой одноцветной литографии «Взятие Иерусалима» потребовало двух лет работы и объединенных усилий всех специалистов литографского центра господ Дзя и Хэя в Лондоне.

Он искося взглянул на Анри.

— Ваше желание напоминает мне претензии человека, полностью не сведущего в музыкальной грамоте, который решил написать симфонию. Извините, но я должен был сказать вам это, прежде чем вы очертя голову кинетесь в создание такой афиши. Однако, если вы по-прежнему настаиваете и собираетесь учиться и упорно работать, что ж, буду рад помочь вам, чем могу.

— Спасибо. Так когда же мы приступим?

— Если желаете — немедленно. Повесьте вон туда, на гвоздик, свою шляпу и накидку, возьмите мой передник, и приступим. Начну с того, что слово «литография» составлено из двух греческих корней: «литос» — камень и «графо» — пишу, то есть «пишу на камне». Изобретена литография в конце прошлого века баварским типографом Алоизом Зенефельдером. Он был гением, месье Лотрек! Это первое, что вы должны усвоить, приступая к «рисованию на камне»...

Так началась их совместная работа.

Минул сентябрь. Покатился октябрь. Ветер срывал с каштанов последние желтые листья и, покружив в воздухе, бросал в сточные канавы. В мастерской же Котеля стояла напряженная тишина. Пока дождь стучал по застекленной крыше, там шла работа. Анри появлялся каждое утро, надевал голубой передник и весь день горбился над камнем, постигая технику литографии и возможности материала. Вскоре он стал захватывать с собой в мастерскую бутылку коньяка и обнаружил, что папаша Котель совсем не прочь иногда выпить глоток-другой, «чтобы противоборствовать унылой осенней поре».

— Знаете, что поразительно? — восклицал старый печатник, склоняясь над Анри. — У вас как бы врожденный талант к нашему ремеслу. Вы уверены, что не изучали литографию раньше?

Скоро Анри, поднатов в технике, принялся делать опыты, бесстрашно отступая от традиционной технологии литографирования. Папаша Котель наблюдал за ним со смесью восторга и тревоги.

— О, нет-нет! Этого вы делать не смее! Нет!

— Почему «нет»?

— Потому что этого никто и никогда раньше не делал. Ни один литограф такого не делал!

Однажды Анри прихватил из дому зубную щетку, набрал на нее краску и, слегка проводя кончиком пальца по жесткой щетине, распылил над камнем мириады микроскопических капелек.

— Боже мой, что вы еще выдумали? — всполошился старик, подбежав к его столу.

— Стараюсь найти новый способ напыления.

— Зубной щеткой? Нет, нет, нет! Это невозможно! Ни один литограф никогда не разбрызгивал краску зубной щеткой.

Повернувшись к нему, Анри улыбнулся:

— Как будто получается. Не хотите ли сами попробовать?

Старый мастер с опаской взял в руки зубную щетку, склонился над камнем с уже нанесенным жирными красками рисунком и провел пальцем по щетине.



Афиша «Джейн Аврил». 1893



Обложка к журналу «Эстамп оригиналь». 1893

— Действительно получается,— с удивлением пробормотал он.— Почему же никто раньше не додумался до этого? Вы прирожденный литограф, месье Тулуз! И вы утверждаете, что никогда не занимались литографией? Вы уверены в этом?

В один из дней конца октября, когда Анри, по обыкновению, сидел над своим камнем, в сарай, задыхаясь от волнения, ворвался Морис.

— Догадайся, что случилось! — еще с порога крикнул он.— У Тео Ван Гога удар, и его отправили в Голландию. Месье Буссо хочет, чтобы я взял на себя все дела галереи!

Теперь Анри встречался с Морисом ежедневно, иногда дважды в день. К вечеру, когда темнело, он покидал мастерскую и обязательно заезжал к Жуаяну и, конечно, находил своего друга в рубаше с засученными рукавами: Морис без отдыха занимался инвентаризацией полотен и целых гор литографских листов, сверял с книгами имеющиеся экспонаты, приводил в порядок документы, не оформленные как следует Тео из-за болезни. Они вместе ужинали, делились заботами, черпая радость в общении.

События же в мастерской развивались с головокружительной быстротой.

— Я должен спешить! — заявил Анри, когда старый мастер посоветовал ему несколько умерить свой пыл. — Зидлер в отчаянии!

К этому времени Лотрек превратился в типичного литографа: пальцы перепачканы краской, на щеках меловые пятна. Он уже освоил технику нанесения на плоскость камня обратного рисунка, изучил тайны рисования на камне и ретуши и теперь познавал секреты хромолитографии.

Папаша Котель все чаще отрывался от своего камня, от печатного станка, чтобы взглянуть через плечо Анри на его труды, подергать себя за жидкую бороденку и пробормотать свое «нет-нет-нет». В его отношении к ученику произошла очевидная перемена. С чувством изумления следил он, как прогрессирует его подмастерье, наблюдал за его захватывающим дух искусством рисовальщика, за уверенными движениями рук, для которых, казалось, не существует никаких технических трудностей. Старому мастеру становилось просто не по себе: этот коротышка с больными ногами, этот крепко пьющий урод был самым необыкновенным из всех молодых людей, которых доводилось ему встречать! Уж не гений ли перед ним?

После рождественских праздников Анри сообщил хозяину мастерской, что несколько дней ему придется отсутствовать.

— А потом попробую выполнить заказ Зидлера.

Всю следующую неделю он безвылазно просидел у себя в студии с Ла Гулю и Валентином Бескостным, не виделся ни с кем, кроме своих моделей, почти не спал. Обед приносили на дом, и Анри рассеяннo глотал пищу — ту, что подавала ему мадам Любе, большую часть дня вообще забывая, что надо перекусить.

День и ночь сидел он над листами в творческой лихорадке, отвлекаясь от рисунка лишь тогда, когда хотелось закурить очередную сигарету или плеснуть в бокал коньяка. Весь пол студии был завален окурками и листами с предварительными набросками афиши. С каждым разом эти эскизы становились все более лаконичными, дерзкими, выразительными, пока он не пришел к выводу, что достиг наконец совершенства линий и того оптического эффекта, к которому стремился.

Возвратившись в мастерскую, он выложил перед Котелем оригинал своей акварели. Старик лишь взглянул на напряженный силуэт Валентина, на пышную юбку Ла Гулю, взбитую вверх ударом ноги, и почувствовал, как окаменела его борода и остатки волос на голове встали дыбом.

— Вы не сможете этого напечатать!

— Почему?

— Во-первых, потому что в литографии нет таких красок...

— Мы их сделаем.

— Во-вторых, потому, что если эта афиша появится на улицах, все мы сядем в тюрьму: вы за то, что нарисовали, я за то, что помогал вам, Зидлер за то, что заказал и развесил, даже Шарль Леви за то, что напечатал.

— Отлично. Давайте работать.

Вначале следовало перевести на камень абрис оригинала, да еще в зеркальном изображении, затем шли кропотливое штрихование специальными



карандашами разной твердости и заточки, заливка тушью тех мест рисунка, которые должны были дать на оттиске сплошной черный цвет, ретуширование... Эта работа потребовала много дней кропотливого труда, да и работал Лотрек в атмосфере дурных предчувствий и даже катастрофических пророчеств, изрекаемых папашей Котелем.

Наконец камни были подготовлены к травлению. Это уже было прерогативой мастера. Котель священнодействовал. С какой-то ритуальной торжественностью, почти не осмеливаясь дышать, подергивал он себя за бороду, призывая на помощь отца литографии Алоиза Зенефельдера.

— Одно неверное движение — и все пропало! — Он снял с головы ермолку, почесал затылок, с великой осторожностью налил несколько капель азотной кислоты в жидкий гуммиарабик. — Если кислоты недостаточно, раствор не схватится, если много — стравятся тонкие штрихи. Боюсь, придется корректировать камни заново.

Но травление прошло успешно, можно было приступать к печатанию пробных оттисков. И тут мастер попал в тупик.

— Цвет шартреза, месье? Нет у нас такого цвета... А это что за зеленый? Это не зеленый, это голубой, желтый, розовый, просто серый — какой угодно, только не зеленый!.. Каким образом смогу я найти такой, какой вам нужен?

— Попробуем смешать краски.

И наконец однажды Анри добрался до «Мулен Руж» и проковылял к бару.

— Добрый день, месье Тулуз! — воскликнула Сара, как только увидела его. — Давненько мы вас не видали. Ой, что это с вашим лицом? На лбу и щеках все цвета радуги!

Он стоял перед ней, ухватившись рукой за стойку бара, и тяжело дышал.

— Коньяку, Сара! — едва переведя дух, попросил он.

Она наполнила бокал и протянула ему.

— Вот видите, совсем запыхались. И не пейте залпом. Желудок себе сожжете!

Он взгромоздился на один из высоких крутящихся табуретов.

— Скажи Зидлеру, что он может послать к папаше Котелю Шарля Леви, чтобы тот взял у него камни. Все готово. Можно начинать печатать афишу. Барменша уставилась на него своими большими добрыми глазами.

— Я верила, что вы наконец сделаете ее, месье Тулуз! Верила и знала, что вы сдержите слово.

\* \* \*

Лотрек работал над афишей, пока Общество Независимых художников готовилось к своему очередному весеннему Салону. И, несмотря на занятость, он снова регулярно посещал собрания исполнительного комитета Общества, проходившие в задней комнатке одного из монмартрских кафе.

Как-то он появился в этой прокуренной комнате, когда комитет уже заседал, и уселся рядом с Сера. Председательствовавший Дюбуа-Пилле сердито стучал ложечкой по краю стакана с абсентом, призывая членов комитета к порядку:

— Тише, тише, господа! Не забывайте, что вы на заседании! Наш устав запрещает во время собраний комитета заниматься частными беседами. Ну, пожалуйста, господа, прошу вас...

Но члены комитета продолжали во весь голос обмениваться репликами, просили друг у друга спички, раскуривая трубки, заказывали официанту выпивку. Беспомощно пожимая плечами, Дюбуа-Пилле кинул ложку на стол и, демонстративно усевшись на обитую кожей банкетку, сам принялся о чем-то болтать с соседом по левую руку.

— Это безобразие продолжается уже целый час,— заметил Сера, когда Анри снял пальто и котелок.— Так что ты ничего не потерял, опоздав. Надеюсь, в конце концов все войдет в норму.

— Двойной коньяк,— бросил Анри подошедшему официанту. Он только что отобедал и был в умиротворенном расположении духа.

— Как твои «точки»? — улыбнувшись, спросил он старого друга.

— Все еще потею над «Цирком».— Сера со смирением потер заросшую щетиной щеку.— Ужасно трудная композиция. Искусственное освещение куда коварнее солнечного света. По сравнению с «Цирком» прежние мои работы были просто детскими игрушками. Если у тебя найдется после заседания свободная минутка, заглянем ко мне. С удовольствием покажу тебе полотно.

Председатель неожиданно вновь застучал ложечкой. На этот раз он уже не произносил никаких увещаний. Лицо его побагровело от гнева.

— Да заткнитесь вы наконец, черт вас побери! — возопил он, сверкая глазами из-под свирепо нахмуренных бровей.— Прекратите шум! А то я всех оштрафую.

В помещении воцарилось подобие порядка.

— Ну вот, так-то лучше,— фыркнул он, все еще сердито поглядывая на окружающих. И обратился к полному мужчине в потертом костюме, с видом меланхолического моржа не сводившему с него глаз.

— Вы, месье Руссо, можете продолжать говорить о том, о чем уже начали. Только, ради Бога, пусть это не станет очередной речью.

Анри Руссо тяжело встал с банкетки.

— Уважаемый председатель,— начал он,— дорогие коллеги! Столетие тому назад, в славный день четырнадцатого июля <sup>1</sup>...

— Ближе к делу! На что вы жалуетесь в этот раз? Этак мы тут всю ночь проторчим...

Руссо обиженно посмотрел на Дюбуа-Пилле.

— В прошлом году было много нареканий на развеску работ. Картины висели не совсем аккуратно, без учета их цветовой совместимости. Разве можно произвести правильное впечатление на зрителей и критиков, если картины висят бессистемно и криво? Возьмите, к примеру, мои работы, мои прекрасные картины...

— Достаточно,— перебил председатель.— Вы сказали достаточно.

— Но я еще не закончил!

— Закончили. Я лишаю вас слова. Садитесь.

---

<sup>1</sup> День национального праздника Франции — в 1789 г. была взята Бастилия, началась Великая французская революция.

Сера нарушил свой скептический нейтралитет:

— Послушайте, Руссо, почему бы вам самому не взяться за развеску? Я бы с радостью уступил вам свои обязанности.

Его предложение вызвало бурю протеста.

— Нет-нет, Руссо, сядьте! — прикрикнул председатель. — Вечно вы вскакиваете. Сядьте! — И он грохнул по столу кулаком. — Тише, господа! Наш казначей месье Пипинетт познакомит вас с нашим финансовым положением.

В комнате установилось напряженное молчание. Из-за стола поднялся довольно мрачный господин и вытащил из пиджачного кармана черный блокнот.

— С сожалением вынужден доложить исполнительному комитету, что наша казна пуста. — Он приладил на переносицу золотое пенсне и оглядел присутствующих поверх стекол. — В ней осталось так мало денег, что о них не стоит и говорить. Думаю, подобное положение сохранится до тех пор, пока некоторые члены общества не начнут регулярно вносить членские взносы. — И в полной тишине он опустил на свое место.

Финансы были болезненной темой. Чтобы как-то разрядить атмосферу, председатель разразился цветистой речью, в которой воздал должное месье Пипинетту за его исчерпывающее сообщение и преданность делам общества. К сожалению, художники скверно разбирались в денежных вопросах. Да и он сам не уделял этому должного внимания. Да-да, финансы просто совершенно выпали у него из поля зрения. Тактичное напоминание казначея, по его мнению, должно сыграть свою роль, и он, Дюбуа-Пилле, уверен, что вскоре капитал Общества существенно возрастет... Затем он обратился непосредственно к Анри:

— Теперь внимание комитета должен привлечь месье Тулуз-Лотрек, которому поручена подготовка к печати каталога нашей выставки. Надеюсь, вы расскажете нам о результатах своих переговоров с издателем?

— О чем же тут говорить? — привстал с места Анри. — Переговоры зашли в тупик. Издатель настаивает, чтобы мы расплатились с ним за прошлогодний каталог, прежде чем он займется новым. Возможно, следует поискать менее меркантильного издателя?

И снова встал председатель Общества:

— Ах, эти одержимые желанием наживы дельцы! Всем им только деньги подавай. Они ни в грош не ставят той чести, которую мы оказываем им, передавая для публикации свой каталог. Может, нам действительно последовать предложению месье Тулуз-Лотрека и сменить издателя?

Опять вскочил Руссо.

— Сядьте, месье Руссо! — рявкнул председательствующий.

— Но, месье Дюбуа-Пилле, вы как председатель...

— Нет, нет и нет! Я не буду вас слушать! Вы то и дело выступаете и никогда ничего дельного не предлагаете.

После этого собрание пошло по-деловому. Быстро, один за другим, были согласованы и утверждены протоколы, принята резолюция, запротоколированы и проголосованы выдвинутые предложения. Единогласно было принято решение целиком выделить под показ работ Ван Гога один из залов — как дань памяти самому художнику и его брату.





*Мсье, мадам и их собачка. 1893*

Собрание подходило к концу, председатель уже надел свой котелок, когда один из членов исполкома выдвинул неожиданное предложение: выбрать приемное жюри для отбора работ на выставку.

В течение следующего часа не только заседание, но и само существование Общества Независимых художников было на краю гибели. Вечный вопрос — жюри или никакого отбора, многократно обсуждавшийся в кулуарах, никогда официально не ставился. Может ли «Салон независимых» создать собственное отборочное жюри, подобное жюри академического Салона? Следует ли Обществу уподобляться Академии и закрыть двери перед дилетантами, экспериментаторами, всякими сумасшедшими, воображающими себя творцами?

— Я прошу запротоколировать это предложение! — опять вскочил Анри Руссо. — Только отборочная комиссия, составленная из достойных членов нашего комитета, поможет нам отвести всю эту любительскую мазню, засоряющую наши выставки и наносящую ущерб художественным достоинствам подлинного искусства!

Предложение получило большую поддержку. Один за другим поднимались со своих мест члены комитета, чтобы выразить свое одобрение:

— Правильно!

— Наш Салон превращается в фарс, цирк. Зрители приходят к нам только посмеяться. Но если мы станем отбирать картины...

За этими лицемерными высказываниями просматривались их разочарование, вечно подавляемая тоска по иерархии и официальному признанию. Еще бы! Быть судьями! Обрести власть над себе подобными, стать элитой, такими авторитетами, аристократами, китайскими мандаринами хоть в какой-нибудь сфере, пусть даже лишь в Обществе Независимых.

— Я категорически против отборочного жюри! — выкрикнул Анри, постукивая тростью по мраморной столешнице.

— Полностью согласен с Тулуз-Лотреком, — поддержал его Сера, окутанный облаком табачного дыма.

Этот демарш двух уважаемых художников поверг собравшихся в некоторое сомнение. Воцарилось молчание.

— Пусть так, — продолжал Лотрек, — пусть находятся такие, кто хихикает над нашими полотнами. Но какое значение имеют их насмешки? Осмеянию подвергали и великий «Ночной дозор» Рембрандта, и «Олимпиаду» Мане. Смех — надежное убежище дураков. Смеяться легче, чем попытаться понять. Действительно, в нашем Салоне есть ужасающая мазня, но мы показываем публике и превосходные работы, которые иначе, как у нас, нигде нельзя было бы увидеть. Кто имеет право решать, что в искусстве хорошо и что плохо? Как часто истинные художники заблуждались, оценивая труды собратьев по кисти. Микеланджело не принимал Леонардо, Давид насмехался над Ватто, Энгр — над Делакруа. Импрессионисты стыдились Сезанна, а теперь считается, что, кроме него, никто не умеет рисовать. Давайте оставаться теми, кто мы есть, — независимыми. Дадим шанс каждому. Время рассудит, кто из нас подлинный художник, а кто нет. Если нам необходимо жюри, то пусть нашим жюри будет Время!

Предложение отбирать картины пусть и незначительным большинством голосов, но было провалено. На этом председатель поспешил закрыть заседание.

— Давайте уйдем отсюда, — заявил он, — пока не вскочил со своим новым предложением какой-нибудь дурень.

Уже за полночь Анри потащился в студию Сера, чтобы взглянуть на новую работу друга.

\* \* \*

В этот февральский день Анри, сгорбившись на табурете, сидел в одном из залов Парижского городского павильона, помогая Сера размещать на стенах картины Винсента для предстоящего «Салона независимых». Читал номера каталога, который был раскрыт у него на коленях, пока рослый «пуанталист» вбивал в рейки на стенах гвозди и вворачивал шурупы в рамы, готовясь их развешивать.

— Какой номер у этой? — спросил он, держа в руках гвозди.

— Двадцать восьмой. «Кипарисы». Немного левее, Жорж.

Сера поправил полотно.

— Так хорошо?

— Отлично,— подмигнул Анри, поблескивая толстыми линзами своего пенсне.— Отойди и взгляни сам.

Сера устало подошел к Анри, раскурил трубку и, кряхтя, опустился прямо на пол.

Несколько мгновений они молча рассматривали «Кипарисы», потом Сера помотал головой и вздохнул.

— Будь я проклят, если понимаю, как он это делал. С точки зрения перспективы, оптически — все неверно, однако картина сверкает.

— Словно языки зеленого пламени, правда? — согласился Анри, рассматривая мятущиеся под ветром кипарисы Винсента.— И подумать только, что Ван Гог мог сотворить такое всего за несколько часов! Знаешь, ведь он создал за восемь недель, которые провел в Оверни, почти полсотни полотен! И этот художник собирался стать пуанталистом, наслушавшись твоих теорий... Бедняга Винсент...

— Пятьдесят полотен за восемь недель?! — недоверчиво протянул Сера. И вдруг зашелся в приступе кашля. Лицо его налилось кровью, он едва мог вздохнуть.

— Ох, старина, тебе следует обратить серьезное внимание на этот кашель,— сказал Анри.— Не нравится он мне. Сейчас многие болеют.

— Должно быть, простыл вчера вечером в студии. Печка погасла, а мне лень было раскопчегарить ее вновь.— Наконец он прочистил горло, вытер губы носовым платком.— Кстати, слышал ли ты, что Гоген собирается в марте на Таити?

— В самом деле? — Анри зажег сигарету.— Давно пора. Последние десять лет он без конца твердит о кокосовых пальмах и таитянках... Но попомни мое слово — скоро вернется. Несколько лет назад он отправился было на Мартинику, собирался остаться на острове навсегда, но оказалось, что там для него слишком жаркое лето. И на строительство Панамского канала по той же причине не поехал.



*Авторские шаржи.  
Рисунки пером*

— Ему устраивают прощальный обед.  
— Уверен, на вокзале будет греметь духовой оркестр. Для этого человека все просто.

Сера покосился на него.

— Сдается, ты не очень-то любишь Гогена.

— Не могу ему простить, как он ссорился в Арле с Винсентом. А ведь Ван Гог, представь себе, называл его мэтром. И еще не нравится мне вечная поза Гогена, его деревянные сабо, вышитая вязаная кофта... Нет, он, конечно, талантлив, но я считаю, что он и наполовину не такой художник, как Винсент. Видел ты его «Иакова, сражающегося с ангелом»? Похоже, что ангел просто шупает у Иакова пульс! А гогеновский «Желтый Христос»? Что ни говори, но все эти его религиозные бретонские штучки не кажутся мне искренними. Не верю я дельцам, которые ударяются в примитивизм. Вот Руссо — примитивист. Возможно, он скучен, но я верю в его искренность... Между прочим, картины джунглей у него замечательны. Видел их? Если хочешь, посетим как-нибудь его студию. «Джунгли» Анри Руссо обязательно надо посмотреть. А вот Гоген... Не знаю. Я всегда чувствую, когда художник пытается поразить зрителя, показать, какой он мудрый. Наивность Гогена — поза, наигрыш. Так я по крайней мере это ощущаю. И если что и ненавижу, то больше всего — псевдонаивность.

— Может, человек еще не нашел себя? — великодушно предположил Сера.

— Возможно, — пожал плечами Анри. — Может быть, ему это удастся на Таити... Ладно. Пора возвращаться к работе. Номер двадцать девятый. «Подсолнухи».

Сера собрался подняться с пола, но вдруг согнулся в дугу, настигнутый очередным приступом кашля, еще более яростным, чем в первый раз.

— Чертовски болит горло, — просипел он, когда к нему вернулась способность говорить. — Не могу понять, в чем дело. Ничего подобного никогда со мной не случалось.

— Иди-ка ты лучше домой. Закончим развеску завтра. Идем, идем. Я тебя провожу. Уже темнеет. И ты знаешь, как беспокоится твоя матушка...

На следующий день Сера не пришел в Павильон. Анри приехал к нему домой и узнал, что Жорж в постели с высокой температурой.

— Он наконец задремал, — прошептала, прикладывая палец к губам, седенькая мадам Сера. — В первый раз за сутки... Врач говорит, скоро поправится...

Салон открылся 10 марта. Величественные залы Павильона огласились гоготом посетителей.

Руссо, облаченный во фрак, в начищенных до блеска ботинках, стоял возле своих полотен, словно на страже, и вступал в беседу с каждым, кто невзначай кидал взгляд на его картины.

— Позвольте представиться. — Он отвечивал низкий поклон. — Анри Руссо, бывший сержант таможенной службы. Я — создатель этих замечательных произведений. Вы только посмотрите вон на то дерево! Оно обладает грандиозным декоративным величием, не правда ли? И также напоминает морскую губку. Вы можете приобрести этот шедевр всего за

двадцать пять франков.— Потом голос понижался.— Ну, пусть за двадцать два... за двадцать... Договорились? Нет? Восемнадцать! Опять нет?..

Картины Винсента оказались почти незамеченными. Зато возле Сера толпились хохочущие «ценители». Его полотна с блещущими морями и мирными пейзажами были признаны самыми смешными, самыми абсурдными. Кем-то брошенное словцо «живопись конфетти» мгновенно было подхвачено критикой, стало почти термином и имело большой успех.

Но сам художник уже не слышал ни язвительных замечаний, ни насмешек. Мокрый от пота, с багровым от удушья лицом, он судорожно ловил воздух, борясь за жизнь.

Анри каждый день заезжал в дом, где жили Жорж и его матушка, получая от мадам Сера сведения о течении болезни. Да и сам мог слышать кашель и судорожное дыхание умирающего. Однажды утром старушка, открыв дверь, взглянула на Лотрека слепыми от слез глазами. Говорить она была не в силах. Закрыв лицо ладонями, затряслась от рыданий. Наконец взяла себя в руки. Посмотрела на Лотрека.

— Теперь вы можете увидеть его.— Голос ее вновь прервался.— Час назад Жоржа не стало.

Смерть Сера, такая неожиданная, последовавшая за уходом из жизни Винсента, повергла Анри в глубокую скорбь. Оба его друга были еще молоды, были в полном расцвете таланта. И оба теперь мертвы...

Через несколько дней после похорон Сера, когда Анри сидел перед мольбертом и прислушивался к монотонному жужжанию голоса читавшей ему газету мадам Любе, в студию ворвался дрожащий от волнения Зидлер.

— Я только что от Леви. Они закончили печатание твоей афиши. За ночь ее расклеют по всему Парижу. Завтра утром она будет красоваться на каждой улице!

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Вы ее видели?

— Видели?

— Видели ее?

Утром это был еще слабый шумок, к вечеру хор гремел все громче, а с приходом ночи разразилась буря.

— Что видели?

— Да эту афишу, конечно! Эту девицу, танцующую канкан!

— Это возмутительно!

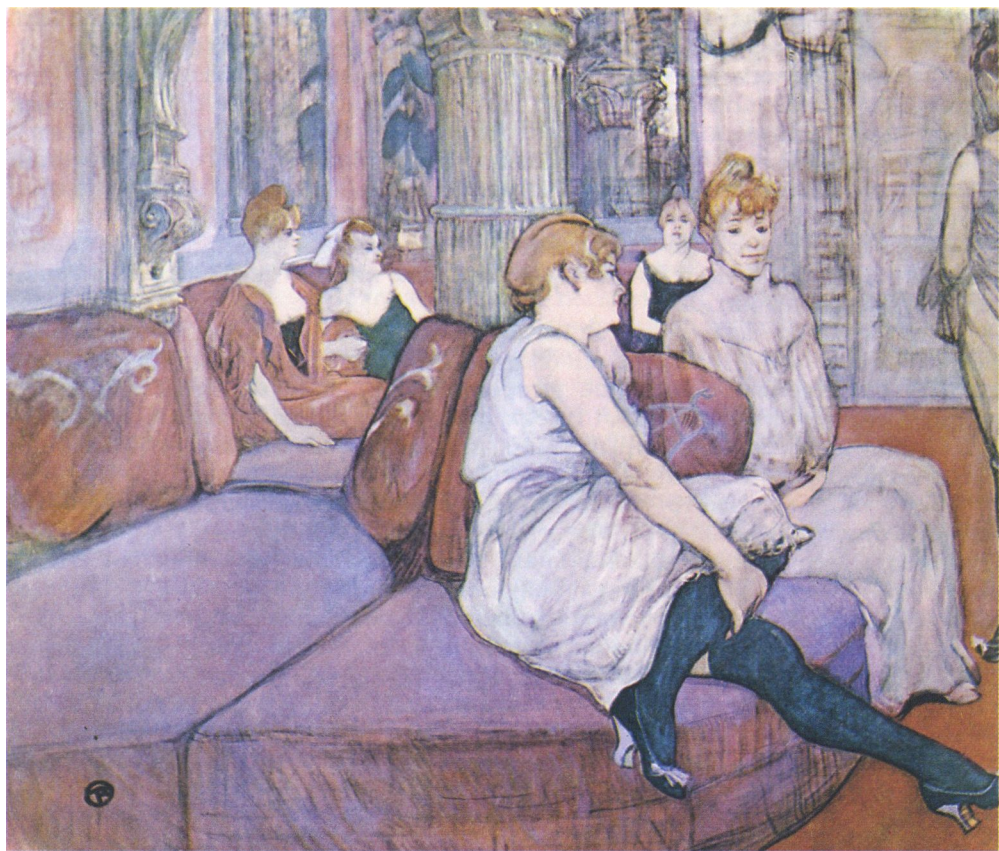
— Это восхитительно!

— Это свинство!

— Это шедевр!

Афиша была неожиданной, абсурдной, невероятной, но дело свое сделала. Париж пришел в возбуждение из-за этого клочка бумаги. Она была повсюду. Ее невозможно было не заметить или забыть. Она лезла вам в глаза с каждой стены, с каждого киоска, у каждого общественного туалета. Перед ней собирались толпы, люди громогласно обменивались





*В салоне на улице де Мулен. 1894*

своими впечатлениями, зачастую даже мешая движению транспорта. Блюстители порядка увещевали зрителей, угрожали, воздевали руки к небу:

— Да разойдитесь же наконец! Что, никогда прежде не видели, как потаскушка вертит задом на глазах у почтенной публики? Разойдитесь!

Но люди тянули шеи и напрягали зрение, чтобы разобрать имя автора — в левом углу афиши стояло «Лотрек».

— Лотрек!

— Лотрек!

— Лотрек!

Это имя летало над террасами бесчисленных кафе, над столами канцелярий, в клубах, в пошивочных мастерских, цирюльнях, в фешенебельных ресторанах на Елисейских полях и в подвальных забегаловках, где кучера глотали свой обед, время от времени поглядывая на оставленные фиакры.

Все газеты были полны этим именем. Некоторые считали афишу дьявольским созданием, требовали немедленно убрать ее с улиц. Другие заявляли, что это первая на свете афиша-реклама, являющаяся подлинным произведением искусства. Моралисты пугали, что девушки Парижа в опасности, а благородные дамы не смогут теперь появляться на улицах без краски стыда на лицах.

Однако немало художников и критиков выступили в защиту «произведения искусства». «Это хогартовская сатира нравов конца нашего века», «графическая эпитафия агонизирующей цивилизации»... Таким образом, реклама «Мулен Руж» стала подтверждением силы воздействия искусства художника на рядового человека. Утверждали, что силуэт Валентина Бескостного нарисован так, как мог бы создать его разве что сам великий Гольбейн. Этот мрачный скелет в цилиндре был достоин пера творца «Танца смерти». С появлением афиши Лотрека литография освобождалась от печатания бутылочных этикеток и сигаретных оберток, она заняла теперь свое истинное место среди графических искусств. Месье де Тулуз-Лотрек вывел искусство на улицу!

Больше всех в Париже этой шумихой был потрясен сам Тулуз-Лотрек. Он чувствовал себя неосмотрительным туристом, бросившим в пропасть камешек и вдруг обнаружившим, что вызвал этим горный обвал.

— Ума не приложу, из-за чего весь этот тарарам,— признался он Морису.

— Согласись, что твоя работа имеет довольно-таки шокирующий характер.

— Черт побери! Но реклама и должна шокировать! Я только хотел помочь Зидлеру заманить в его проклятый «Мулен» побольше посетителей и совсем не собирался выступать зачинщиком революции.

— Ешь спокойно свой ужин и не волнуйся так. Что обо всем этом думает твоя мама?

— Не знаю. Она ни слова не сказала мне об афише. Я даже не уверен, что она видела ее. А несчастная афиша, признаюсь, отравляет мне жизнь.

— Каким образом?

— Я лишен возможности работать. Не знаю, где люди раздобыли мой адрес, но теперь они толпами прутся в студию. Всем потребовалась подобная реклама: производителям корсетов, духов, кремов... Меня преследуют антрепренеры и актеры, скорее, актрисы... Да и Бог знает кто еще.

— И что ты им отвечаешь?

— Чтобы проваливали к дьяволу! Каждое утро мадам Любе тащит мне груды приглашений от разных людей, о которых я сроду не слыхивал.

— И как ты относишься к этим приглашениям?

— Возвращаю мадам Любе — растапливать печку. На что большее они годятся?

— Ну, мог бы полюбопытствовать, вскрыть несколько конвертов, узнать, кто и куда приглашает. Глядишь, кое-какие приглашения и принял бы, познакомился для разнообразия с приличными людьми, не все же тебе общаться с разными подонками. Кстати, ты что, собираешься торчать на Монмартре всю жизнь?

— Конечно.

— Разве не устал карабкаться ежедневно по здешним косогорам? Почему не хочешь общаться с культурными, преуспевающими людьми вместо сброда здешних неудачников? Я, например, мог бы познакомить тебя с Натансонами, мадам Натансон — одна из самых образованных и обворожительных женщин Парижа. И просила меня привести тебя к ней.

— Никуда не желаю идти. Я абсолютно счастлив в своем «Мулене» — всех знаю, все знают и любят меня. Между прочим, мне хотелось бы представить тебя одной новенькой танцовщице «Мулен» — Джейн Авриль...

\* \* \*

В течение нескольких лет у Анри с отцом были довольно натянутые отношения. По настоянию матери он изредка наносил визиты графу, во время которых оба испытывали неловкость и старались как-то ее скрыть. Но однажды, после появления афиши, разъяренный отец появился в студии сына.

— Как ты посмел, — с ходу начал он, — поставить наше имя под этой возмутительной рекламой варьете?! Если бы ты не был калекой, я бы тебя выпорол!

Анри побледнел. Он знал своего родителя, знал, что у отца случаются приступы ярости и что он может вести себя непредсказуемо. На несколько секунд он окаменел, съжившись от страха при виде трости с золотым набалдашником, которой потрясал граф. Но вдруг и сам рассвирепел. И задышался уже не от боязни, а от гнева на этого пустого фата, угрожающего ему. «Клянусь бородой святого Иосифа, я тоже Тулуз-Лотрек, и калека или не калека, но никому не позволю разговаривать с собой подобным образом!»

Анри дерзко вскинул голову.

— Не уверен, что твой визит послужит конструктивной цели, — с ледяным спокойствием процедил он. Его глаза за толстыми линзами пенсне смотрели уверенно и бесстрашно. — Сожалею, что тебе не понравилась моя работа, сожалею, что не могу составить тебе компанию в прогулках по Елисейским полям. Знаю, как тяжело воспринимаешь ты мое уродство, и могу заверить тебя, что оно столь же тяжело давит и меня. Но я не просил вас производить меня на белый свет и сожалею, что я — твой сын, единственный наследник нашего древнего рода. Понимаю, что ты не одобряешь мой образ жизни, но и я не одобряю твой. И не боюсь тебя, отец. Когда-то я относился к тебе с обожанием. Но это давно в прошлом. Нам с мамой необходимы были твое внимание и любовь, твое понимание и сочувствие. Но ты предал нас! Поэтому, если не возражаешь, давай прекратим эту унижительную сцену и больше никогда не будем мешать друг другу. Что же до моей работы, я стану продолжать ее так, как мне нравится, поскольку это моя работа, мое личное дело и у меня есть свое имя. Даже ты не в силах все это изменить.

— Ха, работа! — хмыкнул граф. — И ты называешь это работой? — Он махнул рукой в сторону висящих на стенах полотен. — Порнографическая дребедень. Предлог для того, чтобы невозбранно пить и бездельничать в борделях и варьете.



— Да, я считаю это работой! — парировал Анри. — Откуда тебе знать, сколько труда и времени она требует? Как можешь ты судить, дело это или нет? Ты ведь никогда не работал. Такие, как ты, не работают. Труд — занятие мещан и плутов. Работа — лакейское дело. Мы же аристократы, стражи чести, подданные рыцарских шпаг! Мы выше рабского труда. Весь мир должен преклоняться за это перед нами, хотя мы ничего не даем ему взамен. Мы же так благородны, у нас же такая голубая кровь, зараженная ядом инбридинга! Мы так погрязли в своей гордыне, в предрассудках, что сделались беспомощными и бесполезными, все, что осталось нам, это убийство беззащитных животных в издревле принадлежащих нам лесах, галопирование на горячих жеребцах, да еще, если повезет, возможность галантно умереть на полях сражений. Мы кутаемся в саван славы наших имен, будто это такое уж великое достижение — просто родиться, как рождаются все остальные люди. Правда заключается в том, что наш мир скончался вместе с версальскими балами и Марией-Антуанеттой... Возможно, и нам следовало бы уйти в небытие вместе с ними. Мы — реликты прошлого, ископаемые динозавры. И приблизительно столь же необходимые современности, как они. Ты обвиняешь меня в том, что я дружу с проститутками. Так? А я благодарен им за то, что они устаивают меня своей дружбы. Какие еще женщины согласятся на общение со мной? Ты говоришь, что я пью. И все больше и больше. Но почему? Потому что когда я пью, то забываю о своем уродстве, о своем одиночестве, о постоянной боли в ногах. Понравилось бы тебе все это, очутись ты на моем месте? Согласился ли бы ты таскать самого себя, как вынужден делать я? Думаешь, тебе понравилось бы? Да, я пью. Ты бы тоже пил на моем месте. Каждый пытается найти какое-то прибежище. Для мамы это молитвы, для тебя — твои лошади и ловчие соколы. Для меня — коньяк! Что, по-твоему, я должен делать? Валяться всю жизнь в шезлонге? Я пробовал. Но не смог. Ты бы тоже не смог.

Анри умолк и неотрывно смотрел на отца. Граф застыл перед ним как каменное изваяние. Из его глаз исчез гневный блеск. Он казался очень старым, гордым, несчастным и одиноким. Моднейший сюртук с шелковыми лацканами как бы сполз с его плеч и сменился рыцарскими доспехами, а за спиной печально развернулось знамя с гербом вождя крестоносцев и висел щит графа Раймона IV Тулузского, с которым он в 1099 году первым ворвался в Иерусалим. Доспехи и мечи сверкали на солнце, цокот копыт рыцарских коней смешивался с пением труб...

Видение исчезло. Отец вновь превратился в завсегдатая парижских бульваров, облаченный в пошитый модным портным костюм, в белых гетрах и специальном галстук-бабочке, который носили только члены его фешенебельного клуба.

На мгновение Анри ощутил, как близок ему этот сломленный, странный, независимый феодал, родившийся с опозданием на полтысячелетия в мире, где ему не было больше места. Сыну даже захотелось взять его за руку и сказать, что он понимает его боль, разделяет горе, сочувствует его патологической гордости, его преклонению перед прошлым. Ему захотелось сказать отцу, что калека он или нет, но он тоже кость от кости, плоть

от плоти их исчезающей касты, что он тоже де Тулуз-Лотрек... Но какой смысл говорить об этом? Ничего уже не изменишь...

— Это конец, Анри,— хрипло и как бы издалека донесся до него голос отца.— Больше мы не увидимся. Делай что хочешь, живи как хочешь, но никогда не обращай ко мне за помощью. Я навсегда отказываю тебе в ней.

— Ты и прежде никогда ни в чем не помогал мне,— с горечью возразил Анри.— И я ничего не жду от тебя в будущем.

Граф приподнял цилиндр, как бы прощаясь с малознакомым чужим человеком, и, приосанившись, покинул студию.

Анри же внезапно стало холодно. Он добрел до стола и налил в стакан коньяка.

\* \* \*

Уже прошло несколько месяцев со времени появления нашумевшей афиши Лотрека, а он все продолжал жить на Монмартре.

— Неужели тебе не осточертела эта чертова «Красная мельница»? — постоянно подзуживал его Морис.— Неужели не тошнит от того, что каждый вечер ты торчишь в одном и том же месте, с одними и теми же собутыльниками, постоянно болтающими одно и то же: нытье и жалобы на перекупщиков картин, на критиков. Ты, возможно, один из самых преуспевающих парижских художников, а продолжаешь жить в среде неудачников и бездарей, окружил себя толпой самовлюбленных хвастунов и прихлебателей, когда имеешь возможность общаться с самыми обаятельными, культурными и знаменитыми людьми...

— Скучные снобы. Они будут только коситься на мои ноги.

— На твои ноги? Вечно ты о своих ногах. Думаешь, люди ничего не видят, кроме твоих больших ног? Ошибаешься, Анри! Я тысячу раз внушал тебе это. Я же рассказывал тебе о Натансонах, не правда ли? Они одни из самых замечательных людей, каких только можно встретить в жизни. Уже несколько месяцев Мизия Натансон просит меня привести тебя к ней. Она прекрасная пианистка, очень интересуется искусством. У нее превосходная коллекция живописи.

— Женщины не интересуются искусством! — презрительно пожал плечами Анри.— Тем более светские дамы. Они собирают полотна лишь в качестве предлога для коллекционирования художников. И ни черта не понимают в живописи. Это только поза, повод поболтать об искусстве. Кроме того, ну что тебе не нравится в «Мулен»? Мне там хорошо. Я люблю шум, яркие огни, суматоху, звон бокалов. Мне приятно болтать с Сарой и канканерками. Зидлер изо всех сил старается доказать мне свою приязнь и признательность. Посылает на мой столик шампанское, даже не разрешает брать с меня деньги за коньяк.

— После того, что ты сделал для него, он может себе это позволить.

— Прекрати нудить! У тебя есть свои Натансоны, у меня — свой «Мулен».

И все-таки, несмотря на столь энергичные протесты, Анри уже начал уставать от Монмартра. По отношению к большинству своих здешних

приятелей и знакомцев, бросавшихся к его столу, как только он появлялся в зале, он больше не испытывал никаких иллюзий. Его уже раздражала их напыщенность, постоянные взаимные обвинения. Да и прежние бесхитростные канканерки изменились. Безвозвратно ушли в прошлое проказы прежних дней в «Элизе». За три года «Мулен Руж» превратил этих бесшабашных девчонок в самоуверенных профессионалок, хуже того — в жадных кокоток. Поднятая афишей Лотрека на вершину славы, Ла Гулю высокомерно возложила на свою голову корону «королевы канкана», вообразила, что лишь она одна привлекает в «Мулен» толпы почитателей, каждый вечер заполняющих зал варьете. Она безгранично обнаглела. Однажды, отплясывая канкан, крикнула принцу Уэльскому:

— Эй, Уэльс, закажи-ка мне шампанского!

Да, для Анри Ла Гулю перестала олицетворять плебейскую веселость Монмартра. Как модель она тоже больше его не интересовала.

\* \* \*

Но потребовалось стечение нескольких драматических событий, чтобы он сумел преодолеть свою чрезмерную сентиментальную привязанность к Монмартру и покинуть наконец этот район. И даже поклясться, что никогда больше не ступит ногой на его улочки.

Как-то раз с одной из канканерок прямо во время танца произошло несчастье — она упала замертво. Случай произвел на Анри ужасное впечатление, большее, чем можно было предположить. Хотя он и не желал себе в этом признаться. А через несколько дней после случившегося к нему в студию приехала добрая приятельница из «Попугая» Берта. Плакала, рассказывая, что один из клиентов убил их девушку. Полиция немедленно закрыла бордель... Трое суток Берта прожила у Анри, пока не подыскала место в другом доме терпимости на улице д'Амбуаз. Ее товарки рассосались по всему Парижу. И Анри пришлось менять свои сексуальные привычки. Теперь ему приходилось ездить далеко, чтобы найти то, что прежде было так близко и доступно.

Едва оправился он от этого шока, как Джейн Авриль сообщила ему, что уходит из «Мулен Руж», что подписала контракт с «Фоли Бержер».

Последняя капля, переполнившая чашу его терпения, упала через месяц. В тот вечер к его столику подсел Зидлер и, гоня во рту свою незажженную сигару, потирая руки, заявил:

— Все! Дело сделано. Подписано, и все прочее. Я только что продал «Мулен», дорогой месье Тулуз. Помните, я обещал вам, что сделаю миллион? Так я его сделал! Не думайте, правда, что теперь я собираюсь сидеть сложа руки и снимать пенки со своего капитала. Это не для меня. Собираюсь открыть другое заведение, в другом месте. На Елисейских полях. Назову его «Жарден де Пари» — «Парижский сад». И заберу туда с собой Сару.

Анри почувствовал себя столь же потерянным, как в тот далекий сентябрьский день у стен родового Альби, когда мать сообщила ему, что он должен пойти в школу. Его мир вторично рушился. Без Сары, без Зидлера «Мулен», конечно, будет уже не тот. Что же делать? Он написал много картин, посвященных «Мулен Руж», и сказал о нем все, что хотел сказать.

Теперь он будет лишь повторяться. Возможно, Морис прав. Ему надо уходить отсюда. Обрести иных друзей...

В этот вечер он смотрел канкан и не делал обычных зарисовок. После танцев подошел к бару, остановился, чтобы проститься с Сарой... Распрощался с Гастоном, всегда обслуживавшим его любимым официантом. Уходя, пожал руку администратору Тремолада. На минутку остановился в вестибюле перед своими картинами.

И ушел.

Когда ландо тронулось, он сквозь окошко кинул взгляд на огромные, блестящие электрическими огнями красные мельничные крылья, вращавшиеся в ночной темноте, как и предсказывал когда-то Зидлер. Поскольку сейчас он ударился в сентименты, то вообразил, что вращаются они в его честь, только для него, посылая ему свой пылающий прощальный привет.

— Ну что ж, прощай, «Мулен»! — прошептал он и помахал рукой, словно расставаясь со старым другом. — Прощай, «Мулен»! — И еще тише добавил: — Прощай, Монмартр!

Через несколько дней Морис Жуаян представил его Натансонам. В вестибюле ливрейный лакей принял их котелки и перчатки, помог освободиться от накидок. Молодые люди пересекли вестибюль и остановились возле широкой мраморной лестницы, ведущей в гостиную. Анри затаив дыхание смотрел на громадное помещение, довольно слабо освещенное, несмотря на обилие ламп под шелковыми абажурами, на яркий огонь в огромном мраморном камине. Как гроб для арфы, стоял в углу рояль, диваны и кресла в бархатной обивке располагались у стен. Дамы в вечерних туалетах, усыпанные драгоценностями, о чем-то переговаривались друг с другом. Группки бородатых мужчин в снежно-белых манишках и строгих фраках потягивали шерри-бренди и вели неторопливые беседы. По залу сновали лакеи в белых перчатках с подносами, уставленными бокалами.

Наконец Анри угадал хозяйку — Мизию Натансон. И не потому, что она была самой красивой женщиной в этом обществе, а потому, что инстинктивно почувствовал, что эта роскошная зала должна принадлежать ей.

Мизия извинилась перед собеседницами, подобрала шлейф своего розового парчового платья и с приветливой улыбкой направилась к ним.

— Ах, как это мило с вашей стороны, месье Жуаян, что вы наконец привели к нам своего друга! — И тут же обратилась к Анри: — Месье де Тулуз, наконец-то вы у меня! — Голос у нее был сочный, низкий. — Возможно, вы этого не знаете, но уже несколько месяцев я изобретала способы заполучить вас к себе. И теперь, когда вы у меня, я собираюсь единолично завладеть вами. Не возражаете?

И наотмашь ударила его своей невообразимой, своей неотразимой улыбкой.

Часть **3**  
**Мурман**





## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Сколько времени требуется дураку, чтобы прозреть? Чтобы понять, что все — притворство, все — лишь жестокий фарс?

— Лет пять, пожалуй.— Он прошептал это вслух и тихо усмехнулся.— У меня это заняло именно столько времени.

На несколько минут он отдался мерному покачиванию фиакра. Уличное движение на Авеню д'Опера было очень оживленным: со всех сторон погромыхивали копыта и колеса экипажей. Какая-то модно разодетая блондинка элегантно помахала ему рукой из обогнавшего фиакр ландо. Он рассеянно приподнял в ответ свой шелковый цилиндр, стряхнул пепел с меховых отворотов пальто и подался вперед.

— Попрошу вас изменить маршрут,— обратился он к кучеру.— К «Веберу» мы не поедem. Доставьте меня, пожалуйста, на улицу Форетт, девять. Картинная галерея Жуаяна.

Да, потребовалось долгих пять лет, чтобы понять, что все это было лишь грандиозной шуткой. Пять лет — немалый срок...

Но, черт возьми, каким подлинным это казалось вначале — словно весь мир сговорился заставить его забыть, что он калека. Та же Мизия, к примеру. Ах, не надо было ей так улыбаться ему!

Это была та улыбка, которой она пользовалась, рассчитывая получить желаемое. Мизия была слишком умна, чтобы полагаться только на свою мудрость. Улыбка, сделавшая ее салон одним из самых известных в Париже, улыбка, переманившая у дам-соперниц таких людей, как Золя, Клемансо, Анатоль Франс! Представьте только себе, что сделала такая улыбка с бедным калекой! Да, это был удар в солнечное сплетение — его сердце было покорено, весь здравый смысл куда-то улетучился, и он был погружен в пятилетний сон.

Ах, как дьявольски прекрасна была мадам Натансон в ту первую встречу, в ту ночь! Красота, вкус и деньги — а она обладала всеми этими тремя достоинствами в избытке — создают неотразимую комбинацию. Она была сама элегантность, уравновешенность, сама грациозность — убедительнейшее подтверждение того, что могут деньги, когда им есть кому служить. Все в ней говорило о богатстве. Взглянув на нее, вы понимали, что причесывал ее самый дорогой парикмахер, что камеристки вились вокруг нее, когда она одевалась: каждый крючочек, каждая пуговка были застегнуты так, как надо. Ее платье розовой парчи получено прямо от Ворта или Пакена и стоит кучу франков.

И он, которому было тогда уже двадцать семь и который обладал определенной наблюдательностью, моментально понял, что под парчой

на ней самое красивое, тонкое, кружевное белье, какое только можно приобрести за деньги, а под бельем — роскошное, бархатистое как персик тело блондинки в полном соку...

Теперь, вспоминая тот день, он понимал, что не следовало ей так ему улыбаться. Это было жестоко. Слишком сильно, как стрельба из пушки по воробьям. Ему бы хватило обычной вежливой улыбки. И со стороны ее гостей, с которыми он тогда познакомился, было бы куда порядочнее, если бы они не были так добры к нему. Не следовало им так превозносить его рекламу «Мулен Руж». Лучше бы сказали: «Гляньте, ведь это же урод! Только посмотрите на его ноги, на его лицо!..» Это было бы гуманнее. Вместо этого они льстили ему, заставили его чувствовать себя равным им, более того — знаменитым...

Он помнил каждое мгновение того вечера. И кто был там, и какие туалеты были на дамах, и кто что говорил, и что он сам отвечал, и даже то, что он тогда думал. Стоило закрыть глаза, и перед ними всплывала зеленовато-золотая столовая, которая вначале показалась ему похожей на устрашающие подвалы Французского банка (слишком много бриллиантов!), но к тому времени, когда гостям подали жареных фазанов, она уже выглядела приветливой, уютной, почти интимной. На Саре Бернар, сидевшей между Дебюсси и Оскаром Уайльдом, было белое муаровое платье, на плечах золотились веснушки. Анатолий Франс церемонно дискутировал с католическим епископом — среди приглашенных был и епископ, один из светских прелатов, ставший впоследствии кардиналом. Их диспут сопровождался улыбками, легкими поклонами, жестами вежливого несогласия — «дуэль на швейных иголках»... Клемансо повествовал своей хорошенькой соседке о Гражданской войне в Соединенных Штатах: генерал Ли был куда более опытен, чем северянин Грант, но все вооружение его солдат состояло лишь из энтузиазма, а у Гранта имелось достаточно ружей...

Анри помнил даже, как он был заинтригован огромным солитером на груди у мадам Горчакофф и подумал о том, сколько может стоить такой бриллиант. И еще он размышлял о том, что преуспевающие люди — а все застолье состояло из таких особ — куда интереснее, чем неудачники, и куда как менее злы... Что умные мужчины, чтобы подать себя с самой выигрышной стороны, нуждаются во внимании красивых женщин... Что есть много остроумцев, но немногие умеют бросить острое словцо в нужный момент и что большинство острот, ходящих в обществе, рождается по ночам вот в таких салонах. Думал он и о том, что женщины, безусловно, лучше смотрятся в модных туалетах, чем в самодельных платьях... Что очень богатые женщины, если они еще похожи на женщин, обладают своеобразным очарованием, что деньги придают им пусть не слишком заметную, но реальную сексуальную притягательность, чем, вероятно, объясняется тот факт, что каждая девица из средних слоев стремится выглядеть, как дочь банкира...

Больше всех других запомнилась ему тогда Мизия. Она рассказывала ему о Польше, где родилась, о своем брате Сайне, о своей любви к музыке и балету, она восхищалась его афишей и уверяла, что ей будет очень приятно — тут снова появлялась ее знаменитая улыбка, — если он создаст



несколько рисунков для «Ревю Бланш», журнала, который издавал ее муж Таде Натансон, чтобы позабавить ее...

— Я так рада, Анри! Вы ведь не будете возражать, если я стану звать вас Анри? Я так рада, что вы наконец пришли ко мне! И будете приходить еще. Часто, очень часто...

Именно тогда сделал он свое «великое открытие». Да, он принадлежит к кругу этих очаровательных, преуспевающих людей. Он тоже очаровательный и преуспевающий! Калека? Кто калека? Он — Лотрек — «молодой и дерзкий художник»! Он знаменит! Знаменит! Париж — у его ног. Он будет появляться всюду, все видеть, со всеми знакомиться. Он может бывать везде, где пожелает, его всюду примут, он везде желанен, он всем известен!..

И он ринулся на Париж — избородил весь город. Не мог досыта насмотреться, нарисоваться, наслушаться. Не хватало ночи для того, чтобы всюду успеть, поскольку днем он работал, и жить приходилось по ночам. Чтобы все успеть, он отказался от сна, а чтобы не заснуть — пил...

Жизнь превратилась в бесконечную скачку в фиакрах: вскарабкаться и слезть, вскарабкаться и слезть...

— Эй, кучер! К «Веберу»! В английский кафе!.. В ирландско-американский бар — улица Рояль... Эй, кучер! К «Максиму»!.. Кучер! В «Эльдорадо»!.. «Амбасадор»!.. Казино!.. Эй, кучер! В «Фоли Бержер»!.. Нет, не к главному входу, к артистическому подъезду!.. Кучер! Улица Буатье, двадцать один! Спросите у консьержки, дома ли Сара Бернар... Кучер! К «Ледовому дворцу»!.. На велодром!.. Кучер, к мадам Горчакофф, улица Монтень, шестнадцать... К графине де Клермон-Тоннер... К принцессе де Карамон-Шимей... Эй, кучер, к Ларю! В «Вуазин»! В «Тур д'Аржан»!..

Как ни странно, в его памяти сохранилось лишь очень небольшое об этих пяти безумных, бессонных годах: несколько незначительных, не связанных между собой случаев, беглых зарисовок, застрявших в мозгу, словно кружочки конфетти, которые вы вдруг обнаруживаете под воротником фрака месяца два спустя после карнавала... В шесть вечера — ресторан «Вебер» с цыганами в красных рубахах, извивающимися со своими рыдающими скрипками, метрдотель Шарль, величественно прохаживающийся между столиками. Потом бал в «Максиме», почтительный поклон Геральда — швейцара в сине-красной униформе... Ральф — буфетчик, полуиндеец, полукитаец, называющий его «месье виконт-маркиз»...

Бары, бары, бары... Девушки — блондинки, брюнетки, рыжие. С полными крепкими бедрами, в вечерних платьях, с улыбками, застывшими на ярко накрашенных губах. Молодые женщины с рано постаревшими сердцами — фосфоресцирующие летучие мыши парижских ночей. Актрисы, сотни актрис. Полетт Режан в своем экипаже, запряженном белыми мулами, Сара и ее обтянутый шелком гроб возле кровати, где она спит, Иветт Гильбер, Жанна Гринье, Ева Левальер... Лу Фуллер после своего «Танца огня», гримасничающая, рассказывающая ему о своем родном городке в штате Иллинойс... Мей Бельфорт в ночной рубашке с котенком на руках, поющая «У меня есть черная кошечка»... Жанна Дерваль, входящая в два часа ночи в «Максим» со своей сучкой в «поясе целомудрия», украшенном драгоценностями... Джейн Авриль, с жадностью поглощающая в кафе «Риш» кролика после танцев на сцене «Фоли Бержер» и убеждающая Анри:



*Иветт Гильбер поет  
английскую песенку.  
1894*

— На этот раз все по-другому. Он такой милый, такой нежный, такой умный и такой сильный...

Театральные уборные: голубые, розовые, зеленые, с дамским бельем, разбросанным по спинкам кресел и стульев или висящим на ширмах, запачканные помадой и вазелином салфетки, заткнутые между баночек с гримом.

Это он запомнил. Девушки в «Фоли Бержер», убегающие за кулисы и в спешке путающиеся в своих длинных шлейфах, их шепотом произносимые по этому поводу проклятия; Дебюсси, лакомящийся шоколадными эклерами и повествующий о своих приключениях в России... Велогонщик Циммерман, тренирующийся в пять часов утра на огромном пустом велодроме... В шесть утра Анри уже приезжал к папаше Котелю, надевал голубой передник прямо на вечерний костюм и склонялся над очередным камнем... Морис, укоризненно покачивающий головой: «Работай или развлекайся, Анри, но, ради Бога, не пытайся делать то и другое одновременно!»... Мадам Любе, умоляющая, чтобы он лег спать... Обеды у Мизии... Уик-энды на ее загородной вилле... Возвращение после скачек в Париж

в карете, запряженной четверкой цугом... Великолепная столовая мадам Горчакофф, с лакеями, обряженными в вышитые рубашки и шаровары... Вечер с принцем Уэльским в «Парижском саду»...

Что еще? Умиравший от рака в благотворительной больнице для бедных папаша Тандиу. Его опухшие глаза, тусклые от боли, его попытки что-то сказать... Обед с Морисом у Дрейфусов за несколько месяцев до скандала...

Ла Гулю и танцовщица «Мулен» Эгу, которые случайно столкнулись на мосту возле Монмартрского кладбища и бросились друг на друга, царапаясь и кусясь. Спустя несколько дней потерпевшая поражение Ла Гулю с синяком под глазом и исцарапанной физиономией явилась в студию Лотрека и попросила его расписать балаганчик, который экс-королева канкана собиралась открыть на ярмарке «Трон»<sup>1</sup>.

Смерть тетушки Армандины... Спустя два месяца поездка вместе с матерью в Селейран на похороны дедушки... Большой дом, когда-то наполненный шумом и смехом, стал теперь тихим... Некоторые дома умирают вместе с хозяином, как бы лишаются души... Что еще? Амстердам... Лондон... Оскар Уайльд, застывший в кресле, уставившийся в одну точку, ожидающий ареста. Крузиз в Лиссабон. Хорошенькая пассажирка на борту парохода, которая едет к своему мужу в Дакар... Мадрид, улицы которого и в два часа ночи забиты толпами людей... Встреча с одной из бывших приятельниц, девушкой из «Зеленого попугая», в барселонском борделе...

И снова Париж. Снова мюзик-холлы, снова бары, снова «Эй, кучер!».

На званом вечере у Натансонов он вызвался сыграть роль бармена. Вместо жилета обмотал торс американским «Юнион Джеком» и встал за стойку. Напоил гостей до полусмерти, в частности коктейлем собственного изобретения «Землетрясение», которым очень гордился. А сам почти не пил, исполняя столь важную функцию... Любил задавать обеды друзьям, пуская в графины с водой золотых рыбок, дабы никто не посмел утолять жажду водой! Угощал рагу из обезьяны, даже из кенгуру — правда, это был не кенгуру, а барашек, которому пришили коровий хвост и сумку на живот... Творил все эти глупости, поскольку было ему одиноко и горько... Загонял себя в угол, пил все больше и больше. Эпатировал общество: чтобы обратить на себя внимание, натягивал розовые перчатки, надевал кроваво-красную рубашку и зеленую куртку, скроенную из бильiardного сукна...

Это было все, что он мог вспомнить. Не много за пять-то лет! Целые недели, целые месяцы вообще не отвечались в сознании. Задолго до смерти мы начинаем умирать для себя...

А как он живет теперь? Да почти так же. Правда, продал экипаж и шотландских пони, перестал облачаться в шутовские наряды, но лишь потому, что слишком устал играть роль клоуна... Но продолжал посещать театральные кулисы и артистические уборные кафешантанов. Главным образом, однако, по привычке, ибо не знал, чем еще заняться. Как прежде, колесил по Парижу, мотаясь из одного знакомого места в другое, спал

---

<sup>1</sup> Эти панно были впоследствии проданы Ла Гулю, переходили из рук в руки, пока один невежественный торговец картинами не разрезал их на куски, и они исчезли. В 1929 г. после упорных поисков работникам Лувра удалось их отыскать. После реставрации панно были восстановлены в прежнем виде и теперь выставляются в Лувре.



*Женщина, надевающая чулок. 1894*

в фиакрах. И все еще был совершенно одинок. Теперь он твердо знал: ни одна женщина никогда не полюбит его. Все их очаровательные улыбки были данью не ему, а его славе художника... Ему исполнилось только тридцать два года, но выглядел он на добрых сорок пять. Здоровье становилось все хуже. Работать он мог едва вполовину того, как работал в прежние годы. Дрожала рука, когда наливал себе коньяк, и приходилось придерживать ее другой. А коньяк больше не давал забвения от боли в ногах. Иногда они дьявольски ныли...

Сколько же времени могло такое длиться? Он не знал этого. Да и было ему все равно...

Фиакр свернул на улочку Форетт и остановился перед скромным особняком, у входа в который вывеска — золотыми буквами на стекле — сообщала: «Галерея Жуаяна». Анри покинул фиакр, вскарабкался к двери, распахнул ее и через два пустых и темных выставочных зала проволока себя в коридорчик, где находился кабинет администратора. Жуаян, конечно, был у себя, сидел за столом и что-то сосредоточенно писал. Блики от лампы падали на его волосы, отчего они казались еще светлее, тень подчеркивала вертикальную морщинку между бровями. Милый Морис, как упорно трудился он все эти годы, осуществляя свою мечту — приобрести пусть маленькую, но собственную художественную галерею-магазин, каким усердным и серьезным выглядел он в своем рабочем скюртуке!

Жуаян оторвался от стола.

— Здравствуй, Анри. Боже мой, ты опять пьяный!..

— Всего лишь два аперитива... Ну, скажем, три... И еще один — мимоходом. Я совсем трезв.

— Конечно, трезв. Но у тебя красные глаза, и они малость косят.

— Не возражаешь, если я присяду? — Анри развалился в плетеном кресле напротив друга.

— Вот.— Морис протянул ему газету.— Почитай-ка, что они сообщают о нашей выставке, а я пока закончу свою писанину.

— По дороге сюда,— Анри не слышал просьбы Мориса, но газету взял,— я заново мысленно прожил последние пять лет и пришел к выводу, что был лишь статистом, как святой Иосиф.

— Заткнись! Дай мне закончить письмо!

— Я бездарно растратил свои молодые годы. Во всем этом есть и твоя вина! Не забудь, кто привел меня в ту ночь к Мизии Натансон!

— Я только хотел, чтобы ты познакомился с приличными людьми... Но, ради Бога, дай мне дописать письмо! Через минуту я буду готов говорить с тобой. Помолчи!

Анри раскрыл газету:

— Нет, ты только послушай вот это: «Первая персональная выставка этого молодого дерзкого художника, которая открывается в «Галерее Жуаяна», обещает быть...» и так далее и тому подобное. Этим критикам следует время от времени менять свои эпитеты. Когда мне будет девяносто лет, они все еще будут именовать меня «молодым и дерзким».

— Девяносто! — Морис подписал письмо и вложил в конверт.— С таким рвением, с каким ты себя губишь, тебе очень повезет, если дотянешь до сорока.

— Ни Рафаэль, ни Корреджо, ни Ватто не дожили... Ну что же, Морис, давай! Я вижу, у тебя готова очередная проповедь. А что может быть хуже для человека, который вынужден держать в себе, скрывать свои аргументы? Валяй! Что ты собираешься сказать мне на этот раз?

Морис откинулся в кресле, сцепил руки за головой и оглядел друга.

— Иногда мне кажется, что ты ночи напролет изыскиваешь все новые способы испортить свою карьеру. Например, какую репутацию ты можешь получить, появляясь в Опера с некоей дамой, пользующейся в обществе определенной известностью, которую представляешь людям в качестве своей тетушки?

— Во-первых, мадам Потьерон не пользуется дурной славой, во-вторых, она выглядит очень респектабельно. В-третьих, она никогда в жизни не была в опере и безумно мечтала об этом. Наконец, она могла бы быть моей тетей.

— Но она тебе не тетя! И все это прекрасно знают. И также знают, что ты неделями живешь в ее борделе. И все об этом говорят.

— Правда? Ну и пусть болтают. Разве тебе не известно, что клевета — суть общения современных людей? Большинству из них не о чем было бы беседовать, если бы они не могли сплетничать за твоей спиной. И почему это так беспокоит тебя, хотя меня абсолютно не трогает? Ты же прекрасно знаешь, Морис, что, если бы не «Флер Бланш», я бы уже давно отдал концы. Видит Бог, это единственное место, где я могу отдохнуть и где люди оставляют меня в покое, место, где я успешно работаю. Да, время от времени я несколько недель провожу в борделе, но кому какое до этого дело? Кому я приношу вред? Берта, моя старинная приятельница еще по «Зеленому попугаю», во «Флер Бланш» — помощница мадам. Девушки приходят в мою комнату, когда я рисую. Меня там превосходно кормят. Ты даже не представляешь себе, как много нового можно увидеть, когда ты живешь в борделе!

— Надеюсь, представляю... — усмехнулся Морис.

— Нет, не представляешь! У тебя грязные мысли — как у всех ханжей. Я имею в виду сюжеты, позы девушек, выражение их лиц. То, чего я прежде никогда не рисовал.

— Знаешь, как назвал тебя один критик? «Веласкес шлюх».

— Не слыхал, но принимаю это как комплимент. Ну же, Морис, перестань строить из себя строгого моралиста, не поджимай губы и будь разумным! С моральной точки зрения какая разница, пишешь ты обнаженных в студии или в борделе? Но с художественной — гигантская! Как объяснить тебе это? Ну, к примеру, какая разница между пантерой в джунглях и у таксидермиста? Одна свободна, естественна, прекрасна, другая — чучело, набитое опилками, безжизненное и гротесковое. Ню на подиуме — это просто голая женщина, нарисовав ее, ты создаешь соблазн в красках, грязную рекламу, которая сходит за искусство. В борделе обнаженная естественна, она свободно двигается — ходит, стоит, сидит, потягивается; так, вероятно, вела себя Ева в Эдемском саду. Тут ты обнаруживаешь, что женщина — не ходячая вешалка для туалетов, которые ты видишь на улице. Она очень гибкое двуногое с гладкой кожей, способное принимать различные позы. Ты когда-нибудь наблюдал за животом смеющейся женщины?

Я наблюдал. Однажды Роланда рассказывала мне историю о ночи, которую она провела с клиентом, потребовавшим, чтобы она нарядилась монашкой. Она все это повествовала в лицах, с жестами и пантомимой, это ни в коей мере не было кошунством, только очень смешно — девушки, набившиеся в комнату, помирали со смеху. Они валялись на моей кровати — кто на животе, кто навзничь. Я мог видеть их реакцию по колыханию пупков и вибрирующим задницам — смеялось все их тело, даже пальцы на ногах поджимались и подергивались. В другой раз я видел, как напряглись мышцы на бедрах у одной из женщин, как помертвело ее лицо, когда доктор Буш констатировал при осмотре, что ее заразили сифилисом. Это было одно из самых тяжелых зрелищ, свидетелем которых мне довелось быть. Но ты торговец, ты этого не поймешь.

— Пусть так, пусть не пойму. Но если ты считаешь свои этюды, созданные в публичном доме, такими замечательными, почему выставляешь их в подвале, а не вывешиваешь для всеобщего обозрения вместе с остальными полотнами? Щадишь нравственность публики? — В его голосе вновь зазвучала скрытая ирония.

— Отнюдь! Просто хочу избежать похотливого любопытства невежд. И показываю такие работы лишь некоторым людям, кого считаю достаточно умными, чтобы понять их. Кроме того, публичный показ может принести «Флер Бланш» скверную рекламу, повредить мадам Потьерон. В конце концов, она не обязана держать пансион для художников. И еще я не желаю повторения ошибки, которую допустил при обнародовании рекламной афиши. В «Мулен Руж» повалило столько любопытных, что мне пришлось покинуть это заведение, ибо там стало уже невозможно ни работать, ни отдыхать. А мое теперешнее положение меня вполне устраивает... Вижу, у тебя все готово. Бар? Коньяк? Сколько доставили коньяку?

— Достаточно, чтобы утопить линкор... Надеюсь, твои друзья не поднимут большого шума и посетители галереи не начнут интересоваться, что происходит там, в подвале?

— Не волнуйся, мы будем вести себя тихо и скромно. Мои гости могут входить и выходить через черный ход. Мизия придет. По крайней мере, она так написала мне. Джейн Авриль тоже обещала посетить подвал. Хотя ты знаешь этих актрис — на них никогда нельзя положиться, если только им не нужно чего-нибудь от тебя. Я не ожидаю большого наплыва: человек двадцать — двадцать пять. Ох, совсем было забыл предупредить тебя: я пригласил Дега, но он заявил, что на вернисаж не пойдет. «Ненавижу, — говорит, — запах человечины». Я даже расстроился. Очень хочется показать ему свои бордельные зарисовки. Он бы их понял. Я так надеялся, что он придет и притащит с собой Уистлера...

— А что я скажу, если спросят, где автор? Например, Камондо? Он самый большой коллекционер живописи у нас во Франции. Вдруг ему захочется побеседовать с тобой?

— Скажи, что я заболел. Нет! Скажи — умер. Он обязательно что-нибудь приобретет, если поверит, что я уже на том свете! Мертвый художник стоит у нас раз в десять дороже, чем живой.

— А что, если он явится с сербским королем? Камондо сам мне сказал, что может прийти вместе с ним. Он поможет ему составлять коллекцию.



Если нас посетит король и справится о тебе, ты поднимешься из подвала?

— Зачем? Пусть сам спустится, если пожелает меня видеть.

— Ну и сноб же ты, старина!

— А ты не слишком последователен,— улыбнулся Анри.— То упрекаешь меня, что я себя унижаю, общаясь с женщинами из борделей, вожу в Опера мадам Потьерон, и тут же объявляешь меня снобом, потому что я не намерен бросаться наверх по первому зову твоего балканского экс-короля. Чего ради мне перед ним выслуживаться? Я его знаю, встречался. Приятный господин и все такое, но это не означает, что я обязан лишний раз карабкаться по крутой лестнице, лишь бы доставить себе удовольствие лицезреть бывшее сербское величество.

— Ну ладно, ладно,— устало кивнул Морис.— Я совсем не об этом собирався с тобой говорить. Объясни, как взбрело тебе в голову сыграть столь дурацкую шутку с месье Дюран-Рюэлем?

Анри рассмеялся:

— Неужели он тебе рассказал?

— Рассказал. И ему было не до смеха.

— А что я должен был сделать? — пожал плечами Анри, все еще посмеиваясь.— Пристал с ножом к горлу — хочет прийти ко мне в студию, чтобы посмотреть мои работы. Приходите, говорю, все покажу. Дал адрес. Видел бы ты его физиономию, когда он пожаловал во «Флер Бланш» и девочки принялись с ним заигрывать! «Но, мадемуазель, я здесь по делу... Я женатый человек!..»

— Ты хоть соображаешь, что Дюран-Рюэль — самый крупный торговец картинами в Париже, что он мог сделать для тебя очень много?

— А что именно мог он сделать?

— Не строй из себя наивного младенца! Сам все прекрасно знаешь. Художники готовы на колени перед ним пасть, лишь бы он на них обратил внимание, а ты приглашаешь его в бордель! Ради Бога, Анри, тебя что, ничего уже не интересует?

— Очень немного, Морис. Однако я сожалею об инциденте с Дюран-Рюэлем. Надеюсь, твоим деловым интересам не повредит, если узнают, что ты мой друг? Клянусь, я никогда не сделаю ничего такого, что могло бы тебе повредить. В тот раз я просто хотел немного развлечь девочек. У них ведь так мало радостей... А теперь поговорим о моей выставке. Много публики ожидаешь? И рассчитываешь что-нибудь продать? Хочешь, я нарисую тебе цветы? Любители живописи всегда покупают цветы...

— Не волнуйся, что-нибудь мы все-таки продадим. Люди начинают понимать, что ты можешь делать не только рекламные афиши. Очень надеюсь на Камондо. Если он что-нибудь приобретет, считай, твоя карьера обеспечена. Он покупает только самое престижное — Мане, Дега, Ренуара. Не просто картины — шедевры. Ненавидит тратить деньги, но не скупится хорошо платить за стоящие полотна. Говорят, он собирается завещать свое собрание Лувру... В чем дело? Ты меня совсем не слушаешь. Тебя что, не волнует предстоящая выставка?

— Конечно, волнует,— безразлично отозвался Анри.— Страшно волнуется.



— Лжец! Наплевать тебе и на выставку, и на Камондо, и на все остальное. Думаешь, я не понимаю, зачем тебе эта выставка?

— Ты мой друг, правда? «На жизнь и на смерть!» Помнишь? Поскольку ты не разрешаешь мне поддержать твой магазин материально, самое большое, что я могу сделать,— это позволить тебе выставлять мои картины. Единственно, что бы мне хотелось, чтобы эти полотна имели успех и ты мог бы на них заработать... А теперь как насчет ужина?

Морис не ответил.

— Ах, понятно,— Анри грустно улыбнулся.— Договорился с Рене и хочешь побыть с ней наедине. Я бы на твоём месте тоже стремился к этому.— Он с трудом поднялся и встал перед столом.— Я рад, что ты наконец встретил свою девушку, старина. И такую хорошенькую! И она так влюблена в тебя, что это просто неприлично. Если решишь жениться, не забудь, что я желаю быть крестным отцом твоего первенца. Спокойной ночи, Морис. До завтра.

За ужином Морис и его невеста заговорили об Анри.

— Неужели никто не в силах помочь ему? — спросила Рене.

— Боюсь, что нет.— Жуаян страхнул пепел с сигареты.— Он погибает, умирает от одиночества. Я ведь хорошо его знаю. Никто не обладает такой жадной жизнью, а ведь он никогда не жил... Есть люди, которые не могут существовать без любви, Анри один из них. Года два назад он еще на что-то надеялся. Но теперь уже потерял надежду. Желание жить покинуло его. Чем поможешь, если человек пришел к таким мыслям?

\* \* \*

Открытие выставки Тулуз-Лотрека состоялось на следующий день. Вскоре после четырех часов пополудни на улочку Форетт начали прибывать первые экипажи. Журналисты явились попозже, стараясь казаться ненавязчивыми, но делая все возможное, чтобы их заметили. С тростями-зонтками, повешенными на руку, они, как генералы перед строем, расхаживали перед полотнами, время от времени останавливаясь, отступая на шаг-два, прикладывая сложенную трубкой ладонь к глазу, чтобы лучше рассмотреть какую-нибудь деталь, подходили вновь, раскрывали каталог, отыскивая в нем пояснения. Критики были во всеоружии. К половине шестого небольшие залы галереи были переполнены. Посетители разглядывали картины, искали на них знакомые лица. Господа тянулись на цыпочках, чтобы над дамскими шляпками увидеть полотна. Морис в визитке и полосатых брюках переходил от одной группы посетителей к другой, останавливаясь ровно настолько, чтобы успеть раскланяться со знакомыми и выразить сожаление по поводу внезапной болезни художника, объяснявшей его отсутствие.

Позднее прибыли банкир Исаак де Камондо и величественного вида мужчина в подбитой мехом накидке. По залам сразу зашелестели шепотки:

— Тот, высокий, король Сербии Милан... Ну, помните, который отрёкся от престола несколько лет назад?

— Мне нравится эта работа,— заметил Камондо, остановившись перед картиной, изображающей женщину-клоунессу Ша-Ю-Као, застегивающую корсет.— Но где здесь подпись автора? Я не вижу подписи.— Он еще раз обшарил полотно своими выпуклыми близорукими глазами.



*Клоунесса Ша-Ю-Као в «Муллен Руж». 1895*

— Я не приобретаю неподписанных картин. Все, что собрано в моей коллекции, имеет авторские подписи.

— Это очень мудро с вашей стороны, месье Камондо,— улыбнулся Морис, сразу подошедший к нему и его спутнику.— Подпись есть, вот она, внизу, в правом углу. И дата стоит. Мне незачем убеждать вас в совершенстве этого произведения: уверенность композиции, прекрасная хроматическая...

— Сколько это стоит?

— Всего шесть тысяч франков.

Знаменитый коллекционер нахмурился:

— Послушайте, месье Жуаян, но ведь Лотрек еще так молод...

— В таком же возрасте был Рафаэль, месье. Конечно, среди выставленного есть и менее дорогие вещи, но это — главное полотно.

— Пусть так, но шесть тысяч!.. Три года назад я купил за эту сумму Дега.

— Сегодня вы могли бы продать его в два раза дороже. Ваша коллекция, месье, это не только памятник вашей любви к искусству, но и свидетельство вашей деловой проницательности.

Камондо еще раз, тяжело вздыхая, осматрел картину.

— Вы уверены, что это «главное полотно»?

В начале восьмого последний посетитель покинул залы галереи. По шатким ступеням Морис поспешил вниз, в подвальное помещение. Анри со стаканом коньяка в руке провожал к выходу Джейн Авриль.

— Хорошо, милая, я встречу тебя после представления в «Ле Риш». Но если ты рассчитываешь уговорить меня сделать для тебя новую афишу, не надейся! Мое последнее слово — нет. Я больше не малюю рекламных афиш. Слишком много другой работы.

Актриса послала ему воздушный поцелуй и вспорхнула по лестнице.

— Ну, Морис, как там дела наверху? — Анри приподнял свой стакан.— Удалось что-нибудь продать? Ты выглядишь как именинник. Приходил Камондо?

— Именинник? Да, я вполне счастлив. Камондо не только пришел, но и купил «Ша-Ю-Као». Шесть тысяч! И с ним был король Милан. И тоже приобрел картину <sup>1</sup>. Ты признан, старина! На этот раз не в качестве короля рекламных афиш, а как серьезный художник. Я уже планирую организовать твою выставку в Лондоне в будущем году. А там — Нью-Йорк. Вот где посыплются деньги!

Его монолог прервало позвякивание колокольчика, донесшееся сверху.

— Кого это еще черт принес? Какая-нибудь дама забыла свои перчатки, как я полагаю...

Он бросился наверх, задувая в спешке газовые светильники, и открыл парадные двери двум господам в цилиндрах, которых сразу узнал:

— Месье Дега! Месье Уистлер! Какая честь! Но, я боюсь, все уже ушли...

---

<sup>1</sup> Приобретение Камондо находится сейчас в Лувре, а полотно, приобретенное экс-королем (тоже портрет Ша-Ю-Као, числящийся в каталоге Жуаяна как находящийся в королевской коллекции Сербии), неоднократно меняло владельцев.





Афиша «Мэй Белфорт». 1895

— Поэтому-то мы и здесь,— фыркнул Дега, проходя в зал.— Где Лотрек?

— Внизу. Сейчас я приведу его.

Когда Анри появился из подвала, Дега и Уистлер стояли возле большого полотна — две женщины и трое мужчин за столиком в «Мулен Руж».

— Почему вы написали зеленым лицо этой дамы? — вместо приветствия, едва завидев Анри, спросил Дега.— Разумеется, я понимаю, почему вы это сделали, и вы правы, но посмотрим, что скажут критики... О-ла-ла! — Он наклонился и чуть не ткнулся носом в полотно.— Я почти ослеп. Очень скверно стал видеть, но волосы этой женщины великолепны.

— Напоминают цвет волос моей «Девушки в белом»,— заметил Уистлер, вставляя в глаз монокль.— И я особенно восхищен тем, как вам удалось скрыть следы усилий, затраченных на эту работу. Помните наш разговор в Лондоне в прошлом году? Необходимо, чтобы никто не заметил, сколько пришлось затратить сил и времени... Не забывайте этого, молодой человек...

— Слушай, Джимми,— перебил его Дега,— не устраивай очередную лекцию, ты не в Лондоне.— Он почесал свою короткую седеющую бородавку.— Ну, Лотрек, покажите мне другие свои работы.

Более часа изучал он картины, выставленные в подвале, время от времени бросая свои обычные язвительные реплики.

Собираясь уходить, Дега резко обернулся к Анри и спросил:

— Сколько вам лет, Лотрек?

— Тридцать два, месье Дега.

— Тридцать два! Ровно вдвое меньше, чем мне. Жаль, что в вашем возрасте я не знал того, что, кажется, знаете вы. И жаль, что у меня не хватило мужества провести несколько недель в этом самом вашем борделе. Это же откровение!

Глаза его затуманились, голос стал необычно мягким.

— Вы нашли себя, Лотрек. Вы один из тех шестидесяти людей в истории искусства, которым было что сказать и которым удалось это сказать.

Он круто повернулся на каблуках, обмотал шею шарфом и в сопровождении Уистлера нырнул в ночь.

— Как насчет того, чтобы нам вместе поужинать? — спросил Анри, когда Морис вторично гасил в залах светильники.

— Сегодня не могу. Хочу послать в газеты заметку о короле Милане, покупающем одну из твоих картин. Это, братец, настоящая реклама!

Поужинав, Анри заскочил в «Фоли Бержер» и из-за кулис наблюдал за финалом первого акта чего-то, именуемого в афише «Любовь в Венеции». Под фанерным мостом плыла гондола из папье-маше, влюбленная парочка пела о своей вечной любви, в то же время девицы из кордебалета в полумасках и венецианских треуголках фланировали взад-вперед по «Мосту вздохов», упершись руками в бедра, и, широко улыбаясь в свете прожекторов, подпевали: «Это лю-у-у-бовь пришла! Это лю-у-у-бовь пришла!» Оркестр грянул финальное крещендо, и под гром аплодисментов занавес упал. Мгновенно на сцене все изменилось. Лунный свет погас, гондола перестала раскачиваться, «влюбленные» выпрыгнули из нее и, не глядя друг на друга,

бросились за кулисы, кордебалет, срывая полумаски, последовал за ними. Можно было расслышать, как танцовщицы шепотом чертыхаются: «Эти высокие каблуки убьют меня!» — и переговариваются: «Видела его? В первом ряду сидел. Морда, как у пуделя. После представления везет меня к «Максиму»...

Покинув «Фоли Бержер», Анри решил, что ему пора выпить. Он завернул в ближайшее бистро, которое находилось под патронажем персонала варьете. Актеры забегали туда в антрактах выпить кофе или рюмочку кальвадоса, быстренько что-то перекусить. Заглядывали сюда и хористки, и кордебалет в наброшенных прямо на театральные костюмы мужских пальто, запыхавшись, заказывали чашку горячего кофе и тут же кидались обратно в свои гримерные.

Анри допивал уже вторую порцию коньяка, когда вспомнил, что еще на прошлой неделе назначил на сегодня встречу с актрисой Полер. В «Эльдорадо» он поспел как раз вовремя, чтобы еще застать ее на сцене. Широко расставив ноги и задрав вверх подбородок, она биссировала, скривив рот, свою последнюю песенку.

— Я боялась, что вы забыли о нашей встрече! — воскликнула актриса, влетая в гримерную. Уселась и быстренько принялась снимать грим.— В каком виде я должна вам позировать? Вы говорили, что это заказ «Ле Рир», так? Ладно. Актрисе нужна любая реклама. Что вы сегодня делаете? Не поедете ли с нами к «Максиму»?

Было уже за полночь, когда он закончил свой рисунок и покинул ресторан.

— Послушай,— сказал он кучеру фиакра,— через пять минут я должен быть в кафе «Риш». Надеюсь на тебя. Доставишь?

\* \* \*

После полуночи кафе «Риш» превращалось в излюбленное место встречи актеров. Они закатывались сюда, едва успев снять грим, чтобы подкрепиться луковым супом, яичницей-болтуньей с сыром и гренками, встретиться со своими агентами, друзьями и любовниками. В зале воцарялась атмосфера закулисья, полная раскованности и бесшабашности. Служители Мельпомены фамильярно обращались друг к другу на «ты», громко комментировали сегодняшнее представление, перекрикивались — с набитыми ртами — с соседними столиками. Деловые вопросы решались между бутербродами и пивом, среди звона посуды, мелодий популярных песенок и не прекращающегося, несмотря на позднее время, грохота уличного движения. Газетные репортеры — охотники за скандальной хроникой — тайком прислушивались к их беседам и незаметно делали записи на манжетах. В кафе «Риш» никто не важничал. Даже известнейшие звезды, чьи имена пишут на афишах аршинными буквами, забывали недавно приобретенные светские манеры и вели себя запросто, как гризетки и скромные кокетки, которыми они еще так недавно были.

— Подыхаю от голода! — воскликнула Джейн Авриль, сбросила на спинку стула меховую накидку, стянула перчатки.— Не знаю, что собираешься заказывать ты, а я возьму лукового супа. Тьфу, черт! — она с досадой щелкнула пальцами.— Не могу сегодня есть лук! У меня

сегодня ночь с... Придется попросить сырного супа, яичницу и кофе. А ты? — Она откинула вуаль и вопросительно взглянула через стол на Лотрека. — Что ты будешь есть?

Анри повторил гарсону ее заказ.

— А мне принесите коньяку, — сказал он, распахивая подбитую мехом шубу.

— Постой! — Авриль жестом задержала официанта. — Анри, ты должен что-нибудь съесть. Неудивительно, что от тебя кожа да кости остались, ни черта не ешь! — Она повернулась к гарсону: — Принеси ему глазунью.

— И двойной коньяк, — упрямо повторил Анри. — Теперь, Джейн, объясни мне, зачем тебе новая афиша. Я ведь сказал, что больше не занимаюсь рекламными делами.

Он протянул ей портсигар и дрожащими пальцами поднес зажженную спичку.

Она заметила эту дрожь.

— Ох, Анри, бросай пить! — На ее тонком личике была написана неподдельная тревога. — Так продолжаться не может: ты ничего не ешь, а только пьешь, пьешь, пьешь!

— Господи Боже мой, и ты туда же! И десяти минут не могу посидеть за столом спокойно, чтобы кто-нибудь не принялся читать мне мораль. Послушай, юная леди, я тебя очень люблю, ты мила, и мы много лет дружим, но если ты опять заведешь речь о том, сколько я пью, я выбью твои хорошенькие зубки. Давай вернемся к нашему делу. Тебе не нужна новая афиша. Та, которой ты пользуешься, вполне годится.

— Нет, не годится.

Подперев щеку ладошкой, Джейн смотрела на него, прищурив глаза. Никому не удавалось отвлечь его от коньяка. Об этом с ним просто бесполезно было говорить.

— Весной я еду в Лондон. В мае в «Паласе»<sup>1</sup> начнутся мои гастроли, и мне нужно что-нибудь такое, что заставит англичан обратить на меня внимание. Ну, пожалуйста, дорогой мой! Ты делаешь афиши для всех, а для меня никогда и ничего.

— За исключением десятка портретов и не знаю какого количества рисунков, — усмехнулся он.

— Какой толк в твоих портретах? Мне нужна реклама. Пожалуйста, Анри! Этот лондонский ангажемент очень многое для меня значит. Если добьюсь успеха, мой антрепренер на будущий год обещает заключить контракт в Нью-Йорке. Кроме того, твои работы приносят удачу. Возьми, к примеру, Иветт Гильбер. Думаешь, стала бы она тем, что она теперь, если бы не афиша? А Лой Фюллер? А Мей Милтон? А эта маленькая ирландская девчонка Мей Белфорт? Все, что она умеет, это бродить по сцене в пеньюаре с кошкой на руках и пищать: «У меня есть маленькая черная кошечка!» Ну чего ты смеешься?

— Ничего! — Анри расхохотался. — Я просто подумал, как было бы тихо в нашем подлунном мире, если бы женщины перестали поносить друг друга! А теперь, — продолжил он после того, как официант водрузил на их

---

<sup>1</sup> «Палас» — театр эстрадного и циркового искусства в Лондоне.

столлик супницу,— забудь о Белфорт и наворачивай свой суп, пока он еще не остыл.

Прищурившись, он с нежностью наблюдал, как она старательно вычерпывает из супницы в свою тарелку картофель.

— А ты много поездила за последние годы, не правда ли, Джейн? Подумать только, всего пять-шесть лет назад ты танцевала в «Мулен», а теперь, в свои двадцать девять, стала звездой!

Она быстро оторвала взгляд от тарелки:

— Мне не двадцать девять, а двадцать пять!

— Как же так? Ты же сама говорила, что родилась в шестьдесят восьмом.

— Все равно мне двадцать пять! — И она с обезоруживающей улыбкой добавила: — Последние четыре года мне двадцать пять лет, и я собираюсь оставаться в этом возрасте еще некоторое время.

Они были старыми друзьями, и им было легко разговаривать и вспоминать «Мулен Руж», «Фоли Бержер», Парижское казино и другие мюзикхоллы, где Джейн подвизалась в разные годы на своем нелегком пути к славе. Она не спеша ела, время от времени прекращая жевать, чтобы помахать рукой приятелям или переброситься несколькими фразами со знакомцами, занимавшими соседние столики.

— На прошлой неделе с несколькими друзьями я совершила паломничество на Монмартр.— Джейн сделала паузу, пока официант забирал супницу и сервировал глазунью для Анри.— Ах, как там все изменилось! Я даже с трудом узнала старый Монмартр. Бродят одни туристы да иностранцы.

— Знаю. Если бы не мадам Любе, я бы давно переехал оттуда. Но мы с ней вместе уже столько лет...

— Вон явилась эта бродяжка,— заговорщицки прошептала Авриль, приветливо помахав рукой вошедшей в кафе Мей Белфорт в сопровождении богатого на вид господина.— Мей со своим банковским счетом...

Анри даже глазом не повел в сторону вновь прибывших, лишь задумчиво уставился в собственную тарелку. Да, Монмартр здорово изменился, стал жестче, космополитичней, сделался средоточием ночной жизни не только Парижа, но чуть ли не всего мира. Теперь он своего рода Питсбург рабовладельческих штатов начала века, центр коммерциализированного порока, куда стремятся со всех четырех сторон света содержатели салунов, борделей и других зланных заведений, чтобы отобрать себе нужный товар. «Элизе» закрыли, так же как и большинство монмартрских кабаре и других подобных местечек. Вместо них возник рой ночных клубов — тускло освещенных притонов для извращенцев обоих полов, кокаинистов и морфинистов.

— О чем задумался? — окликнула его Авриль.— Ешь свою яичницу, остынет.

Ее голос оторвал его от раздумий.

— Знаешь, Джейн,— сказал Анри, как бы продолжая мыслить вслух,— если бы мне довелось начинать все сначала, я бы, наверно, не стал делать афиши для «Мулен Руж». Да, она помогла Зидлеру, но нанесла большой вред Монмартру. Я помню...





*Оскар Уайльд. 1895*

— Где же Жорж? — с беспокойством перебила она его, нетерпеливо поглядывая на входную дверь. — Он сказал, что встретит меня сразу после представления.

— Жорж? Кто такой Жорж? А что стало с Альбером?

— Альбер? Не напоминай мне об этом человеке! Клялся, что любит меня, а сам все время бегал к маленькой...

Лотрек слушал ее с печальной улыбкой. Снова влюблена. И как это ей удастся? Как удастся каждые три месяца влюбляться в нового мужчину, причем абсолютно искренне? Она не выбирала любовников по расчету, для нее любовь была отвлечением, приключением, но ни разу — выгодной сделкой. Вкусы ее распространялись на представителей искусства и литературы, она всегда открывала новые таланты — какого-нибудь начинающего поэта, скульптора, романиста, композитора, который все-все понимал, был умницей, безмерно преданным, страстным и... неизменно без гроша в кармане.

— Но мой Жорж не таков. Он — писатель. Правда, еще ничего не опубликовал, но погоди, очень скоро он сделает себе имя. Вот увидишь!

Удовольствие от того, что разговор пошел о ее новом увлечении, преобразило Авриль. Исчезли еле заметные морщинки у глаз и в уголках губ. Она на самом деле казалась двадцатипятилетней.

— О, Анри, теперь я по-настоящему влюблена! То, что было прежде, не в счет. Думала, что любила их, но на самом деле не любила. Жорж — другое дело. У него такой острый ум, он так проницателен... И сильный, мужественный такой...

— Во-во, так я и думал, — улыбнулся Анри. — Ты знаешь, Джейн, мы давние знакомцы, я всегда считал тебя самой прелестной девушкой из всех, кого встречал в жизни, но никогда не мог решить: то ли ты самая доверчивая женщина на свете, то ли нимфоманка.

— Говорю же тебе, Жоржа я по-настоящему люблю! Всем сердцем люблю. Даже подумываю, не выйти ли за него замуж.

— Ох, будь осторожна! Много семейных пар я повидал: семейная жизнь — это скучный обед, где десерт подают первым блюдом. Осторожнее, Джейн! Не совершай ничего такого, о чем вскоре станешь сожалеть. И обещай не предпринимать ничего, не посоветовавшись со мной.

— Обещаю.

Она закурила новую сигарету, сделала несколько затяжек и некоторое время дымила молча. Наконец заговорила вновь с внезапной нежностью.

— Милый Анри, скажи все-таки, почему ты так много пьешь? Почему убиваешь себя этим проклятым зельем?

— Еще раз прошу тебя, Джейн, — голос его посуровел. — Я знаю, что много пью. Но ни тебе, ни кому-либо другому не удастся меня от этого отвлечь. Что поделаешь? Я не могу остановиться. Хотел бы, но не могу.

Она задумчиво прикусила нижнюю губку, глядя прямо в его уродливое бородатое лицо, еще более безобразное из-за нездоровой бледности щек и свисающих, как окровавленные тряпочки, губ.

— Ты одинок, друг мой, правда? — продолжала она. И даже в окружающем их шуме он уловил в ее голосе сочувствие. — Не отрицай этого, не

говори, что я ошибаюсь. Нет, я уверена, ты чертовски одинок, это просто написано на твоём лице. Как бы я хотела...

Ее глаза расширились и, не мигая, уставились в его глаза. Маленькие алые губки сжались и почти неслышно прошептали:

— Мириам!.. Мириам! Как же это я не вспомнила о ней раньше?

— Что ты там бормочешь?

— А так, ничего. Просто кое о чем подумала.

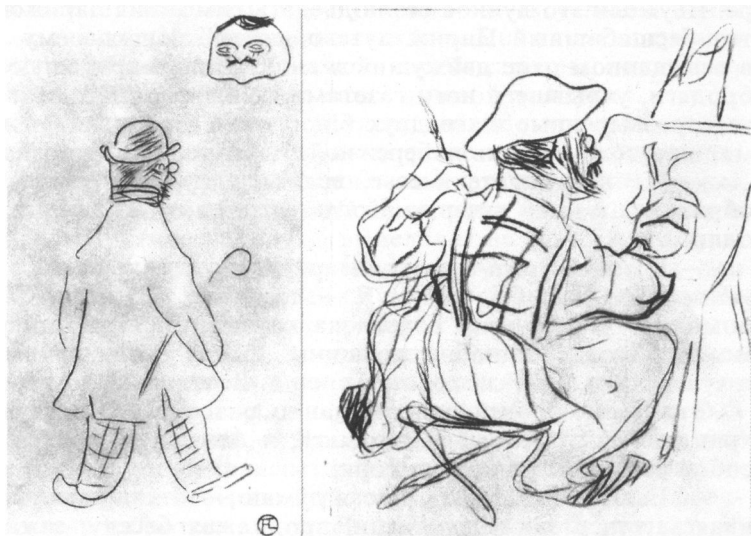
\* \* \*

Было два часа ночи, когда он, оставив в кафе Джейн с ее новым любовником, хромая, выбрался на улицу.

— Кучер! К «Максиму»! — Он сунул мальчишке, поймавшему ему фиакр, монетку. — Поезжай, но не спеши.

Когда фиакр покотился по бульвару, в этот час тихому и почти безлюдному, он прикрыл колени пологом, сунул руки в карманы шубы и забился в уголок. Слава Богу, сегодня тепло. Иногда в этих фиакрах бывало чертовски холодно, особенно часа в три ночи... Ну что ж, опять он едет. На этот раз к «Максиму». А оттуда в Ирландско-американский бар, или к «Ахиллу», или в какое-нибудь другое заведение... Сколько тысяч миль накатал он подобным образом ночь за ночью за последние пять лет? Может, ему просто не сиделось, как тем людям, вроде Гогена, которые не могут долго находиться на одном месте?..

Гоген. Еще одно воспоминание за это пятилетие. Облаченный в голубой редингот, желтый жилет, белые перчатки, Гоген фланирует по бульварам, покручивая резной тростью с перламутровым набалдашником. Дядюшка оставил ему в наследство тринадцать тысяч франков, и уж на этот раз он не промахнется, он собирается взять Париж штурмом, выставив в авангарде свои таитянские картины, подкрепив их послеполуденными чаепитиями



*Авторский шарж*

*Автошарж. 1896*

в своей студии и полинезийскими безделушками. Но Париж не капитулировал... И еще одно воспоминание. Столкнулись они вновь два года спустя, в третьем часу ночи, на левом берегу Сены, в кафе. Ни перчаток, ни галстука. Даже без воротничка... Гоген недвижно сидел над стаканом абсента. Через несколько дней он должен был снова уехать к своим желтым пляжам и обнаженным таитянкам. Но на этот раз ни прощальных банкетов, ни речей. У него не было уже ни сантимата. И скоро стукнет пятьдесят, и он потерпит полное поражение. За свои тринадцать тысяч он получил лишь насмешки, болезнь, сломанную лодыжку и достаточное количество горьких воспоминаний, чтобы отравить ими остаток жизни. Он тоже хотел того, чего не мог получить. Что-то он теперь делает?

— Эй, месье! Мы приехали. «Максим». Слышите музыку?

Анри поднял глаза к ярко освещенным окнам первого этажа. Звучит вальса. Добрый старый Риго со своими цыганами. Добрый старый «Максим» с его великими герцогами инкогнито, печальными кутилами, восседающими в окружении бутылок шампанского и кокоток высшего класса. Анри не хотелось подниматься наверх. Полер все равно, придет он или нет. Плевать ей на него. Может, съездить к «Ральфу» или в Ирландско-английский бар?.. Неохота. Может, позже. Ночь нынче теплая, почему бы не покататься подольше?

— Вперед, кучер! Поехали!

— Куда, месье? Давайте адрес.

— А, куда угодно. На набережные и по ним...

Он вновь ощутил убаюкивающее покачивание рессор и нежные ладони туманной ночи на своем лице.

Фиакр катил по набережной. Время от времени Анри выхватывал взглядом Сену, мелькающую под сводами мостов. Миновали маленькую тихую рыночную площадь, таинственную и романтическую, как испанская плаца, со сводчатыми воротами перед въездом и обязательным фонтанчиком в центре. Неужели это лунное безлюдье, эта симфония парижской тишины и есть тот бесшабашный Париж путеводителей? Иногда ему удавалось увидеть в освещенном окне движущийся силуэт или свернувшуюся калачиком тень бродяги, укрывшего ноги газетами и спящего на скамье. Раз донеслись до него размеренные шаги двух блюстителей порядка — жандармов, лениво марширующих вдоль набережной. Их голоса эхом отдавались в тишине.

— Не возражаете, месье, если я закурю трубочку? — обернувшись, обратился к нему кучер. — Когда едешь вот так, в никуда, делается очень одиноко.

— Кури. Я тоже возьму сигарету. Может, хочешь?

— Нет, спасибо, месье. Я — трубочку. Привык. С тех пор, как себя помню. — Он опустил вожжи на колени, порылся в карманах. — Трубка, можно сказать, подобие женщины. К ней очень привыкаешь. Согревает, и чувствуешь себя спокойно, хорошо. Вот только молчит...

Это умозаключение неожиданно развеселило кучера. Он поперхнулся хрипловатым смехом, закашлялся, и Анри подумалось, как схожи между собой рефлексы радости и горя.

— Если хотите знать, что я думаю, — откашлявшись и все еще посмеиваясь, кучер зажег спичку и, продолжая беседу, зажав трубку в зубах,

прикурил, — то бабы — как губки. Их время от времени нужно смачивать, а то высохнут и испортятся.

Выпуская большие клубы дыма, он подернул поводья, щелкнул языком и слегка коснулся кнутом лошадиной спины. Лошадь вздрогнула и затрусила бодрой рысцой.

Анри смял о поручень сигарету, закрыл глаза и без труда перенесся в Аркашон, на свою яхту... Вот лежит он на палубе лицом к солнцу, слушает веселый плеск волн о борт...

Аркашон! Летние месяцы, проводимые в Аркашоне, были самыми счастливыми воспоминаниями ушедшего пятилетия. Блισταющий на утреннем солнце залив, зеркальный, розоватый утром и багровый на закате. Залив, рассекаемый ночью лунной дорожкой.

Что ж, через несколько месяцев снова наступит лето. Пока потерпим зиму. Переживем! Слава Богу, выставка началась успешно. Но в течение нескольких последующих недель ему редко придется видеть Жуаяна. Морис будет очень занят. А тут у него еще Рене. Любимые женщины имеют преимущество перед друзьями. Это справедливо, хотя и обидно, когда ты сам относишься к числу друзей. После каникул придется делать афишу для Джейн. Тяжелый труд, но он обещал... Ну а что он будет делать с собой в оставшиеся до весны другие недели? Может, закатиться во «Флер Бланш»? Мадам Любе волноваться не будет. Она догадывается, где он пропадает. От нее не спрячешься... Почти такая же беспокойная, как мама...

Он открыл глаза. Вокруг темно, но ночной мрак, мгновение назад заливавший небо, превратился в темную густую синь. Из Сены возник силуэт Нотр-Дама.

— Кучер, вези, пожалуй, на улицу Мулен.

Улочка Мулен была такой коротенькой и незаметной, что на большинстве карт Парижа ее даже не обозначали. И ничего никогда на улице Мулен не происходило, никакие сенсационные преступления на сексуальной почве не нарушали ее покоя, никакие исторические катаклизмы не пятнали кровью ее булыжную мостовую. Наполеон, в начале своей карьеры понемногу живший в разных местах Парижа, никогда сюда и ногой не ступал.

Дома из серого камня, обступившие Мулен, все еще хранили следы элегантного восемнадцатого века, но чугунные решетки балконов и дорические колонны скрывали лабиринты скромных квартир, населенных тоже скромными и бережливыми семьями. Однако один из домов, щедро декорированный в аристократическом духе, выделялся на фоне остальных. Его построили по капризу богатого финансиста времен Регентства для некоей хорошенькой молочницы, и владелец пользовался им как убежищем от всяческих дел и слежки преданной, но некрасивой супруги.

Судьба была благосклонна к этому дому. После смерти финансиста он не подвергся унижениям, выпавшим на долю его соседей. Его не перекроили под доходные квартирki для буржуа, и он остался тем, к чему и был предназначен со времени сооружения, — Домом любви. Но поскольку дни для безрассудств разбогатевших финансистов кончились, элегантный особняк с его лепниной, мраморной лестницей, гипсовыми ангелочками с ямочками на щеках, зеркалами на потолках спален превратился в бордель.



naturellement à se faire ses domestiques.

Au moment du départ de Divine, un événement fortuit grandissait encore la position de la Parisienne. Elle avait la fortune de faire naître un coup de cœur chez le fils du maire de l'endroit. De ce jour affichant à son cou, dans un grand médaillon d'or, l'image photographiée du fils de l'autorité municipale, Éliса conquérait dans l'établissement le caractère officiel de la maîtresse déclarée d'un héritier présomptif. Elle pouvait s'affranchir des corvées de l'amour, son linge était changé tous les jours. Au lieu de la soupe que l'on mangeait le matin, elle prenait, ainsi que Madame, une lasse de chocolat. Au diner elle buvait du vin de Bordeaux, du vin du fils de la maison pour sa maladie.



*Иллюстрация для книги  
«Девуца Элиза» братьев Гонкур.  
1896*

В годы Второй империи «Флер Бланш» — «Белый цветок» познал краткий период процветания: близкое соседство с Тюильри превратило его в любимое место для свиданий с дамами влиятельных особ императорского двора. На его плюшевых диванах полногрудые жрицы любви, прильнув к великолепным мундирам Генерального штаба, перебирали пальчиками золотые аксельбанты. Но после Седана все кончилось. Никаких игривых камергеров, никаких любвеобильных адъютантов. Твердые и суровые республиканцы, взявшие власть, не одобряли это гнездо амурных утех. Пошли было разговоры о лишении мадам — хозяйки лицензии на это заведение, несмотря на ее резкие протесты и уверения властей предержащих, что ее девочки спят с портретом Тьера под подушкой и готовы, даже жаждут, оказывать республиканцам те же первоклассные услуги, которые они неохотно, против воли вынуждены были предоставлять бонапартистским свиньям.

Наконец несколько высокопоставленных чиновников Республики решили лично проверить истинность этих утверждений, так сказать, докопаться



*За кулисами  
«Фолы Бержер».  
1896*

до сути дела. Пришли. Проверили. Потом стали заглядывать поодиночке и неофициально. Расследование все углублялось... Больше слухов об отмене лицензии не было.

Когда в ту ночь Анри вошел во «Флер Бланш», то заглянул в салон лишь для того, чтобы поприветствовать девочек, которые занимались своим делом, и перекинуться парой слов с Бертой, пристойно сидевшей в уголке меж двумя столиками с аккуратными стопками чистых полотенец. Сказал ей о своем желании провести в Доме несколько недель, что она с радостью одобрила.

— Выглядите вы просто ужасно,— заметила она, отложив свое вязанье и неодобрительно оглядев старого приятеля.— Бледны как смерть.— Она прервала начавшийся было разговор, чтобы выдать Адриенне два свежестырированных полотенца. Получив и пересчитав десять франков, она убрала их в ящик конторки.— И вредно вам все время скитаться с места на место,— продолжила она, когда Адриенна отошла.— Прислать кого-нибудь?

— Спасибо, Берта. Не сегодня. Посплю. С утра примусь за работу. Надо пораньше встать.

Анри вскарабкался по винтовой лесенке к мадам Потьерон, чтобы дружески побеседовать и с ней. Нашел ее сидящей над журналом регистрации посещений. У нее на коленях спала Тату, ее левретка.

Было заметно, что мадам недавно плакала. Следы слез были еще видны на ее впалых щеках.

— Здравствуйте, месье Тулуз! — приветствовала она его робкой улыбкой. — Немного поживете у нас или зашли мимоходом?

Мадам Потьерон была одной из ошибок природы. Ее безобразную внешность нельзя было исправить никакими ухищрениями, никакой косметикой. Ее любящее сердце было утоплено в бесформенной массе плоти, а острая деловая сметка скрывалась за обликом, имевшим неоспоримое сходство с совой. Кокетливая ленточка, которую она вплетала в свою жидкую паклю в надежде привлечь внимание мужа, лишь придавала ей вид фривольной совы <sup>1</sup>.

Вероятно, Анри был ее единственным другом, единственным человеком, который соглашался выслушивать повествования о горестях и обидах этой одинокой и в высшей степени непривлекательной женщины.

— Он неплохой человек, мой Александр, — завершила она рассказ о своих супружеских злоключениях. — Преданный, мягкий... но когда доходит до... вы понимаете, о чем я говорю, месье Тулуз, он... он просто не может себя заставить... Я полагаю, что совершенно не нравлюсь ему как женщина. — И она умолкла, тяжело вздохнув.

Попытавшись, как мог, успокоить ее, Анри отправился в свою комнату и наконец лег в постель. Простыни были свежими и прохладными. Ночной бриз шевелил занавески на окнах. Некоторое время Анри прислушивался к приглушенным голосам и скрипу пружин, доносившимся из соседних номеров. Потом заснул.

Проснулся он несколько позже, чем рассчитывал, и удивился, увидев рядом с собой Эльзу.

— Очень не люблю спать одна, — объяснила она. — А к Люси явился на всю ночь ее шу-шу. Вот я и решила пойти спать к вам.

Эльза — венка. Когда-то она была очень красива. И до сих пор иногда выглядела великолепно. К мужчинам Эльза испытывала глубочайшее безразличие, хотя не раздумывая исполняла все их самые интимные желания <sup>2</sup>.

В это утро она валялась в постели и наблюдала, как Анри работает. В своем коричневом махровом халате он напоминал ей монаха — она так и сказала ему, когда он потянулся за бутылкой коньяка, по обыкновению стоящей подле мольберта.

— Скверное это дело — коньяк, — заявила Эльза спокойно, шлифуя ногти на руках. — Когда-нибудь он вас убьет.

Он согласился с ее предположением, но так как помирить все равно придется, причина смерти представляет лишь академический интерес...

<sup>1</sup> Портрет мадам Потьерон, ее мужа и собачки находится ныне в музее Альби.

<sup>2</sup> Портрет Эльзы тоже находится в музее Альби.





Эльза-Венка. 1897

Эльза принялась рассказывать ему о Вене, о красоте ее парков, очаровании садов, о веселом характере венцев. Так же флегматично поведала она о своей семье, упомянув между прочим, что в двенадцать лет ее изнасило-вал родной дядюшка. Но в голосе ее не чувствовалось ни обвинения, ни возмущения. Когда Анри поднял на нее глаза, она почесывала ногу.

— Дождь собирается,— констатировала она.— Когда меня беспокоит моя мозоль, обязательно бывает дождь.

В течение некоторого времени Эльза распространялась на тему о том, как удивительно точно предсказывает дождь ее мозоль — куда там любому барометру! Затем, по какой-то непонятной ассоциации, ее мысли переключились на женщин, которых она любила, и на мужчин, которые любили ее.

— Помню одного,— отстраненно рассказывала она, накладывая еще один слой лака на ногти.— Был он уланским капитаном. И даже очень мне нравился. Наряжал меня в уланский доломан, кивер, сапоги, только без рейтуз, и заставлял исполнять строевые команды. Очень строгий был человек. Уж так сердился, если я ошибалась. Ах, Боже мой, как свирепствовал, чтобы наказать, всячески меня унижал: сначала сбивал с меня кивер и топтал его ногами, потом срывал с доломана золотые галуны... Последний раз я слышала о нем, когда его упрятали в сумасшедший дом.

Наконец Эльза удалась, повторив предсказание о приближающейся перемене погоды.

Ближе к полудню в комнату Анри одна за другой потянулись другие девушки. Входили облаченные в свободные пеньюары, с припухшими веками, растрепанные. Вздыхая и зевая, пробормотав приветствие, они рассматривали картину, над которой он работал, потом подходили к окну и выглядывали на улицу в надежде увидеть что-нибудь необычное, стать свидетелями происшествия. Но на улице Мулен не случилось ничего экстраординарного, и, постанывая от скуки, они валились на его кровать — кто навзничь, кто свертываясь калачиком.

Клео растасовала карточную колоду и принялась гадать сама себе.

— Я получу письмо! — воскликнула она.— Только от кого бы? Как вы считаете?

В разговор вступила Роланда, длинноногая брюнетка с огромными лошадиными глазами и смехом, похожим на ржание беспокойной кобылицы.

— Знаешь, Анри,— она откинула волосы со лба,— ты в этом халате похож на монаха!

— Забавно,— откликнулся он.— То же самое заметила сегодня Эльза.— Он отложил палитру и вновь потянулся к коньяку.— Возможно, мне следовало бы стать им.

— А они носят брюки под своими рясами? — спросила Ивонна, носившая кличку «Труба» из-за низкого тембра голоса.— Или совсем ничего?

Девушки почтительно обменялись взглядами по поводу монашеских туалетов.

Чистя ногти, Лиана поинтересовалась, может ли она молиться сидя или обязательно надо встать на колени для большей эффективности молитвы? По непонятной причине этот вопрос задел девиц за живое, испортил им все настроение, и разговор вдруг вылился в визгливую ссору. Некоторое время

они пронзительно поносили друг друга, бросая грубые и злые слова, сверкая глазами, готовые вцепиться в волосы товарки.

Привлеченная шумом и появившаяся снова Эльза высказала мнение, что Господу все равно, сидишь ты или стоишь на коленях. Это замечание еще больше разъярило Ивонну, которая решительно ратовала за коленопреклонение. Она разразилась потоком брани в адрес Эльзы, помянув ее распушенность, развращенность ее матери и даже ее родины — Австрии.

— Австрийцы — это же почти немцы! — выкрикивала она, испепеляя взглядом всех присутствующих. — А немцы — боши! Знаете, что бы я им показала? Вот что! — И она показала всем голую задницу.

— Но, — Эльза осталась верна своей флегматичности, — я только сказала, что Господу...

— Да что ты знаешь о Боге? — Взмахом руки Ивонна вырыла непроходимую пропасть между собой и Эльзой. — Господь, Господь... Ты даже и говорить-то по-французски толком не умеешь... И кроме того, позволь сказать тебе...

Сидя на своем стульчике у мольберта, Анри с грустью прислушивался к этой бессмысленной ссоре между грешными монашенками, превратившимися в неврастеничек из-за отсутствия в их жизни солнечного света, из-за трений, возникающих от постоянного совместного существования и бесконечного повторения любовного акта без любви. Он отметил, как яростно вздернуты их подбородки, гневно сжаты губы, как вздымаются груди. Должно быть, в коринфских или римских лупанариях населяющие их женщины ссорились так же... И быстро, уверенными штрихами, он зарисовал их.

В разгар перебранки появилась Марсель с новостью, что по вине хозяйина прачечной их Дому привезли полотенца, принадлежащие другому борделю<sup>1</sup>.

— Можете не сомневаться, я этими тряпками пользоваться не стану! Еще подцепишь что-нибудь! Уж лучше вытираться носовыми платками.

Спор на религиозную тему моментально был забыт, и разгорелось обсуждение инцидента с прачечной. Только одна Клео вернулась к своей карточной колоде.

— Значит, получу письмо. Единственный человек, который мог бы мне написать, моя тетя... — Клео привычным жестом впихнула обратно за корсаж вывалившуюся наружу грудь. — Хотя и она за десять лет не прислала ни строчки.

Обиженно фыркнув, она смешала разложенные карты и предложила Тромпете и Эльзе сыграть в пике. Предложение было принято, и вся троица погрузилась в сосредоточенное молчание.

А принеся сенсационную новость Марсель, кивнув Анри, затеяла полупрошепотом беседу с Роландой, своей лучшей подругой.

— Значит, я ему говорю: послушайте, любая девушка должна иметь самоуважение. А он толкует мне, что у каждой женщины на теле есть семь отверстий, или входов, как он их назвал. Должно быть, какой-нибудь профессор, такой образованный и так гладко говорит. И тот вход, который

<sup>1</sup> Портрет хозяина этой прачечной кисти Лотрека выставлен в музее Альби.

ты, мол, предлагаешь, меньше всего подходит для того, чтобы хранить в нем самоуважение. Поэтому я ему и говорю...

Тараторила она с огромной скоростью. Но тут в дверь заглянула Берта и объявила, что уже пять часов и пора ужинать.

Анри отложил палитру, вытер кисти. Потом плеснул себе еще коньяка. Тщательно вымыл руки и вслед за девочками отправился в столовую.

Пища здесь, как всегда, была приготовлена отлично. Александр Потьерон, муж мадам, руководил кухней не столько ради экономии, сколько для того, чтобы как-то занять себя. Он был морально сломленным человеком, и выполнение обязанностей повара стало для него возможностью хоть к чему-то приложить свою не востребованную энергию. В этом он находил и утешение. Когда кто-нибудь из девочек хвалил приготовленное им блюдо, на невыразительном безволосом лице Потьерона появлялась робкая улыбка и слабый свет вспыхивал в его прозрачных желтоватых глазах.

Во время своего «отдыха» во «Флер Бланш» Анри много работал, пил свой коньяк, занимался любовью и неукоснительно соблюдал распорядок Дома. Девушки так привыкли к его присутствию, что просто перестали обращать на него внимание. С полным равнодушием они одевались и раздевались при нем, принимали душ, расчесывали и завивали волосы. Весь их быт открывал перед ним секреты их профессии, одной из древнейших в мире и почти не изменившейся со времен Вавилонского царства.

В монастыре человек может испытать глубокие душевные переживания, открыть для себя восторги мистического восприятия действительности. Нечто подобное происходило с Анри во «Флер Бланш», только здесь он познавал мрачные глубины сексуальности; вслушивался в болтовню девушек, присутствовал при их ссорах, был свидетелем проявлений женской физиологии, извращенных ласк<sup>1</sup>.

Он выслушивал исповеди, поражающие своей наивностью или захватывающей дух порочностью, странствовал по лабиринтам и бездонным пропастям низости и неожиданным убежищам невинности — все-все вмещали пространства человеческих душ. Анри проник в перевернутый с ног на голову мир этих женщин. Он понял и, как мог, пытался успокоить Адриенну, когда как-то утром она ворвалась в слезах к нему в комнату и призналась, что этой ночью ей были приятны ласки «мише» (так называли здесь постоянных посетителей).

— Представляешь? Понравилась! — заливалась она горячими слезами, яростно бичуя себя за это. — Нет, я сука, я ничтожество, шлюха подзаборная! Я бесчестная! Что я скажу теперь своему шу-шу, когда он придет на следующей неделе и спросит, была ли я ему верна?..

Он слышал, как во время совместных трапез мадам Потьерон сердито стучала по столу ложкой, чтобы прекратить непристойные разговоры:

— Пожалуйста, девушки, не забывайте, где вы находитесь!

---

<sup>1</sup> Его «Поцелуй» — одно из великих художественных изображений лесбианства — находится ныне в залах Лувра.

Анри присутствовал даже на ненавистных обитательницам Дома еженедельных медицинских осмотрах — «визитах» — и делал зарисовки дрожащих девушек, стоящих в очереди перед дверью кабинета в ожидании приема. С непревзойденным мастерством запечатлел он нелепый пафос и крайнюю унижительность этой процедуры, как прежде умел передавать на холсте или картоне агонию смертельно больного перед амфитеатром хирургической клиники, буйное веселье «Мулен Руж» или «Элизе» на старом Монмартре <sup>1</sup>.

Вечером, накануне того дня, когда Анри собирался уйти из «Флер Бланш», они играли в пустой столовой Дома с месье Потьероном в domino.

— Как жаль, что вы покидаете нас, месье Тулуз! — вздохнул муж хозяйки заведения. Свет, падающий из одинокого газового светильника на потолок, придавал всей сцене интимность, все казалось похожим на интерьер, списанный с полотен старых голландцев.

— Мне совершенно не хочется уходить, — ответил Анри. — Но я обещал сделать афишу для одной из своих приятельниц-актрис.

Плоское лицо Александра Потьерона отразило тоскливую зависть.

— По крайней мере, вы можете уйти отсюда, когда захотите... Но приятно, месье, что вы были тут, можно сказать, членом семьи. Устаешь от всех этих женщин. Снуют повсюду, как тараканы. — Потьерон вновь наполнил стакан Анри. — Как вы насчет того, чтобы нам сходить и выпить с моими коллегами, такими же стряпухами, как я?

Когда в этот вечер Анри с Александром явились в кафе «Де ла Патри», «стряпухи» занимались игрой в карты. Все трое были мужьями содержательниц соседних борделей. Каждый вечер они встречались в этом кафе, чтобы часок отдохнуть, обменяться профессиональными новостями. У них, как и у Потьерона, еще сохранились признаки былой грубоватой красоты. Но возраст, сидячий образ жизни, который они вынуждены были вести, наложили на них неизгладимую печать: мешки под глазами, морщинистые лбы. В свои пятьдесят с небольшим они уже не напоминали фатоватых альфонсов, какими были в прежние годы. Они задумчиво поглаживали седеющие усы, почесывали подбородки с видом очень деловых людей. Котелки, тросточки, цепочки для часов, лежащих в жилетных кармашках... Их можно было принять за респектабельных, преуспевающих лавочников, правда, не очень счастливых.

— Через минутку закончим, — улыбнулся Лотреку и Потьерону один из них, Мариус, муж хозяйки Дома на улице Монтескье. Он галантно указал им на два свободных стула.

Некоторое время компания молча рассматривала карты. Потом они принялись быстро сбрасывать их, и игра завершилась.

— Вы снова выиграли, месье Мариус. Поздравляю. Вам везет, — сказал Анри.

— Ошибаетесь, месье Тулуз. — В голосе Мариуса сквозила явная неудовлетворенность. — Слышали пословицу: «Кому везет в карты, тому не везет

<sup>1</sup> «Визит» — одна из картин Лотрека, отражающих разнообразные детали быта домов терпимости, находится в частной коллекции.

в...» В данном случае — в делах. Это сказано про меня.— Он послунял карандаш и на клочке бумаги записал несколько цифр.— Ты, Филиберт, должен мне два франка и пятьдесят сантимов, а ты, Антуан, франк и пять су.

Проигравшие вытащили черные кожаные кошельки и тщательно отсчитали проигранное.

— Вот вы, месье Тулуз, минуту назад утверждали, что мне везет,— повернулся к Анри Мариус, высыпав мелочь в жилетный карман.— На самом деле вы видите перед собой одного из самых невезучих людей в мире. Был у нас нынче «визит». И что же? Две жертвы. Две наши лучшие голубки. Теперь мне придется искать им замену. А от этого одни неприятности. Нет, сегодня наша профессия далеко уже не та, какой была раньше. Уж поверьте мне на слово.

— Все дело в девочках,— вмешался Филибер с не признающим возражений видом.— Они так изменились! В прошлом они были послушны, уважительны, трудолюбивы, старались создать своему Дому добрую репутацию. И вели себя деликатно, патриотично. Я помню, когда в восемьдесят пятом умер Виктор Гюго, мои голубушки так расстроились, что повсюду развесили банты из черного крепа. И представляете себе? В ту ночь отказались работать!

— Да, они любили родину,— подтвердил Антуан.— На 14 июля надевали трехцветные подвязки и клеили маленькие сине-бело-красные розетки на... Ну, да вы сами знаете, на что. Хотели выказать свой патриотизм. А нынче? Нынче все они социалистки!

— Это еще не все,— добавил Мариус.— Раньше каждая была или девственницей, или отпетой шлюхой. Вы сразу понимали, с кем имеете дело. А сегодня любая встречная гризетка норовит между прочим заняться проституцией как побочной профессией. На нашей улице под каждым фонарем торчит девица. Любительство — вот что портит профессию. Это же совсем не то. Раньше полицейские инспекторы получали свою долю, пользуясь дармовыми услугами девушек, ну, может, еще бутылку-другую вина сверх того. А нынче всем подавай деньги! А это сокращает доходы. Поверите ли, месье Тулуз, прежде человек с маленьким Домом, ну, скажем, на шестерых голубок, зарабатывал в год пять-шесть тысяч чистыми и спал спокойно. В пятьдесят пять мог закрыть дело и отлично доживать на ренту. А сегодня ему, если повезет, едва концы с концами сводить удастся.

Он уныло подкрутил сивый ус.

— Друзья не дадут соврать, подтвердят, что я сам до всего дошел, так сказать, самоучкой. Из ничего сбил собственное дело. Началось с жены да золовки. Они клиентов обслуживали, а я головой работал: как и что. Труда было вложено много. Копили, экономили каждое су. И наконец смогли приобрести маленький, но собственный Дом. Пятифранковый. На улице Святой Анны. Восемь лет на него горбатились. Должен признаться, что у моей мадам мозгов меньше, чем у блохи. Но страсть к работе! «Приму еще одного, дорогой,— говаривала она мне, когда я настаивал, чтобы она отдохнула.— Позволь взять еще клиента. Глядишь, и хватит, чтобы купить биде». Да, любила она меня, желала мне успеха. Поверьте, месье Тулуз, любовь преданной женщины — великая вещь...

Неодобрительно покачивая головой, мадам Любе засыпала в топку печи ведро угля.

— Дали бы знать, предупредили бы меня, что возвращаетесь,— упрекнула она,— я бы вовремя убрала и согрела вашу комнату.

— Пожалуйста, не сердитесь, не дуйтесь, мадам Любе. Ну как я мог вас предупредить? Жил далеко от города, навестил свою старую больную тетюшку...

Подобные сцены повторялись при каждом его возвращении из внезапных тайнственных «поездок». Она знала, куда он «ездит», вытянула информацию у Мориса и давно смирилась с исчезновениями Анри. Не протестовала. Лучше уж все, что угодно, чем эти его ночные скитания в фиакрах по городу. Но плохое настроение помогало ей скрывать свой восторг по поводу его благополучного возвращения и давало возможность намекнуть, что ее не одурачишь всякими выдумками.

— Там, где живет тетюшка, и поблизости нет ни единого почтового отделения. Сплошной лес кругом,— продолжал Анри, игнорируя презрительное фырканье мадам Любе. Он все с большим энтузиазмом громоздил одну ложь на другую.— А тетка так больна, так слаба! Все время пришлось торчать возле ее постели.

Он заискивающе улыбнулся ей со своей кушетки, но она притворилась, что не замечает попыток примирения.

— И, знаете, эти недели, проведенные за городом, принесли мне большую пользу. Правда же, я лучше выгляжу?

Она бросила на него через плечо хмурый взгляд.

— Пожалуй, вы менее бледны, чем раньше. Надеюсь, вам удавалось хоть немного поспать, пока вы ухаживали за бедной старушкой,— саркастически усмехнулась мадам Любе.

Он наблюдал, как она возится, растапливая печку. И все настойчивее предпринимал попытки примирения.

— Разве вы совсем не соскучились по мне? Да оставьте же вы эту печку! Посидите со мной.

Она закрыла дверцу голландки и сделала несколько неуверенных шагов в его сторону.

— Сядьте здесь,— поймал он ее за рукав.— Рядом.

С протестующим ворчанием она опустилась на краешек кушетки.

— Пока вы отсутствовали, сюда приходило множество людей. У меня в привратничкой куча писем для вас.

— Письма? К чертям письма! — Анри выудил из кармана маленькую коробочку.— Гляньте, что я привез вам из своей поездки.

— О, месье Тулуз! Ну зачем вы так...

Это тоже происходило каждый раз, и каждый раз в пух и прах разносило продуманную ею стратегию сердитых упреков.

— Ну зачем это вы? — повторила она, бросая на него последний притворно неодобрительный взгляд, и улыбнулась сквозь слезы, открыв коробочку и обнаружив там брошь с камеей.

— Ну зачем же, зачем? — в третий раз произнесла она слабою-



щим голосом. И тут начались тоже привычные поиски в карманах передника.

— Вот, возьмите мой, он совершенно чистый,— с мягкой улыбкой протянул ей Анри свой носовой платок.— Ну как же мы встретились? Разве так можно? Я вернулся из далекого далека, привез вам красивую вещицу, а вы плачете!

А мадам Любе уже рыдала, всхлипывая, сморкаясь, промокая глаза его платком. Весь ее облик выдавал, что она давно была на грани слез и теперь находит единственную отраду в неподдельных рыданиях. Забыв о подарке, она смотрела на Анри с немим отчаянием: вид этого человека разбивал ей сердце — такой приятный, добрый и гробит себя этим проклятым коньяком, целые недели шляется невесть где. Закатывается домой полупьяный и такой уставший, что едва может раздеться, прежде чем рухнуть в постель... Прошлым летом обещал, что выспится в Аркашоне, а вместо отдыха сбежал за границу. Она получила серебряный браслет из Лиссабона, вышитую шаль из Мадрида, серебряную шкатулочку из какого-то Толедо. Только подумать, что могло в любую минуту случиться с ним там, в этих далеких краях! Но разве есть ему дело до ее волнений, беспокойства? Ни до чего ему нет дела, даже до собственной жизни. Но так больше продолжаться не может. Если милосердный Господь собирается совершить чудо, то ему следует поспешить или будет слишком поздно.

— Пожалуйста, не плачьте, милая мадам Любе.— В его голосе звучала тихая ласка.— Знаю, о чем вы думаете, и это только портит радость от встречи. Пожалуйста, выкиньте все эти мысли из головы, не плачьте!

Он погладил ее руку. Потом поднялся с кушетки и потащился к мольберту.

— Через часок сюда придет мадемуазель Авриль, но очень прошу вас, побудьте до ее появления со мной, расскажите здешние новости.

— Все жители улицы Коленкур больны. Причина? Конечно, отвратительная парижская погода и воздух, полный вредных испарений и этих маленьких, таких крохотных существ, что их даже нельзя увидеть... Танцорка со второго этажа сразу после Нового года сбежала, не уплатив за квартиру. Вот что получается, когда пускаешь в дом всяких прошелыг... Ну а все остальное идет примерно так же, как и до вашего отъезда к бедной тетушке,— добавила она со слабой улыбкой.

Продолжая разговор, она пересела в свое любимое плетеное кресло, сунув за спину подушечку и поправив очки в стальной оправе. Вытащила из кармана передника газету, быстро пробежала глазами заголовки, потом раскрыла разворот и вдруг вскрикнула, заставив Анри вздрогнуть.

— В чем дело? Что случилось, мадам Любе? Уж не заболели ли вы?

— Убийство, месье Тулуз! У нас случилось убийство!

— Где? У кого?

— Еще не знаю.— И она начала срывающимся голосом читать: — «Загадка крови и страсти на Монмартре», «Отель «Луна», убогая гостиничка на улице Коленкур...» Слышите? На улице Коленкур! «...стала местом одного из самых зверских убийств, не имеющих аналогов во всей истории Монмартра. Согласно сведениям, полученным из лаборатории научной криминалистики, преступление было совершено несколько дней назад. Месье Пипитон, крупней-



ший специалист в области расследования преступлений на почве страсти, любезно отвлекся от своих срочных дел, чтобы шаг за шагом восстановить для наших читателей этапы этого чудовищного преступления...» Какой ужас! — не выдержала напряжения мадам Любе. — «Реконструкция преступления, созданная месье Пипитоном, была точной по умозаключениям, логичной по эмоциональным мотивациям и богатой ужасающими подробностями. Когда поздно вечером кассирша отеля Буш де Сан склонилась над своим регистрационным журналом, подсчитывая скудные дневные доходы, сутенер стал бранить ее за лень, за отсутствие трудолюбия. Женщина не выдержала, огрызнулась, заявив, что она больна и не в силах проявлять большую прыть. Она даже высказалась в том смысле, что собирается выйти из дела. Это вызвало еще большее неудовольствие ее альфонса. Разразился скандал, в ходе которого некий Кейлетт, человек со взрывным темпераментом, схватил несчастную за горло и задушил. До сих пор никаких следов убийцы обнаружить не удалось, но парижская жандармерия получила важные улики, и ареста преступника можно ожидать со дня на день». Надеюсь, они поймут мерзавца и снесут ему голову, — подытожила мадам Любе, снимая очки.

Она собиралась развить свои соображения по этому поводу, но раздался стук в дверь, и, прошелестев платьем, появилась Джейн Авриль.

— Что у вас тут происходит? Вся улица забита жандармами. Я боялась, что они не пропустят мой экипаж.

Пока Анри объяснял ей причину необычного оживления на Коленкур, мадам Любе извинилась:

— Схожу-ка к «Луне», посмотрю, что можно там выяснить. — И она испарилась.

Через час актриса спустилась с подиума.

— Не возражаешь, если мы сегодня больше не будем работать? Мне необходимо примерить платье у Пакена. Почему бы тебе не проводить меня? Пожалуйста, надень шляпу и шубу, — пристала она к художнику, — и съездим вместе в ателье!

Когда фиакр проезжал по улице Лафайет, внимание Лотрека привлекла огромная корзина белых роз, выставленная в окне цветочного магазина.

— Остановимся на минутку? — попросил он. — Я бы хотел послать эти розы маме.

Вскоре он вернулся и взобрался на сиденье.

— А это — тебе. Ты в прошлом, помнится, любила фиалки. Правда, теперь ты звезда, и твои вкусы, возможно, изменились. Подумаешь, какие-то фиалки!

Джейн зарылась лицом в букетик и вдыхала аромат цветов.

— Ты очень добр и внимателен, Анри, — сказала она, поднимая голову и с нежностью глядя на спутника. — Всегда все и обо всех помнишь.

Он все еще продолжал протестовать, не понимая, зачем она потащила его к Пакену. Но фиакр уже подкатил к знаменитому ателье мод. Ливрейный швейцар распахнул перед ними дверь, и их провели в небольшую круглую комнату с зеркальными стенами, устланную толстым ковром.

— Пригласите, пожалуйста, мадемуазель Хайм, если она свободна, — попросила Джейн сопровождавшего их господина в полосатых брюках и с козлиной бородкой. Тот вежливо поклонился и вышел.

Анри взобрался на диван, продолжая тихонько ворчать. В комнату вошла потрясающая брюнетка в простом черном платье. Она была довольно высокой, и движения ее отличались грациозностью, напомнившей ему Мари Шарле. Темные блестящие волосы с пробором посередине головы и собранные на затылке в пучок подчеркивали матовую бледность ее овального лица. Но самым поразительным в ее облике были глаза — не совсем черные, скорее, кофейно-коричневые, подумал Анри, они были лучисты и широко расставлены. Их прямой взгляд контрастировал с чувственным изгибом губ.

— Здравствуй, Джейн,— с неожиданной фамильярностью приветствовала она Авриль.

— Привет, Мириам! А это месье де Тулуз-Лотрек.

Модистка повернулась к Анри.

— Знаете, я ходила на вашу выставку, месье,— улыбнулась она, и он заметил, что у нее превосходные зубы.— Но не было возможности хорошенько рассмотреть ваши картины — такая толпа.

Их взгляды встретились, и он не увидел в глазах Мириам ни насмешки, ни сострадания: его рассматривали довольно холодно и оценивающе.

— Очень жаль. Если бы я знал о вашем посещении...

Впрочем, что бы это изменило? Очевидно, она явилась в сопровождении какого-нибудь состоятельного господина. У всех модисток есть любовники...

Но Мириам уже повернулась к актрисе:

— Хочешь примерить платье? Кажется, его уже сметали.

К удивлению Анри, Джейн вдруг охнула:

— Боже мой, чуть не забыла! У меня же срочное свидание. Навещу вас завтра, хорошо?

Женщины обменялись быстрыми, заговорщицкими взглядами.

— Ну и что ты о ней думаешь? — спросила Джейн у Анри, когда они уже выехали на Вандомскую площадь.

— Почему она обращается к тебе на «ты»? И называет по имени?

— Об этом я расскажу тебе после. Сначала скажи, как она тебе понравилась.

— Вроде ничего. Красивая. Даже очень красивая. Но какая тебе разница?

— А ты ей понравился.

— Откуда тебе это известно?

— Она сама сказала.

— Ничего подобного она не говорила, я же все время был с вами. Сказала только...

— Ах, да не словами она это сказала, я-то ее знаю.

Он взглянул на Авриль, притворно нахмурившись.

— В чем дело? Какие замыслы роятся на этот раз в твоей хорошенькой головке?

— Ладно, скажу. Дорогой мой, я повезла тебя к Пакену, чтобы познакомить вас. Как-то мы говорили с ней о тебе. Я рассказала ей, кто ты такой, что в тебе есть хорошего и что плохого, о жизни, которую ты ведешь.

— За каким чертом это тебе понадобилось?

— Я считаю, вы можете стать друзьями. Она восхищается тобой как художником.

— А откуда это тебе известно?

— Я знаю Мириам. Успех — это то, что ее восхищает больше всего на свете, а ты добился успеха. Но я должна предупредить тебя, Анри: Мириам — странная девушка. Одно время мы жили вместе, я уговаривала ее пойти на сцену, познакомила с антрепренером Брассёром, и он с ходу заявил, что она великолепна, и тут же принялся обхаживать ее, сулил золотые горы, распространялся о том, что сможет для нее на определенных условиях сделать. Понимаешь? А она? Зевнула ему прямо в лицо! Да-да, она — странный человек. Во многом я ее не могу понять. И в общем-то не слишком хорошо знаю. Еврейка, кажется, сирота. Она крайне честлюбива и твердо знает, чего хочет. Любовь не входит в ее планы. Она не собирается вторгаться в какого-нибудь красавчика без сантима в кармане. Хочет иметь собственный особняк на аллее дю Буа и все, что к такому особняку прилагается. И, если я не ошибаюсь, со временем она все это получит. Сейчас она присматривается, выжидает, пока не подвернется подходящий объект. Она может позволить себе ждать, ей всего двадцать один год.

— Но какое отношение все это имеет ко мне?

— Я же сказала: думаю, вы сможете стать друзьями. Друзьями, Анри. Запомни это. Просто друзьями, вот и все.

— Общаясь со мной, она будет чувствовать себя в полной безопасности,— с горькой усмешкой заметил Анри.— У нее нет никакого шанса влюбиться, не так ли?

— Ну... в некотором роде действительно так. Ей нужна дружба, Анри. Дружба, не любовь. Верь не верь, но есть девушки, которым нравится дружить с мужчинами. Ложиться в постель не обязательно.

— Ты хочешь сказать, что ее привлекает идея сделаться мне другом? Вместе обедать, ходить по театрам... и тому подобное?

— Конечно. Только тебе надо будет понравиться ей, чтобы она не возражала против встреч, чтобы ей хотелось общаться с тобой. Но я уверена, она готова дать тебе шанс подружиться с ней. И еще одно: не жди, что такая дружба продлится вечно. В один прекрасный день явится некто, даст ей все, о чем она мечтает, и тогда... Но пока — полгода, год — ты сможешь побыть рядом с очаровательной, честной и умной девушкой. Вот так. Теперь я обо всем сказала тебе, Анри, а там поступай, как знаешь. Но если здравый смысл не изменил тебе, ты воспользуешься этой возможностью. На следующей неделе, если не возражаешь, мы вместе посидим после представления в «Рише», и ты сможешь познакомиться с ней поближе.

\* \* \*

В тот вечер он, как только переступил зал кафе, сразу увидел ее. Она опять была одета в черное. Сидела вместе с Джейн и ее Жоржем, опершись локтем о столик и подперев ладонью щеку. Сидела, поглядывала вокруг и явно ждала его. Ему показалось, что ей скучно. И он почувствовал страх, не веря, что из добрых намерений Джейн что-то может получиться.

— А вот и ты! — призывно, с явным облегчением, взмахнула рукой актриса. — Что тебя так задержало? Я уж подумывала, что ты не придешь.

Он поклонился Мириам, пожал руку Жоржу и принес извинения за опоздание. Заказав гренки с сыром, Джейн использовала все свои актерские способности, чтобы создать за их столиком непринужденную атмосферу.

— Жорж, познакомь Мириам и Анри со своим романом. Им будет страшно интересно.

— С удовольствием, — согласился начинающий писатель. — Это исследование ревности в манере Достоевского.

Впрочем, его удовольствие длилось недолго, так как Джейн перехватила инициативу и принялась сама пересказывать сюжет романа. Делала она это с присущей ей страстностью, наполняя рассказ обилием несущественных подробностей, собственными комментариями и даже редакторской правкой некоторых сюжетных линий. Это вызвало многочисленные уточнения, возражения и даже протесты травмированного автора, вначале робкие, а затем и резкие, возмущенные.

Вскоре любовники напрочь забыли о своих сотрапезниках и со счастливыми лицами обвиняли друг друга во всех смертных грехах.

Пока они спорили, Мириам обратилась к Анри:

— А сейчас вы работаете над новыми афишами, месье?

— Да, мадемуазель. В частности, делаю афишу для Джейн.

— И трудное это дело?

Она явно старалась завязать разговор, показать, что она заинтересована его работой. С ее стороны это было весьма великодушно.

— Когда как. Иногда просто неумогу — так тяжело. Все зависит от того, интересен ли вам сам процесс литографирования или нет. Если да — то не страшны никакие трудности и работа увлекает. А если нет... то создание афиши — просто долгая и смертельно скучная работа.

— Какая из ваших афиш принесла вам наибольшие волнения?

Он не смог сдержать улыбки от очевидности предполагаемого ответа.

— Первая, мадемуазель, — с вежливой шутливостью ответил он. — Та, которую я несколько лет назад сделал для «Мулен Руж».

— Да, я ее помню. Реклама канкана! Я еще девчонкой остановилась по пути на работу, чтобы рассмотреть ее. Конечно, оценить художественные достоинства этой афиши я не могла, но она показалась мне очень впечатляющей. А ведь именно это и требуется от рекламы.

Сложив руки под подбородком, он наблюдал за ней, пока она говорила, не в силах решить, подлинен ли ее интерес, или это просто хорошая симуляция заинтересованности.

Да, Джейн оказалась права: в Мириам было что-то удивительно притягательное. Ему импонировала ее естественность, упоминание без рисовки, что она была простой наемной работницей, ее прямой взгляд. Конечно, все это могло быть с ее стороны искусной игрой умной молодой девушки, изгнавшей из своей жизни любовь и решившей сделать карьеру гран-кокет. Впрочем, расчетливости он в ней не видел. И она была красивой. Очень красивой. При ближайшем рассмотрении ее красота казалась еще утонченней. Она была едва созревшей женщиной, теплой, ароматной, слегка восточной.

— Когда я пришла в магазин, где работала тогда, все кругом только о ней и говорили. Девушки за обедом спорили о вашей афише. Тогда я впервые услышала ваше имя.

— Боюсь, его упоминание было для меня не слишком лестным. Мнения разделились. Правда, многие находили ее неприличной. Сам я так не думал, но...

— Но она сделала вас знаменитым! — улыбнулась Мириам, и в ее глазах мелькнули огоньки восхищения.

— Не знаю,— ответил он улыбкой на улыбку.— Помню одно: она принесла мне столько неприятностей, что я даже иногда жалел, что взялся ее делать.

— И долго над ней работали?

— Несколько месяцев. Я тогда совершенно ничего не знал о литографии.

— Расскажите мне, что это такое — литография?

Странность ее желания и горячность тона, которым оно было сказано, укрепили его подозрения. Играет... Все эти вопросы об афише для «Мулен Руж» являются лишь ловким притворством. Возможно, ради того, чтобы доставить удовольствие Джейн, которая, продолжая разговор с Жоржем, время от времени вопросительно поглядывала на них. Или чтобы предстать в его глазах этаким культурной, интересующейся искусством?.. Может быть, она вовсе и не была на его выставке...

— Не верите мне, да? — спросила она напрямик, заметив иронический прищур его глаз.— Я уж вижу...

— Напротив, мадемуазель,— запротестовал он с откровенно скептической улыбкой,— верю от всего сердца. Возможно, вы также интересуетесь этрусскими вазами или эзотерической метафизикой. Впереди у вас масса увлекательных открытий.

Она отвела глаза и не ответила. Когда же наконец заговорила вновь, в голосе исчезли веселые нотки, хотя он остался молодым и звонким, но чувствовалось, что девушка обижена. И все же она не протестовала. Обычный голос человека, привыкшего к разочарованиям.

— Жаль, что вы мне не верите, но это правда. Я понимаю, что такие вопросы могут показаться странными и неискренними в устах простенькой продавщицы. Трудно поверить, что ее интересует какая-то литография. Однако мне, честное слово, хотелось бы что-то узнать об этом искусстве. Я всегда была любознательной.

— Но зачем это вам? — спросил он уже без сарказма, однако с искренним удивлением.— Как может интересоваться нечто подобное?

Она вновь прямо посмотрела ему в глаза.

— Не знаю зачем. Говорю же вам, мне нравится узнавать что-то новое, неизвестное.— Мириам услышала в его вопросе извинение, поняла, что собеседник хочет помириться с ней. На ее губы вновь вернулась легкая улыбка.— Я всегда была такой. Когда мы жили с Джейн, она даже надо мной подшучивала. Наверное, я любопытна от природы.

— Знаете, что говорят о любопытстве?

— Слышала.— Ее лицо расплылось от откровенной улыбки.— Говорят, что оно сгубило кошку. Но я не верю в это. Где-то я прочла, что любопытство — начало мудрости. Не уверена, так ли это, но мне все-таки хочется познакомиться поближе с литографией, хочется, чтобы вы поподробнее рассказали мне о ней.

— Но вам будет скучно до зевоты! — отказывался он.

— Не будет. Почему бы вам не попробовать? Вы скоро поймете, скучно мне или нет.

— Знаю. Вы зевнете мне прямо в лицо.

Она рассмеялась.

— Ага! Джейн так-таки рассказала вам о Брассёре! Боже мой, что еще наговорила она вам обо мне? — Она подвинулась поближе к нему и понизила голос.— Между нами, думаю, Джейн не очень-то одобряет меня.

— Потому что вы любопытны?

И он пустился рассказывать ей о литографии. Начал с истории этого искусства, упомянул об эволюции различных технических приемов, даже вычертил пальцем на скатерти какую-то диаграмму. Говорил и говорил, получая удовольствие от возможности полностью овладеть вниманием этой странной и красивой молодой особы.

— Как вы насчет того, чтобы отправиться к «Максиму»? — вмешалась в его монолог Джейн. Ее спор с любовником закончился.

Время было позднее, кое-кто из посетителей поднимался из-за столиков и, кивнув гарсону, отправлялся к выходу. Другие поручали посыльным добыть им свободный экипаж. На улице шел снег, приглушая шум уличного движения.

— Если вы не возражаете, я пойду домой.— Мириам застегнула на груди меховую накидку и принялась застегивать перчатки.— Не забывайте, завтра в девять я должна быть в ателье.

— Можно мне проводить вас домой, мадемуазель?

В дороге они почти не разговаривали. Теперь, когда они остались наедине, они не знали, о чем им беседовать. На мгновение он увидел ее лицо, когда луч уличного фонаря скользнул внутрь экипажа. Она сидела отвернувшись к окну и спокойно смотрела на улицу. Возможно, забыла о его существовании, как это случалось с Мари.

Абсурдность планов Джейн Авриль стала ему очевидна вновь. Как могла заинтересоваться им такая девушка? Что ж, она сделала доброе дело, посвятить калеке целый вечер. А теперь ехала домой и даже не предложила назначить свидание. Через несколько минут она протянет ему руку и скажет: «Прощайте, месье. Это был прекрасный вечер. Благодарю вас». И исчезнет. И он больше никогда не увидит ее.

Экипаж остановился на улице Пти Шан возле скромного трехэтажного строения, в стены которого въелась вековая угольная копоть. В цокольном этаже располагалась мастерская часовщика.

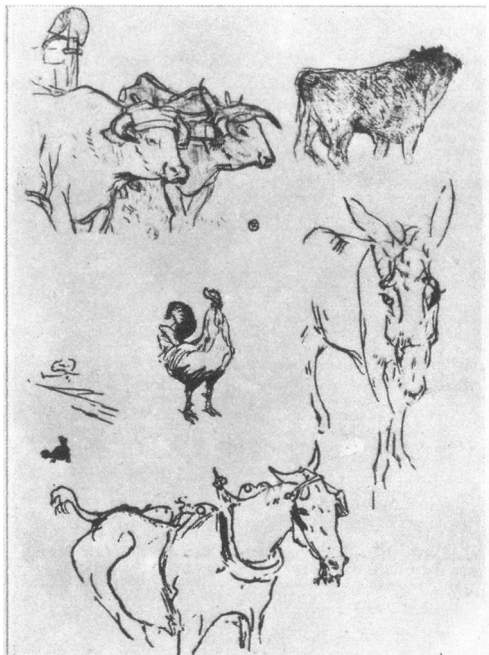
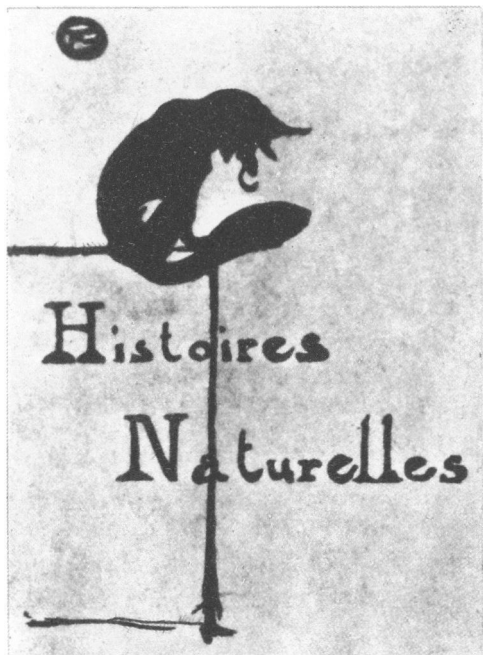
Он подивился, как это ей удастся на заработки модистки жить поблизости от улицы Мира, в самом престижном районе Парижа.

— Конечно,— сказала она, словно уловив его мысль,— у меня нет квартиры. Небольшая комнатка во флигеле на заднем дворе. Но там есть камин и кухонька. Мне достаточно. Я бы пригласила вас зайти, но уже



*Портрет Берты Бади. 1897*





Обложка книги Ж. Ренара «Естественные истории». 1899

Животные. Рисунок для книги Ж. Ренара «Естественные истории». 1897

слишком поздно. Мне очень понравилось, как мы провели вечер, месье. Спасибо вам.

— Мне тоже, мадемуазель. Могу ли я надеяться увидеть вас вновь?

— Хотите, встретимся завтра?

Это предложение застало его врасплох.

— Завтра?

— Ну да! Мы сможем вместе поужинать, если хотите. Я заканчиваю работу в шесть.

В тусклом свете, проникавшем в экипаж, он мог видеть лишь неясные очертания ее лица под вуалеткой и темный мазок — губы. В его голове поднялся вихрь мыслей. Могла ли она, могла ли она на самом деле хотеть встретиться с ним опять? Или только выполняла обещание, данное ею Джейн?

— А вы уверены, что сами хотите этого? — Его голос дрогнул от нежности. — Я имею в виду не только свидание, я имею в виду всё. Джейн призналась, что просила вас встречаться со мной. Вы не должны это делать, если вам неприятно. Я все пойму.

Ее пальцы, затянутые в перчатку, легко пожали его руку.

— Завтра. В половине седьмого. На углу Вандомской площади. Перед ателье.



Две недели спустя Анри ждал Мириам на обычном месте их встреч — угол Вандомской площади и улицы Мира, поглядывая из окна ландо на уличное движение, на Вандомскую колонну, устремленную, подобно гигантской свече, высоко вверх, где уже густели ранние зимние сумерки.

Посмотрел на часы.

Еще полчаса ждать. Ну и пусть. Ожидание тоже может доставлять удовольствие, если уверен, что ждешь не напрасно, что через тридцать минут обязательно появится Мириам. Стройная, элегантная, в шляпке «от Пакена», одетая «с иголочки»... Он медленно произнес ее имя, словно пробуя его на вкус. За прошедшие недели она подарила ему столько счастья! Он и не подозревал, что такое возможно. Она перевернула всю его жизнь. Пить он стал меньше. Можно сказать, почти совсем бросил. Бокал другой в день. Да и кто станет пить, если и так счастлив? И не перебирался больше из кафешантанов и варьете в бары и рестораны, не колесил ночи напролет по улицам. Нормально спал. Работал. Мама была счастлива. По крайней мере — не так несчастна. Морис строил планы относительно лондонской выставки. Что касается мадам Любе, то она постоянно возносила хвалы Богу. Тот факт, что его чудо приняло образ прекрасной девушки, не имел никакого значения. Чудо есть чудо, какую бы форму оно ни приняло.

Остается десять минут.

Теперь он вглядывался в вестибюль «Пакена». Сначала оттуда посыпались молоденькие швеи, продавщицы, подручные, ученицы. Безымянные, безликие атомы, прислужницы высшей парижской моды. Они выскакивали из темного вестибюля, как школьницы, шумливыми, смеющимися стайками, осматривались в поисках своих приятелей и возлюбленных, кидались к ним, чтобы расцеловаться. Потом — рука в руке — исчезали, как бы рассасывались в толпе. Затем выходили работницы постарше — опытные швеи, закройщицы, отделочницы. Этих никто не ожидал. Энергичной походкой, кутаясь в плохо сидящие пальто, они спешили к ближайшей остановке омнибуса или стоянке фиакров, торопясь к своим жилищам на окраине и скромным ужинам. Потом появлялись служащие на фирме мужчины — кладовщики, кассиры, бухгалтеры, грузчики. Эти шли, нахлобучив котелки, закутав шеи шарфами, застегивая на ходу пальто — стремясь придать себе облик деловых людей. Пожимали перед расставанием друг другу руки, словно отправлялись в долгое путешествие, и рассеивались кто куда.

Последними выплывали манекенщицы, которых сразу можно было распознать по элегантности туалетов и статной походке. Они останавливались возле дверей, оглядывали улицу — шикарные, надменные, застегивали перчатки или взбивали боа, затем спускались на тротуар и, подсаживаемые встречающими мужчинами, ныряли в экипажи.

И наконец — она.

Мириам не остановилась у порога, как другие, а поспешила прямо к ландо.

— Добрый вечер, Анри! — весело воскликнула она, занимая место возле него. — Давно ждете?

— Всего несколько минут. Но я рад, что вы не задержались. В «Комеди Франсез» дают «Смешных жеманниц» Мольера, и я купил билеты. Подумал, что спектакль может заинтересовать вас.

— Спасибо! Я еще никогда не бывала в «Комеди Франсез».

Анри высунул из окна.

— К «Буазин»! — распорядился он.

Кучер тронул вожжи.

Они поужинали с молодым аппетитом, болтая и смеясь не столько тому, о чем говорили, сколько оттого, что чувствовали себя счастливыми, и смех вспыхивал сам собой. И, как обычно, спорили. С первого дня знакомства так повелось: стоило одному высказать свой взгляд, как другой сразу занимал противоположную позицию почти по любому вопросу. Делалось это главным образом ради самого спора.

В тот вечер Анри затеял дискуссию, заявив, что как роялист он не приемлет Вандомской колонны.

— Она — наглость корсиканского авантюриста! Водрузить собственную статую, словно фитиль на свечу! Знаете, Мириам, народы столь же не поддаются пониманию, как и отдельные индивидуумы. Они еще могут терпеть порядочное правительство, но свою любовь отдают тиранам. Чем он хуже, тем они неистовее.

В ее глазах он прочел протест.

— Вы не согласны? Хорошо. Поглядим вокруг. Наполеон погубил Францию, обескровил нацию, уничтожил больше людей, чем все вместе взятые ее короли в прошлом. И все же весь Париж благоговееет перед ним: Триумфальная арка, Дом инвалидов, эта проклятая Вандомская колонна, Обелиск. Невозможно шага ступить, чтобы не наткнуться на память об этом злодее. Посему я как роялист и возмущаюсь.

— Но ведь вы на самом-то деле никакой не роялист! Правда?

— Конечно, роялист! Кем же я могу еще быть? Что за вопрос! Все равно что спросить кардинала, согласен ли он с существованием папы римского.

— А я вам не верю, — с ехидцей прищурила она глаза, поглядывая на Анри поверх своего бокала. — Как можете вы быть роялистом, как можете защищать всех этих старых развратных королей?

— Во-первых, почему старых? Людовик XV, к примеру, был коронован в пятилетнем возрасте.

— Ладно, пусть молодых развратных королей.

— Во-вторых, наши короли были развратны не более, чем все эти современные водопроводчики, кассиры, художники или даже церковные дьяконы. На самом деле некоторые из королей, и, к сожалению, не самые лучшие властители, были просто добродетельны. По крайней мере, Людовик IX признан святым самой римской церковью...

Мириам опустила глаза и на минуту занялась едой.

— А все эти дворяне, все эти аристократы? — вдруг вызывающе выпалила она, возвращаясь к теме дискуссии. — Они что, тоже были добродетельными? Где уж! Они были грубы, наглы, высокомерны!

Он драматически развел руками:

— Должен заметить вам, дорогая моя, что грубыми бывают слуги, а не большие сюзерены. Разве вы не замечали, что обычно хамят и высокомерно

ведут себя не хозяева дома, а дворецкие. У нас в Альби мажордомом многие десятилетия служил старый Тома — самый большой сноб из всех, кого я когда-либо встречал. — Он достал часы. — А теперь, моя дорогая юная санкюлотка, пожалуйста, поторопитесь. Иначе мы пропустим первый акт.

В тот вечер они смотрели «Смешных жеманниц», на другой день он повел ее на музыкальный вечер к семейству Дио, где Мириам очаровала всех присутствующих, включая Дега, своей красотой, грацией и искренним восприятием музыки. А потом он пригласил ее в «Ренессанс», после спектакля повел за кулисы и представил Саре Бернар.

Однако следующий вечер они провели в ее комнате. Он — устроившись на диване с бутылкой коньяка, она — обхватив колени руками, сидя на ковре перед пылающим камином и глядя в огонь.

Февраль. По оконным стеклам хлещет дождь, на улице завывает ветер, но здесь тепло и тихо. Он откинулся на диванные подушки, любуясь ее лицом, озаряемым всполохами огня. Как она любит огонь! Едва они вошли, первым ее действием было растопить камин. И потом весь вечер она присматривала за ним, играла с горящими полешками, сидя так близко к огню, насколько это было возможно, отдаваясь теплу с каким-то чувственным удовольствием.

Некоторое время они молчали. Совместное молчание тоже было одной из самых ценных особенностей их отношений — наслаждение тишиной.

— Вам хорошо? — тихо спросил он.

Мурлыканье.

— Я всегда подозревал, что вы — наполовину кошка.

Хотя она не обернулась, он мог видеть улыбку, заигравшую на ее губах. Снова в комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра, ударами дождевых капель по стеклу да потрескиванием дров в камине.

Он машинально поглаживал бороду и оглядывал комнату, куда попал впервые. Большую часть пола покрывал зеленый ковер. Ниша с книжными полками и гравюры на стенах придавали жилищу Мириам несколько строгий характер. Одновременно здесь чувствовалась интимность хорошо обихоженого места, и это ему нравилось. Думая прежде, как и где она живет, он примерно так и представлял себе ее пристанище. Да, комнатка была как бы частью Мириам, как и ее глаза кофейного цвета, крошечная родинка на левой щеке, как привычка сидеть на полу у камина и то, как приоткрывались ее губы, когда она слушала музыку.

— Анри, расскажите мне о деле Дрейфуса, — неожиданно попросила она. — У нас в ателье девушки все время говорят об этом. А я не знаю, виновен он или нет. Но хотела бы знать. Прежде всего, кто он такой?

— Он из Эльзаса. Родился в Малхаузе, как и мой ближайший друг Морис. Служил в армии. Получил чин артиллерийского капитана. Но однажды, уже четыре года назад, был внезапно арестован, предан суду, осужден, разжалован и отправлен на каторгу на Чертов остров, где теперь гниет за преступление, которого не совершал.

— Почему вы уверены, что он не преступник? Все утверждают, что он виновен.

— Именно это и является почти достаточным основанием, чтобы быть уверенным в обратном,— зло усмехнулся Анри.— Но есть и другие причины.

И он обстоятельно рассказал об этой трагической истории, о том, как путалась экспертиза с идентификацией почерка Дрейфуса, об атмосфере секретности, которой окутали суд, о подтасовке и подделке вещественных доказательств, о лжесвидетельствах...

— Нет, Мириам,— сказал он, осушая свой бокал и потянувшись за тростью, чтобы встать,— Дрейфус невиновен. И во Франции еще осталось несколько честных людей, которые борются, чтобы исправить содеянное зло. И я надеюсь, что они победят. Хотя думаю, что это будет нелегко.

Когда он уходил, она взяла со стола лампу и пошла по узкому коридору, чтобы проводить его к лестнице.

— Не очень увлекательное времяпрепровождение придумала я для вас в этот вечер — просто сидели у огня,— сказала она, останавливаясь на лестничной площадке.

— Я не представляю себе более приятного вечера. Этот — один из самых замечательных в моей жизни. В душе я ужасный домосед, знаете ли... Мы увидимся завтра? — И после небольшого колебания добавил: — Не устали еще от того, что я отнимаю у вас столько времени? Вы все еще согласны...

— Шш!.. Завтра. На том же месте,— кивнула она.

Ее взгляд коснулся его как ласка. Ему хотелось взять ее руку, долго держать в своей. Вместо этого он почти неслышно произнес:

— Спасибо, Мириам!

Она подняла лампу высоко над головой и держала ее так, пока он спускался вниз. Жалость к нему сдвила ее сердце, и она едва подавила вздох, наблюдая, как он медленно спускался по крутым ступеням. Внизу Анри остановился перевести дыхание и дать отдых ногам. На мгновение поднял глаза вверх, увидел чистый овал ее лица, сияющий в тусклом свете лампы, и счастливо помахал ей рукой.

— Спасибо и доброй ночи!

\* \* \*

Когда недели две спустя Мириам предложила ему сходить в воскресенье в Лувр, он воспротивился.

— В Лувр? На это кладбище старья? Кто теперь ходит в Лувр?

— Я!

— Разве вам неизвестно, что Лувр нынче посещают лишь туристы? Туристы и начинающие художники. Уверяю вас, нет ничего более гнетущего, чем эти бесчисленные залы, набитые статуями, мумиями, саркофагами, обломками мраморных надгробий. Право, это огромное заброшенное кладбище. А эти километровые галереи, увешанные тысячами полотен?..

— Но, Анри, я люблю живопись, люблю картины. И так хотелось бы, чтобы вы рассказали мне о них, объяснили, что делает великим полотном истинного художника.

— Но это невозможно! Это так же бессмысленно, как объяснять, что делает женщину прекрасной. Неправда, что великое искусство всегда просто. Оно дьявольски сложно. В конце концов, почему бы ему не быть сложным? Ведь жизнь вовсе не проста, человеческий мозг не прост, человеческое сердце не просто. Не проста и великая музыка. Она может казаться доступной, элементарной, но на самом деле это не так. Математика тоже не проста.

— Все это еще одна причина для того, чтобы вы повели меня в следующее воскресенье в Лувр и начали мое художественное образование,— безапелляционно заявила Мириам с улыбкой, дрожащей в ее бархатных восточных глазах.— Если искусство — настолько сложная вещь, нам придется посвятить ему долгие годы. Я просто вижу, как мы, уже впавшие в старческий маразм, бродим рука об руку по Лувру, чтобы еще раз постоять у Моны Лизы.

— Не говорите об этой самодовольной флорентинской буржуазке с глупой улыбкой!

— Мне казалось, что она очень мила. Но если она вам так не нравится...

Кротость ее тона не скрывала уверенности Мириам в исходе их полемики. Ее улыбка говорила, что она не сомневается в победе. И это не укрылось от Анри.

— Я сказал — никакого Лувра! И это окончательно,— заявил он, сопровождая свои слова решительным жестом руки, как бы отбрасывающей ее доводы и утверждающей его неколебимое решение.— И не рассчитывайте, что сможете лестью подчинить меня своей воле, обвести вокруг своего маленького пальчика, очаровать своей улыбкой...

— Но, Анри,— запротестовала она с выражением оскорбленной невинности,— разве я улыбалась вам?

— Значит, улыбались кому-то другому, а это еще хуже.— Он погрозил ей пальцем.— Я знаком с этой оборотистой улыбкой, у Мизии Натансон была подобная... Нет, поверьте, не стоит тратить на меня ваши улыбки. Бесполезно.

Как же она была красива, сидя в своей обычной позе на ковре! Блики пламени играли на ее волосах и щеке, повернутой к огню, высвечивали стройные ноги, обтянутые саржевой юбкой. На несколько секунд залюбовавшись ею, он даже потерял нить мысли. Но мотнул головой и отрезал:

— Когда я говорю — никакого Лувра, это значит — никакого Лувра. И конец делу!

В следующее воскресенье они отправились в Лувр. И с тех пор бывали там регулярно каждое воскресенье.

К его удивлению, эти экскурсии подарили и ему много новых и восхитительных впечатлений. Ему понравилось наблюдать за ее взглядом — ее глаза расширялись, разглядывая какое-нибудь всемирно известное полотно. Нравилось отвечать на ее вопросы, разъяснять технические приемы работы мастера, указывать на выразительные детали. Когда они бродили по полупустым залам и постукивание его трости отзывалось глухим эхом, он восхищался ее любознательностью, пытливым восприимчивостью ее ума. Анри вдруг, к собственному удивлению, обнаружил, что вопреки своей воле

он рассуждает об искусстве, разъясняет, почему Рембрандт более велик, чем отличный живописец Питер де Хоох, или чем Фрагонар значительнее, нежели какой-нибудь Натьер, анализирует полотна, доказывая, что в них гениально, а что лишь умелая техника.

В одно из воскресений они стояли перед Венерой Милосской, белой и холодной в серости этого мартовского дня.

— Она прекрасна, правда? — прошептал он. — Мы ничего не знаем о ней, кроме того, что какой-то греческий крестьянин нашел ее в пещере и продал французскому правительству за шесть тысяч франков. Единственная стоящая сделка, многих когда-либо совершили наши власти, за исключением, разумеется, многих прекрасных полотен, которые Наполеон украл в Италии... Знаете, — снова зашептал он после паузы, — Венера так совершенна, что мы забываем, как она стара. Представьте только себе, что она старше Парижа, старше Цезаря, старше Христа... Иногда я задумываюсь о том, как бы хорошо было, если бы апостол Павел никогда не посещал Афин, и Греция сохранила бы веру в своих олимпийцев...

Они еще некоторое время перешептывались, медленно обходя статую, разглядывая ее со всех сторон.

— Нам пора уходить. Уже совсем поздно, — сказал Анри. — Мы осмотрели египетские барельефы, греческие кариатиды, финикийскую скульптуру. Это должно удовлетворить ваши культурные запросы до следующего воскресенья.

— Но вы же обещали представить мне Мадонну Фра Филиппа Липпи! Помните?

— Боже, вы никогда ни о чем не забываете. Так? Значит, нам следует поторопиться. Лувр скоро закрывается.

Они взобрались по широкой мраморной лестнице на второй этаж, пересекли квадратный салон и вступили в зал «Семи мастеров». Там было совсем пусто.

— У нас хватит времени только на Липпи. — Задыхаясь, он спешил к изображению светловолосой, с точеными чертами лица Мадонны, которая смотрела на своего младенца, лежащего у нее на коленях. — Других, если вы захотите, мы посмотрим в следующий раз.

И вот они бок о бок стояли перед картиной в благоговейном молчании.

— Это великое творение, Мириам, — сказал наконец Анри. — Вы видите, что от полотна как бы исходит сияние, словно оно подсвечено изнутри? Так получается потому, что Липпи заложил в нижний слой — в «грунт» — охра. Это техническое средство, но удивительно эффективное. Охра создает своего рода внутреннее свечение. Сегодня этим приемом может воспользоваться любой начинающий художник, но во времена Фра Филиппо Липпи это было гениальным открытием. Вот и кажется нам его Мадонна неземной, прекрасной как ангел. Глядя на нее, никогда не подумаешь, что женщина, служившая художнику моделью, может быть, горит сегодня в адском огне. Да и сам Липпи тоже. Он ведь монах, а они были грешной парой, эти двое...

Его повествование прервал одетый в униформу служитель галереи, заглянувший в зал.

— Дамы и господа,— произнес он привычно,— через несколько минут мы закрываемся.

Выпалил он это официально, но, бросив восторженный взгляд на Мириам и озадаченный — на Анри, пожал плечами и вышел из зала.

— Искусство во многом обязано греховности людей,— продолжал Анри, когда они шли к выходу.— По странным обстоятельствам подлинно великие художники очень редко избирали своими моделями добродетельных женщин. Позвольте мне поведать вам романтическую историю любви между Липпи и хорошенькой монахиней.

— Вот вернемся домой, и, пока я буду готовить чай, вы расскажете...

Но в следующее воскресенье они не пошли в Лувр — посетили «Салон независимых», который только что открылся. Анри представил Мириам нескольких своих коллег — членов исполнительного комитета — и был горд тем, что они искренне восхитились его спутницей. Затем они бегом осмотрели выставку.

— Теперь вам понятно, почему художники умирают с голоду? — горько заметил Лотрек, когда они бродили по залам, увешанным бесчисленными картинами.— Искусство — товар, обильно производимый и наименее необходимый в потреблении обывателем. Только дураки, или гении, или люди, у которых, подобно мне, нет другого выхода, могут сознательно выбрать занятия живописью в качестве трамплина для карьеры.

Они обратили внимание на Анри Руссо, как обычно, стоявшего на страже возле своих картин. В латаном рединготе и начищенных грубых башмаках бывший сержант и таможенник выглядел достаточно впечатляющей иллюстрацией к словам Лотрека.

— Мириам, это мой старый друг, месье Руссо. Если вы когда-нибудь пожелаете учиться игре на скрипке или вам понадобится написать изысканное любовное послание — смело обращайтесь к этому незаменимому человеку. К тому же он и отменный живописец.

Руссо отвесил церемонный поклон и, пробормотав что-то сквозь свои моржовые усы, взял Мириам под руку и подвел к большому полотну, названному автором «Карманьола». Внизу рамы была прикреплена надпись, которая гласила: «О Свобода! Всегда ведем вперед тех, кто собственным трудом стремится внести вклад в славу и величие Франции».

По пути на улицу Пти Шан Анри смешил Мириам рассказом о нелепых заседаниях исполкома «Общества Независимых художников». Постепенно он посерьезнел и заговорил о судьбах Сера и Винсента.

— Жаль, что мы не были знакомы в те годы, когда они еще жили. Они бы вам понравились. Это были истинно великие художники, пусть разные, непохожие друг на друга, как день и ночь. Я думаю, вам особенно понравился бы Винсент. Его трудно было не полюбить, хотя он был человеком странным, но зато демократом, вроде вас, вы сошлись бы с ним в своем отношении к порочным старым королям и наглой аристократии. И возможно, он влюбился бы в вас. Ах, каким дураком был этот мой друг, бедный Винсент: он не мог вбить себе в голову, что некоторым людям иногда не удается ни разу в жизни испытать любовь.

— А что с ним стало?

— Он убил себя...

Так текли недели. Каждый вечер Анри ожидал Мириам на углу Вандомской площади, и они, поужинав, отправлялись в театр или в оперу, на концерт или в цирк. Водил он ее и на зимний велодром, и девушка была в восторге, познакомившись с чемпионом-гонщиком Зиммерманом. Однажды Анри спросил, была ли она в только что открывшемся синематографе.

— Боже, а это еще что такое?

— Я и сам точно не знаю. Насколько я понимаю, что-то вроде волшебного фонаря, но картинки на экране меняются так быстро, что создается впечатление, будто снятые на фотографию люди двигаются.

Они посетили синематографический сеанс на бульваре Капуцинов. Это было незабываемое зрелище, от которого у них волосы дыбом встали, особенно когда с экрана на них во весь опор мчался локомотив, скакали кони... Зрители вскрикивали от ужаса, вскакивали со своих мест, падали в обморок...

Иногда они ужинали вместе с Морисом и его Рене или проводили приятные вечера вдвоем, болтая, играя в карты. По воскресеньям утром она часто удивляла Анри, появляясь в его студии. Наблюдала за его работой, свернувшись на кушетке с книгой в руках. С мадам Любе они очень быстро нашли общий язык и подружились. Они подолгу о чем-то шептались у него за спиной, когда он сидел у мольберта.

Постепенно Анри и Мириам стали близкими друзьями, перешли на «ты». Он рассказывал о себе, о своем постоянном одиночестве, поведал о случае с Дениз. А однажды, хмурым вечером — и о своей связи с Мари Шарле.

И она тоже постепенно становилась все откровеннее, делилась с ним воспоминаниями о своем детстве.

— Знаешь, почему мне всегда хотелось открыть для себя что-то новое? Потому что, когда я была маленькой, у меня не было такой возможности. Школу кончить не удалось. Родители были слишком бедны, и, когда папа умер, я стала ученицей швеи. Франк в день. Было мне тогда тринадцать лет...

У него сердце защемило от жалости, когда он представил себе эту хрупкую девочку, ученицу-подсобницу, в набитой женщинами душной комнате, горбящуюся за длинным столом по десять часов в день и исколотыми иглой пальцами сметывающую кусочки материи. В тринадцать лет... За один франк в день... Как жестока может быть нищета!

— Ты не знаешь, Анри, что такое быть бедным. По-настоящему бедным. Это отражается на человеке. Когда-нибудь я расскажу тебе, что это такое...

В тот раз она замолчала, не сказала больше ни слова. Но спустя месяц поделилась горькой правдой о себе и о своем отце.

У ее отца была довольно редкая специальность — он помогал ювелирам создавать оформление драгоценных камней, жемчуга, придумывал, как их расположить в диадемах, ожерельях, браслетах, кольцах.

Еще очень молодым человеком он приехал в Париж из польского местечка. Светловолосый, наивный, глубоко верующий еврейский юноша.



Слабогрудый, он вскоре заболел чахоткой. Еще в раннем детстве он водил дочь в синагогу на улице Назарет, растолковывал ей поэзию Талмуда, наполнил ее жизнь отчаянной грустью еврейских песен. После долгой, тяжелой болезни, поглотившей все небольшие сбережения семьи, он умер, оставив жену и дочь в нищете. Последующие годы превратились в кошмарную цепь лишений и бесконечного труда. После дня работы в швейной мастерской девочка проводила вечера, сгорбившись возле кухонной печки, помогая матери нашивать пуговицы на длинные дамские перчатки. Ужины их состояли большей частью из подогретой картошки да черствого хлеба, размачиваемого в кипятке. И вечно преследовал их призрак домовладельца — за жилье надо было платить. Мириам не знала ни субботних, ни воскресных дней, не веселилась на пикниках у берегов Сены, не каталась на ярмарочных каруселях, не знала детских игр с подружками. И все же она выжила. Из худющей, неловкой девчонки превратилась в красивую девушку. Ее уже стали осаждать поклонники, поджидая после работы, чтобы проводить домой.

— И вот однажды я познакомилась с Андре и влюбилась в него. Он работал на фабрике оптических приборов. Добрый, тихий парень. У нас были одни вкусы, одна религия, одни мечты. Мы сильно любили друг друга. Так сильно, что после смерти мамы он предложил мне выйти за него замуж, и я почти согласилась...— Голос Мириам сорвался, она умолкла и долго сидела, уставясь в огонь камина.

— Почему же ты не вышла за него? — нарушил тишину Анри.

— Потому что он был беден.— Его поразила резкая нота, прозвучавшая в ее тоне.— Умный, трудолюбивый, красивый и добрый, он был беден. Мой папа тоже был умным, честным и трудолюбивым, и я хорошо помнила, какую жизнь дал он моей матери. И еще я запомнила, как он умирал, слышала его непрекращающийся кашель и знала, что у нас нет денег на лекарства. И каждую ночь, просыпаясь от душераздирающего кашля отца, я зарывалась лицом в подушку и клялась себе, что готова на все, лишь бы выбиться из нищеты. Вот почему я отказалась от Андре. Ничего ему не сказав, не передав даже записки. Знала, если увижусь, могу проявить слабость. Поэтому так резко порвала. Убежала. И никогда больше не встречалась с ним,— тихо-тихо добавила она.

\* \* \*

Наступил май. Вновь вернулось чудо весны с магией старых камней, проглядывающих по всему Парижу сквозь молодую листву.

Бульвары расцвели матросскими шапочками детей, солнечными зонтиками их мамаш и нянек. В парке Монсо снова открылся детский кукольный театр, и новое поколение маленьких парижан с волнением следило за яростными драками между Гиньолем и чертом. В подъездах целовались влюбленные.

Джейн Авриль, сопровождаемая любовником, служанкой, антрепренером, двумя пуделями и двадцатью шестью чемоданами и баулами, отбывала в Лондон. Неразбериха с багажом, вручаемые в самую последнюю минуту перед отъездом телеграммы с пожеланиями успеха, прощальные подарки друзей — короче говоря, весь антураж, приличествующий отбытию на гастроли звезды кафешантана.

И все-таки, хотя до отхода поезда оставалось не более десяти минут, актриса ухитрилась остаться в купе наедине с Анри.

— Ты кажешься другим человеком,— заявила она, обмахиваясь перчаткой.— Как ваша дружба с Мириам? Как идут дела?

— Прекрасно. Она обладает всеми достоинствами, о которых ты предупреждала меня, и еще массой других. Я — твой вечный должник. Чем отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала? Теперь ты имеешь право получить от меня столько афиш, сколько пожелаешь.

Страстность и серьезность тона приятеля заставили Джейн взглянуть на него с подозрением.

— Уж не влюбился ли ты в нее случайно?

— Конечно нет. Думаешь, я настолько глуп?

— Запомни, Анри: дружба — и больше ничего!

В тот же вечер Анри отправился с Мириам на фестиваль музыки Брамса, открытый в память недавно скончавшегося в Вене композитора. Давали симфонию до-минор, и Мириам слушала громоподобные волны звуков, закрыв глаза и уронив на колени стиснутые кулаки.

Поглядывая на нее краем глаза, Анри мысленно рисовал девушку: одухотворенное лицо, отражающее поглощенность музыкой, полуоткрытые, словно для поцелуя, губы, напряженный и плавный изгиб тонкой шеи. Ему так хотелось сохранить в душе этот образ, возвращаться к нему снова и снова, когда она покинет его.

Прозвучали последние такты финала. Мириам сжала его руку, сама ухватив ее.

— Спасибо тебе, Анри! — прошептала она.— Теперь, как только зазвучит эта симфония, я всегда буду думать о тебе.

В ладно она вновь вложила свою ладонь в его руку.

— Ты всегда был так добр ко мне...

Их пальцы переплелись с импульсивной, почти неосознанной чувственностью.

Когда они вошли в ее комнату, она бросила на стул легкую накидку и засуетилась, чтобы разжечь камин.

— Как бы мне хотелось что-то сделать для тебя! — обронил он, сидя на диване. Она не ответила, и, чтобы как-то снять неловкость своего предложения, Анри продолжал беспечным тоном: — Интересно, как ты предполагаешь провести лето, когда будет слишком жарко сидеть у горящего камина?

— Буду ворчать и ждать осени. Ненавижу лето. Париж летом ужасен.

— Все же нет. Париж и летом восхитителен. Сама увидишь. Я потащу тебя на ярмарки, мы будем грызть карамельки и посетим все аттракционы, навестим мою старую приятельницу Ла Гулю в ее балаганчике на ярмарке «Трон», покатаемся на каруселях, поплаваем по Сене на маленьком кораблике, будем обедать в ресторанчиках, где играют на аккордеонах, съездим в Сен-Клу, в Версаль...

— Разве ты не собираешься этим летом в свой Аркашон? — с удивлением осведомилась Мириам.— Джейн говорила, что у тебя там собственная вила и яхта.

— Нет, этим летом не поеду,— решительно заявил он.— Я слишком занят.

— Знаешь, Анри,— после паузы раздумчиво сказала она,— я никогда не выезжала из Парижа, ни разу не видела моря.

— Аркашон совсем не на море, он стоит на берегу залива. Правда, по-моему, это самый красивый залив. Там есть «зимний» город, который расположен в сосновом лесу, и «летний», раскинувшийся возле пляжа. В этом «летнем» — и моя вилла «Дениз». Дом с верандой, выходящей прямо на залив. Ты не представляешь себе, как красиво там ранним утром, когда я спускаюсь к завтраку: солнце, белопарусные яхты, копошащиеся в песке дети. После завтрака я обычно катаюсь на своей яхте с Лорентеном. Это тот еще фрукт! В молодости был матросом, исколесил весь свет. Теперь заделался рыбаком, но рыбачит только зимой, а летом со своей женой Мариетт он хозяйничает у меня. Лорентен научил меня управлять яхтой. Два года назад я даже принимал участие в местной регате и заработал приз. Ты, наверно, и не подозревала, что я бывалый яхтсмен, на моем счету несколько спортивных трофеев. А эти утренние купания в заливе!..

Он понял, что слишком увлекся воспоминаниями, и пожал плечами:

— Не верь тому, что я тебе сейчас наболтал. Аркашон — всего лишь захудалый городишко на берегу гнилого залива, как десятки других подобных местечек. И я не поеду туда в этом году, не могу оставить Париж. Обещал Клемансо проиллюстрировать его новую книгу, а сам еще не приступил к работе. Кстати, думаю, тебе это будет интересно — «Антология еврейских притч». Автор дал мне читать гранки. Я принесу их тебе, если хочешь.

Она молча кивнула, поднялась с ковра, одернула юбку.

— Сейчас приготовлю кофе. Выпьешь? — И скрылась в крошечной кухоньке.

Некоторое время слышался скрежет кофейной мельнички... Какая, однако, малость нужна для того, чтобы ощутить себя счастливым: камин, кофе, девушка!.. Такая, как Мириам. Какой теплой и мягкой была ее ладонь, сжимавшая его пальцы в ландо!..

— Ты была сегодня очень красивой,— громко сказал он, не покидая дивана.

Она выглянула из-за кухонной двери:

— Благодарю, месье. Вам давно было пора сделать мне этот комплимент.

— Ты не нуждаешься в комплиментах — ни в моих, ни в чьих-либо еще. Ты сама прекрасно знаешь, что чертовски хороша собой. Даже слишком. Кроме того, женщине никогда нельзя сказать что-нибудь хорошее, чего бы она сама о себе уже не знала.

— Все равно приятно бывает услышать,— засмеялась Мириам, прервав скрежет кофемолки.— Но если бы ты увидел меня утром, то ужаснулся бы!

— Не сомневаюсь,— в тон ей ответил Анри.— Тем не менее нынче вечером это не помешало тебе выглядеть первой красавицей Парижа. Мужчины на концерте не могли оторвать от тебя глаз, и я знаю, о чем они думали.

— Знаешь? — снова послышался из кухни ее смех.— Так о чем же они думали?

— О том, как ужасно ты выглядишь по утрам!..

— Ты просто невозможен! Ненавижу вашу милость! — Она снова выглянула из кухоньки и показала ему язык.— Джейн была права, когда предупреждала меня, что ты...

— Неважно, что она там тебе наговорила,— рассмеялся он.— Видишь, стоит поймать женщину на слове и согласиться с ней, как она начинает ненавидеть тебя, обзывает разными словами и показывает язык. Лесть — вот что ей необходимо. Лесть и еще раз лесть! Но факт остается фактом: на концерте ты являлась отвлекающим фактором, твой вид мешал мужчинам воспринимать Брамса. Женщины, подобные тебе, представляют общественную опасность, им нельзя разгуливать без поводка.

— Но я же была на поводке! Я была с тобой.

Они и прежде частенько подтрунивали друг над другом, но этим вечером он почувствовал, что за их пикировкой кроется нежность, что между ними возникла новая, какая-то интимная близость, пусть слегка фамильярная.

— Вот тебе твой любимый коньяк, можешь пить.— Мириам поставила перед ним откупоренную бутылку и стакан.— Не то чтобы ты заслужил его, но просто я сегодня добрая, щедрая и великодушная.

— Как раз это я и собирался тебе сказать,— поддразнил ее Анри.— Но побоялся задеть твою врожденную скромность. Счастлив, что ты разделяешь мое мнение.— И он втянул голову в плечи от притворного ужаса, увидев, что она собирается возражать.— Хорошо, хорошо, прошу прощения. Это не о тебе. Послушай, можно я заплачу за свой коньяк? Я же просто разорю тебя своими выпивками.

— Нет! И если скажешь об этом еще хоть слово...

— Но, Мириам, ты не разрешаешь ничего себе дарить. И не позволяешь платить за коньяк. Ну, пожалуйста!

— Никогда!

— Ты упряма как ослица. Попытайся же рассуждать логически...

— Нет! Еще одно слово, и я отберу бутылку! — И она гневно скрылась в кухне.

Через минуту возвратилась, неся две чашки кофе.

— Пей, пока горячий.— И вновь опустилась на ковер возле огня, подобрав ноги под подол бархатной юбки.

Они помолчали.

Какой желанной казалась она ему сегодня! Месяцы их знакомства не ослабили ощущения чуда, трепета, охватывавшего его при созерцании ее красоты. Всю жизнь мечтал он о такой девушке. Пытался найти ее все эти безумные, впустую растраченные годы. А она, оказывается, все время существовала здесь, в этой маленькой комнатушке. Множество раз проезжал он по ее улице, не подозревая, что в одном из этих старых домов живет его мечта. Если бы он встретил ее тогда! Пустое сожаление о том, что могло бы свершиться...

— Почему ты так смотришь на меня? — спросила она, даже не повернув голову в его сторону.

— Откуда тебе известно, как я смотрю? Неужели такая добрая, великодушная и щедрая девушка, какой ты себя считаешь, имеет пару дополнительных глаз на затылке? Полагаю, ты и без моего ответа знаешь, о чем я думаю.

— Так о чем же?

— О том, действительно ли ты здесь, или я просто выдумал тебя. У меня развито воображение. Случается видеть вещи, которых никогда не было, слышать слова, которые никем не произнесены. Иногда просыпаюсь ночью и думаю, что тебя не существует, что мы никогда не встречались. О, Мириам, как я счастлив, что это ложные опасения, как счастлив и благодарен судьбе за то, что она свела нас! И тебе безмерно благодарен...

— Мне? За что?

— За то, что ты есть, что ты рядом со мной, что позволяешь мне быть твоим другом.

Мириам не шелохнулась. Будто окаменела, затаилась, прежде чем высказать что-то очень важное. Поставила чашку с кофе рядом с собой и неотрывно смотрела на огонь. Лицо отстраненное, погруженное в какие-то думы.

— Ты влюблен в меня, Анри? — От легкомысленного тона, которым они пикировались минутою назад, не осталось и следа.

Он почувствовал, как похолодело все внутри. Стакан с коньяком дрогнул в руке. Она собирается расстаться с ним?.. Бросить его?.. Весь этот вечер она была не похожа на себя прежнюю, была какой-то странной... слишком доброй... Собирается сообщить ему, что тот богатый поклонник, о котором она мечтала, наконец появился?.. А как она догадалась, что он влюблен в нее?.. Сам выдал себя дурацким рассказом о том, что просыпается по ночам и думает о ней...

— Влюблен в тебя? С чего ты взяла? Конечно нет!

Каждая клеточка его мозга была начеку. Сейчас он должен лгать, правдоподобно, необыкновенно убедительно лгать! Должен убедить ее, или она с ним расстанется, прогонит, бросит его...

— Мы же просто добрые друзья, Мириам. Мне приятно общаться с тобой. Но любовь? Нет, голубушка! Нет! Спасибо! Я уже усвоил урок! Это было слишком больно, но горький опыт, уверяю тебя, кое-чему меня научил.

— Ты в этом уверен?

— Конечно. Абсолютно.

Интуиция подсказала ему, что говорить надо в легкомысленном, но твердом тоне, постараться сбить ее с толку встречными вопросами, иронией, притворным оживлением. Если он вздумает серьезно защищаться — погиб!

— Что с тобой? Игра в поиски самой себя? Вы, женщины, настолько тщеславны, что не представляете себе, что мужчина может получать удовольствие от дружеского общения с вами, не теряя при этом себя, не влюбляясь до потери сознания. Сожалею, что вынужден разочаровать тебя, но дружба — это все, чего я от тебя жду. Наверно, старею. У меня пропало желание тонуть в пучине любви. Хочу спокойно плавать в тихой гавани дружбы.

Он медленно обретал силу духа, начал понимать, что опасения его ложны, и, замороженный собственными доводами, сам почти уверовал в них.

— Как бы ты отреагировала, если бы я вдруг спросил: «Мириам, а не влюблена ли ты в меня?» Все! Конец! Не будем больше обсуждать эту тему.

А теперь, моя бедная, отвергнутая возлюбленная, позволь мне спокойно допить свой кофе.

— Ладно,— ответила она.— Я тебе верю. Но... неужели ты не хочешь меня?

— Хо-хо! Это совсем другое дело! Любовь — опасное чувство, такое бездонное эмоциональное болото. А вот секс — приятное и благородное занятие. Конечно, я бы не отказался от тебя, моя милая, как не откажусь от любой другой красивой женщины, а ты отнюдь не уродлива, разве что по утру... И мне тоже еще не девяносто лет. Разве нам обоим не было бы обидно, если бы я оставался равнодушен к твоим очевидным достоинствам? Но не волнуйся, я не собираюсь связывать тебя, заламывать тебе руки и затыкать рот, чтобы утолить свой телесный голод. В Париже достаточно мест, где такой голод соответствующим образом удовлетворяют.

— Знаю,— усмехнулась она,— Джейн рассказывала.

— Боже мой, этой болтушке следовало бы отрезать язык! Что ж, поскольку ты в курсе дела, это должно успокоить тебя и убедить в том, что я внезапно не наброшусь на тебя и не заставлю после яростной схватки подчиниться насилию. Что еще тебя тревожит?

Он явно одерживал верх. Он убедил ее. Теперь можно было несколько расслабиться.

— Нет, Мириам,— продолжал он с мягкой улыбкой,— я желаю быть тебе только другом. Не надеюсь ни на что иное, ничего не желаю от тебя получить, кроме дружбы. Знаю, что однажды ты уйдешь от меня, и готов к этому. Но до той поры разреши мне оставаться твоим другом.

Она пристально испытующе посмотрела ему в глаза.

— Рада слышать это, Анри. Я тоже хочу оставаться твоим другом. И благодарна тебе больше, чем ты можешь себе представить. Джейн говорила тебе, чего я желаю добиться от жизни. Понимаешь, в полном смысле этого слова я тебя не люблю и не хочу, чтобы ты полюбил меня, потому что тебе будет больно, когда нам придется расстаться, а я не желаю делать тебе больно. Хочу дарить только радость.

— Спасибо, Мириам,— хрипло выдавил он.— А теперь, когда между нами возникла полная ясность, думаю, мне пора домой. Завтра воскресный день, и надеюсь, будет хорошая погода. Как ты насчет того, чтобы съездить в Версаль? — Он поставил на столик пустой стакан и потянулся к своей трости.

Но прежде чем он поднялся с дивана, она метнулась к нему, ее губы оказались рядом с его губами.

— Тебе не нужно уходить домой, Анри...

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Еще до того, как глаза открылись, он уже знал, что за стенами чудесное утро, что комната залита солнцем, что над сверкающим заливом голубое, безоблачное небо. Сквозь распахнутые окна доносились детский гомон и убаюкивающий, мерный шум прибора. По легкому движению воздуха он

понял, что подошло время бриза, который обычно прилетал к заливу часов в одиннадцать, и скоро от пирсов отчалят яхты.

Не шевелясь и не открывая глаз, он продолжал лежать, прислушиваясь к спокойному дыханию Мириам, прильнув к ее теплому обнаженному телу, распростертому возле него. Шел благословенный час, который случается единственный раз в жизни,— прозрачный, радужный, потрясающий душу интенсивностью счастья. В это летнее утро он наконец посетил и его, и Анри жадно проживал каждую его драгоценную секунду.

Да, он был безумно счастлив все эти последние недели. Она отдалась ему. Не из жалости, не снисходя до него, но по доброй воле, охотно, с какой-то языческой радостью, что может вознаградить его за все зло, причиненное ему жизнью. Она воздавала ему за все горести, принесенные ему Дениз и Мари, за его мучительное одиночество, за уродство, за боль в ногах — как бы сбалансировав радостью все прошлые беды и несчастья. Она дарила ему себя.

Как часто в прошлой жизни пытался он представить себе, что это такое — обладание красивой, умной, порядочной и страстной женщиной. Теперь он знал это. Это высшая радость на свете, то, ради чего Адам лишился рая.

Мириам была темпераментной и готовой к распутству, ибо секс без темперамента и некоторой доли распушенности — ничто. Она ни в чем не отказывала ему. Хотела, чтобы он хоть раз в жизни испытал истинный любовный экстаз. Она была из тех женщин, которые отдают или все, или ничего. В своей освещаемой угасающим камином комнатке в Париже и здесь, в сапфирово-голубом полумраке летних ночей, она позволяла ему обладать собой, наслаждаться своим телом, брать у нее все, что ему хотелось.

Как благословлял он свою сексуальную ненасытность, как был благодарен скромным узникам борделей, научившим его анатомии наслаждения, искусству плотской любви! Он тоже заставлял ее испытывать радость от их близости — в этом нельзя было усомниться. Он ощущал содрогание ее плоти, извивающееся тело в своих объятиях.

При любовном акте не имеют значения ни внешность, ни ум, ни слава, ни социальное положение партнеров. Когда, прорвавшись сквозь запреты условностей и приличий, их отношения достигают определенного уровня сексуальности, больше ничто не имеет значения, кроме примитивной животной похоти и сексуальной терпимости.

В скрывающей их ночной темноте они уже не были красавицей и уродом, они превращались в безликие живые существа, охваченные лихорадкой страсти и желанием подарить друг другу радость обладания.

Он никогда не забудет ее, но и она всегда будет его помнить. Будет помнить безобразного карлика, который любил ее так страстно и умело. Вспомнит о нем, когда будет слушать Первую симфонию Брамса, когда пойдет в Лувр, когда будет проезжать мимо ресторанчика, где они обычно ужинали; вспомнит, когда посмотрит на Вандомскую колонну. Где-то в ее мозгу, в ее сердце при каждой любовной встрече с кем-то другим он останется жить в ней, останется частью ее даже после того, как они

расстанутся. Ибо они расстанутся. Такие романы, какого удостоился он, долго не длятся. Жизнь не терпит такого. Обязательно что-то происходит, чтобы разрушить гармонию.

Мириам не любила его, она и сама не сомневалась в этом. Не любила и не полюбит. Она отдавала ему свое тело — не душу. Был бы он моложе и глупее — мог бы надеяться, как надеялся когда-то в Мальероме. Но не теперь, в тридцать три года, когда седеет его борода. Одному ты учишься с возрастом — смирению, мудрости самоотречения, примирению с неизбежным. Ты перестаешь желать невозможного.

Что касается его, он был влюблен, влюблен безумно — и очень жалел об этом. Хотел бы управлять своими чувствами и не мог совладать с ними. Но сделать это необходимо. Он солгал ей и должен платить за свою ложь. Когда наступит время прощаться, он соберет все свое мужество, чтобы спокойно откланяться, чтобы избавить ее от нелепого спектакля с мольбами и слезами.

Но все это еще впереди. А сейчас она рядом. У них еще целых три недели купаний, катания на яхте, завтраков на залитой солнцем веранде. Три недели летних ночей...

Анри открыл глаза, осторожно приподнялся на локте, долгими, жадными глотками он пил ее прелесть, неслышным шепотом рассказывая ей о своей любви. Ему так хотелось коснуться ее обнаженной груди, поцеловать гладкую кожу ее шеи. Но он сдержался. Они любили друг друга только ночью...

Неслышно сполз он с кровати, оделся и спустился вниз. В холле его уже ждал Лорентен, облаченный в ливрею, чтобы походить на вечно обремененного работами слугу.

— Доброе утро, господин граф! — Он помахал метелочкой из перьев и подарил Анри свою ослепительную улыбку. — Прекрасный день, отличная погода для прогулки на яхте, — со вздохом заметил он.

С тех пор, как в Аркашоне появилась молодая барыня, все пошло кувырком. Хозяин стал меньше пить, реже заниматься на утренней зорьке рыбной ловлей. Да, у графа ныне другие занятия, нежели рыбалка. Честно говоря, грех осуждать его за это. Юная мадам, которую он привез с собой из Парижа, не была похожа на иных-прочих. Она мила и приветлива, не то что все эти важничающие вертихвостки. И все-таки женщины всегда все портят...

— И бриз как по заказу, — словно бы между прочим продолжал Лорентен, сметая пыль с перил. — Обидно не воспользоваться таким случаем.

— Ну что ж, тогда ступай и подготовь лодку, — улыбнулся Анри. — Я буду на террасе.

Он сел, закурил сигарету.

Рассекая сверкающую рябь, по заливу пролетали белокрылые яхты. На пляже уже копалась ребятня, пока их мамы в пеньюарах, устроившись под большими зонтами, вязали или читали очередной роман. В широкополых соломенных шляпах и полосатых купальных трусиках господа отдыхающие бродили по песку, не решаясь сразу кинуться в прибойную волну.



Появилась Мариетт.

— Хороший денек, не правда ли, месье граф? — Ее круглое лицо расплылось в широкой улыбке. Она поставила на стол принесенный поднос. — Летом Аркашон великолепен. Впрочем, и зимой тоже, — добавила она, чтобы не обижать свой городок.

Полушепотом, чтобы не разбудить спящую еще в комнате наверху мадам, они обменялись несколькими незначительными фразами. Потом на веранду между балясин балюстрады сунулось ухмыляющееся лицо Лорентена. Он уже скинул лакейскую униформу — рубашка апаш, соломенная шляпа, голубые брюки засучены выше колен. И конечно, босой.

— Корабль готов к выходу в море, месье. Можем отправляться, когда прикажете.

Через несколько минут они уже летели по заливу. Анри, растянувшись на баке, наслаждался тем, как солнечные лучи покалывали лицо, и слушал Лорентена. Тот совсем распахнул рубашку, подставив ветру татуированную волосатую грудь.

— Вам не знакома вон та парочка, они только что прошли мимо нас. Не женаты. Но по тому, как она наставляет партнеру рога, вполне могли бы состоять в браке... А та мадам, ну та, что живет на вилле «Мон плезир»? Судя по ее белью...

— Послушай, откуда тебе знать, какое у нее белье? — рассмеялся Анри, садясь и опираясь спиной о борт. — И чем ты занимаешься, пока я плачу тебе за то, чтобы ты следил за домом? Убиваешь время, заглядывая в замочные скважины?

— У меня есть глаза, господин граф. Да и помощница моя — любительница поговорить. — Матерый морской волк вытащил из-под банки бутылку коньяка. — Как вы насчет того, чтобы, как обычно, принять глоток-другой перед купанием?

— Спасибо, нет. Но ты можешь выпить. Хотя что тебе в моем согласии? Ты все равно сделаешь это у меня за спиной, — улыбнулся Анри.

Они добрались до безлюдной бухточки, сверкающей в полукольце песчаных дюн, заросших сосенками. Анри снял пенсне, опустил ступни в воду, потом, вздернув вверх руки, бросился за борт. Тяжело дыша, он появился уже за кормой — волосы облепили лоб. Он отфыркивался, все его коротенькое тело радостно извивалось в прозрачной зеленоватой воде. Он помахал Лорентену и снова нырнул, держа в сторону от яхты.

— Не уплывайте слишком далеко! — крикнул Лорентен, пригубив бутылку из запасов Анри.

Анри обернулся, подпрыгивая и плескаясь на одном месте. Потом поплыл к яхте, ухватился за протянутую ему старым рыбаком руку и вскарабкался на борт.

Когда они уже подходили к причалу, он увидел Мириам, одетую в белое. Она стояла на пирсе и махала ему. Он замахал в ответ, его опять окатила волна радости. И на этот раз с его губ сорвалась неслышная молитва: «Спасибо тебе, Боже, за то, что позволил мне познать такое счастье! Я больше не испытываю ненависти к тебе и никогда не смогу ненавидеть тебя. Когда она уйдет, не дай мне прожить слишком долго. Но сейчас сделай так, чтобы время текло медленно-медленно... очень медленно!»

Подобрав ее, они отправились ловить рыбу. Лежали на палубе, зажмурив глаза, обратив лица к солнцу, касаясь друг друга руками. Пересмеивались, болтали милые глупости, которые приходят на ум людям, когда они счастливы...

Обедали и ужинали чаще всего у себя дома на открытой морю веранде. Они катались в сосновом бору «зимнего города», прохлаждались на террасах маленьких прибрежных кафе, лакомясь знаменитыми аркашонскими устрицами и запивая их белым бордо. Захаживали в лавочки, торгующие сувенирами. Отправили мадам Любе фарфоровую статуэтку Святого Франциска, укрепленную в гигантской устричной раковине с надписью: «Привет из Аркашона».

И снова ночная тьма бросала их в объятия друг друга, и снова рассвет заставлял спящими, утомленными ласками.

В конце августа к ним присоединились Морис и Рене. После обеда женщины беседовали о море, пока Морис излагал Анри свои планы на будущее:

— Все готово к весеннему вернисажу в Англии. Месье Маршанд, владелец лондонской галереи, включил тебя в свое расписание. Две недели в мае. А в будущем году — Нью-Йорк! Ах да, есть еще некий господин Моро — у него галерея в Дрездене. Он тоже хочет организовать показ твоих работ. Гарантирует продажу и оплачивает все дорожные расходы. Уверяю тебя, Анри, через пяток лет твои картины пойдут не ниже, чем полотна Дега!

После отъезда друзей Анри и Мириам вернулись к прежнему безделью. Совершили несколько последних поездок по полюбившимся им местам, а по вечерам сидели на своей веранде. Но время неумолимо, отдых кончался, и от сознания этого их все чаще охватывала грусть.

Накануне отъезда в Париж они сидели рядышком, глядя, как солнце опускается в тихое море. Несколько поздних купальщиков, протирая глаза от соленых брызг, выбирались на берег. Ветра совсем не было.

Она нагнулась к нему, взяла его руку.

— Это было самое счастливое лето в моей жизни. Мы провели здесь божественные недели. Я никогда их не забуду.

Он не осмелился что-либо ответить, боясь выдать себя. Грядущее стало преследующим его ужасом, Париж — тысячеруким соперником, только и ждущим, чтобы оторвать ее от него.

— Ты сделал меня очень, очень счастливой, Анри. Я хочу, чтобы ты знал это.

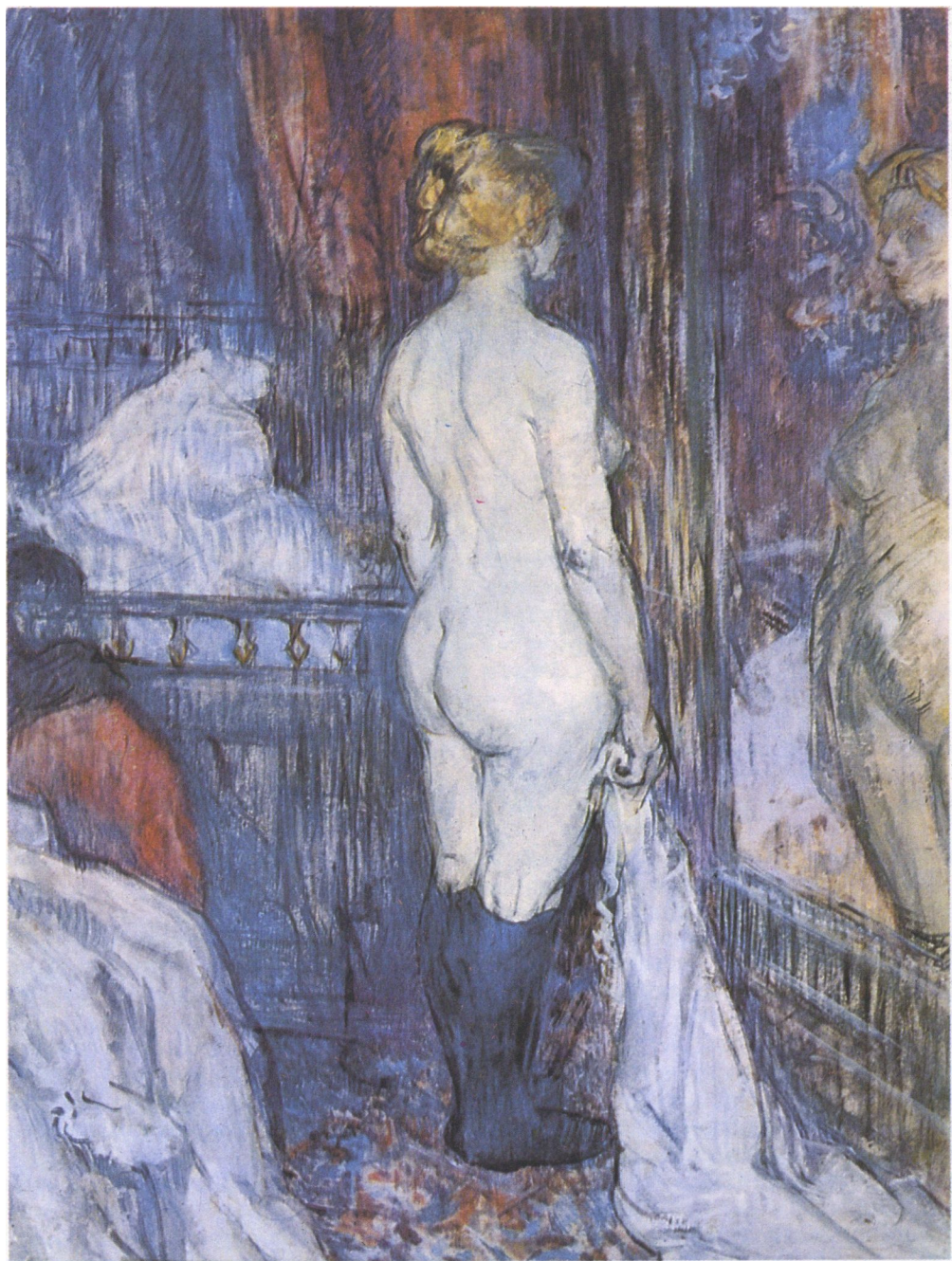
— Я тоже был счастлив,— пробормотал он, не поднимая глаз на нее.— И мне бесконечно жаль, что все кончилось.

— Ничего не кончилось. В Париже будет то же самое.

Он покачал головой.

— Нет, в Париже мы будем встречаться в фиакрах, в ресторанах. На несколько часов по вечерам... Может быть, и в воскресенья...

— Но, Анри, так же было у нас и прошлой зимой, и ты говорил, что счастлив.— В ее глазах проскользнул ласковый упрек.— Помнишь, что ты сказал? Ты сказал, что доволен тем, что имеешь, и не хочешь ничего большего.



*Нагая женщина перед зеркалом. 1897*



*Проект плаката.  
Литография.  
Без даты*

— Я имел в виду, что мы не смеем желать невозможного. А сделать это было бы так просто...

— Что сделать?

— Провести осень здесь. Вернуться в Париж после Рождества.— Эти слова вырвались у него произвольно, спровоцированные минутным настроением, прикосновением ее руки. Он почувствовал, как вдруг напряглись ее пальцы.— Прости, я не хотел...

— Ты любишь меня. Ведь любишь? — На этот раз она не спрашивала — утверждала.— Я подозревала это, но не была уверена до конца.

Он кивнул, внезапно устав от притворства, словно преступник, который неожиданно, просто от усталости, вдруг признается в совершении преступления.

— Да, Мириам, я люблю тебя. Влюбился еще в то, самое первое, наше свидание. И был влюблен, когда клялся, что нуждаюсь только в дружбе. Здорово я лгал в тот вечер, не правда ли? И лгал просто потому, что смертельно боялся потерять тебя. И все время лгал, лгал... Но надеялся, что ты не узнаешь или не догадаешься. Обещал себе никогда не говорить тебе

об этом. Но теперь, когда все открылось, смогу ли я заботиться о тебе, позволишь ли ты мне делать это? — Он поднял на нее умоляющие глаза. — Я знаю, что ты меня не любишь, и не рассчитываю, что полюбишь когда-нибудь. Но ведь я не противен тебе? Не так ли? Так дай же мне шанс, который ты дала бы любому другому мужчине. Джейн говорила мне, чего ты хочешь от жизни. Я могу все это дать тебе. Прошу тебя, Мириам, пожалуйста...

Слова замерли на его губах, так как он ощутил, что она убрала ладонь с его руки.

— Мне бесконечно жаль, что все так случилось. Ужасно жаль. — Голос ее был тих и печален. — Нет, я не сержусь на тебя за ложь. Я все понимаю. Я поступила бы так же. И мне очень жалко. Случившееся нарушает нечто, дарившее нам большое счастье. А ведь мы оба не слишком избалованы счастьем. — И, помолчав, продолжала: — Ты говоришь, Анри, что не ждешь от меня любви. Ошибаешься, друг мой. Все, кто любит, мечтают быть любимыми. Ты не исключение. Не говори «нет». Ты все еще надеешься, что, если будешь достаточно добрым, великодушным, терпеливым, я полюблю тебя. Помнишь, как ты рассказывал мне, что получил в свое время урок. Тогда я поверила тебе, но теперь понимаю, что ты его не усвоил. И никогда не усвоишь. Пойдешь по жизни не смирившимся, вечно надеясь, что какая-нибудь девушка полюбит тебя. И всегда будешь испытывать разочарование, всегда будешь страдать. Да, дорогой мой, страдать. Ведь и сейчас я причиняю тебе боль. Видишь ли, в некотором роде мы оба с тобой в одинаковой ситуации, оба желаем иметь то, чего иметь не можем, оба жаждем любви, и ни один из нас не в состоянии получить ее. Я — потому что отвергла любимого, ты — потому что калека и урод.

Ее последние слова поразили его своей всепокрушающей жестокостью. В ее устах они прозвучали как не подлежащий обжалованию, окончательный приговор.

Небо вдруг сделалось мрачно-серым, похолодало, залил катил свинцовые волны.

Она увидела, как с лица Анри отхлынула кровь, оно стало мертвенно-бледным, но продолжала говорить хладнокровно и решительно:

— Да, Анри, ты урод и калека, тратящий свою жизнь на то, чтобы забыть об этом, ты хочешь заставить окружающих не замечать твоей неполноценности. Но твои надежды тщетны. Ни одна женщина не сможет полюбить тебя так, как ты об этом мечтаешь. Если бы я могла полюбить, то я отдала бы свою любовь тебе. Но я не могу. И не смогу никогда!

Он хотел было перебить ее.

— Нет! Молчи. Теперь — не стоит, — сказала она, сделав отвергающий жест. — И знаешь, почему я не люблю и никогда не полюблю тебя? Потому что до сих пор люблю Андре, человека, о котором ты знаешь, того самого, кто хотел, чтобы я стала его женой. Даже если бы ты дал мне все — особняк на улице Де Буа, модную одежду, драгоценности, я бы все равно не полюбила тебя. Возможно, ты даже стал бы мне меньше нравиться, может быть, совсем разонравился. И уже не был бы мне лучшим другом, стал бы лишь содержащим меня богачом, который может оплатить мои прихоти,

получая за это все, что пожелает. Я перестала бы видеть тебя, видела бы только твои деньги. И за это я стала бы тебя ненавидеть. Да, я хочу иметь все, о чем мечтала, но деньги я могла бы взять лишь у человека, к которому не испытываю дружеских чувств. Можешь не верить, но я говорю тебе правду. Я не сумела бы дать тебе больше того, что уже дала. Наоборот, могла бы стать жестокой. Легко быть злой по отношению к тому, кто тебя любит. Любящие беззащитны. А во мне много горечи и обиды. Я бываю беспощадна даже к самой себе. И принесла бы тебе одни страдания. Поверь, Анри, я не хочу этого. Ты близок мне настолько, насколько может быть близок женщине человек, который ей нравится, но которого она не любит. Я хочу продолжать хорошо относиться к тебе. Деньги лишь отравят наши отношения, превратят все, что есть в них красивого и человеческого, во что-то отвратительно уродливое.— Несколько секунд она молча разглядывала свои руки.— И что же нам теперь делать? Перестать встречаться. Именно это я обещала себе, если ты когда-нибудь меня полюбишь.

Она взглянула на него со слабой улыбкой. В наступающей темноте глаза ее показались двумя темными озерами.

— Но я, видишь ли, слишком слабая женщина. Ты мне нравишься, ты стал близок мне, и я не смогу перестать с тобой видеться. Мы были так счастливы прошлой зимой! Вспомни Лувр, наши вечера у камина, сеанс в синемаатографе, когда я чуть не упала в обморок... Такое может продолжаться и впредь. Но мы больше никогда не должны говорить о любви. Все зависит от тебя, Анри. Пожалуйста, постарайся.

Солнце скрылось за дюнами. Закат погас. По заливу медленно проплыли к своим причалам две яхты. Над Аркашоном уже нависла ночная тишина.

\* \* \*

Они вернулись в Париж.

Как он и опасался, обыденная жизнь вклинилась в их отношения. После постоянного общения в Аркашоне ему было тяжело видеть ее лишь какое-то время по вечерам. Вместо той Мириам, расхаживающей по его дому в прозрачном белом пеньюаре или почти обнаженной на палубе его яхты, ему снова пришлось общаться с шикарной манекенщицей, лицо которой чаще всего скрывалось под вуалью. Из-за того, что ей нужно было рано вставать, чтобы не опоздать в ателье, у них было мало времени на секс. Бывший счастьем их летних ночей, он превратился в краткий эпизод, оставивший их обоих неудовлетворенными. Но он держал слово и никогда больше не заикался о любви. Вновь, как и прежде, он ежедневно к шести вечера ожидал ее в экипаже на Вандомской площади среди вечерней уличной суматохи. Они заезжали поужинать в ресторанчик «Вуазин» или к «Ла Рю», шутливо препираясь, обсуждали вкусовые качества котлет, посещали концерты, слушали «Кармен» и «Манон» в «Опера комик», побывали еще на одном сеансе в синемаатографе, как и прошлой зимой, сидели у ее камина на улочке Пти Шан.

Он изо всех сил старался оставаться для Мириам прежним верным и остроумным другом, но в их отношениях все явственнее намечалась трещинка. Вначале — едва заметная. Под внешней беспечностью скрыва-

лась скованность. В их разговорах внезапно возникали провалы отчужденного молчания, поспешно заполняемые смущенными улыбками и преувеличенным оживлением. Дружба их, такая естественная несколько месяцев назад, превращалась в искусный взаимообман.

Его стала раздражать толпа, окружавшая их вне ее комнатки, он больше не получал удовольствия от появления с ней в обществе. Всякий раз, когда он замечал направленный на Мириам восхищенный взгляд какого-нибудь смазливового юнца, его охватывал ужас. Он почти с неприязнью воспринимал теперь ее красоту и элегантность, потому что боялся: а ну как встретится ей некто, могущий увлечь и увести ее? Он перестал водить ее к Натансонам, перестал знакомить со своими приятелями из бомонда. Актеры в театрах хотя бы не имели возможности заговаривать с ней.

По мере того как усиливался его страх, что она уйдет, он предъявлял все большие права на ее время и внимание. Он уже воображал, как она демонстрирует какие-нибудь слишком декольтированные наряды перед неким бесстыдным миллионером, и, когда Мириам появлялась, требовал у нее объяснений, почему задержалась. Даже когда они наедине сидели у огня и молчали, он подозревал, что она думает о другом. Она стала замечать его ревность, обижалась. Анри частенько ловил ее взгляд — все понимающий и отрешенный.

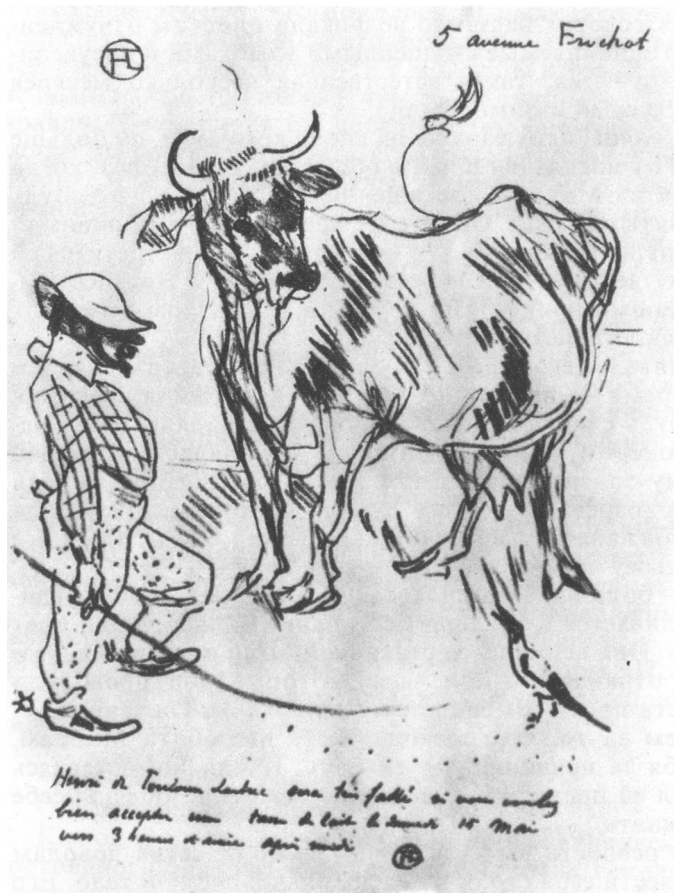
Несчастливая любовь — болезнь. Она протекает так же, как любое физическое недомогание. Усиливается и ухудшает состояние больного или идет на поправку, к излечению. Она не остается статичной. Шли недели, и неразделенная любовь стала отравлять Анри часы, которые они проводили вместе, лишала его радости просто от ее присутствия рядом. Он занимался яростным самобичеванием за то, что позволил себе полюбить Мириам, одновременно укоряя себя за причиняемую ей боль. И однако, оставаясь с ней наедине, предъявлял ей претензии, о которых клятвенно обещал себе никогда больше не упоминать.

Анри обнаружил, что ревность, как и влечение, неподвластна доводам разума, что душа может вести себя столь же самовольно, сколь и тело. Его постоянно грызла мысль о том, что Мириам может уйти. По ночам он просыпался в холодном поту. Когда он не ночевал на улице Пти Шан, то каждый раз приезжал туда ранним утром, чтобы увидеть, как Мириам уходит на работу.

От этой бессильной и всемогущей ревности он снова стал пить, но не много, боясь, что она использует это как предлог, чтобы оставить его. Как и в дни общения с Мари Шарле, время словно бы останавливалось, когда Мириам не была с ним. Оно тянулось нескончаемо. Он снова начал посещать монмартрские кафе, встречаться с бывшими приятелями, по-прежнему бранившими Академию живописи и слепую публику, остающуюся равнодушной к их «шедеврам». Опять убивал дни и ночи в бесцельных разъездах по Парижу или нанесении бессмысленных визитов знакомым. Несколько раз навещал Дебюсси, работающего над оперой, завернул к Франсуа Гоzi, который сообщил ему, что собирается жениться.

— Совершеннейшая женщина, старик! Красавица. И необыкновенно чувственна. Темперамент невероятный! И, между нами, миленькое приданое...





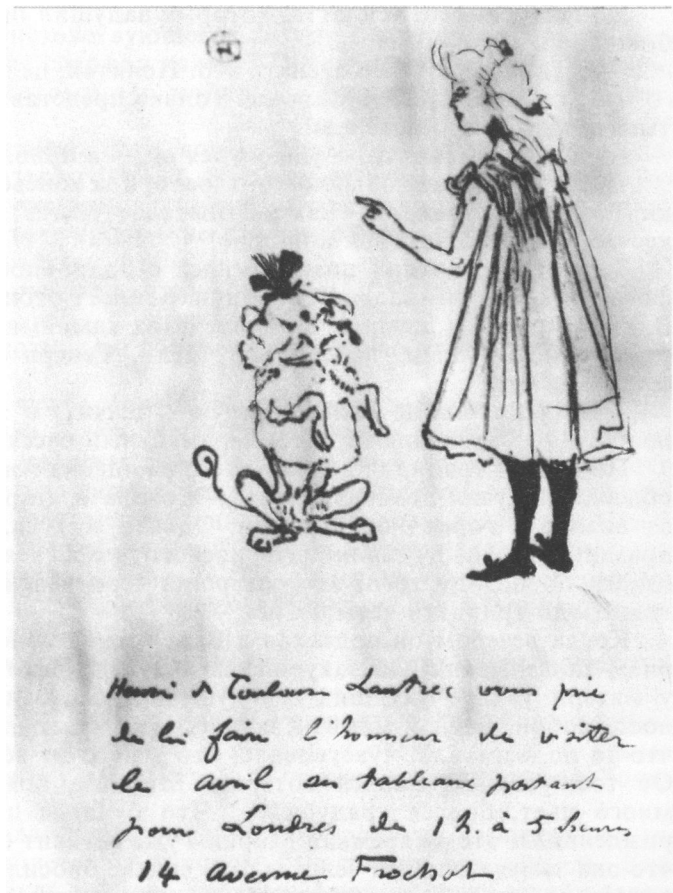
**Приглашение  
«на чашку молока».  
1897**

Как-то отправился в Плезанс, к Анри Руссо. Приятель показал ему свои новые полотна, сыграл на скрипке, выдал длинную речь, которую собирался произнести на следующем заседании исполкома «Независимых». Потом навестил Дебутена в его подвале. Старый гравёр, меривший шагами из угла в угол свою конуру, встретил его в грязном махровом халате, буйная седая шевелюра пропахла табачным дымом и испарениями азотной кислоты.

— О, мой дорогой Лотрек! Какая радость! Какой неожиданный сюрприз! Не завелось ли у вас случайно в карманах полсотни свободных франков? У меня готовы на продажу несколько работ, но этот чертов домовладелец...

Все эти визиты не смиряли его смятенную душу, только усиливали чувство одиночества. У каждого свои дела, свои заботы, никого не интересовали его проблемы. К чему навязывать посторонним свои беды? Кроме Мориса, у него не было ни одного настоящего друга. А Морис





*Приглашение  
на выставку.  
Литография. 1898*

сейчас очень занят. И потом, чем даже он мог бы ему помочь? И что сказать ему? Что он, Анри, подыхает от ревности, что его ужасает мысль, что Мириам его бросит, что он теряет ее по собственной глупости?

Кончался октябрь. Над городом нависли набухшие влагой облака. Часто моросило...

\* \* \*

Как-то, проснувшись утром на улице Коленкур, Анри обнаружил на столике у своей постели букетик цветов и поздравительную открытку. От мадам Любе.

И в ту же минуту она сама, задыхаясь от волнения, влетела в его апартаменты.

— С днем рождения, месье Тулуз! Догадайтесь, что наконец случилось! Они поймали его!

— Кого поймали?

— Того самого Кейлетта, который задушил прошлой зимой свою любовницу!

— Давно пора было сделать это. Почитай, целый год миновал.

— Его арестовали в Марселе. Только представьте себе — в Марселе! За тысячи километров отсюда!

— Ну, не за тысячи,— улыбнулся он,— а приблизительно за восемьсот.

— И знаете, как поймали? — тараторила консьержка, не обратив внимания на его реплику.— Негодяй пытался сбыть ювелиру одно из колец несчастной, а тот вызвал полицию!

За завтраком Анри познакомился с подробностями этого достижения французской криминальной полиции. Кейлетт отбивался как бешеный волк. Влез на крышу и швырял в полицейских камнями. Но в конце концов его окружили, скрутили, надели наручники. Теперь его везут в Париж, где состоится суд.

— И если его не гильотинируют, значит, в этом мире нет справедливости! — закончила свой темпераментный рассказ мадам Любе.

По давней традиции в день своего рождения Анри обедал у матери. Как обычно, получил поздравления от Жозефа и старенькой Анетты, а также от повара и горничной графини. Он изо всех сил старался не нарушить праздничного настроения материнского дома, всячески выражал свои восторги по поводу того, что совершил героический подвиг — удосужился дожить до тридцати четырех лет.

Когда вечером он подъехал к Вандомской колонне, пошел дождь. Мириам запаздывала. Он закурил, сделал несколько нервных затяжек. Обед у матери только ухудшил его душевное состояние, его неудовлетворенность собой. Бедная мама! Какой тяжкий крест для нее такой сын! И она что-то подозревала, чувствовала, что у него не все в порядке. И боялась. Он тоже боялся. Боялся потерять Мириам, боялся того, что слишком много пьет, боялся грядущего... Что будет с ним к следующему дню рождения? К этому времени Мириам уже оставит его. Ведь только потому, что она замечательный человек, она еще не бросила его, не послала к черту вместе со всеми его подозрениями, дурацкими допросами, с его ревностью...

Сквозь заливаемое дождем окно ландо Анри наблюдал, как ателье Пакена один за другим покидали последние сотрудники. Почему же до сих пор нет Мириам? Что ее задержало? Уж не старый ли какой-нибудь распутник под предлогом того, что он выбирает туалеты для жены, делает ей всякие бесстыжие предложения? И возможно, она улыбается ему, опуская за корсаж врученную ловеласом визитную карточку. Ну и что? Какие у него, Лотрека, права на эту молодую красавицу? Разве ее вина, что она его не любит? Разве не дала она ему больше, нежели любая другая женщина в его жизни? Однако он недоволен! Все ему мало! Хочет получить то, что она не в состоянии ему дать,— всяческую любовную мишуру: ласковые словечки, взгляды, вздохи и прочую стародавнюю чепуху, которую дарят друг другу влюбленные. И уж если он настолько глуп, что полюбил ее, разве не мог бы, по крайней мере, хранить это в тайне? Но нет! Выплеснул все наружу, как наивный школяр. В тридцать-то четыре года! В то памятное благословенное аркашонское утро разве он сам себе не поклялся, что избавит ее от

нелепого лицемерия неистовствующего, безумно ревнивого покинутого любовника? Почему же не сдержал клятву? Почему? Почему, черт побери, ведет себя так мерзко?! Потому, что любит? Да. Вот и объяснение. Потому, что любит.

Когда любишь, перестаешь быть справедливым, даже разумным. Вместо того чтобы пользоваться головой, думаешь сердцем, потому и превращаешься в жестокого эгоистичного идиота. Сердце — всего лишь комочек мышц, чтобы гонять по телу кровь, оно не способно мыслить...

— Извини, что задержалась, Анри.

Он не заметил, как она подошла, и несколько мгновений ничего не соображал.

— Ах, это ты! — выдохнул он наконец с нескрываемым облегчением. — А я-то уже подумал...

— Мне очень жаль, что я опоздала. Особенно сегодня, в твой день рождения. Но по-другому не вышло. Как раз перед закрытием явилась важная клиентка, из тех, которые сами не знают, чего хотят. И пришлось показывать ей чуть ли не всю нашу коллекцию. В финале она купила-таки... пару перчаток. Уф, как она меня ухаживала! — Мириам улыбнулась ему сквозь вуаль и взяла его за руку. — А ты? Что ты сегодня делал?

Перекусить они отправились в «Ле Ту д'Аржан». Анри настоял на шампанском. Оба старались казаться оживленными, и с помощью шампанского это им почти удалось.

— Этот день надо достойно отпраздновать, — предложил он, когда они доедали легкую закуску. — Куда бы ты хотела поехать, дорогая?

— Если не возражаешь, домой. Давай отправимся домой и посидим у огня. У меня был довольно тяжелый день, и я очень устала. А кроме того... — Она заставила себя улыбнуться. — Я подготовила для тебя небольшой сюрприз.

Сюрприз оказался подарочным изданием «Антологии японских эстампов» в сафьяновом переплете, на котором был тиснут его вензель. Как всегда, когда его что-нибудь глубоко трогало, Анри не сразу нашел слова благодарности. Он ахнул и поднял на Мириам увлажнившиеся глаза.

— Тебе... тебе не следовало... — начал он наконец.

— Я не знала, что может доставить тебе радость, — сказала она, свертываясь калачиком на софе возле него. — У тебя есть все, что ты пожелаешь. Хорошо, я вспомнила, что ты как-то говорил о японских гравюрах, что они тебе безумно нравятся. Вот и отыскала этот альбом. Тебе правда приятно, дорогой мой?

— Ах, не следовало тебе это делать! — растроганно упрекнул он. — Вероятно, стоит огромных денег. Почему бы не презентовать дюжину носовых платков?

— Мне хотелось, чтобы у тебя от меня было нечто, что ты сохранишь навсегда.

— Я сохраню. Навсегда.

Они говорили приглушенными голосами, почти касаясь друг друга щеками. Потом он потянулся к ней и прошептал на ухо:

— Благодарю тебя за то, что ты так терпелива со мной. Любовь — это болезнь. Она пройдет.

— Ты так думаешь, милый? — В ее грустных глазах было сомнение.— Думаешь, пройдет?..

Тот вечер оказался одной из их последних радостей, хотя он, как мог, старался сдерживать себя, казаться беспечным и веселым. Но он не был ни стойком, ни актером. Стрдание как маска покрыло его лицо, горе кричало в его огромных глазах.

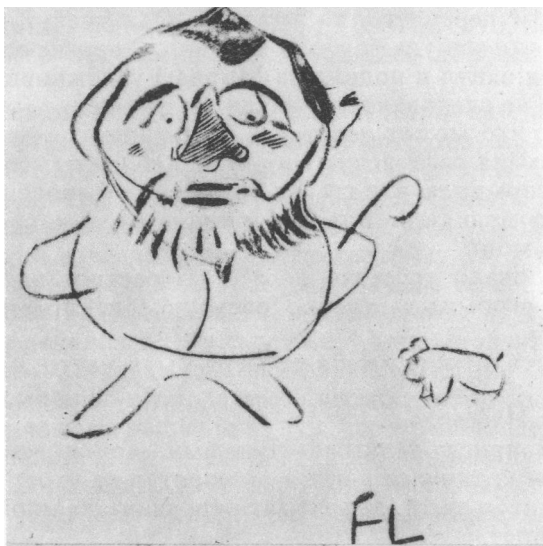
— Почему мы не прерываем наших отношений? — заплакала Мириам в один из следующих вечеров.— Ведь мы только мучаем друг друга.

Он неистово возражал, с такой страстностью клялся изменить свое поведение, что она соглашалась встречаться и дальше. Он изо всех сил старался скрывать свои чувства, но у нее этот спектакль вымученной веселости и беззаботности вызывал еще большую жалость, чем его открытое страдание.

Несмотря на обоюдные усилия, пропасть между ними все расширялась и расширялась. Часы, проводимые вместе, были отравлены упреками и исподтишка бросаемыми друг на друга подозрительными взглядами. Когда они ужинали в каком-нибудь кафе, он напряженно следил за каждым ее движением, за каждым словом. В театрах отказывался во время антрактов выходить в фойе. И постоянно преследовал вопросами. Она вновь предложила ему расстаться. Он снова умолил ее о прощении, и она опять простила.

Наконец ему стало ясно, что терпение Мириам исчерпано. Они уже не могли спокойно, без мучительных сцен, провести наедине ни одного вечера. Он понял: чтобы подольше удержать ее возле себя, он должен дать Мириам возможность общаться еще с кем-то, в противном случае наверняка потеряет ее.

Он вновь принялся таскать ее на светские рауты, знакомил с представителями аристократического круга. Снова ходил с ней к Натансонам. Мизия радовалась общению с этой красивой и сдержанной девушкой, умеющей



*Автошарж. 1899*

радоваться, знающей, как следует вести беседу, когда надо помолчать. Взаимная симпатия помогла им преодолеть социальное неравенство, они понимали друг друга и становились все более близкими подругами.

Как-то Анри вез Мириам к Мизии на один из ее званых ужинов. Она откинулась в угол ландо и смотрела сквозь стекло на улицу. Соболя накидка — его подарок к Рождеству — была растягнута, и можно было видеть декольте ее муарового платья. Он подумал, что она никогда еще не была так прекрасна, как сейчас, умиротворенно глядящая в маленькое оконце. И ему захотелось сказать ей об этом, как в прошлом году, когда они возвращались с фестиваля Брамса. Тогда его комплимент обрадовал ее. Они дурачились, Мириам строила ему рожицы и даже показала язык. Они были счастливы тогда. Но теперь вся бывшая естественность их дружбы словно испарилась. И он не осмелился поделиться с ней тем, о чем подумал, ибо думал о том, о чем сейчас уже не имел права говорить.

— Как считаешь, Клемансо и месье Золя будут сегодня у Натансонов? — спросила она, когда их ландо проезжало под Триумфальной аркой.

— Вполне вероятно. Они оба — любители вкусно поесть, а кроме того, немножко влюблены в Мизию. Будут, если, конечно, их не задержит это проклятое дело Дрейфуса. Я же говорил тебе, что и Золя, и Клемансо по уши увязли в нем, пытаясь доказать невиновность несчастного.

Она импульсивно положила ладонь на его руку, чего давно уже не позволяла себе.

— Хочу, чтобы ты знал, как я благодарна тебе за то, что ты дал мне возможность познакомиться со всеми этими замечательными людьми.

— Что до меня, то я считаю, что это ты дала им возможность познакомиться с собой, — улыбнулся он, пытаясь вернуть себе былую галантность. — По улицам Парижа ходит предостаточно знаменитых личностей, но красивые женщины и здесь редкость.

Она без улыбки приняла его комплимент.

— Я так надеюсь, что дело Дрейфуса скоро кончится. И если он невиновен...

— Не говори «если». Он действительно невиновен. Все непредубежденные люди ясно это видят.

— Надеюсь. Но как бы там ни было, хочу, чтобы оно скорее кончилось. — Она замолчала, не зная, стоит ли продолжать. Потом решилась. — Мне все труднее приходится в нашем ателье. Не знаю, долго ли еще продержусь у Пакена. Вчера одна из наших постоянных клиенток прямо в лицо спросила у меня, не еврейка ли я. Я ответила утвердительно. Тогда мадам потребовала управляющего и заявила ему, что ее ноги у нас больше не будут... Можно подумать, что именно я продала немцам эти проклятые планы!

Ее признание вызвало у него двойственное чувство. С одной стороны, если она потеряет работу, то, может, согласится принять его помощь, с другой — она может в этом случае охотнее откликнуться на предложение какого-нибудь богатого бездельника.

— Я уверен, что из-за какой-то взбалмошной старухи фирма от тебя не откажется. А в крайнем случае, тебе будет нетрудно найти себе другое место!

— Ох, не уверена! Другие фирмы тоже не пожелают терять из-за меня богатых клиентов. Короче говоря, я надеюсь, что история с Дрейфусом раз и навсегда закончится...

В особняке Натансонов все по-прежнему: мраморные полы в холлах, кланяющиеся ливрейные лакеи в белых перчатках, просторная гостиная с большим портретом над камином — Мизия в облаке розового тюля. На дамах платья с тренами, мужчины в смокингах. Чинные светские разговоры... И в то же время все вокруг изменилось. В воздухе витает злой дух — мрачное предчувствие надвигающейся катастрофы. Мужчины выглаживают озабоченно, говорят вполголоса, дамы как бы утратили умение кокетничать... Тень дела Дрейфуса нависла и над этим домом.

Еще поднимаясь по ступеням мраморной лестницы, Анри и Мириам услышали приглушенный голос Эмиля Золя и остановились в дверях гостиной, чтобы не помешать писателю. Он читал какой-то текст, держа в руках листы бумаги. Когда в тишине прозвучало заключительное «Я обвиняю!», до Анри донеслось знакомое похохатывание Клемансо.

— Когда это письмо будет опубликовано, вы, дорогая моя Мизия, потеряете двух самых преданных своих поклонников и вам придется посылать наши порции жареного фазана прямо в тюремные камеры!

Хозяйка, увидев на пороге новоприбывших гостей, поспешила к ним.

— Извините, что не сразу встретила вас. Месье Золя читал свою новую статью, которая будет опубликована в «Авроре».

Через несколько минут все присутствующие перешли из салона в столовую. Расселись за уже накрытым столом.

— А теперь,— Мизия окинула взглядом всех гостей,— умоляю вас — ни слова о Дрейфусе! Мой шеф-повар грозит оставить наш дом. Говорит, что не желает впустую растрачивать свое дарование, губить такой талант: никто ничего не ест, никто больше не ценит приготовленных им блюд... Итак, за столом — только об искусстве, музыке, о светских скандалах, если хотите, но ни слова о политике! — И, обратившись непосредственно к Анатолю Франсу, уже расправлявшему на груди салфетку, спросила: — Как идут в последнее время дела, дорогой наш академик? Как поживают другие Бессмертные? Чем занимаетесь вы сами?

Маститый писатель, недавно избранный в члены Французской Академии, глубоко вздохнул.

— Пишу, моя милая. Пишу, и только. В моем возрасте единственное доступное мне наслаждение — работа. Это, поверьте мне, одно из величайших удовольствий в жизни — писать.

И, словно по взмаху волшебной палочки, застолье оживилось, сюда вернулось очарование ужинов у Мизии. Мужчины вновь изощрались в остроумии, женщины заливались веселым смехом.

Анри, почти не притрагиваясь к предлагаемым яствам, переговаривался с соседями по столу, но в основном прислушивался к общей беседе.

— Ах, дорогой месье, женщина может быть или хорошей женой, или хорошей любовницей, но требовать от нее, чтобы она одновременно исполняла обе эти функции,— абсурд!..



*Жокей. 1899*



— Никогда и никому не давайте своих книг, моя дорогая Мизия! Я, например, составил целую библиотеку из тех, которые мне давали почитать наивные приятели...

— Видели это новое изобретение, которое называется «автомобиль»?..

— Конечно, Спаситель простил грешную женщину. Она же не была его женой!..

— Вы заметили, что коллекционеры современного искусства всегда заказывают собственные портреты живописцам академической школы?..

Слушая эти разговоры, Анри тайком наблюдал за Мириам, сидевшей справа от него. Она слушала Жюля Дюпре, агрессивного мужчину с бычьей шеей, обладателя одного из самых больших состояний во Франции. Анри надеялся, что Мириам обернется к нему, но взгляд ее был устремлен на Дюпре, а на губах блуждала слабая, загадочная улыбка. Слава Богу, кажется, ей не было скучно.

Вместо нее взгляд Лотрека поймал сам Жюль Дюпре и кивнул ему.

— Я рассказываю мадемуазель Хайм о некоем Кейлетте, сутенере с Монмартра, который год назад задушил одну из своих девиц. Как только закончится суд и его казнят, мы намерены опубликовать серию документальных выпусков о его похождениях. Слыхали о нем?

— Слыхал ли? Моя консьержка целый год только о нем и твердит. Из ее сообщений я знаю, что Кейлетта недавно поймали и отправили в Париж.

Дюпре утвердительно кивнул.

— Его история как раз того типа, которыми увлекаются наши читатели, вот я и поручил одному из своих людей собрать факты, литературно их обработать и создать целую серию. Месяца через три мы начнем публикацию отдельных выпусков. Не согласитесь ли сделать обложку к этому сериалу?

— Не... не уверен, — ответил застигнутый врасплох Анри. — Я сейчас почти перестал заниматься литографией. Готовлюсь к выставке — весной она откроется в Лондоне.

Мириам наконец с улыбкой обернулась к нему, и ему почудилось, что она одобряет его отказ.

— Все-таки не теряйте надежды. Возможно, выкрою время и обдумаю ваше предложение. Человек, идущий на гильотину, интересен для художника.

\* \* \*

Когда они в эту ночь возвращались на Пти Шан, у Анри было хорошее настроение.

— А ведь может получиться потрясающий рисунок, как ты считаешь? Говорят, Леонардо посещал казни, чтобы зарисовать лица осужденных. Не думай, что я смею ставить себя вровень с великим Леонардо да Винчи... Да и самое ужасающее изображение смертного ужаса на лице преступника создано не им, а Микеланджело в его «Страшном суде» на потолке Сикстинской капеллы. Несчастный грешник узнал, что осужден на адские муки; нарисован он в профиль, но от взгляда на него кровь стынет в жилах... Кстати, почему ты вроде бы одобрила за столом мой отказ?

— Я не одобрила, наоборот, улыбнулась, потому что считаю, что лучше тебя никто этого не сделает. У тебя получится отличная вещь. Может,



покажешь мне, когда появится первый оттиск? Думаю, папаша Котель не станет возражать?

— Конечно, нет. Примется дергать себя за бороду, почесывать лысину, делать вид, что занимается самым трудным на свете творчеством, но от тебя будет в восторге... А как тебе понравился этот Жюль Дюпре?

— Не очень. Вроде не глуп, но предельно самонадеян. И не прочь похвастать своим богатством. Должно быть, десяток раз сообщил мне о своей конюшне скаковых рысаков и собственной яхте в Монте-Карло...

Когда экипаж остановился на ее улочке, он помог ей надеть накидку и поцеловал на прощанье.

— Был очень приятный вечер,— сказала она.— Я бы пригласила тебя к себе, но уже слишком поздно.

— Понимаю,— согласился он, стараясь, чтобы она не заметила его разочарования.— Значит, до завтра?

— Нет, не до завтра. Мы каждый вечер куда-то ходим всю неделю подряд. Я бы хотела хоть раз хорошо выспаться. Давай встретимся послезавтра, не возражаешь?

— Конечно, возражаю,— усмехнулся он.— Двое суток без тебя — целая вечность... Спокойной ночи, дорогая. Итак, в пятницу, на обычном месте.

Он проводил ее взглядом. Она засемила по занесенной снегом дорожке, юбка обвивалась вокруг лодыжек. У ворот остановилась, прощально помахала ему. А потом осталась только ночь. Черная и пустая.

В последующие недели они виделись все реже и реже. Иногда, выдумав какой-то пустячный предлог, она отказывалась от встречи на обычном месте на углу Вандомской площади, но он все-таки приезжал туда к шести и издали наблюдал за вестибюлем ателье Пакена, надеясь увидеть выходящую Мириам и в то же время опасаясь увидеть, что ее ожидает кто-то другой. Но она никогда ни с кем не встречалась и сразу отправлялась домой. И все же, когда они на другой день сидели в кафе, он не мог скрыть от нее своих подозрений, задавал каверзные вопросы, стремясь поймать ее на каком-нибудь противоречии.

Наконец она вновь не выдержала.

— Больше так не может продолжаться! — заявила она в один из вечеров, сжав виски ладонями.— Ни одному мужчине я не позволила бы того, что позволяю тебе!

— Потому что жалеешь меня, не так ли? И жалеешь потому, что я калека? Ну скажи, признайся!

— Прекрати, прекрати, Анри! Ради Бога, прекрати! Сам не знаешь, что городишь! Ты испортил все, что было между нами хорошего! И я сожалею лишь об одном — о том, что в свое время познакомилась с тобой. Да, сожалею. И больше не желаю тебя видеть!

Эти слова отрезвили Анри. Лицо его стало пепельно-серым.

— Мириам, прошу тебя, пожалуйста, не гони меня. Я не смогу без тебя жить. Я никогда больше не буду задавать тебе никаких вопросов, ни разу не усомнюсь в тебе. Только не прогоняй меня.

Она с безнадеежностью взглянула в его измученные глаза, увидела, как дрожат распухшие губы, как трясутся жалкие, детские ножки...

— Хорошо,— прошептала она.— Ладно. Попробуем еще раз.

И действительно, минуты счастья у них еще повторялись. Они снова стали посещать Лувр, снова благоговейно стояли возле Венеры Милосской. И как-то он подробно рассказал ей здесь историю любви между Фра Филиппо Липпи и его «Мадонной».

— Звали ее Лукреция Бути. Молодая золотоволосая монахиня из Флоренции. А он — уже пожилой странствующий монах из Ордена капуцинов. Впервые увидели они друг друга, когда Липпи расписывал капеллу их монастыря. Он упросил мать-настоятельницу разрешить Лукреции позировать ему. Во время этих сеансов они и полюбили друг друга. И когда фрески были окончены, они вместе сбежали прочь... И, как это бывает в наших сказках, жили они долго и счастливо, народили много детей...

Однажды Анри спросил ее:

— Помнишь, я собирался иллюстрировать книгу Клемансо «Антология еврейских притч»? Наконец я начал работать над рисунками. Не проводишь ли ты меня в район бывшего гетто? Я никогда не бывал там, а хотелось бы сделать несколько зарисовок.

Поездка в еврейский район была для Анри словно путешествие в чужой, таинственный мир, хотя он давно существовал в центре Парижа. Здесь даже вывески были на древнееврейском. И прохожие говорили на языке, абсолютно непонятном Лотреку. Мириам показала ему дом, где она выросла в нужде и одиночестве, рассказала, что знала о других домах и людях, их населявших: о булочнике, который пек опресноки — незаквашенный хлеб — и у которого местные жители покупали мацу к Пасхе, о синагоге на улице Назарет, о муниципальном ломбарде, где Мириам когда-то заложила материнские серьги, чтобы купить ей лекарство...

Бродя по району гетто, они слышали звуки скрипок, доносившиеся из сырых грязных дворов. Перед их глазами возникали как бы фрагменты рембрандтовских интерьеров, лавки старьевщиков и крошечные мастерские, по улицам ползали согбенные старцы в ермолках и лапсердаках, мечтающие о Земле обетованной...

Они пообедали в маленькой харчевне, где остро пахло чесноком и жареной бараниной. За десертом Мириам рассказала несколько еврейских анекдотов, и впервые за многие недели они опять непринужденно смеялись.

— Почему нам всегда не может быть так хорошо, как сегодня? — спросила она, когда они возвращались домой.

В следующее воскресенье Анри повез ее в Версаль. Дул порывистый ветер, вздымая ее юбку и грозя сорвать новую соломенную шляпку. Они осматривали королевские апартаменты, стеклянную галерею, часовню, долго бродили по мрачным и величавым залам. Наконец устали от позолоты и всяческих завитков и вензелей в стиле рококо и вышли в парк, посидели на мраморной скамье, слушая пение птиц.

— Видишь вон то окно? — указал он тростью. — Это окно комнаты мадам Помпадур. Она скончалась возле него. Как ты, вероятно, знаешь, бедная женщина не могла лежать.

И он рассказал Мириам о знаменитой куртизанке, о том, как она умирала в своем кресле. С мушкой на щеке, нарумяненная, напудренная, любуясь тем же пейзажем, который сейчас видят они.

— Какая легкая, прекрасная смерть! — закончил Анри.

На рассвете первого мартовского дня Лотрек присутствовал при казни Кейлетта. Он успел запечатлеть убийцу, обритого наголо, с искаженным от страха лицом, когда тот, спотыкаясь, брел к гильотине по двору Рокеттской тюрьмы, видел сверкание стального лезвия, брызги крови, отпускающий грехи жест аббата. Не прошло и часа после этого, как Анри уже горбился над камнем в мастерской папаши Котеля.

Через несколько дней литография была закончена, и Мириам пришла посмотреть первый отпечаток. Взволнованно наблюдала она, как старый мастер покрывал краской валики, ворчал, предрекая неудачу затеянной Анри работы, как почесывал затылок, стащив с головы ермолку, и как запустил наконец свой печатный станок.

— Это шедевр! — воскликнула она, держа готовый оттиск в руках, не в силах оторвать от него глаз. — Это очень страшно, но прекрасно. Анри, ты действительно великий художник!

Спустя несколько минут появился Жюль Дюпре, извинился за опоздание и осыпал Анри восхищенными комплиментами.

— Это ваша лучшая литография! Когда вернетесь из поездки, она будет красоваться на всех стенах города!

В конце апреля Анри потащил Мириам в Эраньи, чтобы провести день с Камилем Писсарро. Они поехали ранним утренним поездом, потом пересели на узкоколейный паровозик местного сообщения, дребезжащий, дымящий, без всяких видимых причин останавливающийся каждые несколько минут и жизнерадостными гудками сообщающий сонным окрестным деревенькам о своем прибытии. Писсарро ожидал их на очередном полустанке. Более, чем когда-либо прежде, походил он в своей длинной накидке, круглой шляпе и грубых башмаках на какого-то библейского пастуха. Они по-семейному пообедали под уже зеленеющим каштаном. За столом им прислуживали дети хозяина. Когда подали десерт, старый художник набил табаком огромную кривую трубку и, окутанный не хуже паровозика клубами дыма, пустился в воспоминания о тех днях, когда зарождался импрессионизм, о вечерах в кафе «Гербуа», о горячих спорах с Мане, Дега, Золя, Сезанном, Ренуаром, Уистлером, об их диспутах о пленэре и голубых тенях. Помянул он и о долгих годах нищеты, но в словах и прозрачных глазах старика не было горечи.

— Ах, как давно все это было! Пожалуй, задолго до вашего появления на свет, милый Анри, — улыбнулся он гостю сквозь клубы табачного дыма. — Я частенько думал тогда, что мне следовало бы остаться дома, на своем далеком острове Сан-Томе... Между прочим, недавно я получил письмо от Гогена. Он живет на Маркизах, в хижине, очень страдает от головных болей и просто подышает от одиночества. Бедняга Поль! Он один из тех людей, которые не могут приспособиться к жизни. Винсент был таким же. Покой они обретают только в могиле.

Встав из-за стола, они прогулялись по небольшому заросшему саду, заглянули в студию художника, прячущуюся меж деревьев. Провожая друзей на полустанок в маленькой двуколке, Писсарро вдруг обернулся к Анри:

— Если увидишь Дега, передай ему мой привет. Мы не встречались с ним с начала этого позорного «дела Дрейфуса». Не правда ли, обидно

видеть, как старая верная дружба рассыпается из-за подобной истории? Он уверен, что все евреи — немецкие шпионы! И спорить с ним бесполезно. Бедный Эдгар не слишком счастлив. Зрение все ухудшается, так же как и у меня. Но он одинок, и слишком часто его компаньоном становится озлобленность. А злоба — скверный приятель.

\* \* \*

По мере того как подходило время отправляться на выставку в Лондон, Анри делался все беспокойнее и угрюмее. Его мучили мрачные предчувствия. Он боялся оставить Мириам. В Париже, одну... За три дня до отъезда он объявил Морису, что ни в какую Англию не поедет.

У Мориса глаза на лоб полезли.

— Не поедешь? — прорычал он. — Не поедешь? Да ты что, в своем уме?

— У них же есть мои картины! Это то, что нужно для выставки. А к чему англичанам разглядывать меня? Зачем же мне туда ехать?

— Зачем ехать?! — Голубые глаза Мориса горели от возмущения. — Хорошо, я скажу тебе, зачем! Потому что я работаю над этой выставкой больше года, потому что о твоём приезде объявлено в прессе, потому что обещаны интервью с тобой, потому что планируется прием в твою честь! Потому что мистеру Маршанду необходим твой совет по развеске полотен. И наконец, потому, что сам принц Уэльский...

— Ах да, черт побери! Совсем забыл, что он открывает мою выставку! Очень любезно с его стороны.

— Любезно?! Нет, вы только послушайте, что он городит! Господи, Анри, да что с тобой? Словно не понимаешь, какую честь оказывает тебе Его Высочество!

— Честь? — Теперь настала очередь Анри возмутиться. — Послушай, Морис, как дружественный жест я ценю намерение принца, но если уж говорить о чести, то мне бы хотелось знать, кто кому оказывает честь. Клянусь бородой Святого Иосифа, разве ты не знаешь, что я — граф де Тулуз? Мой пращур вел крестоносцев на Иерусалим, когда предки Саксен-Кобургов еще пахали землю в Тюрингии.

Потребовались объединенные усилия Мориса, Мизии и Мириам, чтобы убедить Анри, что ему необходимо поехать в Лондон.

— Ладно, — скрепя сердце сдался он. — Но только на неделю. И ни днем больше!

Мириам проводила его на вокзал, посидела в купе до отправления поезда.

— Мы расстаемся только на одну неделю, — успокаивал он скорее себя, чем ее, как бы стараясь вобрать в себя глазами ее красоту. — Будешь писать мне, правда? Помнишь адрес? Клеридж, площадь Гросвенор. Если я буду нужен тебе, дорогая, если что-то случится — немедленно телеграфируй! Я тут же приеду.

Несколько мгновений они помолчали, как бы прислушиваясь к тиканью стрелки, отсчитывающей последние секунды, оставшиеся до расставания.

— Когда возвращусь, все у нас пойдет по-другому, вот увидишь.

Она не отреагировала, словно не слышала его. Просто смотрела пристально и печально, как будто пытаюсь глазами сказать что-то очень важное.

— Скоро начнется лето,— продолжал Анри.— Мы вернемся в Аркашон. Помнишь залив, нашу спальню, террасу? Мы были счастливы там, правда?

Две слезинки медленно скатились по ее щекам.

— Да, мы были счастливы. Я никогда этого не забуду.

Локомотив пронзительно свистнул. По составу прокатилась дребезжащая судорога.

— До свиданья, Анри...— Она поцеловала его в губы.— До свиданья, дорогой мой... Не забывай меня...

Когда поезд тронулся, он высунулся из окна, махая носовым платком.

— Только неделя! — крикнул он в удаляющееся расплывчатое белое пятно на перроне — ее лицо.

Потом больше уже не видел ее, но от окна не отходил. Волосы трепал ветер, а он все махал и махал платком, всматриваясь в пустоту...

«Гупиль» явно было заведением высшего класса, в этом сомневаться не приходилось. Бедняки и простолюдины могли попасть в рай, но не в галерею «Гупиль». С полувзгляда устрашающего вида швейцар мог оценить банковский счет подошедшего посетителя. Манера его поведения менялась соответственно — от подобострастия до непреклонного запрета войти. Внутри было тихо и предельно изысканно. От меркантильной суеты торговой Риджент-стрит «Гупиль» был отгорожен тяжелыми бархатными портьерами. Даже дневной свет проникал сюда с трудом, процеживаясь сквозь словно свинцовые стекла тюдоровских окон, прежде чем ему позволялось упасть на битумно-черные полотна в вычурных позолоченных рамах. Здесь царила атмосфера неизменной, неизбывной тоски, неимоверной скуки, словно Искусство, обитавшее в этих залах с бархатными портьерами, застыло тут навечно. В храмовой полутьме, напоминавшей сумерки кафедральных соборов, сделки купли-продажи совершали чинные клерки в визитках, брюках со штрипками и белейших рубашках с высокими стоячими воротниками. Их жесты, манера говорить и держаться напоминали ритуальное священнодействие алтарных служек.

Что же до самого директора — мистера Спенсера Даусона Маршанда, то этот небожитель практически был недоступен для простых смертных. Лишь в редкие моменты особой важности, когда речь шла о продаже какого-нибудь покрытого потемневшим лаком «шедевра», он нисходил с Олимпа — из своего офиса, этаким розовощекий денди, неумолимый и обладающий огромной эрудицией. С утонченностью и обаянием куртизанки высшего класса принимался он обхаживать колеблющегося клиента, льстил его самолюбию, играл на его тщеславии, дурил ему голову загадочными словами, как, например, «полифония изобразительных тонов», «синтез хроматических достоинств» и тому подобное. Неравная битва неизменно заканчивалась в его кабинете, куда тут же волшебным образом доставлялся предмет торга. Там, окутанный ароматами тонких вин и гаванских сигар, сбитый



*Цирк.  
Дрессировщица  
животных.  
1899*

с толку любитель живописи окончательно «дозревал», постигал сокровенный замысел художника, обнаруживал скрытую от непосвященных красоту полотна, которое собирался приобрести, предвкушал зависть приятелей и, наконец, подписывал чек. «Гупиль» совершал очередную тысячную сделку...

Когда Анри утром прошаркал сквозь многочисленные портьеры в кабинет директора «Гупиля», мистер Маршанд был в ударе:

— Надеюсь, вы хорошо отдохнули после утомительной переправы через Английский канал, месье? Вчера, по приезде, вы выглядели усталым. Как ваш отель? Там достаточно комфортабельно? Прекрасно. Теперь мы можем приступить к работе. Я только что оплатил счет за доставку груза. Ваши картины привезут днем. Не могу передать вам, как я взволнован, предвкушая встречу с ними.

— Разве вы их еще не видели? — удивился Лотрек. — Ни единого полотна?



*Цирк.  
Дрессировка лошади  
и обезьяны.  
1899*

— К сожалению, пока нет. Слышал, что вы специализируетесь на изображении ночной жизни Парижа, и осмелюсь утверждать, что некоторый реализм будет вполне уместен, тем более что он создан во Франции... Ха-ха-ха! Не обиделись на мою маленькую шутку? Ах, Париж, веселый Париж! Я был там в восемьдесят девятом, на Всемирной выставке, и могу лично свидетельствовать об очаровании вашей восхитительной столицы. Как я давно уже утверждаю, наша галерея должна проявлять интерес к современному искусству. Такая всемирно известная фирма, как «Гупиль», не может стоять в стороне, оставаться безразличной к сегодняшним художественным исканиям, мы должны следить за всем лучшим, что появляется в мире искусств. Надеюсь, вы согласны с этим?

— Безусловно,— рассеянно кивнул Анри.

— Когда до меня дошли сведения об успехе вашей прошлогодней выставки в галерее Жуаяна и я узнал, что даже Его Величество король

Сербии и такой знаток и коллекционер, как мистер Камондо, приобрели ваши полотна, я сразу решил, что наша фирма будет первой, кто представит ваши работы английской публике. Немедленно связался с мистером Жуаяном и, должен сказать, остался весьма удовлетворен его согласием. Краткая биографическая справка, которую он выслал мне, была широко опубликована в нашей прессе и вызвала чрезвычайный интерес среди любителей искусства. В четверг весь Лондон будет в «Гупиле» — я имею в виду именно «весь Лондон» — тех представителей светского общества, которые что-то да значат. Когда ко мне явился адъютант Его Королевского Высочества и сообщил, что наследный принц благоволил лично открыть вашу выставку, это было беспрецедентно! Какая честь! Я понял, месье Тулуз, что это бесценная реклама, грандиозная реклама для нашей фирмы! А теперь, месье, если не возражаете, давайте рассмотрим программу вашего пребывания здесь, которую мы хотим предложить на время вашего краткого визита.

Все последующие дни Анри не мог спокойно вздохнуть, так закружил его вихрь непрерывных дел.

Лондон ему нравился — величественные памятники, дисциплинированные горожане. Приятно было вновь проехать по Пиккадили, посетить Трафальгарскую площадь, увидеть колонну Нельсона с высокомерными львами на пьедестале, столь похожую на Вандомскую, приятно было кататься по улицам в двухколесных кэбах на прекрасных рессорах, вновь разглядывать английских бобби, обряженных в смешные шлемы и белые перчатки и напоминающих детские игрушки, только слишком большого размера. Анри с удовольствием повидался с Кондером, Розенштейном и другими британскими художниками, с которыми встречался в разные годы в Париже.

Однако его радостное настроение омрачалось отсутствием каких-либо вестей от Мириам. Он был озадачен, не получив от нее по приезду телеграммы, и утешал себя только мыслью, что она разумная женщина и станет ему телеграфировать лишь в том случае, если произойдет нечто экстраординарное. Очевидно, пока ей нечего было ему сообщить... Два последующих дня тоже не принесли ему ни строчки из Парижа, и его озадаченность превратилась в тревогу. Почему она не пишет? Почему не поблагодарила за цветы, которые ей доставили после его отъезда? Или слишком занята, чтобы черкнуть пару слов? А вдруг заболела? Тревога о ней не оставляла его ни на миг. Он был словно околдован — не мог думать ни о чем другом. Репортажам во время интервью приходилось неоднократно повторять свои вопросы и получать рассеянные, а то и бессвязные ответы. Спичи на обедах в клубе Челси были для него бессмысленным громоханием голосов... Почему же она не пишет?!

В какой-то момент паника мистера Маршанда по поводу слишком откровенного реализма его полотен чуть было не дала Лотреку повод удрать в Париж.

— Вы совершенно правы! — с энтузиазмом поддержал он сомнения директора «Гупилы». — Они слишком грубы, натуралистичны. И совсем не совпадают со стилем вашей галереи. Их показ вызовет лишь шквал негативной рекламы. Кроме того, я сильно сомневаюсь, что вам удастся хоть



что-нибудь продать. Почему бы нам не отменить выставку? Я охотно возмещу все понесенные вами расходы.

Но его надежда мигом испарилась, когда Маршанд отрицательно замотал головой:

— Слишком поздно, месье! Его Королевское Высочество уже известило о часе своего прибытия. Приглашения разосланы. Все критики и борзописцы уже наточили перья. Что мы можем сделать? Только хорошую мину при плохой игре!

В день вернисажа нервы Лотрека были уже взвинчены до предела. Две телеграммы, отправленные им Мириам, остались без ответа. На телеграмму, посланную Морису, тоже не было отклика. На этот раз сомнений быть не могло — что-то случилось, и случилось что-то страшное! И зачем только он согласился поехать в эту проклятую Англию?! Зачем оставил Париж? Предыдущую ночь он провел у себя, в номере отеля, непрерывно глуша виски и воображая всяческие ужасы, мучил себя вопросами, от которых кровь стыла в жилах. Он готов был биться головой о стену.

Мириам, демонстрирующая туалеты с глубоким декольте какому-нибудь распутному плутократу; Мириам, обедающая в «Вуазин» с богатым и красивым поклонником; Мириам — больная, прикованная к постели в своей маленькой комнатенке, а то и умирающая в больничной палате...

Когда он днем приехал в галерею, то был так измучен беспокойством, что весь горел как в лихорадке. Не обратил внимания ни на корзины с цветами, ни на служителей «Гупиля» во фраках. Подталкивая себя тростью, он пробился сквозь бархат портьер в выставочной зал. Тот еще был пуст, наполнен лишь запахом цветов, удивительно спокоен в нервной атмосфере почти невыносимого ожидания, царившего в галерее.

Да, в Париже что-то случилось, и ему следовало быть там... Он сел на зеленый плюшевый диван. Что ж, завтра он обязательно узнает, что произошло. В шесть часов вечера отправляется поезд в Дувр, и — клянусь Богом! — он будет в нем. Времени после открытия хватит лишь на то, чтобы заскочить в отель, сбросить этот идиотский фрак и добраться до вокзала. Но завтра он уже в Париже!.. Никогда, никогда больше не согласится он на такие мучения! Если в будущем году придется ехать в Нью-Йорк, то без Мириам он с места не сдвинется! Он больше никогда не расстанется с ней. Почему же, почему она не прислала ни строчки?! На нее это не похоже! Затратила столько труда и денег, чтобы добыть ему в подарок ко дню рождения «Антологию японских эстампов»!.. А какой печальной была она, прощаясь с ним на вокзале! Какой грустной и какой прекрасной!.. Господи, какая жара в этом зале!

Он поднял глаза, покрасневшие от бессонницы, поправил тугой воротничок. Не хватает воздуха! Что, у них нет вентиляции? В этих проклятых картинных галереях всегда жарко, даже у Мориса... Заметив, что все еще в цилиндре, снял его с головы и осторожно, вниз туллей, опустил на ковер. Потом взглянул на часы. До открытия еще почти час. Еще целый час ждать! Что же, завтра он тоже будет ждать, но это будет счастливое ожидание на их условленном месте... Мириам!

Он прилег на диванную подушку, представляя себе Мириам, выходящую из вестибюля пакеновского ателье, бросающуюся к его ландо, улыбаясь

ему, сияя радостью встречи. Она расскажет, как скучала, удивится, что он не получил ни одного ее письма, ни телеграммы, а ведь она отправила несколько! Впрочем, теперь это уже неважно. Он вернулся. И пока он был в Лондоне, она поняла, что тоже любит его. Да-да, любит!

Разыгравшееся воображение перешло в крепкий сладкий сон. С улыбкой на губах и скрещенными на груди руками он спокойно спал, видя в сновидении ту, к которой рвалось его изболевшееся сердце.

— Месье! Сэр! Послушайте, это же нонсенс! Невероятно! Ведь предупреждали же меня, что он пьяница! Следовало бы не спускать с него глаз... Черт бы побрал этих проклятых французов!..

Сначала Анри ощутил, что его тормозят. В ушах возник какой-то посторонний шум. Затем понял, что чья-то рука трясет его за плечо. Кто-то взволнованно выкрикивал какие-то слова. Сквозь полуоткрытые веки он увидел заполняющую зал толпу и мистера Маршанда, склонившегося над ним. Это был какой-то другой Маршанд — лицо багровое от ярости, искажено гневной гримасой. Анри поморгал, с трудом сел и протер глаза.

— Должно быть, я уснул,— виновато робормотал он нетвердым голосом. Затем вздрогнул: Господи, а как же принц?..

— Его Высочество появился и ушел! — прорычал Маршанд.— Вы слышите? Появился и ушел!

Анри непонимающе уставился на директора галереи.

— Почему же вы меня не разбудили?

— Почему? Потому что Его Высочество не разрешил будить вас.

Анри широко улыбнулся: добрый человек, этот принц Уэльский! Очень деликатно с его стороны.

Все еще улыбаясь, он оглядел окружавшую его толпу. Вдруг лицо его исказилось.

— Мой поезд! Мой поезд! Который час?..— спросил он по-французски и тут же перевел вопрос на английский, ощупывая жилетный кармашек, чтобы достать свои часы.

— Пять часов, сэр,— ответил кто-то.

— Пять? О, Боже!..

Теперь он окончательно пришел в себя, поднял с пола цилиндр и при помощи трости начал сползать с дивана. У дверей обернулся, поклонился собравшимся:

— Простите меня, дамы и господа, но поезд, на который мне необходимо успеть, уходит в шесть. Это безумно важно! Очень важно...— сбивчиво забормотал он, мешая английские и французские фразы.— Мое почтение, дамы и господа, примите мои извинения, леди и джентльмены... Передайте мое глубокое сожаление Его Высочеству... Общий поклон...— И Лотрек исчез. Бархатные портьеры колыхнулись и вновь тяжело повисли.

\* \* \*

Поезд приближался к окраинам Парижа. Уже можно было разглядеть знаменитый силуэт Эйфелевой башни. Подперев щеку, Анри провожал глазами бегущие назад телеграфные столбы. Непроизвольно считал их,

чтобы хоть чем-нибудь занять свой ум. Но сбился. Еще полчаса, и он в Париже. У него будет достаточно времени, чтобы заскочить домой, на улицу Коленкур, прежде чем отправиться на Вандомскую площадь.

Вдруг его потрясла неожиданная мысль. Шок был столь велик, что он на мгновение застыл, уставясь на свое отражение в вагонном окне — глаза расширены, рот раскрыт. Дурак, несчастный дурак, почему он не подумал об этом раньше? Ну да, конечно же, вот он, выход, вот оно, решение! Вот что ему следовало сказать ей в Аркашоне в тот день, вместо того чтобы оскорбить, предлагая деньги! Он должен был сделать ей предложение! А он, болван, был так напуган возможностью потерять ее, что даже не подумал о браке, который был бы самым надежным способом никогда не расставаться с ней... Может быть, именно этого и ждала она и потому была так обижена, оскорблена, выглядела такой несчастной, когда он заикнулся о деньгах. И она была права, тысячу раз права! Деньги бы только унизили их дружбу. Не их следовало предлагать, а свое имя. Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы не поздно было еще исправить ошибку!

Сегодня же вечером в ее маленькой комнате он все поставит на свои места. Мириам, скажет он, подожди, пожалуйста, и сядь рядом. Несколько мгновений они будут смотреть на огонь, сидя плечом к плечу, а потом он ласково и торжественно скажет: Мириам... Как хорошо, что она будет носить его имя! Мириам, графиня де Тулуз-Лотрек... Она займет место среди многих других замечательных женщин с экзотическими именами, которые в минувших веках становились супругами тулузских графов: Сибилла, принцесса Кипра... Рашильда, принцесса Прованса... Эльвира, принцесса Кастилии...

Состав уже громыхал на стрелках, приближаясь к вокзальному перрону, и наконец дернулся и остановился, а Анри уже пробирался к выходу, чуть ли не расталкивая локтями других пассажиров, наполнявших проход. На полпути к тамбуру он вдруг вспомнил, что забыл в купе чемодан, но возвращаться не стал.

— Улица Коленкур, двадцать один! — приказал он кучеру. — И пять франков на чай, если поторопишься.

Как хорошо возвращаться домой! Жандармы с густыми бакенбардами, пружинистая походка женщин, цветочницы, полосатые тенты бесчисленных кафе... Он заметил на афишной тумбе свой рисунок — казнь Кейлетта, но был слишком взволнован, чтобы разглядеть его повнимательней.

— Подожди здесь, — распорядился он, когда ландо остановилось возле его дома. — Я вернусь через несколько минут.

Мадам Любе в привратничкой не было, и ее отсутствие на мгновение обескуражило его. Не было ее и в его студии, как он было понадеялся. Хорошо бы повидать ее... Студия была погружена в полумрак, печь давно не топлена. Закатное небо в огромном окне казалось кроваво-красным.

Он наскоро умылся, переделся и уж собирался спуститься вниз, когда услышал тяжелые шаги мадам Любе по лестнице.

Дверь отворилась.

— Ох уж эти ступени, — проворчала она, запыхавшись. — С каждым годом они становятся все круче. Извините, что не встретила вас, месье Тулуз. Я ходила в церковь к...

— Что случилось, мадам Любе? — резко спросил Анри, почувствовав что-то странное в ее голосе и поняв: произошло непоправимое. Это было написано на ее лице.

Только что собиравшийся выйти, он застыл на месте, словно прирос к полу. Его охватила нервная дрожь — так когда-то дрожала Мари Шарле...

— Что случилось? — повторил он.

Наконец мадам Любе подняла на него глаза. Они были сухи, но бесконечно печальны.

— Присядьте-ка, месье Тулуз. Лучше будет, если вы сядете.

И опять те же слова, которые он сказал в тот день Мари. Голос изменил ему. Молча, не отрывая взгляда, смотрел он, как мадам Любе, покопавшись в карманах передника, достала и протянула ему конверт. Его била дрожь, даже зубы стучали. Наверное, так чувствует себя человек в предсмертные мгновения.

— Мадемуазель принесла его в тот же день, когда вы уехали.

Он разорвал конверт, поднес письмо к своим близоруким глазам.

«Я уезжаю сегодня с месье Дюпре. Так лучше, мой дорогой...»

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

— Абсент! Черт тебя побери, Виктор! Еще один абсент! И побыстрее!

— Извини, Додо,— кинул бармен мужчине, стоящему у стойки.— Сам знаешь этих алкоголиков...— И, повернувшись к Анри, оравшему из-за своего столика, повысил голос: — Не кажется ли вам, месье Тулуз, что с вас вполне достаточно?

— Ах ты жалкая деревенщина! Хам! Ну-ка неси скорее абсент, а то я все перебыю в этой твоей...

Ругань его перешла в невнятные вопли, голова склонилась и со стуком грохнулась на мраморную столешницу.

— Не ушибся ли? — озабоченно спросил Додо.

— Пьяные никогда не ушибаются. А этот — тем более. Другой бы на его месте после всех ударов и падений давно был бы на том свете, а этот...

Через плечо он бросил взгляд на бесформенное тело Анри.

— Вот, уже дрыхнет.— И, вздохнув, принялся перетирать бокалы.— Целый год прошу его, чтобы пил где-нибудь в другом заведении. Так нет! Все время лезет сюда. У него, видите ли, неприятности. А мне-то какое дело? У всех свои неприятности, разве не так? Когда спит, еще ничего, терпимо, но как только проснется... Иногда в драку лезет. Да ты только взгляни на него — дунь, он и упадет, как гнилое бревно, а все равно лезет! Иногда сидит, пьет и читает все одно и то же письмо. Читает и плачет, как ребенок. Верно, давно уже наизусть эту писульку выучил, но нет, все читает и читает...

— Верно, от какой-нибудь бабенки,— предположил Додо, снимая мятый цилиндр, чтобы почесать голову.— От этих баб всегда одни неприятности.

— Это точно,— согласился Виктор.— Напьется, начитается и вдруг начинает петь. Это уже хуже некуда. Никогда не подумаешь, что у такого карлика такой голосище. Его даже на улице слышно. А что я могу сделать? Ни черта! Почему, спросишь, да потому, что он — друг самому Пату. Ты его знаешь — рыжий такой. И сказал мне этот рыжий, как и всем хозяевам быстро на своем участке: если с ним что-нибудь случится, он нас всех за решетку. Ну кто же, находясь в здравом уме, станет связываться с полицейским, да еще заместителем начальника всей монмартрской бригады?

— Никто,— подтвердил Додо, ковыряя пальцем в носу.

— Вот я и говорю тебе: не жизнь, а сплошные неприятности,— просто-напросто владелец бistro, жалея самого себя.

— Это точно, у всех неприятности,— поддакнул собеседник, обследуя вторую ноздрю.

— Да не такие, как у меня! И из всех моих неприятностей эта,— Виктор красноречивым жестом указал на Анри,— самая большая.

— Абсент, абсент! Где мой абсент? — вдруг проснувшись, Анри заколотил кулаком по столу.

— Понял, о чем я? — тихонько прошептал Виктор и пошел в конец стойки поближе к Анри.— Вы же знаете, месье, я только что имел из-за вас выговор от инспектора Пату.

— Пату, Пату! Он большая жирная свинья, твой Пату. Принеси сейчас же абсент! Я тебе приказываю. Нет! Сюда, за столик. Хочу побеседовать с тобой. Подойди! — прогремел Анри.

Виктор нехотя потащился к нему, неся бокал с абсентом на блюдечке.

— Что вам угодно?

Проглотив содержимое бокала, Анри с пристальным интересом принялся разглядывать бармена.

— Послушай-ка, Виктор, мы ведь с тобой старые друзья, не так ли? Ты человек мудрый и проницательный. Не отрицай! Я вижу это по твоей красивой физиономии, острому языку, хитрющим глазам. Так вот, между нами, что ты думаешь о женщинах?

— Если вы хотите знать мое мнение, то лично я считаю, что от них одни лишь огорчения и неприятности. Возьмем, к примеру, мою супругу. Ночью она храпит, свистит да вдобавок разговаривает во сне! Спать рядом с ней все равно, что постараться заснуть на представлении этой чертовой «Опера комик»!

— Да, это ужасно. А не пробовал ли ты привязывать ей на лицо подушку? — посочувствовал Анри, расположенный к пьяным излияниям, как все алкоголики.— Один мой приятель поступил именно так и вмиг излечил свою жену. Она перестала не только храпеть, но и вообще дышать. Ладно, а теперь вернись к своим обязанностям и принеси мне еще порцию абсента. Тогда мы с тобой подробно все обсудим.

Пока он говорил с Виктором, сотрясение от удара лбом о мрамор отдавалось в голове волнообразными накатами острой боли. Несколько секунд Анри буравил Виктора глазами, словно стараясь проследить за его вращающимся изображением. Потом его голова вновь качнулась вниз и упала, в этот раз — на вовремя подставленную руку. Он почувствовал, как непроизвольно поднимается к горлу комок горечи. Накатывающаяся темнота захлестнула его, и он издал негромкий булькающий звук. Сейчас его вырвет. Желчь поднималась все выше. Он сидел согнувшись, боясь шевельнуться, стараясь задержать дыхание. Затем горечь немного отступила от гортани, можно было свободно вздохнуть. Он с облегчением поднял голову с согнутого локтя, нащупал пенсне. Уф! Вроде бы миновало. Наверно, расстройство пищеварения. Но ведь он с самого завтрака крошки во рту не держал. Значит, от голода. Вот в чем дело. Просто он голоден. Но голода не ощущал. И тут его тело вновь напряглось, желчь вскипела и с силой откупоренного шампанского подкатила к горлу...

Он вслепую нащупал трость и, прикрыв рот ладонью, заковылял в туалет. Открыл туда дверь. В нос ударила вонь. Зажмурившись, он на мгновение остановился на пороге. И нырнул внутрь. Склонился над унита-

зом, и тут его начало рвать. Кровь стучала в висках, казалось, сейчас лопнет голова. Колени подогнулись. Свободной рукой он оперся о замызанную стену и удержался на ногах только с помощью напряженных пальцев. Спазм отступил, но через несколько секунд позывы возобновились с новой силой. Пол зашатался под ногами, стены поплыли в разные стороны. Спина согнулась дугой, пищевод свела судорога, из глотки со свистом вырвался фонтан. Еле держась на ногах от слабости, он вытер рот тыльной стороной ладони. Не хватало воздуха. Внезапно вновь полегало. Пот заливал глаза. Несколько секунд Лотрек стоял покачиваясь, опасаясь нового приступа. Но его не было. Осторожно вытащив носовой платок, он вытер губы, щеки, страхнул брызги с бороды и лацканов пиджака.

Приковываясь обратно к столу, он попытался было поманить Виктора, но рука не поднималась. Голова снова упала на стол. В глазах потемнело. Время остановилось. Исчезли все ощущения, боль, воспоминания. Он провалился в забытие, полное и опустошающее, похожее на саму смерть...

Из прострации его вывел голос, отчетливый, но страшно далекий:

— Месье Тулуз! Очнитесь, месье Тулуз!

Он не шелохнулся. Почувствовал на щеке чью-то теплую руку.

— Ну же, месье! Проснитесь! Проснитесь же! — Голос приближался, становился все громче, пока не сделался оглушительно громким. Кто-то тряс его за плечо. Он с трудом разлепил веки, но разглядел лишь кончик собственного носа, расплющенного на костяшках пальцев, да черные волосики на их фалангах.

— Ну же, месье Тулуз! Будьте благоразумны. Пора домой!

Он приподнял голову и узнал Пату, его пальто и цилиндр.

— А-а-а... это ты... — Бессильная улыбка искривила его губы.

— Я, я! — Полицейский протянул ему чашку горячего кофе. — Выпейте глоточек, месье! Это вам поможет, и все будет хорошо.

— Что... ты... — Анри хотел спросить: «Что ты здесь делаешь?», но фраза не получилась, слова где-то застряли, веки опять сомкнулись, и голова, как отрубленная, рухнула вниз.

Он опять начал тонуть в пустоте. Но на этот раз во мраке вспыхивали проблески подсознания, какая-то часть мозга оставалась бодрствующей. До него доносилось жужжание чьих-то голосов, его подхватили под руки, подняли, потащили. Потом — холодная влажность рассвета, освежающая щеки, проникающая за шиворот и в рукава пальто, покачивание фиакра, равнодушное поцокивание копыт... Кап, кап, клип, клок... кап, клип... Словно звон огромных дождевых капель, падающих в таз...

Он проснулся лишь после полудня с головной болью, горечью во рту и безотчетным чувством, что в чем-то виноват. Что-то случилось. Но что? Зарылся лицом в подушку, стремясь снова забыться сном. Но мозг уже заработал, и сон не приходил.

Итак, что же произошло? Повернувшись на спину и сцепив пальцы под головой, он устоялся в потолок, стараясь восстановить цепь событий прошлой ночи. Ушел он вчера из студии поздно, ближе к вечеру, в поисках экипажа спустился по улице Коленкур...

— О Господи! Опять запамятовал! — раздосадованно корил он себя за рассеянность.

Уже в третий раз забыл он о заранее условленной встрече с Морисом. Надо же! Это уже становится опасным: так он быстро растеряет всех друзей. И Мизия при последней встрече была в ярости. Не помогли ни цветы, ни извинения. Хозяйки не любят пустых стульев, они — как щербины во рту от выпавших передних зубов. Вот что творит коньяк! Лишает памяти. Да еще становится причиной ужасных головных болей. В то же время единственное средство против них — тот же глоток коньяку... Он подошел к столу, схватил бутылку и налил в стакан. Жидкость обожгла горло, вызвала слезы на глазах, очистила рот от горечи и почти прогнала головную боль. Еще стаканчик — и он будет здоров.

Он уже наливал следующую порцию, когда раздался стук в дверь.

— Войдите! — крикнул он. — Да входите же, ради Бога!

На пороге стоял Морис, строго глядя на него.

— В чем дело? — рявкнул Анри. — Никогда не видел человека, желающего немного выпить?

Стыд от того, что его застали в таком виде — растрепанного, в мятой одежде да еще со стаканом и бутылкой в руках, — только усилил гнев.

— Ну что? Входишь или нет?

Ему хотелось броситься к другу, попросить прощения, но внезапное раздражение, вспыхнувшее в нем при появлении аккуратно одетого, подтянутого и серьезного Мориса, остановило этот порыв. Жуаян осуждающе смотрел на него сверху вниз, так же как мадам Любе, как все в этом проклятом ханжеском мире, за то, что он много пьет.

— Полагаю, тебя интересует, почему я не пришел к тебе вчера вечером? У меня имелась уважительная причина. Да-да, очень важная причина. Неожиданно... — Ему стало тошно разыгрывать этот фарс, врать, упрекать Мориса, своего преданного друга, кровного брата... Почему тот не кричит на него? Почему не разгневался? — Думаю, ты явился узнать, в какое время я вернулся домой? Черт возьми! Да не стой же ты столбом! Скажи что-нибудь... А то разинул рот и молчишь...

Он залпом осушил налитый стакан, поставил его на стол, на нетвердых, заплетающихся ногах добрался до кушетки, плюхнулся на нее и вытянулся.

— Я пришел не для того чтобы выяснять обстоятельства вчерашнего вечера. — Морис прикрыл за спиной дверь и пересек студию. — Я пришел... Впрочем, сдается, что мне вообще не следовало приходить. Извини.

— Ну раз уж ты здесь, скажи, что тебе надо.

— Одна дама хочет заказать тебе свой портрет. Предлагает за него три тысячи франков.

— На что мне ее три тысячи? Что я с ними буду делать? Куплю еще коньяка? Кроме того, я слишком занят. Масса работы... И еще у меня большие планы...

— Понятно, — спокойно согласился Морис. — Ну что ж, Анри, тогда я больше не осмеливаюсь тебя беспокоить. И впредь не стану. Прощай, Анри.

Наступило тяжелое молчание.



Когда хлопнула входная дверь, Анри закрыл лицо руками.

— Ушел!..— сдавленно пробормотал он, словно только что узнал о смерти друга.— Ушел Морис! Как я посмел говорить с ним подобным тоном? Ах, проклятый коньяк!

Внезапно в его памяти ясно высветился эпизод в баре Виктора: вонючий сортир, рвота, пьяный ступор, возвращение под утро домой с помощью Пату... Господи, до чего же он докатился! Он, Анри, граф де Тулуз-Лотрек-Монфа... Отец был прав — он обречен на раннюю позорную смерть. О, коньяк!..

Скрючившись, валялся он на кушетке, не отнимая ладоней от лица. Но может быть, может быть, не все еще кончено? Удавалось же некоторым людям бросить пить! Но даже сейчас, когда в него вонзилась эта мысль, он ощущал лишь непреодолимое желание выпить еще. Еще стакан. Последний! Рот наполнился слюной — рефлекс на воспоминание о выпивке. Нет. Прочь! Ему нельзя оставаться здесь, в компании со всеми этими бутылками. Необходимо уйти. Но куда? Ведь на каждом шагу его ждут быстро, кафе, погребки... К маме! Там он в безопасности. Там сможет сопротивляться соблазну. Дрожащими руками завязал шнурки ботинок....

— Нужно сопротивляться,— твердил он сквозь стиснутые зубы.— Сопротивляться! Необходимо сопротивляться! — повторял он, дергая колокольчик у дверей материнской квартиры.

Дорога сюда была пыткой — все эти бары, закусочные, где можно тут же получить стакан, два, три, только загляни, только закажи... Но он устоял! Пусть все время боролся с собой, все минуты, все секунды, пока добирался до мамы. А ведь против него были целые легионы минут, целые армии секунд! И вот наконец он в безопасности!

— Как я рада, что ты пришел, Анри! — Мать сидела в своем плетеном кресле, когда он вошел в ее комнату.— Давно тебя не видела, а нуждаюсь в твоем совете. Но, может быть, сначала чего-нибудь поешь?

Она обратилась к Жозефу, открывшему сыну дверь и проводившему его сюда:

— Будь любезен, принеси чаю и несколько бисквитов для месье Анри.

Когда они остались вдвоем, Анри ткнулся, целуя ее в щеку, и несколько мгновений не отрывал губ, словно хотел вобрать в себя частицу ее спокойной силы.

— Я так истосковался по тебе, мама! — шепнул он ей на ухо.— Мне так хорошо у тебя!

Графиня Адель обняла сына, прижала к себе.

— Я тоже скучала.— Она ощутила жар его губ, дрожь, охватившую все его тело. Бедный Рири! Он же болен, ему плохо, вот он и пришел к ней. Скоро настанет конец его бессмысленным блужданиям по стране отчаяния, и он вернется к ней, чтобы остаться навсегда.— Ты, должно быть, устал, сын? Разденься и сядь у моих ног, как сиживал когда-то...

Распахнулась дверь, влетела Анетта — седой пучок на ее макушке подпрыгивал от возбуждения. Поставила на стол поднос с чайником, чашкой и вазой с бисквитами, схватила руку Анри, покрыла ее поцелуями и, беззубо улынувшись, выкатилась прочь.

— Поешь, сын,— предложила мать.

Он жадно сунул в рот пирожное. Удивительные существа, эти матери! Откуда ей было известно, что он голоден? Как же ему хорошо, как покойно здесь!

— Пей, пока горячий.— Графиня налила чаю в чашку. Молнией обожгло его воспоминание о Мириам — эти же слова произнесла она в тот вечер, когда они возвратились после фестиваля Брамса...

Час пролетел незаметно. Анри выпил две чашки чая, съел все бисквиты, согрелся возле пылающего камина, и его начало клонить ко сну. Да, рядом с матерью, слушая с улыбкой, как она притворялась, что нуждается в его совете по поводу Анетты, он чувствовал себя защищенным от всех бед и напастей.

— Она стала совсем старенькой. Абсолютно оглохла. Бранит кухарку и горничную на своем местном наречии, а те ни слова не понимают. А с Жозефом говорит так, словно он мальчишка, а не шестидесятилетний старик и живет в доме не полвека, а всего каких-то дней десять...

И вдруг к Анри вновь вернулась его мучительная жажда. Напряглись все мышцы, жгло горло, узлом скрутило нервы. Комната вдруг наполнилась вращающимися бутылками, голос матери то слабел, то громыхал. «Нужно сопротивляться, необходимо сопротивляться», — в панике твердил он про себя. Как в дни тех давнишних приступов, он крепко зажмурился и инстинктивно потянулся к материнской руке, потом его губы дрогнули и против воли произнесли:

— Мама, мне нужно выпить...

Она уловила в его голосе отчаяние. Не говоря ни слова, встала, поспешно вышла из комнаты и тут же возвратилась с бутылкой коньяка.

— Вот, Анри, выпей.— И сама налила коньяк в пустую чашку.

Он схватил эту чашку двумя руками, выпил с такой жадностью, что часть жидкости пролилась на пиджак. Ему сразу полегчало.

— Прости, мама.— Он достал платок, вытер рот и лацкан пиджака, облитый коньяком. Потом вновь взглянул в материнские глаза.— Теперь ты все знаешь...

— Я давно знала.

— Но не знала, сколько я пью.— Его голос срывался от стыда.— Я всегда старался обмануть тебя, не дать тебе почувствовать, что от меня пахнет алкоголем. Поначалу гордился, считал, что могу пить, как благородный человек, не пьянея. Коньяк снимал боль в ногах, поднимал настроение. Он компенсировал и многое другое. По крайней мере, так мне казалось. Теперь выпивка уже не снимает постоянной боли, а я все напиваюсь и напиваюсь... Вчера меня рвало в бистро, и им пришлось доставить меня домой. Часто я уже не сознаю, где нахожусь и как туда попал. Я совсем перестал работать, забываю о деловых встречах, растерял почти всех своих друзей. Перед самым приходом к тебе поссорился с Морисом... Прошу тебя, мама, помоги мне. Увези меня отсюда, куда угодно, лишь бы там были врачи. Я читал, что алкоголизм излечим. И я хочу от него избавиться. Я готов на все. Давай уедем в Барез... Нет, не в Барез — в Эвиан! Помнишь Эвиан? Мы ведь жили там однажды... Будем купаться в озере...

Пока он говорил, графиня не спускала с него глаз. Его страстная вера в возможность излечения и готовность лечиться трогали ее, но не могли

обмануть. Как можно быть таким разумным и в то же время столь слепым? В чем-то он до сих пор остался ребенком. Он всегда будет верить в иллюзии — и о своих ногах, и о самом себе, и о жизни.

— Эвиан? Это прекрасно. Когда же ты хочешь уехать? — спросила она, заставляя себя разделять его энтузиазм. А вдруг он прав? Вдруг врачи сумеют помочь вопреки ему самому? — Когда ты успеешь собраться? Может, уже завтра?

— Конечно! — Его нетерпение вызвало у нее грустную улыбку. — Не завтра — я буду готов через два часа. Только прошусь с Морисом и мадам Любе. Ты знаешь, когда отправляется поезд на Эвиан?

— Кажется, у меня где-то было расписание. Нет, не вставай, ты все равно не знаешь, где его искать. Я и сама точно не помню. погоди, я сейчас вернусь.

Оставшись в одиночестве, он продолжал раздувать свой энтузиазм. Эвиан. Да, они прекрасно проведут там время. Будут вместе купаться в озере, совершать длинные прогулки. Там же такие красивые окрестности! Они...

И вдруг внутри самого себя он уловил ироническое хихиканье. Чей-то беззвучный смех, от которого он похолодел. А смех рос, превращался в грубый хохот, от которого сотрясалось уже все тело. «Что, идиот, думаешь, что сумеешь вот так, безболезненно, запросто бросить пить? А? Мама, отвези меня в Эвиан — и дело в шляпе? Будем купаться в озере — ах, как трогательно! А что ты будешь делать, когда тебе потребуется коньяк? Горло пересохнет, язык так распухнет, что не даст тебе проглотить собственную слюну. Что тогда? А ночью, когда тебе потребуется женщина и поблизости не будет никакого «Флер Бланш»? Что тогда? Снова отпавшись купаться? Ведь в Эвиане такое прекрасное озеро! Но поскольку ты не сможешь бесконечно плавать в нем, то будешь еще долгие часы в шезлонге на веранде отеля, созерцание величественных Альп... Разве не понимаешь, что это тот же самый Мальроме, лишь в другой оправе? Ты не выносил этого, когда был молод, и считаешь, что сможешь терпеть сейчас, будучи взрослым и... алкоголиком? Беги отсюда! Уходи на свой Монмартр, к своим бистро. Уходи, пока не опозорил матери и окончательно не разбил ей сердце! Беги скорее! Пока не поздно. Вставай и смывайся! Беги, пока не вернулась мама, пока не очутился в ловушке!»

Он прихватил трость и вышел из комнаты. Затем, затаив дыхание, стараясь не надеть никакого шума, крадучись словно вор, пересек прихожую, выскользнул за дверь, спустился вниз и окликнул свободный фиакр.

\* \* \*

Мадам Любе зашевелилась в постели и тут же открыла глаза. Да, это он! Приехал домой или, скорее всего, его снова привезли и, конечно, абсолютно пьяного. Он теперь всегда пьян...

Она приподнялась на локте, прислушалась. Анри на кого-то кричал. Она узнала его доносившийся с улицы голос, перебиваемый грохотом колес и стуком копыт по булыжной мостовой. А он вопил как сумасшедший, верно, перебудил всех соседей. И это он — прежде такой

скромный, вежливый, разговаривавший тихо и спокойно... Что же он вытворял этим вечером? Чем недоволен сейчас? Один Бог знает, в каком настроении вернулся. Возможно, с разбитым носом или шишкой на голове. Может, с порванным воротником, болтающимся галстуком, без шляпы... За последние полгода он потерял, должно быть, целый десяток цилиндров и котелков... И как вообще ему удастся добираться до дома?..

Мадам Любе откинула одеяло, засветила лампу и, отдернув занавеску, открыла окно. Дрожа в ночной рубашке от пронизывающего февральского ветра, она все же высунулась наружу и прислушалась, упираясь обеими руками о подоконник. Да, это он, месье Тулуз. Она безнадежно вздохнула и принялась быстро одеваться.

Если бы не месье Пату, он бы не попал нынче домой. Спал бы где-нибудь на бульварной скамейке или в подъезде, где придется, как бездомный бродяга. Ему все равно. С тех пор как она передала ему то письмо, он словно лишился рассудка. Больше его ничего не интересовало.

Даже бороду перестал расчесывать, не чистил ногтей. Костюмы вечно порванные, в пятнах. Единственное, что удавалось ей сделать, это заставить его, когда он уходил, переодеться. А ведь всегда выглядел франтом. А сейчас кажется таким больным и старым, что она сама иногда с трудом его узнает. Страшен как смерть, глаза в два раза больше, чем раньше. Сколько такое может продолжаться? Ох, ждет их что-то ужасное!..

Завязала нижнюю юбку, вошла в верхнюю и снова высунулась в окно. Фиакр двигался сверху улицы, с холма, и она могла различить в нем фигуру Анри, размахивавшего своей тростью. Его крики взрывали ночную тишину улицы Коленкур:

— Ты всего лишь рыжая свинья, слышишь? Жирная рыжая свинья! Вот кто ты такой, Пату! Вечно суешь свой нос в чужие дела. Когда перестанешь докучать мне? Я свободный гражданин. У тебя что, ордер на мой арест? Ох, сошлют тебя за самоуправство на Чертов остров!

Потом голос стал потише, можно было разобрать пьяное бормотание:

— Послушай, Пату, ведь мы старые друзья. Я никогда не забуду твой мудрый совет по поводу Мари... Разве не видишь, что я не желаю идти домой? Там полно тараканов. Давай поедem куда-нибудь вдвоем — только ты и я — и выпьем. Поговорим по душам. А? Нет? — И голос вновь срывается на крик: — В таком случае ты мерзкий жандарм, рыжая свинья!

Из окна мадам Любе было видно, как он старался расцепить руки удерживавшего его Пату, пытаясь выпрыгнуть из уже подъезжающего к дому фиакра. Она кинулась в кухню, чтобы подогреть воду для чашки кофе, накинула на плечи свою красную шерстяную шаль и выбежала на улицу. Помогла Анри вылезти из экипажа и поддерживала его, пока Пату расплачивался с кучером. Затем они вместе чуть ли не внесли Лотрека на четвертый этаж, раздели. Он протестовал, отбивался, отталкивал их, но им удалось даже натянуть на него ночную рубашку, снять пенсне и затолкать в постель. Постепенно его протестующие крики перешли в бессвязное, невнятное хныканье и наконец совсем утихли. Только губы слегка подергивались, продолжая, видимо, произносить неслышные уже проклятия и жалобы.

Наконец он уснул, но они не решились оставить его в одиночестве и присели в кресла возле кушетки, тихонько перешептываясь.

— На этот раз он не доставил слишком много хлопот,— заметила мадам Любе, с тревогой глядя на спящего.

— Да.— В слабом сером свете брезжущего утра лицо Пату казалось скорбно-задумчивым.— И не рвало, как вчера.— Он подкручивал кончик уса.— Но если вам, мадам, кажется, что ему сегодня лучше, то вы ошибаетесь. Ему становится все хуже. Я знаю, вы его любите. Я тоже. Он нарисовал мою маленькую Евлалию, и мне очень жаль его. Но то, что происходит с ним, не может длиться долго. Он постоянно пьян, готов лезть в драку с кем угодно, причиняет людям большее беспокойство, чем десяток наглых потаскушек. На прошлой неделе чуть было не подрался с одним сутенером, потому что, видите ли, тот посмел ударить свою девицу. Хорошо, что вовремя вмешался мой человек... А что нынче вечером сотворил? Представляете, улизнул с Монмартра в Ла Виллет — слава Богу, недалеко,— думал, там я его не найду. Забрался в бистро, где его не знают, заказал по порции все имевшиеся там напитки — виски, ром, коньяк, вермут, кальвадос — смешал все вместе и выпил! Такая смесь, вероятно, может убить лошадь. А это, как мне сдается, он и пытался сделать — убить самого себя.

Мадам Любе слушала его, опустив глаза и сжав губы, а Пату продолжал, словно решил выложить до конца все, что накипело.

— Обманывать себя бесполезно, мадам Любе. Я видел много алкоголиков, этот — не просто пьяница, он потерял рассудок. Да-да! Он сумасшедший! Невменяемый!

Сумасшедший! Это слово пронзило мадам Любе как острый нож. Сумасшедший! Она не смотрела на собеседника, чтобы Пату не мог увидеть ее слезы. Неужели ее «маленький месье» действительно сошел с ума? Откровенно говоря, возразить ей было нечего. Если вспомнить о том, что вытворял он в последние месяцы,— Пату многого даже не подозревал — в самом деле нетрудно усомниться, что месье Тулуз в здравом рассудке. То разлил керосин по всей студии, чтобы уничтожить тараканов — ведь мог спалить дом! То притащил к себе ведро песка, чтобы его жилище было похоже на пляж. Засыпал пол песком и казался таким довольным, когда она вошла к нему.

— Смотрите, смотрите, мадам Любе! Теперь здесь все, как в Аркашоне!

А та ужасная жаба? Где он только ее отыскал? Целый месяц держал гадину в своей комнате, целыми днями ловили мух для этого «бедного создания». Уж как любил он эту жабу!

— Мы похожи, она и я. Видите, мадам, она так же безобразна. И ее никто не любит. Вот почему я должен быть добр к ней.

А эта дурацкая педальная машина для тренировки спортсменов-гребцов, которую он постоянно вертел, «чтобы отросли ноги»? Ну как разумный человек может верить в такую чушь? А он верил.

— Мне это гарантировали, мадам Любе! Абсолютная гарантия! — И до седьмого пота жал на педали — день и ночь, день и ночь. Усаживался в идиотскую конструкцию в одном белье и крутил педали, сгибая и разгибая слабые колени, пыхтя, как паровоз. День и ночь! — Это

гарантировано, мадам Любе! Абсолютно. Ноги вырастут.— А ей хотелось плакать.

Но хуже всего было в те часы, когда он в прострации валялся на кушетке, уставясь в потолок, и она понимала, что он безотрывно думает о своей Мириам. Даже напившись до чертиков, все время думает о ней...

Покосившись, мадам Любе заметила, что Пату вопросительно смотрит на нее, и наконец повернула к нему залитое слезами лицо. В комнате установилась тишина, нарушаемая только хриплым дыханием Анри.

— Я понимаю, вам больно слушать мои слова,— нарушил молчание полицейский инспектор.— Уверю вас, мне и самому все это ужасно не нравится. Господин префект распорядился не спускать с месье Тулуза глаз, и все сотрудники моей бригады строго исполняют его указание. Но делать это становится все труднее. Он придумал новую уловку — ускользает с Монмартра. И Бог знает, что ударит ему в голову завтра. Вы должны предупредить его мать, пока не произошло что-то серьезное. Если не согласитесь, мне придется сделать это самому. Но графине легче будет услышать это от вас. Вы обе женщины, и все такое... Вы лучше сумеете сообщить ей горестные новости.

Ее подбородок упал на грудь, и плечи затряслись от рыданий.

— Не принимайте все так близко к сердцу, мадам,— сказал Пату, поглаживая ее руку.— Сделайте это для его же пользы.

— Они упекут его в желтый дом, к другим сумасшедшим.

— В психушку? Нет-нет, мадам Любе! Не в психлечебницу, а в специальную клинику для восстановления здоровья. Людей, подобных месье Тулузу, в сумасшедшие дома не отправляют,— поспешно запротестовал Пату.— А в клинике созданы все условия для жизни: комфорт, обслуживание, лечение. Да и всего-то на две-три недели.

Лицо мадам Любе несколько прояснилось. Она снова взглянула на Пату, словно умоляя его о помощи.

— Не волнуйтесь! Они его вылечат,— уверил он ее.

— Вылечат? Вы считаете, что он прекратит пьянствовать? Не станет больше пить?

— Ни капельки! Знаете, какие там врачи? Через пару недель он станет таким, каким был прежде.

Мадам Любе задумалась, потом спросила:

— А они не будут его обижать? Бить, связывать, если он поведет себя как-нибудь не так?

Пату только отмахнулся от подобных предположений.

— В «Доме здоровья» этого не практикуют, мадам. Они будут относиться к нему так же, как вы и я. Только они знают, что надо делать: дадут снотворное, какие-то лекарства, чтобы он успокоился. И не подпустят к бутылке.

— И вылечат?

— Очень быстро. В таких клиниках творят чудеса.

Его слова вроде бы убедили ее, но она все еще не хотела сдаваться.

— Посмотрю, как он поведет себя, когда очнется. И тогда, если ему не станет лучше...

— Хорошо. Только не ждите слишком долго. Простите, но я вынужден покинуть вас. Дела...

— У меня на плите горячий кофе. Может, выпьете чашечку? Потом я вернусь сюда, гляну, как он...— Она поднялась с кресла, наклонилась над спящим, заботливо поправила одеяло.— Пока спит спокойно,— шепнула она полицейскому.

Они тихонько вышли из студии и начали спускаться вниз. Но уже на площадке третьего этажа услышали дикий, нечеловеческий вопль. Почти в тот же момент дверь студии распахнулась, и Анри, в ночной рубашке, шатаясь, с вытаращенными от ужаса глазами, очутился на лестнице.

— Мадам Любе! Мадам Любе! Где вы? Они вернулись, эти тараканы! Полчища тараканов!

Он был без пенсне, ничего не видел и близоручко цеплялся за перила.

— Полчища этих мерзких тараканов, мадам Любе! Где же вы, где вы, ма-а...

Ноги его запутались в длинной ночной рубашке, и они с ужасом увидели, как он пошатнулся, попытался удержаться о стену и, продолжая кричать, рухнул с площадки на ступени головой вперед. Потом услышали, как его тело с глухим грохотом скатывается вниз по ступеням.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

«Дом здоровья», руководимый доктором Селамонем, был расположен неподалеку от аристократического парижского пригорода Нейи и ни в малейшей степени не напоминал заурядную психбольницу. Он находился в замке Сен-Жам, принадлежавшем в свое время принцессе Лямбалль, подруге королевы Марии-Антуанетты. Герб де Лямбаллей до сих пор украшал затейливо кованые неприступные ворота замка, в стенах которого и стоял величественный особняк восемнадцатого века — «Дом здоровья». Сад, ухоженные цветочные клумбы, атмосфера торжественно-скорбной тишины — клиника, если бы не зарешеченные окна, представляла собой роскошное и романтическое аристократическое поместье. Именно так и относился к своему заведению доктор Селамонь: загородное поместье, убежище, приют для состоятельных пациентов с пошатнувшимся здоровьем, страдающих от нервных или психических заболеваний.

Но для Анри замок Сен-Жам был местом отвратительным и пугающим. Не успев пробыть там и трех недель, он уже возненавидел его блестящие чистотой коридоры, его всегда улыбающихся врачей и санитаров в накрахмаленных белейших халатах, его таинственные комнаты с вечно закрытыми дверями, из-за которых иногда доносились странные, непонятные звуки. После наступления темноты «Дом здоровья» превращался в дом кошмаров, замок зачарованной тишины, взрываемой душераздирающими воплями, какое-то кладбище, лишенное покоя, даруемого смертью. Он ненавидел этот «Дом» всеми фибрами души.

В один из мартовских дней он сидел у зарешеченного окна своих «апартаментов», делая вид, что любит небо. Если бы он только мог

позвать кого-нибудь на помощь! Но этот грубиян — санитар-надзиратель, сидевший в коридоре у его дверей, читая газету и жуя свою зубочистку, только хмыкнет в ответ или скажет: «Ну давай, поори, если хочешь. Никто тебя не услышит». И это самое ужасное. Когда ты заперт в «Доме здоровья», никто тебя не слышит. Никто не хочет слышать. Для них ты — труп, ты — сумасшедший! Когда же наконец эти тупоголовые психиатры поймут, что он нормален? Алкоголик — да. Но не умалишенный!

— Вы что-то сказали? — Надзиратель, отложив газету, заглянул в дверь.

— Н-нет. Вероятно, это та женщина, в конце коридора.

Значит, он разговаривает сам с собой? Это скверно. Люди не должны говорить с самими собой вслух. Но если, черт бы их всех побрал, они продержат его здесь еще месяц, так он начнет закатывать целые диалоги, с вопросами и ответами. А через три месяца будет клятвенно уверять всех, что он — Наполеон или сам Дух Святой...

— Ко мне кто-нибудь приходил сегодня?

— Не знаю. В любом случае, вам не разрешено принимать посетителей.

Сердиться бесполезно. Да и разве убедишь этого здоровенного дебила, что он, Анри, в здравом уме и имеет право принимать кого пожелает? Ни месье Селамонь, ни его ассистенты не желают этого понять. Еще неделю назад он попытался убедить их в своей вменяемости, но в ответ получил пустой взгляд и снисходительную, сводящую с ума вежливую улыбку: «Конечно, конечно, вы нормальный человек. Совершенно нормальный. Да у нас и не сумасшедший дом — мы даем приют и укрытие. Все, что вам сейчас необходимо,— это покой и отдых, хороший длительный отдых»...

Они убеждены, что он помешанный. Это можно прочесть в их глазах. Они его обследовали, как лютят обследовать врачи, они докучиливе полицейских ищек и прокуроров. И все понимают в искаженном смысле, воспринимают в черном цвете. У бедной мадам Любе добились показаний о гребцовом тренажере, об истории с керосином, которым он полил пол в студии. Они разузнали даже, что он как-то, переодевшись нищим, устроил скандал у дверей Дюран-Рюэля. Знали они и о «Флер Бланш», и о «полчищах рыжих тараканов», и о том, как он уснул в Лондонской галерее, когда принц Уэльский должен был открывать его выставку. Знали о ярко-зеленом сюртуке из бильярдного сукна, о красной рубашке и розовых перчатках, об обеде, на котором он угощал «жарким из кенгуру»... Все они вынюхали, точно свиньи, роющие землю в поисках трюфелей. И записанные на бумаге его деяния выглядели не слишком нормальными. А уж подкрепленные латинскими терминами — и вообще ужасными.

Он продолжал созерцать небо сквозь зарешеченное окно. Все еще не мог привыкнуть к этим решеткам, не привык и к тому, что за ним все время кто-то наблюдает, что ему приказывают, дают что-то глотать. Не привык лечь в постель в девять вечера, не привык быть трезвым. Но особенным кошмаром были первые дни и ночи здесь. Не хватит слов, чтобы описать это! Привязанный к кровати, не имеющий возможности повернуться, умирающий от жажды... Он кричал, визжал, вопил, взывал о помощи...



Но в этом доме слишком много таких «крикунов»... Теперь он больше не протестует. И в награду они больше не привязывают его. Он уже не считается буйным — просто тихое помешательство. Встает вопрос: как долго намерены они считать его пусть не опасным, но невменяемым? Как долго будут держать в своем заведении?

В отчаянии Анри потер лоб ладонью.

— Что, голова заболела? — тут же откликнулся надзиратель.

— Нет-нет.— Анри убрал руку со лба.— Все в норме. Я прекрасно себя чувствую.— Он отвернулся от окна.— Чудесный день, не правда ли?

— Угу.

— А не прогуляться ли нам по саду?

Санитар с подозрением смерил его взглядом.

— Не знаю. Хотя думаю, что можно и прогуляться. Только, пожалуйста, никаких глупостей. Договорились?

Вот как разговаривают с ненормальными. Все, что ты ни скажешь, толкуется определенным образом, тебя все время в чем-то подозревают. Провел ладонью по лбу? Значит, болит голова, потому что ты сумасшедший. Хочешь погулять по саду? А не собираешься ли ты взобраться на дерево или, того хуже, броситься к воротам? Зеваешь? Значит, псих. Разговариваешь? Псих. Молчишь? Тоже псих...

— Я только подумал, что мне пойдет на пользу прогулка на свежем воздухе. Но, конечно, если вы считаете, что мне это вредно...

— Полагаю, это не возбраняется.— Надзиратель поднялся со своего кресла-качалки.— Погуляем минут десять.

Ранняя весна уже улыбалась на клумбах нарциссами. Вот-вот и сирень расцветет. Цветы — безмолвные и преданные друзья всех несчастных — больных, мертвых... По саду в сопровождении своих опекунов бродили или сидели на скамьях другие пациенты «Дома здоровья». Анри улыбнулась седая респектабельная дама, но в ответ на его поклон вдруг показала ему язык. Сад потерянных душ... Винсент был прав: страшно не уединение, страшна близость безумцев.

— Можно мне взять это? — спросил Анри, наклоняясь, чтобы поднять перо вальдшнепа.

— Зачем оно вам?

Ну конечно, чтобы съесть. Или перепилить им себе горло. Именно так он и ответил бы недели три назад, но теперь он уже был умнее. Наверняка этот безмозглый согладотай тут же кинется к врачам и дословно повторит им весь разговор. Доктор Селамонь понимающе покивает и поцокает языком...

— Я подумал, что мог бы попробовать рисовать этим перышком. Если бы достать тушь и бумагу. Я ведь был художником, прежде чем попал сюда.

Надзиратель задумался, внимательно посмотрел на него, но перо взять разрешил.

В тот же вечер Анри нарисовал цирковую арену — свой первый рисунок в лечебнице. Время теперь бежало быстро. Стоя за его спиной, санитар сначала равнодушно, но постепенно со все возрастающим интересом наблюдал за его работой.

— Вижу, вы частенько посещали цирк,— почти дружески заметил он.— Я тоже любил туда ходить, особенно в Зимний. Люблю акробатов на трапеции.

— И я. А вы когда-нибудь видели группу Морелли?

— Прекрасные акробаты! Но с группой Зюпина не сравнить,— еще больше оживился надзиратель.— Зюпины могут крутить три сальто, а Морелли — лишь два. И Зюпины работают без сетки.

Анри разговорил его да еще и задобрил, подарив рисунок.

Спустя несколько дней его вызвали в кабинет главврача, где его ожидал Селамонь с двумя ассистентами. Медики, сияя улыбками, восседали за огромным столом.

— Мы в восторге, ну просто в восторге! — начал Селамонь, поглаживая бороду.— Недаром я всегда утверждал, что вам нужен просто полноценный отдых. И я оказался прав. У вас улучшился аппетит. Постепенно проходит амнезия. Тревожные симптомы, столь ярко проявлявшиеся при вашем поступлении, почти полностью исчезли. Мы тут с интересом посмотрели рисунки, которые вы делаете. Если угодно, можете пользоваться нашей библиотекой, можете копировать еще какие-нибудь иллюстрации.

— Копировать? Но я не...

— Это поможет вам восстановить память. Вы что-то хотели сказать? Разве вы не копировали, когда рисовали?

— Конечно нет. Я делал их по памяти.

— Невероятно! В вашем состоянии это невозможно.

— В моем состоянии? — забывшись, громче, чем следовало, возразил Анри.— Разве вы не видите, что у меня нет никакой потери памяти? Да, понимаю, я был алкоголиком, но никогда не терял памяти! Спросите же меня о чем-нибудь! Ну почему вы молчите? Спрашивайте что угодно. Даты, например.

— Наши записи свидетельствуют...

— Да к черту эти ваши записи! Вы что, оглохли и ослепли? Говорю же вам, что никогда не терял памяти и не более безумен, чем вы, и, несомненно, более разумен... Бога ради, ну почему бы вам не устроить мне маленький экзамен? Говорю же вам, я нормальный человек. Ну, пожалуйста, проверьте меня! Нормален, слышите? Нормальный! Нормальный! Нормальный!

Анри с отчаянием понимал, что все его уверения безнадежны — они не убеждают врачей. Их лица — вежливые застывшие маски. Они ему не верят. Только сумасшедший с таким надрывом будет утверждать, что он нормален.

— Ну конечно, вы вполне в норме,— и доктор Селамонь подарил ему одну из своих самых сладких улыбок.— Нормальнее некуда. Просто вам необходимо еще немножко отдохнуть. Несколько месяцев покоя...

— Несколько месяцев?! — взорвался Анри.— Еще несколько месяцев в этом сумасшедшем доме! Теперь я понимаю, чего вы добиваетесь: чтобы я тут окончательно рехнулся! Не желаете выпустить из своих рук, хотите, чтобы я здесь заживо сгнил! Ну как втолковать вам, что я нормальный? Спросите меня о чем-нибудь. Хотите, я вам что-нибудь нарисую? Ну дайте же мне доказать вам...

Он еще что-то выкрикивал, когда два дюжих санитаров под руки вытащили его из кабинета.

Очнувшись у себя, в своей двухкомнатной палате, он бросился на кровать и, рыдая, стуча кулаками по подушке, звал: «Мама! Мама! Мама!»

Но на следующий день был вновь спокоен. Несмирившийся, но внешне спокойный... Только отец может вытащить его отсюда, решил он. Отец сразу поймет, что никакой он не умалишенный. Не поверит всем этим докторам, их медицинским картам, их болтовне об амнезии и тревожных симптомах.

В тот же день Анри написал отцу, подкупил надзирателя, чтобы тот отправил письмо. И начал с нетерпением ждать ответа или приезда графа, мечущего громы и молнии.

Шли дни. Отец не отвечал и не появлялся. Неделя. Две. Три. Это был конец надежде. Анри впал в протрацию, просиживая целыми днями у зарешеченного окна, бесконечно раскачиваясь в кресле. Он в капкане. И никогда уже не выберется на свободу...

Как ни странно, медики расценили эту его сидячую летаргию как улучшение. Разрешили матери навестить его.

— Ты должен понять меня, Анри! — взволнованно и виновато заговорила она, когда они остались одни. — У меня не было иного выхода. Если бы я не привезла тебя сюда, они запылили бы тебя в обычную психбольницу — государственное заведение для умалишенных. Понимаешь?

Он кивнул, не поднимая глаз.

— Да, мама. Понимаю.

Ему хотелось припасть к ней, умолить, чтобы она вызволила, увезла его отсюда, ведь он не сумасшедший, он нормален. Но такие мольбы лишь еще больше расстроили бы ее. Какой вес имеют его слова перед тяжестью заключений ученых медиков? Ведь ей показали «историю болезни» — чего там только не написано! И потом, может, он и в самом деле тронулся? И не знает об этом? Да и можно ли, в конце концов, самому понять, здоров ты или псих?

— Спасибо тебе, мама. Большое спасибо, — произнес он, не отрывая взгляда от ковра на полу. — Понимаю, ты сделала это для моей пользы, как и все остальное. И я за все оплатил тебе лишь болью. Прости меня, мама!

Она обняла его, пробежала пальцами по волосам, как делала это еще в детстве, в замке Альби.

— Мужайся, Рири, мужайся.

Они погуляли по саду, посидели на скамье под каштаном с набухшими уже почками. Он отвечал на ее вопросы, стараясь казаться беззаботным. Да, ключица, которую он ударил при падении с лестницы, зажила, не болит больше... Да, это просто чудо, что он не сломал ног в ту ночь... Врачи знающие и добрые... О да, здесь очень комфортабельно, и читать ему разрешают... Нет-нет, он не чувствует себя одиноким...

— Они позволяют мне рисовать. Это помогает убивать время.

— Постарайся быть терпеливым. Ты перенес нервный шок. Позволь времени восстановить твои силы. Я же буду навещать тебя так часто, как позволяют врачи.

У ворот она поцеловала сына и на прощанье сказала:

— Молись, дитя мое, если можешь. Молитва принесет тебе мир.

Через закрывшиеся ворота он видел, как графиня садилась в экипаж. На козлах был не Жозеф, кто-то другой.

«Не хотела, чтобы старик видел меня здесь,— подумал он, тоскливо ковыляя к дому.— Помощи от матери не дождешься...»

На помощь пришел Морис.

Увидев его на пороге своей палаты, Анри разрыдался.

— Ты? Как же ты?.. Неужели они позволили тебе?.. Как?

— Позволили! — усмехнулся Морис, прикрывая за собой дверь.— Кажется, легче напроситься на завтрак к английской королеве, чем проникнуть в этот проклятый замок. Из тех сведений, которыми меня внизу снабдил секретарь вашего главного врача, я ожидал увидеть тебя в смиренной рубашке, в обитой войлоком камере... Но ты даже не представляешь себе, сколь убедительным аргументом может быть пятидесятифранковая бумажка для низкооплачиваемого служащего... И вот я у тебя! Сумасшедшим ты мне не кажешься. Сядь-ка на стул, и давай поговорим. Подробно расскажи мне все-все. Газеты полны самых фантастических слухов о тебе. Что же произошло на самом деле? Кое-что я разузнал у твоей мамы. А что касается мадам Любе, то бедная женщина впала в транс, и я от нее ничего не мог добиться. Все время плачет. У тебя, сдаётся, случился приступ белой горячки, ты выскочил на лестницу и скатился вниз по ступенькам. Так?

Анри рассказал другу все, что помнил, но в основном жаловался на кошмар, окружающий его в «Доме здоровья»,— дикие вопли умалишенной женщины в конце коридора, отказ медицинского синклита признать его вменяемым.

— Посмотри сам,— воскликнул он, подойдя к столу и протягивая Морису кипу рисунков.— Сначала они решили, что я их откуда-то скопировал. Но даже когда поняли, что это никакие не копии, эти идиоты продолжали утверждать, что я психически болен, что потерял память. Морис, как я могу заставить их поверить, что у меня нет ничего подобного? Прошу тебя, помоги мне! Ты моя последняя надежда. Я писал отцу, но он не отвечает.

Морис молча, один за другим, внимательно рассматривал рисунки. Наконец взглянул на друга с улыбкой облегчения.

— Если эти рисунки сделал сумасшедший, тогда и я тоже сумасшедший. Эти проклятые газеты сбили меня с толку, и у меня даже возникли некоторые сомнения, когда я пришел сюда и выслушал секретаря. Согласись, время от времени ты действительно вел себя довольно странно. Но ты никакой не псих. И я обязательно вызволю тебя отсюда. Послушай, у меня есть одна идея... Правда, я пока не уверен, сработает ли она. Если нет — попытаюсь придумать что-нибудь еще. Ты пока поживи здесь. Веди себя тише воды, ниже травы — как ангел небесный. И продолжай рисовать. Через пару дней я свяжусь с тобой. Можно мне взять с собой несколько рисунков?

— Бери, конечно, какие хочешь.

Собираясь уходить, Морис вытащил из кармана пачку конвертов.

— Чуть не забыл! Это почта, которую мне передала для тебя мадам Любе. До свидания, Анри. И не сдавайся! Помни: «На жизнь и на смерть!» Я обязательно вызволю тебя отсюда, пусть мне даже придется взорвать эту психушку.

На одном из конвертов стоял гриф Департамента изящных искусств. Официальное письмо извещало господина де Тулуз-Лотрека, что его имя включено в список претендентов на награждение орденом Почетного легиона, который должен подписать президент Республики. Необходимо согласие претендента, иначе награждение не может состояться. Награды он удостоивается за выдающиеся заслуги в развитии искусства и культуры Франции.

В тридцать пять лет, когда многие молодые художники влачат жалкое существование, даже голодают, его собираются наградить орденом! Как странен этот постоянный успех... Слава — единственная женщина, всегда с радостью кидающаяся ему на шею. Может ли он принять орден? Пожалуй, нет. Особенно теперь, когда его упекли в психиатрическую больницу. Орденом Почетного легиона награжден сумасшедший! Журналистам это очень понравится.

Нет, хватит с него рекламы — хорошей и плохой. Он больше не хочет, чтобы пресса трепала его имя. Маме все равно. Она уже ничему не может радоваться. Отец? Отец буркнет что-нибудь в адрес слабоумного правительства, раздающего награды за порнографическую пачкотню. Вот Мириам была бы в восторге. Ее всегда восхищал успех.

Анри вдруг представил себе ее сидящей у камина. Тихий зимний вечер, за окнами темнота, она просто давит на рамы. После долгого молчания он как бы невзначай роняет: «Кстати, дорогая, мне дали Почетный легион». Она, ахнув, оборачивается к нему, глаза ее загораются от гордости...

Он сжал виски руками: неужели так никогда и не перестанет думать о ней?

— Плохие новости? — Это вошел санитар-надзиратель с подносом в руках.

— Нет-нет.— Анри опустил руки.— Ничего особенного.

Он медленно порвал конверт и письмо на мелкие клочки и выбросил их в мусорную корзину.

Морис вернулся к нему через неделю. Его сопровождал Арсен Александр, критик из «Фигаро».

— Видишь, я делаю все, что ты велел, Морис.— Приветствуя гостей, Анри, улыбаясь, привстал из-за стола, на котором были разложены листы бумаги.— Я работаю.

— Можно взглянуть? — спросил журналист, приладив на переносицу золотое пенсне. На несколько минут воцарилось молчание.— И вы утверждаете, что сделали это исключительно по памяти? Без зарисовок, набросков, предварительных эскизов?

— Откуда мне их взять? — пожал плечами Анри.— Все мои заготовки остаются в студии.

— Невероятно! Честное слово, я не могу припомнить ни единого подобного случая изобразительной памяти во всей истории искусства. Если вы

сумасшедший, остается только пожелать, чтобы было побольше таких сумасшедших художников.

Втроем они вышли в сад. Зная, что за ним наблюдают, Анри воздерживался от свойственных ему шуточных отговорок и замечаний, на все вопросы отвечал лаконично, сухо, но на редкость разумно. Вскоре журналист уже ни в чем не сомневался.

Доктор Селамонь прочел статью Александра за завтраком. Ни завтрак, ни статья не пришлись ему по вкусу. Известный художественный критик, проведя полдня с его ненормальным пациентом, вопреки диагнозу медицинских специалистов, нашел, что Тулуз-Лотрек не потерял своих способностей и находится в расцвете художественного таланта.

Когда Анри доставили к нему в кабинет, врач уже взял себя в руки и встретил его отеческой улыбкой.

— Я всегда считал, что небольшой отдых — это все, в чем вы нуждаетесь, — начал он, сложив руки на животе. — Факты доказывают, что я был прав. Наш маленький приют снова сотворил чудо. Ну и каково ощущать себя исцеленным? Совершенно полностью излечившимся?

— Благодарю вас. Это очень приятно, — как примерный ученик, отвечал Анри.

— Еще бы не приятно! — подхватил психиатр, становясь все экспансивнее. — У вас было тяжелое состояние. Но я нахожу, что ныне ваш случай почти закрыт. Еще одна победа медицинской науки! Как вы отнесетесь к тому, что вам разрешат принимать любых посетителей? Рисовать, писать маслом, короче, делать все, что вы пожелаете? Даже совершать прогулки, конечно, с сопровождающим... Это замечательно, не правда ли? Так вот, в последующие две недели вам разрешено все, о чем я говорил.

Анри не стал спорить, доказывать, что его следует немедленно выпустить. Теперь, когда он был уверен в своем скором освобождении, то не так уж и стремился уйти отсюда. Что он станет делать, когда возвратится в Париж? Снова за старое? «Эй, кучер...» Кафешантаны, театры... Конечно, к спиртному он больше не притронется, ноги его не будет ни в одном питейном заведении... Но жизнь превратится в такую скупищу...

Гостиная его палаты была превращена в студию. Тут поставили мольберт. Морис — всегда Морис! — привез краски, холсты, кисти. Теперь, когда правда о его состоянии стала известна широкой публике, «Дом здоровья» сделался местом паломничества.

Первой прибыла мадам Любе в своем старомодном, из черного альпака, выходном платье. На груди — камей, его подарок. Приехала и Мизия Натансон с несколькими друзьями, с которыми Анри познакомился в ее салоне. Он угощал их чаем в необычной, щекочущей нервы обстановке — в гостиной с забранными решеткой окнами. Явились и представители «Флер Бланш» — мадам и месье Потьерон вместе с Бертой. Они выглядели пугающе респектабельно — в строгих черных туалетах.

Исполком «Общества Независимых художников» прислал целую делегацию во главе с Анри Руссо. Старик-гравер Дебутен предстал перед воротами замка и высокомерно потребовал, чтобы его проводили к «господину графу де Тулуз-Лотреку», его ближайшему другу и коллеге. Его мятая

фетровая шляпенка, как обычно, съехала на затылок, на груди, привязанная веревочкой, болталась труба, обут он был в домашние туфли. Когда же Дебутен сунул привратнику свою замызганную визитную карточку, из кармана его накидки предательски выскользнула бутылка с коньяком и вдребезги разбилась. Несмотря на уверения посетителя, что он и сам не может понять, каким образом она к нему попала, его быстро обратили.

Из окна своей спальни Анри мог видеть, как седого гравера, жестикулирующего одной рукой, а другой придерживающего шляпу, волочили прочь подпивавшие его с боков два дюжих санитаров.

Джейн Авриль появилась в сопровождении высокого молодого человека с каким-то лошадиным и одновременно чувственным лицом, обрамленным копной спутанных черных волос.

— Знакомься, это Кристофер,— представила она провожатого.— Он композитор.

После нескольких вежливых фраз Кристофер оставил их, объявив, что подождет в саду.

— Правда, замечательный? — восторженно воскликнула Джейн, закуривая сигарету.— Великий музыкант. Его опусы, правда, никто еще не исполняет, но он сейчас трудится над оперой. Я просто содрогаюсь при одном воспоминании, что чуть не вышла замуж за Жоржа. И что я в нем нашла? Заурядный человечек, без искры таланта. И роман его — чужь. А вот ведь увлеклась... А Кристофер — другое дело, Кристофер — чудо!

Они поболтали о том о сем, тщательно следя за тем, как бы не задеть ненароком тему Мириам. Но оба ощущали ее незримое присутствие здесь.

— Прости, что все так получилось,— сказала Джейн, вставая и натягивая перчатки.— Уверю тебя, я хотела как лучше. Думала, что ты...

— Тебе не в чем каяться,— мягко ответил он.— Благодаря тебе я единственный раз в жизни испытал счастье.

\* \* \*

За несколько дней до освобождения из лечебницы к Анри вновь приехала мать.

— Ну так что же дальше, сын? — спросила она, не спуская с него измученного взгляда.— Какие у тебя планы? Что ты собираешься делать?

— Пока... пока точно не знаю,— уклончиво ответил он, отводя глаза. Как всегда, ее прямота ставила его в тупик.— Вероятно, вернусь на Мон-мартр. Пожалуй, это единственное, что мне остается. Вернусь к своим работам, напишу портрет Мориса. Ты же знаешь, я никогда его не рисовал. Странно, не правда ли? Правда, он никогда меня об этом не просил, но думаю, ему будет приятно.

— Тогда ты обязательно должен его нарисовать! Морис — прекрасный человек.

— Думаешь, я этого не знаю? Никто не знает Мориса лучше, чем я. И никогда мне не расплатиться с ним за все, что он для меня делает.

— Но я спрашивала о твоих планах...

— Говорю же, вернусь к себе в студию. А что потом — не знаю. Никаких особых планов у меня нет. И вообще я никогда ничего не планирую. Морис что-то говорил о возможности организовать мою выставку в Нью-Йорке в будущем году. Постараюсь уговорить его поехать со мной, было бы неплохо повидать Соединенные Штаты.

— А что ты намерен делать до этого?

— Что ты имеешь в виду, мама? Конечно, буду работать. Надо закончить несколько начатых вещей. В июне, может быть, поеду в Дьеп или Трувилль. В Аркашон больше не хочу. Устал я от Аркашона...— Мать ответила ему понимающим взглядом. Он прочел ее мысль.— Да-да... И еще ты боишься, что я снова начну пить. Успокойся, мама. Больше я никогда не прикоснусь к спиртному. Даю тебе слово.

— Я верю, что ты говоришь это искренне, Анри,— раздумчиво заговорила мать. Теперь она смотрела на него с нежностью, но в ее взгляде можно было уловить и некоторую долю сомнения.— Иногда ты проявляешь огромную силу воли, но бывает и обратное. Ты легко обманываешься, хотя о других людях судишь разумно и трезво. Во многом я знаю тебя лучше, чем ты самого себя. Знаю, как ты одинок и несчастен из-за этой девушки. Против воли ты станешь искать возможность забыться. И постепенно вернешься к прежнему. Искушение будет слишком велико, и ты не сможешь противиться ему. Считаешь, что это тебе удастся, но это самообман. Ты вновь прибегнешь к коньяку как к спасению от одиночества. И что тогда? — Он молчал, не поднимая головы.— И тогда,— продолжала графиня,— ты примешься пить, не зная меры. Это тоже заложено в твоей натуре. Через какое-то время ты опять допьешься до такого состояния, в каком попал сюда. Что ж, так и будешь мотаться между Монмартром и клиником доктора Селамона? Я много об этом думала. И не буду иметь ни часа покоя, зная, что ты в одиночестве бродишь по Монмартру. Поэтому я попросила одного старого друга нашей семьи — месье Вио — приехать в Париж и стать на какое-то время твоим компаньоном, пожить с тобой. Поль — холостяк, милый, интеллигентный человек. Ты обретишь в его лице приятного и всепонимающего товарища.

Анри в упор посмотрел на мать.

— Надзирателя?

— Да, Рири. Надзирателя.

\* \* \*

Больше года Анри не дотрагивался до рюмки и испытывал восторженное чувство раскаяния. Как часто и легко покидаемая верная любовница, Добродетель вновь приняла его в свои объятия и горячо прижала к девственной груди. Анри же страстно прильнул к ней. Месяц за месяцем с фанатизмом неопита вел он жизнь праведника, что тоже было присуще его натуре. Истово кающийся грешник, он как бы замаливал прежние ошибки: с восторгом предавался прелестям обыденного существования и с чистой совестью блаженно играл в лото с Полем Вио и мадам Любе.

— Подумать только, сколько миллионов мужчин и женщин губят свое здоровье алкоголем! А их рушащиеся семьи, невинные дети — жертвы наследственного алкоголизма! Нет, будь моя воля, я бы объявил крестовый





*Морис Жуаян в бухте Соммы. 1900*

поход, Всемирный Крестовый поход за освобождение человечества от пьянства.

Его преобразование было полным и всеобъемлющим. Даже вульгарные требования плоти были отринуты прочь. Правда, иногда их настойчивость вынуждала Анри посещать «Флер Бланш». Но отправлялся он туда лишь с благословения Поля Вио, сожалея о своей слабости, с видом человека, вынужденного уступить постыдной потребности.

В этом экзальтированном душевном состоянии он написал портреты Мориса и нескольких своих знакомых. Мрачноватые, неопределенного стиля работы, напоминавшие первые его полотна, сделанные еще в студенческие годы. Единственный женский портрет — хорошенькой модистки Рене с тонким профилем и копной белокурых волос, сиявших в свете лампы, — как бы вдохновил его угасавший гений. Портрет Рене стал одним из его последних шедевров. Но больше никаких обнаженных, никаких девиц из борделя, никаких актрисочек. Добродетель сжимала его в своих объятиях и постепенно душила.

Непреклонные и строгие критики, прежде напуганные возмутительной грубостью его творений, хором приветствовали блудного сына, вернувшегося на стезю достойного портретиста. Теперь, когда он уже был признан великим художником, перекупщики и торговцы картинами вспомнили о тех его работах, которые Лотрек в былые времена беспечно раздаривал направо и налево.

Вставленные в резные золоченые рамы, они становились теперь украшением фешенебельных картинных галерей. Появилось множество бесстыдных подделок с его фальшивой подписью. Они продавались как работы тридцатилетнего мастера<sup>1</sup>.

Изредка, когда Анри в сопровождении Вио поднимался на террасу какого-нибудь кафе, чтобы выпить невинного лимонада или чашечку кофе, ученики художественных студий, подталкивая друг друга в бок, прекращали свои вечные споры и с величайшим почтением разглядывали седобородого карлика, как он когда-то смотрел на Дега. Некоторые смельчаки подходили к его столику, и он разглагольствовал об искусстве и призывал их к трудолюбию, благопристойности и добродетельной жизни с фальшивым добродушием и сдержанностью, свойственными знаменитостям.

Он уже верил расточаемым ему комплиментам и принимал их всерьез, выбросил картонные паспарту и окантовал все работы багетом. Теперь, когда он выходил, то обратил внимание и на свои многочисленные рекламные афиши. Поскольку он освоил литографию, ему легко давались офорты и гравюры. Делал он их шутя. Слава, преданная и неизменная его возлюбленная, стучалась в двери. У него вновь попросили согласия на награждение орденом Почетного легиона, и он подумывал о том, чтобы принять это предложение. Президент Республики назначил его председателем комитета по отбору графических работ для «Большой экспозиции», которая должна была ознаменовать приход магического двадцатого века. С приличествующей мэтру взыскательностью Лотрек изучил сотни плакатов и афиш,

---

<sup>1</sup> Подделок было такое количество, что Морис Жуаян впоследствии составил их список и в этом качестве поместил в своем каталоге работ Тулуз-Лотрека.





*Экзамен на медицинском факультете в Париже. 1901*

делая соответствующие замечания и заключения. Вокруг него возникала легенда. Еще при жизни он входил в историю мирового искусства.

Девятнадцатый век погружался в прошлое, провожаемый слезами дождя. В предновогоднюю ночь, когда «Мулен Руж» дрожал от завываний картонных рожков и неистового веселья публики, Анри поехал на бульвар Малерб. Во время обеда он заявил матери, что ему надоела постоянная слежка, и обиделся, когда мать невозмутимо выслушала его жалобы. Она лишь грустно улыбнулась в ответ. Графиня стала совсем седой, губы ее были бледны.

«Ей бы следовало выглядеть более счастливой,— подумал Анри,— но, вероятно, мама уже не может быть счастлива».

За кофе он вновь поднял эту тему:

— Не думаешь ли ты, мама, что теперь мы могли бы отказаться от услуг Поля? Да, Вио очень мил, я с удовольствием играю с ним в лото, хожу в зоопарк. И ты была совершенно права, когда после «Дома здоровья» взяла мне его в компаньоны. Тогда я был еще слаб и легко мог бы вернуться к прежнему. Но теперь я владею собой и в надзоре больше не нуждаюсь.

— Может быть.— Голос матери звучал устало.— Давай вернемся к этому разговору через несколько месяцев.

— Но мама! Уверяю тебя...

— Полю нужны деньги,— солгала мать, чтобы прекратить спор.

— А... Ну тогда...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Прошу тебя, Виктор! — раздавалось в полумраке пустого бistro умоляющее хныканье Анри.— Пожалуйста, дай мне еще чуточку!

Просьба повторялась все настойчивее.

— Пожалуйста, не видишь, что ли? Мне необходимо выпить.— На пепельно-сером лице Лотрека появилась жалобная гримаса.— Я заплачу тебе двадцать франков... Сто франков... Пятьсот!

— О Господи! Вот уж мне эти алкоголики! — простонал бармен и, проклиная про себя все на свете, достал с полки бутылку, вышел из-за стойки, подошел к столику и налил в стакан Лотрека зеленой жидкости.

— Вот. И, ради Бога, оставьте меня в покое. В последний раз наливаю. Учтите это, месье Лотрек, в последний!

Анри сделал жадный глоток. Ударило в голову. Пол заходил ходуном. Перед глазами поплыла мраморная столешница... И этот зловеющий звон в ушах... Он закачался на стуле. Ухватившись за край стола, попытался сохранить равновесие. И задержал дыхание — желчь вновь поднималась к горлу, стремясь выхлестнуть наружу. Неужели опять вырвет?

Постепенно равновесие восстановилось. Стол прочно встал на свое место, и пол уже не кренился. Только голова кружилась. Но теперь она постоянно кружится.

Осторожно, даже не пригубив, он опустил стакан на мрамор стола. Теперь его внимание почему-то привлекли дождевые струйки, сбегавшие по темному оконному стеклу. Воспаленными глазами он внимательно всматривался во тьму улицы.

Действительно, слишком много дождей. Мадам Любе права: парижская погода ужасна. Казалось, вся жизнь проходит под бульканье водосточных труб и журчание струек, падающих с карнизов.

Бедный старикан Вио! Наверно, вымок до нитки, бродя под этим дождем, заглядывая во все кафе и бistro Монмартра. Нет, не созрел он для роли опекуна алкоголика. Разве не знает, что все пьяницы лживы и изобретательны, когда им необходимо выпить? Маме бы следовало нанять кого-то поопытнее, скажем, надзирателя из психбольницы...

Что ж, Вио отправится к Пату. И через десять минут этот дьявол его отыщет. Снова затолкает в фиакр и отвезет на улицу Коленкур. Поль и мадам Любе разденут, уложат в постель, дадут горячего кофе. А завтра он под каким-нибудь предлогом снова улизнет из дома, и все повторится... И послезавтра... И послепослезавтра...

Все из-за воспоминаний. Они измучили его, они заставили нарушить данное матери слово. Однажды представив себе Мириам, он уже не смог

больше выдержать ни одной минуты. Ее гибкое, страстно извивающееся тело, ее губы, полуоткрытые для поцелуя, ее упругие соски... Невозможно было поверить, что она ушла навсегда, что, возможно, в это самое мгновение ее держит в объятиях какой-то мужчина... И она в экстазе от его ласк...

В тот день он впервые сбежал от Вио и напился. Нет, не напился — его дико стошнило. Какая злая ирония — лгал, изворачивался, разбил сердце матери — лишь бы выпить, забыться, и в результате понял лишь одно: он больше не может пить. Две порции коньяка — и скорее в отхожее место! Спазмы в желудке, перед глазами все плывет, во рту полно желчи, стены валятся...

И такое длится уже почти четыре месяца... Воспоминания все еще живы, и ты продолжаешь жить. Мучимый стыдом и постоянной болью...

— Можно мне взять, месье?

Вздрыгнув, он обернулся. На него смотрела мутноглазая старуха. Влажными лохмами висели седые волосы. На груди узлом завязана мокрая шаль.

— Что взять? — не понял Анри.

— Окурки, месье.— Она указала на пепельницу.— Можно взять? Я продаю их.

От нее веяло жуткой безнадежностью, словно она достигла самого дна, ниже которого уже невозможно опуститься. Как ни странно, это придавало ей чувство спокойного безразличия, некое жалкое достоинство. Ничто не могло больше обидеть ее, оскорбить.

— Конечно. Берите, если нужно.— Он подвинул ей пепельницу. Порылся в карманах.— И эти тоже возьмите.— Он открыл свой золотой портсигар и высыпал в ее ладонь сигареты.— Может, хотите что-нибудь выпить? Садитесь. Чего вам спросить?

— Может, немножечко рома?..

Старуха села напротив, развязала на груди узел шали и с неожиданной грацией отбросила со лба намокшие пряди седых волос.

— Вы художник, правда? — спросила она, вглядываясь в него.

— Художник. Вернее, был им. А как вы догадались?

— Художников легко узнать. Я была знакома со многими из них.— Она подождала, пока Виктор подаст ром.— За ваше здоровье, месье.

— За ваше, мадам,— Анри учтиво приподнял свой стакан и смотрел, как она подержала ром во рту, прежде чем сделать глоток. Потом, запрокинув голову, проглотила.

Опустила стакан на стол, вытерла губы ладонью и тихонько захихикала.

— Мадам... Он назвал меня мадам...— Все еще посмеиваясь, подперла рукой щеку и с любопытством уставилась на Анри.— А он был похож на вас. Вежливый, даже в постели. Настоящий благородный господин. Может быть, слышали о нем? Мане.

— Мане? Эдуард Мане? — И вдруг узнал женщину.— Олимпия?

— Да. Он так прозвал меня. Уж не знаю почему... Вообще-то меня зовут Виктория, но он говорил: «Нет, для меня ты Олимпия». Может, вы случайно видели эту картину?

— Видел ли? — Он усмехнулся ее невежественности. — Да ее видели все. Все! Это одна из самых знаменитых в мире картин.

— Да, он долго с ней возился. Видели бы вы, как он рассматривал меня в студии — с головы до пят! И на меня бы посмотрели: лежу голышом на диване. Сначала подsunул мне большую желтую подушку. Отошел, глянул, воткнул в волосы цветок... Но, видать, что-то ему не понравилось. Выбежал из комнаты, потом вернулся — в руке черная ленточка. «Вот это подойдет! — И смеется. — Именно то, что надо!» Вы же знаете этих художников. Никогда их не поймешь. Так вот, повязал он мне на шею эту ленточку и таким счастливым сделался. «Теперь не шевелись!» — приказал. И начал эту свою картину малевать...

Олимпия! Эта бесформенная, обряженная в лохмотья бродяжка — Олимпия! Какой ужас! Какой неопиcуемый ужас разрушения и распада, ожидающий всякое живое существо! Гибель юности и красоты... Да, несомненно, искусство могущественнее жизни — только оно может останавливать Время.

Старуха отодвинула стул, встала.

— Мне нужно идти. Нужно добыть еще окурков, а то не смогу купить себе еды. Раньше за килограмм платили четыре франка, а теперь дают только три с половиной. Так что дела идут все хуже и хуже. Что ж, я полагаю, такова жизнь. Спасибо за ром, месье.

Он сунул ей купюру.

— И это возьмите. И не благодарите меня. Пожалуйста, не благодарите!

Она посмотрела на деньги без жадности. Даже без удивления.

— Он был похож на вас. Тоже щедрый. — Обмотала плечи шалью, завязала ее узлом на груди и поплелась к выходу.

Оставшись один, он допил свой стакан. Снова звенит в ушах. И спазм в желудке. И снова судорожно напряглись все нервы. На мгновение его лицо скривилось от боли.

Перед ним был пустой стакан, но его стекло в свете газового рожка радужно отсвечивало — словно материализующийся сарказм.

«Порой вещи плачут, — подумалось ему, — но, бывает, и смеются».

Этот стакан, это вместилище зла, смеялся над ним. За то, что он допил его... Хотя не мог больше пить. А ведь у этого стакана будут



*Голова в профиль  
и голова анфас.  
Последний эскиз  
Тулуз-Лотрека.  
1901*

другие жертвы, которые он поймает в свою западню, будут из него пить другие дурни, ищущие иллюзорного и смертельного бегства от жизни и от самих себя.

— Ты — яд! — вслух произнес Анри.— Ты — яд, и я плюю в тебя.

Он собрал во рту слюну, плюнул в стакан и взмахом руки сбил его со стола.

\* \* \*

Смеркалось. Дождь прекратился. Какое-то время Анри постоял возле двери быстро, не в силах решить, почему ушел и куда собирается идти. Взгляд его нерешительно блуждал, оглядывая пустую темную улицу. Чтобы взять фиакр, придется плестись до улицы Мартир. Что ж, надо так надо, дорога недалняя — всего несколько минут, однако у него будет какое-то занятие. А уж взяв экипаж, он решит, что делать дальше, как убить вечер.

И он двинулся вперед, подталкивая себя тростью и останавливаясь после каждого десятка шагов, чтобы перевести дух. Завернув за угол, с удивлением обнаружил, что забрел не на улицу Мартир, а на улицу Клозель — на той стороне перед ним магазинчик Тандиу. Когда-то окрашенный в голубой цвет, домик был темен, заброшен и пуст.

Анри перебрался через мостовую и прижался лицом к грязному стеклу витрины. Прилавок, где мадам Тандиу заворачивала в бумагу тюбики с краской, пылился на своем месте. На стенах, где раньше висели полотна Сезанна и Ван Гога, можно было разглядеть светлые квадратные пятна. Как здесь тихо, как мертво — как на выставке призраков. Тандиу, бережно держащий в пальцах японскую гравюру... «Утамаро, месье, трехфигурная композиция Утамаро...» Хозяйка дома, склонившаяся над своим луковым рагу... Винсент, покуривающий трубку в их саду... Все они умерли. А когда все умирают, сама жизнь становится призраком. Что делал он здесь в приближающейся ночи? Всматривался в ничто?

Он поднял воротник пальто и с трудом побрел прочь. Когда наконец добрался до улицы Мартир, снова стало капать и совсем стемнело. Конечно, здесь не было фиакров. Жизнь — постоянная встреча с большими и малыми разочарованиями... Анри поехал, передохнул и поплелся дальше. Дождь все усиливался и, когда он добрался до Пляс Пигаль, перешел чуть ли не в ливень. Его цилиндр совсем промок, вода стекала за воротник.

На углу он заметил стоящее ландо.

— Свободен?

— Да, месье.— Кучер дотронулся пальцами до шляпы.— Хорошая погода для лягушек, не правда ли? Куда прикажете?

Анри забрался в экипаж, страхнул цилиндр.

— Так куда вас доставить? — повторил возница вопрос, натягивая вожжи.

— Да слышу я, что ты спрашиваешь! Дай мне, черт побери, минутку подумать, куда. Разве не видишь, что я насквозь промок?

Куда? Вот в чем вопрос — куда? Куда бы он хотел поехать? Куда бы он мог поехать? В голову ничего не приходило. Следовало бы, конечно,

отправиться домой, переодеться. И вообще скверно, что он сбежал от такого доброго человека, как Поль. Наверное, он еще ищет его под дождем. Вот что творит алкоголик, а потом жалеет. И о том, что сделал, и о том, чего не сделал... Жалко и маму, и мадам Любе... Поля Вио... Себя... Ах, да пошло все к черту!

— Давай в «Мулен»! — решил он.

— В «Мулен»? Так там ремонт.

— Извини... В таком случае, вези в «Элизе».

— Я так понимаю, что вы здесь чужак или давно не бывали: «Элизе» уже много лет как закрылась.

— Ах да! Просто я запаматовал. Тогда езжай на Северный вокзал.

Анри вытащил портсигар. К счастью, в нем осталась сигарета. С трудом зажег спичку. Отсырели, да еще руки дрожат как никогда. Хуже, чем до лечения в больнице. Думал, что не удастся зажечь. Дьявольщина! И в ландо очень трясет. Трясет? Когда он перестанет находить себе оправдания? Прямо адвокат! Ладно, согласен, трясутся руки. Ну и что с того?

Сделал несколько затяжек. Медленно выдохнул дым через ноздри. Прикрыл глаза, прислушиваясь к цокоту копыт по мостовой... А куда он поедет от Северного вокзала? В «Нувель»? Да, в «Нувель». Давненько там не был. Приятно поводить старые места. Открыл оконце, высунулся.

— Эй, кучер! Я передумал. Поворачивай, поедем обратно на Пляс Пигаль. В «Нувель», в «Нувель Афин».

Когда экипаж остановился возле кафе, ему не захотелось вылезать. Зачем? Почтенные буржуа, читающие газеты, шумливые ученики художественных студий с трауром под ногтями, пожилая богема в вельветовых куртках, посасывающая абсент, рассуждающая о заработках, жалующаяся на свои неудачи... И призраки... Рашу, Люка, Гози, Жюли, Винсент... Да и сам он... «Плывать я хотел!.. Черт тебя поберет!..» Все ушло. Воздух полон мертвыми словами.

— Приехали! — Кучер нетерпеливо обернулся на козлах. — Вы ведь сюда ехали, не так ли?

Анри не слышал его. Нет, ему уже не хотелось в «Нувель». И вообще никуда не хотелось. Он сам не знал, чего хочет. Ничего не хочет с тех пор, как прочел записку Мириам. Она до сих пор хранится в бумажнике.

Что ж, если не хочется в «Нувель», не отправиться ли к «Друяну» и хорошенько поужинать? У него уже давно маковой росинки во рту не было. Оттого и боли в желудке... Так куда же? Куда?!

— Пожалуйста, братец, ответи меня снова на Северный вокзал, — сказал он извиняющимся тоном. — И не очень торопись.

Кучер пожал плечами, и ландо резко рвануло с места.

А не заглянуть ли к Натансонам? Он уже несколько месяцев не видел Мизии. «Как мило с вашей стороны, Анри, что вы вновь у нас! Где вы пропадали столько времени?» Но прежних отношений уже не восстановишь. Тюрьма и сумасшедший дом — это те две вещи, о которых люди никогда не забывают. Они подсознательно ждут, что побывавший там вдруг начнет дурить, или кататься по полу, или воровать серебро... Уайльд хорошо это знал. Настоящее его наказание началось после освобождения из тюрьмы. Каким же жестоким и беспощадным может быть христианское общество!



Бедный Оскар, наконец-то успокоился с миром! Больше не доведется ему таскать свои разбухшие тела по притонам и кабакам, кланчить там выпивку... В своем дешевом гробу он выглядел величественно, прямо по-королевски — с четками на шее, с медалью Святого Франциска на груди. Никаких перстней, никаких нефритовых гвоздик со священным скарабеем...

Нет, к Натансонам он тоже не поедет. Но куда же? Должен же он куда-то поехать! Не кататься же ему вечно в этом катафалке, в этой тесной коробке! «Мулен Руж» закрыт... в «Фоли Бержер»? В «Эльдорадо»? В ресторан «Ле Риш»? К «Максиму»? А может, в цирк? Как бы славно: акробаты в трико, наездницы в балетных пачках, дрессированные слоны... Нет, с него довольно, вдоволь насмотрелся на цирковые чудеса. Теперь даже клоуны не забавляли.

А если пойти в театр? Взять кресло в партере, посмотреть приличный спектакль? В «Ренессансе» играет Сара... В театр? Весь вечер сидеть рядом с призраком Мириам? Он же ни единого слова со сцены не услышит, все время будет видеть одну ее, будет ловить ее руку, говорить с ней — разразится новый скандал...

Анри вспомнил, как выглядела Мириам в тот день, когда они ходили на «Федру»... А в «Буазин» она сказала: «Как можешь ты защищать этих старых развратных королей?..» В «Комеди Франсез», в концертных залах, даже в кинематографе он постоянно будет видеть ее. Она повсюду в Париже. Она стала для него самим Парижем...

«Флер Бланш»? Конечно, «Флер Бланш»! Там никакой слежки, никакого надзора. Александр Потьерон, его приятели — повара борделей, бедные шлюхи... Нет, туда он тоже не может идти. Не хочет видеть их толстые задницы, дряблые груди, усталые губы — они тоже вызывают воспоминания о Мириам, о ее нежных губах, стройных бедрах, о том, как она зарывалась лицом в подушку в момент экстаза...

Значит, и с этим покончено.

Превосходно! Ему не хотелось во «Флер Бланш», он не желал встречаться с Натансонами, его не тянуло ни в театр, ни в цирк. Так куда же? Где провести этот вечер? А завтрашний? А вечер на следующей неделе? В следующем месяце? В будущем году? Где? Как?

— Как? — громко выкрикнул он.

Лицо его исказилось внезапным приступом боли. Потухшая сигарета выпала из пальцев. Со сдавленным стоном он перегнулся пополам, словно его скосил выстрел в живот. Несколько секунд корчился и стонал, стиснув зубы, сжав кулаки, впившись ногтями в ладони.

Постепенно спазм прошел. Но он не менял позы. Сидел безжизненный, почти недвижимый, только страшная дрожь в ногах.

— Мама, мама! — повторял он, будто самый звук этого слова мог принести ему облегчение.

Из глубин своего страха и унижения он взывал к матери. Потому что умирал. Понимал это так же ясно, как человек, увидевший на своих руках первые пятна проказы. Приступы случались и раньше. Этот не первый. Скоро они начнут повторяться все чаще и чаще, будут сильнее, болезненнее. После стольких лет злоупотребления алкоголем его организм распадался.

Словно беспощадной рукой, сдвинула ему горло уверенность в скором конце: у тебя больше не будет глаз, чтобы видеть, ноздрей, чтобы дышать, сердца, чтобы оно гоняло кровь по телу, а сам ты будешь лежать в земле, в глубокой яме, чтобы смрад от твоего разлагающегося трупа не мешал живущим.

Осознание того, что смерть у порога, внушает человеку странные мысли. Оно дарует ощущение, что ты уже мертв, не относишься к миру живых, ты начинаешь видеть себя в новом свете. То, что еще так недавно казалось бесконечно важным, оборачивается пустяками. Ты забываешь большинство людей, с которыми был знаком, потому что и они начали забывать тебя.

А иные люди и явления приобретают вдруг огромную значимость.

Во-первых, ты не смеешь умереть на Монмартре. В уличной канаве, в бистро, в фиакре... Тулуз-Лотреки не уходят из жизни на Монмартре!

Во-вторых, тебе необходимо, пока есть время, кое-что исправить. Нет, не жизнь. В нее внести перемены невозможно. Но ты обязан отдать долг тем людям, которые были добры к тебе при жизни: Морису, мадам Любе, Пату, Берте...

Завтра же он позаботится об этом. Попросит прощения за те неприятности, которые доставлял им, поблагодарит за все, что они для него сделали. Времени для того, чтобы сделать что-нибудь для них, у него уже нет. Только слова... и деньги... Деньги, конечно, не Морису и не Пату, хотя обоим они могли бы пригодиться. Но у денег скверная репутация, люди частенько презрительно относятся к этим бумажкам, пусть даже всю свою жизнь не думали так много ни о чем другом, пусть всегда стремились к ним, но, когда им предлагают деньги, они их отвергают...

Но Берта поймет, что это не плата, не оскорбление, не возмещение долга. И мадам Любе тоже поймет. Она уже старая женщина и во многих отношениях мудрая. Она знает, что богатые, как и бедные, могут дать только то, чем обладают. Несколько тысяч в запечатанном конверте, оставленные где-нибудь в ее каморке, дадут ей возможность спокойно провести последние годы жизни в своей любимой деревеньке. Она расценит его поступок как скромный жест благодарности, вроде той броши с камеей или раковины с фигурой Святого Франциска из Аркашона, которые воспринимала как знаки внимания с его стороны. И этот последний подарок она, возможно, воспримет как одно из чудес своего Господа Бога.

После этого он попытается загладить зло, которое причинял матери. Если бы только ему было отпущено на это побольше времени! Если бы он мог посвятить ей несколько месяцев полной, бесконечной любви, он ушел бы из жизни удовлетворенным. Если бы только мог убедить ее, как сожалеет, как ужасно сожалеет он о том, что был причиной ее горя и боли все эти долгие годы, когда она, ожидая его, безропотно несла свой тяжкий крест... Прошлого он изменить не в силах, ошибок своих ему не исправить. Но он сможет еще умолить ее о прощении и отдать ей свое истерзанное, разбитое, никем не востребованное сердце...

Мальроме, за исключением окна в комнате Анри на втором этаже, где горела лампа, был погружен во мрак.

— Думаю, сегодня он будет спать.— Старый доктор еще раз пощупал пульс, посмотрел на график температуры.— Одно хорошо: теперь, когда его парализовало, он хоть не страдает от болей.— Он осторожно опустил безжизненную руку Анри на одеяло и отошел от постели.

— Идите к себе, графиня, вам необходимо поспать. Силы еще понадобятся.

У дверей доктор обернулся, чтобы поклониться, и прочел в глазах матери немой вопрос.

— Трудно сказать наверное,— пробормотал он, безнадежно пожав плечами.— Дня два, может, три. А может, и меньше. Он молод. В тридцать семь организм еще имеет силы сопротивляться. Эту ночь он будет спать. А утром я вернусь.— Он сочувственно посмотрел на графиню.— Постарайтесь уснуть,— настойчиво повторил старик.

Внизу его ожидал Жозеф.

— Как он сегодня, господин доктор? — спросил он, помогая врачу надеть макинтош.

— Примерно без изменений. Не понимаю, как он выдержал этот удар. Но долго это длиться не может.

Жозеф понимающе опустил голову.

Сельский эскулап осторожно спускался с крыльца к ожидавшей его двуколке.

— Если граф собирается приехать, ему следует поторопиться.— С усталым стоном он водрузил свое плотное тело в легкий экипаж.— И постарайтесь заставить графиню прилечь,— наказал он Жозефу, перебирая вожжи.— Будь здоров, друг мой.

Жозеф проводил глазами двуколку, пока она ехала по усыпанной гравием дорожке к воротам замка, слышал скрип открываемых створок и слабое «До свидания», которым обменялись врач и привратник.

Затем все умолкло, вернее, слышны стали только сотни приглушенных звуков, наполнявших тишину лунной ночи.

Жозеф устало пошел в дом, поднялся по крутым ступеням на второй этаж. Графиня не услышала, как он появился в комнате сына. Она стояла возле его постели, как бы стараясь запечатлеть в памяти его бледное, измученное лицо. Всклобоченная седеющая борода скрывала глубокие морщины на щеках, нос уже приобрел мертвенный восковой цвет, указывая на приближение конца. От провалов запавших глазниц разбежались тени — следы агонии последних недель, лежащая на одеяле рука худа и бескровна, кожа туго обтягивает суставы, словно перчатка из прозрачной резины.

Да, он вернулся, пытаясь искупить свою вину перед ней. Он иступленно отдал ей всю свою любовь. В последнюю вспышку своей страстной натуры в эти последние несколько месяцев он вложил недоданные ей за всю его жизнь любовь и обожание. Каждый его взгляд, каждая улыбка говорили ей о покаянии, молили о прощении.

И вот он уходит... Почему же не приезжает Альфонс? Не может же он оставить сына умирать без своего слова, без прощального поцелуя! «Дня два, может, три, а может, и меньше»,— сказал доктор... Так будет лучше. Слишком много страдал ее сын. Если боль очищает, он чист, как пламя. И он примирился с Богом. Смерть будет к нему более милосердна, чем жизнь.

Каким маленьким и беспомощным казался он в этой огромной кровати! Таким же маленьким, как в давние дни приступов болезни. Разве не всегда оставался он ребенком, несмотря на свой цинизм, ребенком с жадующим любви голодным сердцем, любви, которой он так и не смог получить? И что бы он ни вытворял, он никому не чинил вреда, кроме себя...

— Госпожа графиня...

Адель обернулась и увидела Жозефа, стоявшего у нее за спиной. Он тоже безотрывно смотрел на Анри, глаза его были влажны.

— Доктор сказал, что вам необходимо отдохнуть...

Мгновение они смотрели друг на друга, объединенные общим горем.

— Вероятно, он прав.

— Я побуду с ним. И если что-нибудь случится...

Она импульсивно жала его руку.

— Спасибо, Жозеф.— В ее голосе прозвучала благодарность за долгие годы молчаливой преданности.— Спасибо за все!

\* \* \*

Когда Анри открыл глаза, еще не рассветало. Небо за окном было густо-лиловым, но чувствовалось, что ночь уже миновала. Звезды начали гаснуть. В прошлые времена это был тот час, когда он говорил кучеру: «Поедем домой. На улицу Коленкур, двадцать один. Только по пути задержись у первого же быстро». Это было то время, когда уходили домой последние проститутки и ночные официанты, а первые тележки уличных торговцев начинали погромоывать по бульжным мостовым, направляясь к Центральному рынку. Вероятно, и Мари толкает сегодня одну из этих тележек... А может, опять спит на бульварной скамейке?.. Многое могло произойти за одиннадцать лет... Может, умерла. Горе в конце концов убивает человека. Медленно, но убивает.

Какая тишина в доме! На ночном столике чуть теплится огонек лампы. На стуле возле него дремлет Жозеф. Бедный Жозеф! Каким старым, одряхлевшим выглядит он сейчас — подбородок, упавший на грудь, оброс седой щетиной, на коленях сцеплены костлявые руки. В его возрасте не следовало бы проводить ночь на стуле. Сменил маму, чтобы отдохнула. Хотела же мама взять ночную сиделку, а старик не позволил, сам, мол, послежу, преданность свою выказывал, вот и спит на стуле. А мама так утомлена, что еле держится на ногах. Невероятно, как много усталости и страдания может быть написано на человеческом лице...

Это, наверно, самое страшное в преддверии смертного часа — страдание, которое ты приносишь тем, кого любишь, болея без надежды на выздоровление. Если бы ты мог объяснить им, что все в порядке, что ты больше не боишься смерти, что даже хочешь умереть... Но это признаки тоже причинило бы им боль.

Как было бы прекрасно умереть во время того апоплексического удара две недели назад! Жозефу не пришлось бы дремать на стуле, мама не была бы так измождена. Смерть приносит облегчение всем. Мучает надежда. После смерти остается печаль, у мамы она никогда не пройдет. Но исчезает напряжение. Живые возвращаются к своим делам и заботам, радостям и огорчениям, надеждам и сожалениям, к своей еде, своему смеху. Мертвые же остаются мертвыми, что бы это ни означало.

Что ж, все это скоро кончится. Он всех освободит, перестанет отравлять жизнь близким людям. Может, сегодня... Даже его упрямое сердце, кажется, понял безнадежность сопротивления. Предстоит заключительная агония — и конец. Говорили, она начинается непрекращающейся дрожью, громко отходят газы. Входишь в жизнь с криком, а уходишь, громохкая задом. Как же это унижительно! Но ведь и болезнь — сплошное унижение.

Впрочем, какое значение все это имеет теперь? Даже чувство собственного достоинства испарилось. И он больше не боится смерти. Семейное отношение к ней не обязательно означает презрение — просто примирился с неизбежным. Он надеется, что смерть не обидится. Он готов следовать за ней.

С Богом он тоже примирился. Прежде всего, ради мамы — она так много молилась об этом! К тому же, вступив на последний порог, начинаешь понимать многое из того, чего прежде не понимал. Тебе хочется надежды и покоя больше, чем истины. Рассудок многому мешает, он все депоэтизирует и одновременно не объясняет по-настоящему важных вещей. И конечно, не помогает, когда ты сломлен болью и готовишься умереть. Рассуждать в таком положении — все равно что тянуться на цыпочки, чтобы заглянуть за высокий глухой забор. Этим можно заниматься, когда ты молод и бодр, а когда устал и уходишь из жизни, тебе нужна уютная и теплая постель веры. Необходима рука, которая поможет тебе перейти в иной мир.

Как-то вечером, за неделю до того, как его хватил удар, когда мама уже ушла к себе, он вышел на террасу проводить кюре Сулака, ужинавшего у них, и попросил:

— Исповедуйте меня, святой отец.

Стояла мягкая летняя ночь. С тополей, освещаемый луной, осыпался пух, похожий на серебряные капли, медленно падающие с высоких фонтанов. И тут, под стрекот кузнечиков, он поведал кюре о своей своенравной и одинокой жизни, о «Мулен Руж», о бистро и борделях — обо всем. Но, как ни странно, все это звучало совершенно тривиально и не слишком греховно...

\* \* \*

Он вновь задремал, а когда окончательно проснулся, уже наступил рассвет. Небо порозовело, ночь кончилась, унося с собой звезды.

Где-то раздалось кукареканье, и Жозеф зашевелился на своем стуле, протер глаза, посмотрел на Анри, который улынулся ему.

— Доброе утро, Жозеф. Хорошо поспал?

— Извините, месье Анри. Задремал. Не хотел, но...

— Я же знаю, как ты устал. Все устали в этом доме. Сходи-ка на кухню, выпей кофе. Это тебе поможет.

— Позднее, месье Анри. Кухарка еще не встала. Еще рано. А вы давно проснулись?

— Только что. Пару минут назад. Пожалуйста, приподними меня, Жозеф, и дай мне пенсне.

Старый слуга осторожно посадил его в подушки, протянул пенсне, хотел надеть.

— Я справлюсь сам. Одна рука у меня еще действует.

— Может быть, закрыть окно, месье Анри?

Анри тихонько рассмеялся.

— А ты нисколько не изменился, Жозеф. Помнишь, как ты будил меня, чтобы я не проспал уроков в «Фонтане», а я притворялся, что сплю? Подойди поближе.— Голос его упал до шепота.— Присядь на кровати, мне хочется поговорить с тобой.

— Пожалуйста, месье Анри. Но доктор велел не...

— Ш-ш-ш! Нам нужно поговорить, пока я еще могу... Наклонись, чтобы слышать, что я скажу.— В запавших глазах умирающего, когда он смотрел на заросшее жесткой щетиной лицо старого кучера, светилась искорка нежности.— Во-первых, хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня. Ш-ш-ш, не перебивай! Ты заменял мне отца. Конечно, в этом доме о тебе всегда позаботятся, но мне хочется подарить тебе что-нибудь. Единственное, что я мог придумать, это мои часы и мой портсигар. Знаю, ты не куришь, но сохрани его как память обо мне, хорошо? — Глаза его закрылись, шепот стал едва слышным.— Слушай дальше,— прошелестел он, почти не двигая губами.— Когда... ну, когда меня не станет, не оставляй надолго маму одну. Под любыми предлогами заходи к ней в комнату, даже если она тебя и не вызывает. Притворись, что угли надо помешать в печке, золу выгresti, шторы опустить или еще что-то... Придумай сам. И не ходи с вытянутым лицом, повторяя свое вечное: «Да, госпожа графиня... Нет, госпожа графиня...» Придумай что-нибудь, чтобы ободрить ее, прикинься веселым, рассказывай ей про наших лошадей, постарайся в хорошую погоду возить ее на прогулки...

Он снова смежил веки и несколько мгновений сдерживал дыхание, клекотавшее свистящими всхлипами.

— Пожалуйста, месье Анри, не утомляйтесь... Я все...

— Еще одно. Мама любит цветы. Особенно белые розы. Проследи, чтобы Огюст всегда высаживал возле дома кусты роз. Всегда... А теперь иди, попей кофе. Кухарка, наверное, уже встала...

Он увидел, что Жозеф колеблется, и слабо улыбнулся ему:

— Не беспокойся, пока ты не вернешься, я не умру.

В тот день Анри почувствовал себя немного лучше. С утра пришел доктор Муре, бодро проделал обычный ритуал: посмотрел язык, пощупал пульс, измерил температуру, короче, вел себя, как добросовестный сельский врач, кем он и был на самом деле.

Днем Анри даже удалось проглотить несколько ложек бульона. Его навестила Анетта, постояла возле постели, не спуская с него выцветших глаз, пробормотала ласковые слова на своем провансальском наречии и, заплавав, выскользнула из комнаты. И горничная зашла, и кухарка тоже. Садовник Огюст сунул голову в двери, долго смотрел на Анри и исчез. После полудня молча посидел у его изголовья кюре Сулак, сложив руки на коленях своей залатанной рясы. Уходя, осенил его крестным знаменiem.

Время текло медленно. Пустое, томительное. Сквозь полуприкрытые окна проникал солнечный свет, заливая пол. И снова он оставался наедине с матерью.

— Какой сегодня день, мама?

— Воскресенье, малыш. Восьмое сентября.

— Обидно, что из-за меня ты пропустила мессу...

Графиня Адель прижала палец к губам:

— Ш-ш... Не надо разговаривать, Рири...

— Хорошо, мама.

Опять был Барез. Барез, Ницца, Пломбьер, Амели-ле-Бен. Прикроватный столик, уставленный бесполезными лекарствами, запах болезни... Детство и юность возвращались к нему. Париж, Монмартр, студия на Коленкур, «Нувель», исполнительный комитет «Независимых», Натансоны, улочка Пти Шан, даже Аркашон... Все казалось таким далеким, почти нереальным. Возможно, все это прошлое было лишь сном, длинным-длинным сном, от которого он только сейчас пробудился — седобородый, полупарализованный. А мама, как и всегда, сидит возле его постели... Правда, она состарилась за время его бесконечного сна...

— Тебе удобно, малыш?

На этот раз заговорила она. И в глазах ее засветилась улыбка. Каким нежным был ее голос!

— Да, мама.

Пауза.

Он смотрел, как она вяжет. Мама и ее вечное вязанье. В Альби она любила вышивать. Она вышивала и в тот давний день, когда он рисовал ее портрет, а она сказала ему, что пришло время идти в школу... Теперь вяжет. Чтобы скрыть свои горькие мысли, спрятать тоскующие глаза. Куда уходили вещи, которые она вязала? Носочки, платки, детские одеяльца? Может, отсылала их в приюты? И какой-нибудь найденыш будет укрываться этим пуховым одеяльцем, которое она связала сегодня?..

— Мама!

— Что, дорогой?

— А что случилось с Дениз? Она замужем?

— Да. За офицером-моряком. У них уже трое детей.

— Ты знаешь, мама, я не хотел...

Она снова поднесла палец к губам, поняла, о чем он собирается говорить: сожалеет, мол, о том горе, которое заставил ее пережить.

Он вспомнил дни, проведенные с Дениз, поездки в голубом экипаже, создание ее портрета, а вот лицо ее припоминал с трудом. Помнил только, что волосы у нее были каштановые, как у мамы... Со временем умирает даже память.

Странно было лежать вот так и ожидать прихода смерти — с ясным умом, почти не ощущая никаких болей, лишь онемение правой стороны, той части тела, которая уже умерла. Так человек спускается вниз по ступеням: половина мира уже перестала для тебя существовать, уже никогда не увидишь ты в саду цветущих нарциссов, бутонов на кустах роз возле террасы, облаков, плывущих по небу.

Большей части Мальроме уже нет. Не доведется ему полежать в шезлонге под теплыми лучами солнца, никогда не понадобится его одежда, не придется опираться на трость с резиновым наконечником, которую он так часто прокинул. Бедная трость, что станет с ней? Может, ее унаследует какой-нибудь ребенок-инвалид?.. И никогда больше не выдавить ему на палитру тюбика с краской, никогда не взять в руки кисти. Мертвые не занимаются живописью. Разве что в раю... Вот что замечательно в вере — она позволяет мечтать: а вдруг в раю есть свой Монмартр, свой небесный холм? А почему бы и нет? Считается, что там есть множество мест, где обитают души святых и праведников, и даже прощенных грешников. Так не в куче же они существуют, есть разные районы — получше, похуже. Этот небесный Монмартр помещается где-нибудь на окраине — в раю третьего сорта, куда Святой Петр отправляет тех, с кем не знает, что сделать, но которых жаль прогнать в ад. Художников вроде Винсента, Анри Руссо, Дебутена, членов исполкома «Независимых»... Женщин вроде Агостины, Жюли, Большой Мари, натурщиц, мидинеток, лореток... Людей, подобных администратору «Мулен Руж» Тремонада, официанту Гастону, месье Тандиу, Котелю, Саре и даже бедовой Ла Гулю... Разных девиц из борделей, которые были добры к нему. Бертю, сказавшую тогда: «Боже мой, это Анри!» Таких людей, как чета Потьеронов из «Флер Бланш», приятелей Александра, всю жизнь много работавших, чтобы добиться какого-то достатка... И даже Мари, потому что, подобно Марии Магдалине, она любила, любила отчаянно, а Господь не отправляет в ад никого за то, что они слишком сильно любили... Если был бы такой рай, он попал бы туда...

— Мама!

— Не разговаривай, малыш.

— Мама, я люблю тебя.

— Я знаю.— Она опять улыбнулась ему, оторвав глаза от спиц.— Я тоже люблю тебя, очень люблю.

— Эти же слова ты сказала давно-давно в Альби, когда ругала меня за непочтение к монсеньору архиепископу.

— Пожалуйста, не надо ничего говорить.

— Только чуть-чуть. Мне разговаривать не больно. Ты видела у меня альбом — «Антология японских эстампов»? Позаботься о нем. И о моих картинах тоже. Ты почти не видела их, но поверь, они не грязные, они лишь правдивы, а правда иногда безобразна. Пусть ими займется Морис. Он все знает, он понимает их...

Сотни картин, тысячи набросков, эскизов, литографий, рисунков карандашом, углем, тушью, акварели, сангины... Что бы о нем ни думали, если, конечно, вообще будут думать, он не был бездельником... Но это только доказывает, сколь многое может сделать человек, чтобы убить время — недели, месяцы, годы...



— Мама!

Он увидел, что она вновь прикоснулась пальцем к губам. Как в детстве, он попросил:

— Еще немножко... Дай мне еще немножко поговорить. Потом я буду вести себя совсем тихо. Разве ты всегда хорошо вела себя, когда была маленькой?

Она опустила вязанье на колени.

— Не всегда. Я тоже делала глупости. Все дети шалят. А теперь усни, мой маленький.

Он смежил веки и вдруг очутился в Аркашоне. Мириам стояла на причале и махала ему рукой. Сотни раз воображал он себе, как она машет, но сейчас это казалось куда реальнее, чем раньше. Он ощущал, как покачивается на волнах яхта, чувствовал тепло летнего утра, ласковый бриз на своих щеках. Но впервые не испытывал ни горя, ни тоски, ни сожаления. Его сердце наконец успокоилось.

Постучали в дверь.

— Телеграмма, госпожа графиня,— шепнул Жозеф.

— В чем дело? — спросил Анри, открывая глаза.— Телеграмма? От папы?

Он видел, как мать лихорадочно развернула лист бумаги. Надежда в ее глазах погасла.

— Нет, Анри, это от Мориса. Прочитать? — Она придвинула стул ближе к его кровати, так их лица оказались совсем рядом.

— «Только что правительство приобрело для Лувра коллекцию Камондо. Ты в Лувре, Анри».

— Лувр? — выдохнул он.— Морис написал — Лувр?

Она вдруг заплакала, склонилась к нему, целуя его щеки.

— О дорогой мой, я не понимала... не верила... Я так рада за тебя!.. Так рада!

— Ты мной гордишься?

— Да, Рири. Горжусь. Очень горжусь.

— Лувр — это почетнее, чем Салон, правда? Ах, мама, если бы ты знала, как я хотел показать тебе там своего «Икара»! Но теперь все в порядке. Лувр... — Голос его сорвался, перешел в хрип. Губы еще шевелились, но говорить он уже не мог.

\* \* \*

Опять рассвет. А отец так и не приехал. Жозеф отвернулся к окну, понурив голову, Анетта на коленях у кровати тихо рыдала, перебирая четки и что-то бормоча запавшим ртом. И мама была здесь, склонившаяся над ним и тоже что-то беззвучно шепчущая. Она, как в прежние дни, все время вытирала капли пота с его лба и щек.

— Папы еще нет, малыш... Все еще нет... Но он скоро приедет. Мужайся, Рири... Мужайся!

Вот что такое умирание. Это когда воздух с хрипом и свистом вырывается из легких, это отчаянная работа мозга, заключенного в идущее ко дну тело... Однажды, пересекая Ла-Манш, он уже испытывал то же ощущение — подъемы и провалы. Палуба вдруг как бы вспучивается под ногами, словно ей хочется вырваться из объятий моря и взлететь. Ты чувствуешь,

что тебя поднимает вверх, вверх, вверх, как на качелях. Несколько секунд корабль остается на гребне волны, сотрясаясь от носа до кормы. Винт оказывается над поверхностью, взбивает пену. И тут же, терпя поражение в битве с земным притяжением, ухает вниз и с грохотом вновь зарывается в волны.

Умирание было похоже на то плавание. Воздух врывается в тебя — ты поднимаешься, выходит — и ты чувствуешь, что тонешь...

«О папа! Скорее, скорее!.. Еще бы немножко подышать... Совсем немножко... Подожди еще капельку, смерть! Я ведь не слишком долго жил. Совсем недолго, правда?»

Сквозь заглушавшие все другие звуки хрипы в груди он вдруг услышал крик петуха, приветствовавшего еще один нарождающийся день — прекрасный сентябрьский день, теплый и солнечный, но уже немного печальный, уже осенний.

Глаза закрылись. Голова закружилась. На мгновение замерло дыхание, и он провалился в темную бездонную шахту. Но сердце вновь затрепетало, воздух со свистом ворвался в сдавленное горло. Легкие жадно всосали его и раздулись.

— Мужайся, дитя мое... Пожалуйста, Рири, пожалуйста... Уже скоро... Скоро... Мужайся... — издали доносился до него голос матери.

Еще немного подышать ради нее... Еще немного воздуха ради мамы! Смерть, подожди, подожди!

Послышался какой-то звук.

Он приоткрыл веки и увидел на лице матери напряженное ожидание. Потом заскрипели ворота, и — стук копыт по гравию...

Папа! Наконец-то!

Как это похоже на него — прискакать верхом! Вероятно, сошел с экспресса в Бордо и, вместо того чтобы дожидаться поезда на Сант-Андре дю Буа, взял напрокат, или купил, или просто украл лошадь и скакал галопом всю ночь по залитым лунным светом дорогам, словно средневековый рыцарь, пересекая поля, перепрыгивая через заборы, доверяясь инстинкту животного и собственному опыту превосходного наездника. То есть сделал именно то, что должен был сделать, чтобы поспеть к постели умирающего сына — своего единственного наследника.

За стенами послышались взволнованные голоса и громкий вопрос графа: — Успел?

И тут же широко распахнулась дверь спальни — Альфонс де Тулуз-Лотрек, в измятой, пыльной одежде, в забрызганных грязью сапогах, с хлыстом в руке, большими шагами кинулся к постели сына. Все еще тяжело дыша, он склонился над ним. Лицо его было искажено болью.

— Анри! Анри, мальчик мой!.. — Слова срывались с губ, перемежаемые сотрясавшими его рыданиями. — Если бы ты знал, если бы ты только знал, как я тосковал в разлуке с тобой!

Он прижался губами к его лбу, и на короткий миг их взгляды слились во взаимном прощении.

Ах, если бы не ждал он так долго! Если бы не отринул своего искалеченного ребенка!.. И вот они прожили свои жизни вдаль друг от друга, оба одинокие, оба стремясь забыть... А теперь уже слишком поздно.

Быть может, его смерть вновь соединит родителей? Они уже пожилые и оба несчастные. Может, в память о сыне они объединят свои жизни и, связанные общим горем, проживут вместе остаток своих дней?

Граф выпрямился и повернулся к жене.

— И ты, Адель, постарайся простить меня,— произнес он с неожиданной для него нежностью и, отступая от кровати, сказал: — Иди к нему. Он зовет тебя.

Теперь осталась только мама. Лицо ее было очень близко от его лица, губы почти касались его губ. Она перебирала прохладными пальцами его спутанные волосы, как делала это, когда он был ребенком, чтобы успокоить и убаюкать его.

— Спи, малыш, спи...

Слезы дрожали на ее ресницах, но она улыбалась ему. Нет, не то чтобы улыбалась — просто была спокойна. И гордилась им. Он не подвел ее. Теперь он мог перестать бороться. Она больше не удерживала его...

— Спи, Рири...

Ее лицо, ее усталое нежное лицо удалялось от него, расплывалось в тумане и мраке, хотя комнату заливал солнечный свет. Это внутри него поднималась тьма. Мама... мама... Прощай, мама...

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ЗАНАВЕС ПОДНИМАЕТСЯ

Глава первая

5

Глава вторая

21

Глава третья

33

### *Часть 1*

## ГОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ

Глава четвертая

47

Глава пятая

61

Глава шестая

75

Глава седьмая

94

Глава восьмая

122

### *Часть 2*

## МАРИ ШАРЛЕ

Глава девятая

139

Глава десятая

154

Глава одиннадцатая

162

Глава двенадцатая

182

Глава тринадцатая

204

Глава четырнадцатая

221

Глава пятнадцатая

234

Глава шестнадцатая

247

*Часть 3*

**МИРИАМ**

Глава семнадцатая

257

Глава восемнадцатая

289

Глава девятнадцатая

312

**ЗАНАВЕС ПАДАЕТ**

Глава двадцатая

343

Глава двадцать первая

353

Глава двадцать вторая

366

Глава двадцать третья

373

# Пьер Ла Мур МУЛЕН РУЖ

Заведующий редакцией *В. Я. Грибенко*

Редактор *А. Г. Мартынова*

Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*

Технический редактор *Ю. А. Мухин*

ИБ № 9748

ЛР № 010273 от 10.12.92.

Сдано в набор 01.11.93. Подписано в печать 11.04.94.

Формат 70х90<sup>1/16</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,08. Уч.-изд. л. 28,76.

Тираж 35 000 экз. Заказ № 4162. С 008.

Российский государственный  
информационно-издательский Центр «Республика»  
Комитета Российской Федерации по печати.

Издательство «Республика».  
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма  
«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ».  
103473, Москва,  
Краснопролетарская, 16.









